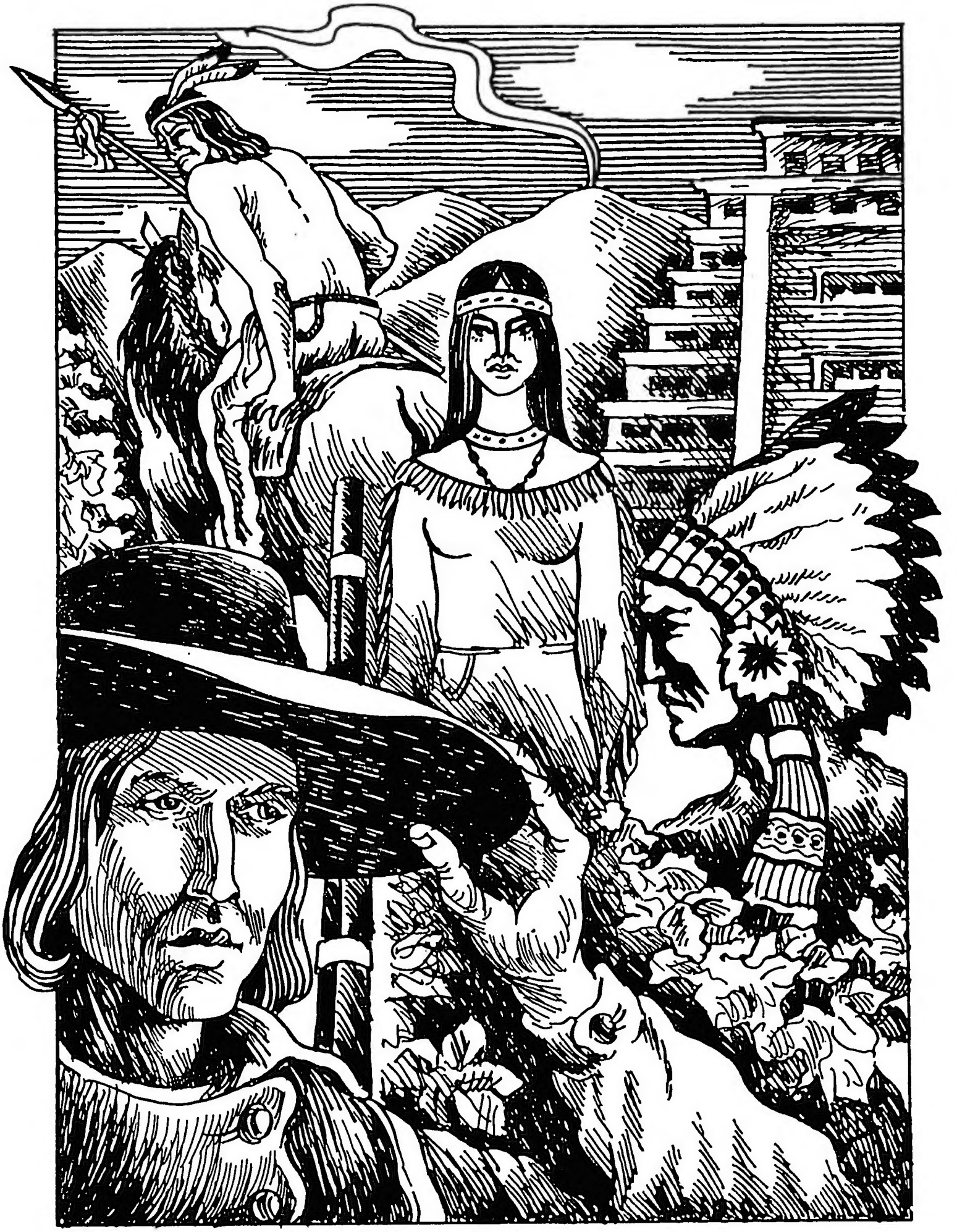
Генри Райдер Хаггард

Дочь Монесуны

Генри Райдер Хаггард



Генри Райдер Хаггард

Дочь Монтесумы

Интербук
Запорожье
1992

ББК 84.4/Вл/
Х13

Хаггард Генри Райдер
Х13 Дочь Монтесумы. Запорожье: «Интербук». 1992,
352 с.

ISBN-7664-0398-4

Это один из лучших романов на сюжеты, взятые из эпохи великих географических открытий. Особенно привлекательны две черты романа: глубокое сочувствие освободительной борьбе угнетенных народов Мексики против европейских колонизаторов, испанских конкистадоров и ярко выраженная антиклерикальная направленность. В романе действуют исторические личности и вымышленные герои, интересно описаны жизнь и обычаи индейских племен.

Х $\frac{4703000000\text{-}31}{92}$ Без объявл.

ББК 84.4/Вл/

ISBN 5-7664-0398-4

© Издательство «Интербук»,
художественное оформление

Глава I

ПОЧЕМУ ТОМАС ВИНГФИЛД РАССКАЗЫВАЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ

Хвала богу, даровавшему нам победу! Сила Испании сломлена, корабли ее потонули или бежали, морская пучина поглотила сотни и тысячи ее моряков и солдат, и теперь моя Англия может вздохнуть спокойно*. Они шли, чтобы покорить нас, чтобы пытать нас и сжигать живьем на кострах, они шли, чтобы сделать с нами, вольными англичанами, то же самое, что Кортес сделал с индейцами Анауака**. У наших сыновей они хотели отнять свободу, а у наших дочерей — честь; наши души они хотели отдать попам, а наши тела и все наше достояние — папе римскому и своему императору! Но бог ответил им бурей, а Дрейк*** ответил им пулями. Они исчезли и вместе с ними исчезла слава Испании.

Я, Томас Вингфилд, услышал об этом сегодня, в четверг, на бангийской базарной площади, куда приехал, чтобы потолковать с людьми и продать яблоки — те, что уцелели в моем саду после страшных штормовых ветров, оголивших в этом году почти все деревья.

---

* Речь идет о гибели так называемой «Непобедимой армады», флота католической Испании, состоявшей из 130 кораблей с 2400 орудиями и 19 тысячами солдат, не считая матросов. С 21 по 27 июля 1588 года англичане в трех последовательных сражениях нанесли испанцам значительный урон, а затем внезапный шторм, отогнавший испанские корабли к Оркнейским островам, довершил разгром.— *Прим. перев.*

** Анауак — древнее туземное название государства ацтеков, расположенное на территории современной Мексики.

Здесь и далее все географические названия и исторические имена, которые автор иногда произвольно сокращает, даются полностью в современной транскрипции.— *Прим. перев.*

*** Дрейк Френсис (1545-1595) — английский мореплаватель и пират, получивший за сражение с испанцами дворянский титул сэра. Первым повторил кругосветное путешествие Магеллана. Участвовал в разгроме «Непобедимой армады».— *Прим. перев.*

Всякие слухи доходили до меня и раньше, но сегодня в Банги я встретил человека по имени Юнг, из рода ярмутских Юнгов, который сам сражался на ярмутском корабле в битве при Гравелине*, а потом преследовал испанцев дальше, на север, до тех пор, пока они не погибли в Шотландском море.

Говорят, что малое порождает великое, но здесь случилось наоборот: великое породило малое. Эти славные события побудили меня, Томаса Вингфилда из Лоджа, прихожанина дитчингемского прихода графства Норфолк, взяться на склоне лет за перо и бумагу, несмотря на глубокую старость и на то, что жить мне осталось совсем немного.

Десять лет назад, в 1578 году, когда наша милостивая королева Елизабета была проездом в здешних краях, ее величество пожелала увидеть меня в Норидже. В тот день она мне сказала, что слухи обо мне дошли до нее, и повелела рассказать ей что-нибудь интересное из моей жизни, вернее — из тех двадцати с лишним лет, которые я провел среди индейцев в то время, когда Кортес покорял их страну Анауак, известную ныне под именем Мексики. Но едва я успел приступить к рассказу, как ее величеству уже пришлось отправиться в Коссэй на оленью охоту. Уезжая, королева пожелала, чтобы я изложил свою историю на бумаге, дабы она могла ее прочесть, и сказала, что, если эта история окажется хотя бы наполовину столь занимательной, какой обещает быть, она пожалует мне титул баронета и я окончу свои дни сэром Томасом Вингфилдом. На это я ответил, что никогда не умел обращаться с такими вещами, как перо и бумага, однако повеление ее величества постараюсь исполнить. Затем я осмелился преподнести ей большой изумруд, один из тех, что некогда украшали шею дочери Монтесумы, а до нее — многих других принцесс. При виде этого изумруда глаза ее величества засверкали так же ярко, как сам драгоценный камень, ибо наша королева любит подобные безделушки. Наверное, если бы я захотел, я мог бы заключить с нею сделку и тут же получить свой титул в обмен на изумруд, но я много лет был вождем могущественного племени и теперь не желал становиться чьим бы то ни было слугой. Поэтому я просто поцеловал королевскую руку, которая так крепко сжала драгоценный камень, что все косточки ее побелели, простился и в тот же день вернулся к себе домой в долину Уэйвни.

---

* Гравелин — маленький порт на побережье Франции, близ которого 27 июля 1588 произошло третье, решающее сражение английского флота с «Непобедимой армадой».— *Прим. перев.*

Я не забыл, однако, пожелания королевы и давно уже собирался изложить на бумаге историю своей жизни, пока еще моя жизнь и моя история не оборвались одновременно. Для меня, человека в подобных делах неискушенного, задача эта поистине нелегка. Но мне ли страшиться трудностей, когда уже близок час вечного отдохновения? Я повидал такое, чего не видел ни один англичанин и о чем стоит порассказать.

Жизнь моя была необычайна. Много раз, когда я думал, что уже погиб и спасения нет, провидение спасало меня, может быть, только для того, чтобы люди узнали мою историю и извлекли из нее урок, ибо все, что я пережил и перевидал, свидетельствует об одной непреложной истине: зло никогда не приносит добра, зло порождает только зло и в конце концов обрушивается на голову того, кто его творит, будь то один человек или целый народ.

Вспомните хотя бы судьбу Кортеса, этого великого завоевателя! Я его знавал в те дни, когда он обладал почти божественной властью, а сорок лет назад, как мне говорили, прославленный Кортес умер в Испании в немилости и нищете*. Так-то! И еще я слыхал, что сын Кортеса дон Мартин был подвергнут пыткам в том самом городе, который его отец с такой неслыханной жестокостью завоевывал для испанцев. Все это в порыве отчаяния предсказала Кортесу первая и любимейшая из его подруг Малиналь,— испанцы ее называли Мариной,— когда Кортес бросил ее и отдал в жены дону Хуану Харамильо, позабыв обо всем, что их связывало, и о том, что она не раз спасала от верной смерти его самого и его солдат.

А вспомните судьбу самой Марины! Она любила своего мужа Кортеса, или Малинцина, как его начали из-за нее называть индейцы, и ради него предала свою родину. Если бы не Марина, испанцы никогда бы не овладели Теночтитланом, или, как теперь говорят, Мехико. Ради своей любви она пожертвовала честью, но что она получила взамен? Что хорошего принесло ей содеянное зло? В награду за все, когда красота Марины поблекла, ее отдали в жены другому, менее знатному человеку, точно так же, как отслужившую свое скотину продают более бедному хозяину.

Вспомните также судьбу столь могущественного народа, как народ Анауака. Он творил зло во имя добра; в жертву своим ложным богам он приносил тысячи человеческих

---

* В действительности завоеватель Мексики Этнандо Кортес (1485-1547) до конца своих дней был несметно богат и носил титул герцога.— *Прим. перев.*

жизней, надеясь, что боги пошлют ему мир, благоденствие и богатство на многие поколения. Но как ответил им истинный бог? Вместо богатства он ниспослал разорение, вместо мира — испанский меч, а вместо благоденствия — горе, пытки и рабство. И все это потому, что они приносили своих детей на алтари Уицилопочтли и Тескатлипоки*.

Или возьмите самих испанцев. Во имя милосердия они творили такие жестокости, какие и не снились язычникам-ацтекам; во имя Христа они каждодневно нарушали все его заповеди. Неужто они будут торжествовать, неужто эти злодеяния принесут им счастье? Я слишком стар, и не доживу до того, чтобы увидеть собственными глазами ответ на мой вопрос. Но уже теперь ответ этот ясен. Я знаю, что все здодеяния испанцев падут на их собственные головы, и уже теперь вижу этот самый гордый на свете народ обесславленным, обесчещенным и разоренным, несчастным заморышем, у которого нет ничего, кроме великого прошлого. То, что Дрейк начал недавно под Гравелином, бог в иное время завершит повсеместно. От могущества Испании не останется и следа, империя испанцев исчезнет, как исчезла империя Монтесумы.

Так вершатся события великие, о которых известно всем, и точно так же было в жизни столь безвестного человека, как я, Томас Вингфилд. Воистину, небеса были милостивы ко мне: они дали мне время раскаяться в грехах, которые обратились против меня самого, ибо я присвоил себе право всемогущего и возомнил себя орудием мести в его деснице. То была справедливая кара! Зная это, я и решился написать историю своей жизни, дабы она послужила другим в назидание.

Как я уже говорил, мысль эта зрела во мне долгие годы, хотя по совести сказать, впервые заронила ее королева. Но лишь теперь, когда я достоверно узнал о судьбе «Непобедимой армады», эта мысль дала, наконец, росток. А принесет ли она плод — бог весть! Ибо события последних дней странным образом взволновали меня и перенесли во времена моей юности, наполненной страстями, битвами и невероятными приключениями, когда я сражался против тех же самых испанцев за себя, за Куаутемока и за народ отоми. Давно я не вспоминал об этом, и сейчас те годы вновь оживают передо мной. У меня такое чувство, словно то, что я пережил в далеком прошлом, и было моей настоящей жиз-

---

* Уицилопочтли — «колдун колибри», бог войны и солнца; Тескатлипока — «дымящееся зеркало», главный бог ацтеков. Обоим богам приносили человеческие жертвы.— *Прим. перев.*

нью, а все остальное — лишь сновидением. Со стариками такое случается.

Из окна комнаты, где я пишу, видна мирная долина Уэйвни. За рекой простираются обширные земли, поросшие золотистым дроком, дальше виднеются развалины замка и красные крыши Банги, сгрудившиеся вокруг колокольни церкви Святой Марии, а еще дальше раскинулись королевские леса Стоува и поля фликстонского аббатства. На правом крутом берегу реки зеленеют дубравы Иршема, по лугам низменного левого берега, словно пестрые пятна, чуть приметно движутся стада Беклса и Лоустофта, а позади по травянистому склону холма, который в старину называли Графским Виноградником, поднимается террасами мой парк и фруктовый сад. Все тут, но сейчас у меня такое чувство, словно ничего этого не существует. Вместо долины Уэйвни я вижу долину Теночтитлана, вместо косогоров Стоува — снежные склоны вулканов Истаксиуатля и Попокатепетля, вместо шпиля Иршема и колоколен Банги, Дитчингема и Беклса передо мной вздымаются жертвенные пирамиды, озаренные священным пламенем, а там, где на мирных лугах пасутся стада, я вижу всадников Кортеса, рвущихся в бой. Все вернулось ко мне. Все, что было жизнью. Остальное — сон.

Я снова чувствую себя молодым, и теперь, если судьба даст мне время, я постараюсь рассказать историю своей жизни, прежде чем отойду в мир вечных сновидений и навсегда успокоюсь на деревенском кладбище.

Я давно уже начал свой труд, но пока была жива моя дорогая жена, покинувшая меня совсем недавно, в прошлое рождество, завершить его я все равно бы не смог. По совести говоря, моя жена любила меня так, как, я думаю, мало кого любили. Мне посчастливилось. Но в моем прошлом было много такого, что омрачало ее любовь и вызывало в ней ревность, ревность к мертвой. Впрочем, это чувство смягчалось в ее благородной душе самым искренним и полным прощением. Сердце моей жены терзало иное тайное горе, и я это знал, хотя сама она никогда ничего не говорила.

У нас родился лишь один ребенок, да и тот умер в младенчестве. Сколько жена ни молила бога послать ей другого, все мольбы ее оставались тщетными, и я, вспоминая слова Отоми, думал, что вряд ли эти мольбы помогут. Но жена моя знала, что прежде за океаном у меня были дети от другой женщины, которых я любил и которых буду всегда любить так же сильно, хотя все они умерли много лет назад, и это терзало ей душу. Она могла простить, что я

был женат на другой, но то, что эта женщина родила мне детей, которые были все еще дороги моему сердцу,— этого она, даже все простив, забыть не могла, ибо сама была бездетна.

Я мужчина и не могу объяснить причину ее тоски. Кто поймет любящее женское сердце? Но было именно так. Однажды мы даже поссорились из-за этого, поссорились в первый и последний раз.

Случилось это на второй год после нашей свадьбы, через несколько дней после того, как мы похоронили на дитчингемском кладбище наше дитя. Однажды ночью, когда я спал рядом с моей женой, мне приснился удивительно яркий сон. Мне снилось, что вокруг меня собрались все мои сыновья, все четверо, и самый большой держал на руках моего первенца, младенца, умершего во время великой осады. Они пришли ко мне, как частенько приходили в те времена, когда я правил народом отоми в Городе Сосен, они говорили со мной, одаривали меня цветами и целовали мне руки. Я любовался их силой и красотой, и гордость переполняла мое сердце. Во сне мне чудилось, будто я избавился от большого горя, будто я, наконец, опять встретил моих дорогих детей, которых некогда потерял. Увы! Что может быть страшнее подобных снов? Сновидения, как бы насмехаясь над нами, воскрешают мертвых, возвращают нам тех, кто дорог, а потом рассеиваются и оставляют нас в еще большей и горшей скорби.

Так вот, мне явилось подобное сновидение, и во сне я разговаривал со своими детьми, называя их самыми ласковыми именами, пока, наконец, не проснулся. И тогда, ощутив всю боль утраты, я разрыдался в голос.

Было уже раннее утро. Лучи августовского солнца проникали в окно, но я все еще продолжал лежать и плакать. Окруженный видениями сна, я повторял сквозь слезы имена тех, кого уже никогда не увижу. Я надеялся, что жена моя спит, но случилось так, что она проснулась и слышала, как я разговаривал с мертвыми и во сне и потом. И хотя я произносил некоторые слова на языке отоми, все остальное было на английском, а потому, зная имена моих детей, жена все поняла. Внезапно она соскочила с постели и встала передо мной. В глазах ее сверкал такой гнев, какого я в них не видал никогда — ни до, ни после. Но и в этот раз он почти тотчас сменился слезами.

— Что с тобой, жена моя?— спросил я с удивлением.

— Ты думаешь, мне легко слышать такие слова из твоих уст?— сказала она в ответ.— Разве мало того, что я по-

жертвовала ради тебя своей молодостью и была верна тебе даже тогда, когда все до последнего считали тебя погибшим? О том, как ты сам хранил мне верность, тебе лучше знать. Но разве я хоть когда-нибудь упрекала тебя, хотя ты позабыл меня и женился на дикарке?

— Никогда, моя милая. Но ведь и я никогда тебя не забывал,— ты это прекрасно знаешь. Меня только удивляет, что ты ревнуешь к той, которой давно уже нет!

— Разве к мертвым ревнуют? Можно спорить с живыми, но как бороться с любовью, которую смерть отметила печатью совершенства и сделала бессмертной? Однако это я тебе прощаю, потому что могу потягаться с той женщиной. Ведь ты был моим до нее и остался моим после. Но дети, дети — это другое дело! Дети были только ее и твоими. Моего в них нет ни кровиночки, ни частицы. И я знаю, что ты любил их живых, любишь их мертвых и будешь любить их вечно, даже за гробом, если только встретишься с ними на том свете. А я уже стара. Я постарела за те двадцать с лишним лет, пока ждала тебя, и теперь я уже не рожу тебе других детей. Я принесла тебе одного, но бог прибрал его, чтобы я не была слишком счастлива. Ты даже имени его не произнес среди тех других странных имен! Мой несчастный крошка был для тебя слишком маленьким!..

Здесь она запнулась и залилась слезами, а я счел за лучшее промолчать, ибо действительно между теми детьми и этим ребенком была большая разница: все мои сыновья, за исключением первенца, умерли почти юношами, в то время как ее младенец не прожил и двух месяцев.

Так вот, когда королева впервые подсказала мне мысль написать историю моей жизни, я сразу вспомнил об этой размолвке со своей любимой женой. Я не мог написать правду, потому что мне пришлось бы умолчать о той, которая также была моей женой, об Отоми, дочери Монтесумы, принцессе народа отоми, и о детях, которых она мне родила. И вот я решил тогда вовсе не браться за перо потому, что, хотя мы почти не говорили об этом за все прожитые вместе годы, я знал, что моя Лили ничего не забыла, и ревность ее, будучи особого, более тонкого свойства, не только не угасала со временем, а, наоборот, возрастала. Написать же обо всем так, чтобы жена моя ничего не знала, я не мог, ибо до последних дней она следила за каждым моим шагом и, кажется, даже читала мои мысли.

Так мы и старели бок о бок, и годы текли безмятежно. Мы редко вспоминали о том большом промежутке, когда были потеряны друг для друга, и о том, что тогда произош-

ло. Но всему приходит конец. Моя жена внезапно умерла во сне на восемьдесят седьмом году жизни. Я похоронил ее, глубоко скорбя, однако скорбь моя не была безутешной, ибо я знал, что скоро встречусь и с ней, и со всеми другими, кого любил.

Там, в небесах, ждут меня моя мать, и сестра, и мои сыновья; там ожидает меня мой друг Куаутемок, последний император ацтеков, и многие другие, опередившие меня соратники по оружию; и там же, хотя она в этом сомневалась, встретит меня моя прекрасная, гордая Отоми. На небесах, которых я надеюсь достичь, все грехи моей юности и ошибки зрелого возраста будут преданы забвению. Говорят, что там нет ни замужних, ни женатых, и это очень хорошо, потому что иначе я просто не знаю, как ужились бы между собой обе мои жены, гордая дочь Монтесумы и нежная дочь английского сквайра*.

А теперь приступим к рассказу.

Глава II

СЕМЬЯ ТОМАСА ВИНГФИЛДА

Томас Вингфилд, родился здесь, в Дитчингеме, в той самой комнате, где сейчас пишу. Мой отчий дом был выстроен или основательно переделан во времена царствования Генриха VII, но уже задолго до этого на том же месте стояло какое-то строение, известное под названием Сторожки Садовника. Здесь некогда жил сторож виноградника. В древности склоны холма, на котором стоит наш дом, омывали волны залива, а может быть, и открытого моря. Во времена эрла** Бигода весь холм был покрыт виноградниками; должно быть, климат был раньше мягче или земледельцы прежних веков искуснее. С тех пор прошло много лет, виноградные гроздья давно уже перестали здесь вызревать, однако имя «Графский Виноградник» так и осталось за всей этой местностью, расположенной между нашим домом и целебным источником, который бьет из-под земли в полумиле отсюда; чтобы искупаться в его водах, люди приезжают даже из Нориджа и Лоустофта. Но и по сей день здешние сады, защищенные от восточных ветров, зацветают на две недели раньше, чем во всей округе, и да-

---

* Сквайр — дворянин, помещик.— *Прим. перев.*

** Эрл — староанглийский титул знатного человека. С XI столетия и до наших дней равнозначен титулу графа.— *Прим. перев.*

же в майские холода здесь можно ходить без плаща, в то время как на вершине холма, на какие-нибудь двести шагов повыше, дрожь пробирает даже под курткой из меха выдры.

«Сторожка» — так попросту называли стоявшее здесь строение — была вначале обыкновенным крестьянским домом. Обращенный окнами на юго-запад, он расположен так близко от берега, что кажется дамбой, которую вот-вот захлестнут волны Уэйвни, текущей совсем рядом среди низин и лугов. Но это впечатление обманчиво. Хотя осенью в сумерках его и окутывает мга,— так у нас в Норфолке называют стелющийся по земле туман,— хотя во время половодий река иной раз заливает на заднем дворе конюшни, наш дом, выстроенный на фундаменте из песка и гравия, считается самым здоровым жилищем во всем приходе. Он сложен из красного кирпича и кажется одновременно причудливым и очень милым со своими многочисленными выступами и башенками на крыше, утопающими летом среди вьющихся роз и других ползучих растений. Из окон открывается вид на луга и выгоны, краски которых беспрестанно меняются в зависимости от времени года и часа дня, на красные крыши Банги и на лесистый вал, окружающий иршемские земли. Есть, конечно, в наших местах дома побольше и побогаче, но этот старый дом мне всего милее, ибо здесь я родился, здесь жил и здесь надеюсь умереть.

Я уделил этому описанию, пожалуй, слишком много времени, как, наверное, сделал бы каждый из нас, если бы речь шла о месте, которое стало нам дорого в силу многолетней привычки. А теперь я расскажу о своей семье.

Прежде всего я хотел бы сказать — и не без гордости, ибо кто из нас не гордится старинным именем, которое нам дарит случайность рождения?— что я принадлежу к роду Вингфилдов, из Вингфилдского замка в Суффолке, расположенного отсюда в каких-нибудь двух часах езды верхом. Когда-то в старину наследница Вингфилдов вышла замуж за некоего де ля Поля, семья которого весьма известна в нашей истории: последний из де ля Полей, Эдмунд, граф Суффолкский, в дни моей юности был обезглавлен за измену. Так вот, замок Вингфилд вместе с наследницей перешел к де ля Полю. Однако в окрестностях осталось несколько семейств из боковых ветвей древнего рода Вингфилдов. Кажется, они имели герб с полосой на левой стороне щита, но герб меня никогда не интересовал, да и не интересует. Важно только то, что мои предки и я происходим именно из этого рода.

Мой дед, человек неглупый, по складу своему был скорее йоменом*, нежели сквайром, хотя и происходил из дворянского рода. Он-то и купил этот дом с прилегающими к нему землями и сколотил кое-какое состояние, главным образом благодаря разумному образу жизни и удачным женитьбам — имея лишь одного сына, он был женат дважды,— а также благодаря торговле скотом.

При всем этом дед мой был набожен почти до ханжества и, как ни странно, во что бы то ни стало хотел сделать своего единственного сына священником. Однако мой отец не имел ни малейшего призвания ни к карьере священнослужителя, ни к монастырской жизни. Напрасно дед денно и нощно наставлял его на путь истинный — то уговорами и примерами из Писания, то увесистой дубинкой из остролиста, которая до сих пор висит у меня над камином в малой гостиной. Кончилось все это тем, что отца послали в наш бангийский монастырь, где он повел себя так, что не прошло и года, как настоятель монастыря потребовал, чтобы родители забрали его обратно и сами нашли ему какое-нибудь дело в светской жизни. Настоятель сказал, что мой отец не только давал повод для всяких кривотолков в приходе, удирая по ночам из монастыря в питейные дома и прочие злачные места, но дошел до такой наглости, что осмелился подвергать сомнению и насмешкам самое учение святой церкви. Так, например, он говорил, будто в статуе девы Марии, что стоит в часовне, нет ничего божественного, и во время молитвы, когда священник славил Святого Духа, бесстыдно подмигивал деве в присутствии всей монастырской братии.

— Посему,— сказал в заключение настоятель,— я прошу вас забрать своего сына, дабы он попал на костер каким-либо иным путем, а не прямехонько из ворот бангийского монастыря!

От всего этого мой дед пришел в такую ярость, что его едва не хватил удар. Затем, немного успокоившись, он взялся за свою дубинку из остролиста и хотел было пустить ее в ход. Но тут мой отец, который в свои девятнадцать лет был парнем статным и очень сильным, вырвал дубинку из его рук и забросил ее самое малое ярдов** на пятьдесят. При этом он сказал, что отныне ни один человек не посмеет до него и пальцем дотронуться, будь он хоть сто раз его

---

* Йомен — свободный крестьянин.— *Прим. перев.*

** Ярд — английская мера длины, равная 0,914 метра.— *Прим. перев.*

отцом, а затем вышел, оставив моего деда и настоятеля таращить друг на друга глаза.

Чтобы долго не тянуть, расскажу, чем все кончилось. Мой дед и настоятель дружно решили, что истинная причина непокорности моего отца заключается в страсти, которую ему внушила одна девица низкого происхождения, смазливая дочка мельника с вайнфордских мельниц. Может быть, они были правы, а может быть, и нет. Никакого значения это не имеет, поскольку девица вскоре вышла замуж за мясника из Беклса и умерла много лет спустя в нежном возрасте девяноста пяти лет от роду. Но как бы ни была ошибочна такая догадка, мой дед в нее поверил, и, хорошо зная, что разлука является самым надежным средством от любви, поговорил с настоятелем и задумал отослать моего отца в Испанию, в один из монастырей Севильи, в котором брат настоятеля был аббатом, дабы юноша позабыл там о дочери мельника и обо всех прочих светских соблазнах.

Узнав о таком решении, мой отец согласился с ним довольно охотно: несмотря на свою молодость, он был достаточно умен и очень хотел повидать мир, хотя бы из окошка монастыря. В конечном счете его препоручили заботам испанских монахов, прибывших в Норфолк для поклонения нашей Божьей Матери Уолсингемской, и он вместе с ними отбыл в заморские края.

Говорят, мой дед на прощание заплакал, словно предчувствуя, что больше уже не увидится со своим сыном. Однако его вера или, точнее, его суеверие было настолько сильно, что он без колебаний отослал своего сына на чужбину, хотя и не имел к тому ни малейшего повода. Он пожертвовал своей любовью и своей плотью точно так же, как Авраам пожертвовал сыном своим Исааком*.

Мой отец сделал вид, что согласен стать жертвой вроде Исаака, однако в глубине души он меньше всего был готов взойти на алтарь для заклания. В действительности, как он сам потом говорил, у него были совсем иные намерения.

Полтора года спустя после того, как отец отплыл из Ярмута, от аббата севильского монастыря пришло письмо для его брата, настоятеля монастыря Святой Марии Бангийской. В нем аббат сообщал, что мой отец сбежал из монастыря, не оставив никаких следов. Эти известия сильно огорчили деда, однако он ничего не сказал.

Прошло еще два года, и до моего деда дошли новые слу-

---

* Намек на библейскую легенду, согласно которой Авраам принес в жертву богу своего сына Исаака, которого ангел спас в последнее мгновение.— *Прим. перев.*

хи. Ему сказали, что его сын пойман, передан в руки Святого Судилища, как в те времена называли инквизицию, и замучен во время пыток в Севилье. Услышав об этом, мой дед разрыдался и проклял себя за безумную мысль обратить к церковной карьере того, кто не имел к ней ни малейшего призвания, что привело к постыдной смерти его единственного сына. После этого он разругался с настоятелем Святой Марии Бангийской и перестал жертвовать на монастырь. Но все же он так и не поверил, что мой отец действительно умер, ибо два года спустя перед смертью он говорил о нем так, словно он был жив, и оставил ему подробные распоряжения относительно земли, которую ему завещал.

В конечном счете оказалось, что дед верил не напрасно. Однажды, года через три после его смерти, в ярмутском порту высадился не кто иной, как мой отец, который отсутствовал без малого восемь лет. Он прибыл не один: вместе с ним с корабля сошла его жена, очаровательная молодая дама, которая впоследствии стала моей матерью. Она была испанкой из благородной семьи, уроженкой Севильи, и ее девичье имя было донья Луиса де Гарсиа.

Я толком не знаю, что пережил мой отец за те восемь лет. Сам он почти ничего об этом не говорил. Однако о некоторых его приключениях можно рассказать.

Я знаю, что он действительно побывал в руках Святого Судилища, потому что однажды, когда мы купались в затоне Уэйвни, расположенном ярдов на триста ниже нашего дома, я заметил, что его грудь и руки исполосованы длинными белыми шрамами. До сих пор помню, как я спросил отца, что это за шрамы. Его доброе лицо почернело от ненависти; отвечая скорей самому себе, чем мне, он сказал:

— Это сделали дьяволы. Это сделали дьяволы по приказу сатаны, который бродит по земле и будет царем в аду. Слушай, сын мой Томас! Есть такая страна, которая зовется Испанией. Там родилась твоя мать, и там дьяволы предают пыткам мужчин и женщин. Там они сжигают людей живьем во имя Христа! Меня предал тот, кого я называю сатаной, хоть он моложе меня на три года, и я попался в лапы дьяволов. Эти шрамы оставили на моем теле их клещи и раскаленное железо. Они бы сожгли и меня живьем, если бы твоя мать не помогла мне бежать! Но такие вещи — не для ушей ребенка. Не проговорись, Томас! У Святого Судилища руки длинные! Ты наполовину испанец — об этом говорят твои глаза и цвет кожи. Но что бы ни говорили твои глаза и кожа, пусть сердце твое говорит другое. Пусть сердце твое останется сердцем англичанина,

недоступным никакому чужеземному искушению! Ненавидь всех испанцев, Томас, кроме твоей матери, и смотри, чтобы кровь ее не взяла в тебе верх над моею кровью!

Я был в то время еще совсем ребенком и почти не понял ни его слов, ни того, что они означают. Зато позднее я понял их слишком хорошо. Что же касается отцовского совета укротить в себе испанскую кровь, то я всегда старался ему следовать, ибо знал, что именно эта кровь толкала меня на многие дурные поступки. Она была причиной моего необычайного упорства, или, вернее, упрямства, и только она возбуждала во мне неподобающую христианину ненависть к тем, кто однажды причинил мне зло. Я делал все возможное, чтобы избавиться от этих и других пороков, однако, как шило в мешке не таи, острие все равно вылезает наружу, и в этом я убеждался неоднократно.

В нашей семье было трое детей: мой старший брат Джеффри, я и моя сестренка Мэри, которая была на год моложе меня. Более очаровательного и нежного создания я не встречал никогда.

Мы были счастливыми детьми. Отец и мать гордились нашей красотой, вызывавшей зависть других родителей. Я был темнее всех, смуглый почти до черноты, а у Мэри испанская кровь сказывалась лишь в ее великолепных бархатных глазах, да в цвете щек, румяных, как спелые яблочки. Из-за черных волос и смуглоты мать частенько называла меня своим маленьким испанцем. Но это она делала только тогда, когда отца не было поблизости, потому что такие слова приводили его в ярость. Она так и не выучила как следует английский, однако отец не позволял ей говорить при нем на другом языке. Зато когда его не было, мать говорила по-испански, но из всех детей по-настоящему знал испанский язык только я, да и то скорее всего потому, что у матери было несколько томиков старинных испанских романов. С раннего детства я обожал подобные истории, и мать убедила меня выучить испанский язык главным образом тем, что обещала мне дать их почитать.

Сердце моей матери все еще тосковало по ее солнечной родине, о которой она часто рассказывала нам, детям, особенно зимой. Зиму она ненавидела так же, как и я. Однажды я спросил, хочется ли ей вернуться в Испанию. Вздрогнув, она ответила, что нет, потому что там живет один человек, ее враг, поклявшийся ее убить, и потому, что она привязана всем сердцем к нам и к нашему отцу. Я подумал, что этот человек, задумавший убить мою мать, наверное, и есть тот самый «сатана», как его называл отец, но

вслух сказал только, что вряд ли найдется злодей, который осмелится поднять руку на такую добрую и красивую женщину.

— Ах, сынок!— возразила мать.— Он как раз потому и ненавидит меня, что я такая красивая, или, вернее, была красивой. Если бы не твой славный отец, Томас, мне, может быть, пришлось бы выйти замуж за другого. И при этих словах лицо матери побледнело от страха.

Как-то вечером — мне тогда было уже восемнадцать с половиной лет — к нам в «сторожку» завернул, возвращаясь из Ярмута, друг моего отца, сквайр Бозард, чье поместье находилось в нашем же приходе. В разговоре он обронил, что в порту бросил якорь испанский корабль с товарами. Мой отец сразу насторожился и спросил, кто капитан этого корабля. Сквайр Бозард ответил, что не знает его имени, однако видел капитана на базарной площади; это высокий, статный мужчина, богато разодетый, с красивым лицом и со шрамом на виске.

Услышав его слова, моя мать побелела, несмотря на свою смуглую кожу, и пробормотала по-испански:

— Святая Мадонна! Только бы это был не он!

Отец тоже встревожился и начал подробно расспрашивать сквайра, как выглядел тот человек, но ничего толкового больше не узнал. Тогда он наспех попрощался с гостем, вскочил на коня и поскакал в Ярмут.

В ту ночь моя мать не сомкнула глаз. До утра просидела она в своем глубоком кресле, о чем-то раздумывая. Я простился с ней и пошел спать, а когда поутру спустился вниз, она сидела все в той же позе. До сих пор помню, как я приоткрыл дверь и увидел ее: мать была неподвижна, ее лицо казалось совсем белым в предрассветном сумраке майского дня, а ее глаза были устремлены на решетку входной двери. Я сказал:

— Вы сегодня рано поднялись, мама.

— Я совсем не ложилась, Томас,— ответила она.

— Но почему? Чего вы боитесь?

— Я боюсь прошлого и боюсь будущего, сынок. Только бы твой отец вернулся!

Часов в десять утра, когда я уже совсем было собрался в Банги к моему лекарю, который учил меня искусству врачевания, отец прискакал домой. Мать, ожидавшая его у порога, бросилась ему навстречу. Соскочив с коня, отец обнял ее и сказал:

— Не беспокойся, родная! Это, наверное, не он, у него другое имя.

— Но ты его видел?— спросила мать.

— Нет, он провел ночь на своем корабле, а я торопился к тебе, потому что знал, как ты беспокоишься.

— Я была бы спокойнее, если бы ты его увидел своими глазами, дорогой. Ведь ему ничего не стоит изменить имя!

— Об этом я не подумал,— проговорил отец.— Но ты не бойся! Если даже это и он, если даже он осмелится появиться в дитчингемском приходе, здесь найдутся люди, которые знают, как с ним поступить. Однако я уверен, что это не он.

— И слава богу!— ответила мать.

После этого они заговорили, понизив голос, и я понял, что мне не следует им мешать. Захватив свою тяжелую дубинку, я вышел на тропинку, ведущую к пешеходному мостику, но тут мать неожиданно окликнула меня. Я вернулся.

— Поцелуй меня перед уходом, Томас!— сказала она.— Ты, наверное, удивляешься и спрашиваешь себя, что все это означает? Когда-нибудь отец тебе все объяснит. А я скажу только одно: долгие годы мою жизнь омрачала страшная тень, но теперь я верю, что она рассеялась навсегда.

— Если эту тень отбрасывает человек, то ему лучше держаться подальше вот от этой штучки!— сказал я, со смехом подбрасывая свою тяжелую дубинку.

— Это человек,— ответила мать.— Однако, если тебе когда-нибудь и доведется его встретить, разговаривать с ним надо не палочными ударами.

— Не спорю, мама, но в конечном счете это, может быть, самый убедительный довод, с которым согласится любой упрямец, спасая свою шкуру.

— Ты слишком торопишься показать свою силу, Томас,— с улыбкой сказала мать и поцеловала меня.— Не забывай старой испанской пословицы: «Кто бьет последним, тот бьет сильнее!»

— Но ведь есть и другая пословица, мама: «Бей, пока тебя не ударили!»

И на этом я с ней простился.

Когда я отошел уже шагов на десять, что-то словно толкнуло меня, и я обернулся, сам не зная отчего. Моя мать стояла на пороге перед открытой дверью. Ее стройная фигура была как бы заключена в раму из белых цветов, вьющихся по стенам старого дома. На голове у нее, как обычно, была белая кружевная мантилья, завязанная под подбородком. Неизвестно почему эта мантилья на какое-то мгновение показалась мне издали погребальным саваном. Я

вздрогнул от такой мысли и взглянул в лицо матери. Она смотрела на меня печально и нежно, словно прощаясь навсегда.

Это был последний раз, что я ее видел живой.

Глава III

ПОЯВЛЕНИЕ ИСПАНЦА

теперь я должен вернуться назад и кое-что рассказать о своих собственных делах. Как я уже говорил, мой отец пожелал, чтобы я стал врачом. Поэтому, закончив в Норидже школу и вернувшись домой,— в то время мне шел уже шестнадцатый год,— я принялся изучать медицину под руководством одного лекаря, который пользовал жителей в окрестностях Банги. Звали его Гримстон, и был он человеком весьма знающим, а главное — честным, и поскольку учение мне пришлось по душе, я с его помощью делал большие успехи. Я усвоил почти все, что он мог мне передать, и отец уже поговаривал о том, что, когда мне исполнится девятнадцать лет, он пошлет меня в Лондон для завершения учения. Такие разговоры шли месяцев за пять до появления испанца. Но судьбе не было угодно, чтобы я попал в Лондон.

Не следует, однако, думать, что я в те дни занимался лишь изучением медицины. У сквайра Бозарда из Дитчингема, того самого, что рассказал моему отцу о прибытии испанского корабля, было двое детей: сын и дочка; все его другие дети,— а жена ему их родила немало,— умирали в младенчестве. Так вот, дочку звали Лили, и она была моей сверстницей, родившейся в том же году, всего на каких-нибудь три недели позже меня. Теперь Бозардов здесь уже нет, ибо моя внучатая племянница, единственная внучка сына Бозарда и его наследница, вышла замуж и носит другое имя. Но это уже между прочим.

С самого раннего возраста все мы — дети Бозарда и дети Вингфилда — жили словно родные братья и сестры. Изо дня в день мы встречались и вместе играли, будь то на снегу или среди цветов. Трудно сказать, когда я впервые почувствовал любовь к Лили и когда она полюбила меня; знаю только, что, когда я отправился в школу в Норидж, с ней мне было тяжелее расставаться, чем с матерью и всей нашей семьей. Во всех наших играх она была вместе со мной. Для нее я готов был целыми днями рыскать по всей округе, лишь бы отыскать те цветы, которые ей нравились.

И когда я вернулся из школы, ничто не изменилось. Только Лили стала застенчивее, да и сам я сначала как-то оробел, когда заметил, что она из девочки вдруг превратилась в девушку. Но все равно мы встречались часто, и наши встречи были нам дороги, хотя никто из нас не говорил об этом ни слова.

Так продолжалось вплоть до дня смерти моей матери. Но прежде чем рассказывать дальше, я должен заметить, что сквайр Бозард весьма неодобрительно смотрел на дружбу своей дочери со мной. Происходило это вовсе не потому, что я ему не нравился, а потому, что он хотел выдать Лили за моего старшего брата Джеффри, который был наследником всего отцовского состояния. Мне же он не давал ни малейшей поблажки, так что в конце концов мы с Лили стали встречаться лишь как бы случайно. Зато мой брат всегда был в сквайрском доме желанным гостем. Из-за этого между ним и мной появилась неприязнь: так всегда бывает, если между друзьями, даже самыми близкими, становится женщина. Надо сказать, что мой брат тоже влюбился в Лили, как это случилось бы на его месте со всяким, и у него на нее было, пожалуй, больше прав, чем у меня: ведь он был на три года старше и его ожидало наследство!

Может показаться, что мое чувство было слишком скороспелым, ибо в то время я еще не достиг даже совершеннолетия. Но молодая кровь горяча, а во мне к тому же была половина испанской крови, сделавшая меня мужчиной в том возрасте, когда большинство чистокровных англичан еще остаются мальчиками. Ведь в таких вещах кровь и согревающее ее солнце значат немало. Я сам в этом убеждался не раз, глядя на индейцев Анауака, которые в пятнадцать лет брали себе в жены двенадцатилетних девушек. А я в восемнадцать лет был во всяком случае достаточно взрослым, чтобы полюбить по-настоящему, один раз на всю жизнь, и я это говорю с уверенностью, хотя кое-кому может показаться, будто дальнейшая моя история опровергает эти слова. Однако впечатление это ложно, ибо не следует забывать, что мужчина может любить многих женщин и все же оставаться верным единственной, самой лучшей из всех; может нарушать букву закона любви, но при этом свято блюсти его дух и суть.

Итак, когда мне пошел девятнадцатый год, я был уже вполне сложившимся мужчиной, причем мужчиной весьма привлекательным,— теперь, на старости лет, я могу говорить об этом, отбросив ложную скромность. Не слишком высокий, всего пяти футов девяти с половиной дюймов рос-

том*, я был зато крепок, широк в плечах и отличался редкой пропорциональностью сложения. Даже сейчас, несмотря на годы, я все еще сохранил необычайно смуглый цвет кожи и большие темные глаза, а мои слегка волнистые волосы были в те времена черны, как смоль. Обычно я вел себя сдержанно и серьезно, так что даже казался мрачноватым, говорил медленно и обдуманно и гораздо лучше умел слушать, чем рассказывать. Прежде, чем что-либо решить, я все тщательно взвешивал и обдумывал, но если уже приходил к какому-нибудь решению, изменить его, будь оно плохим или хорошим, разумным или глупым, уже не могло ничто, разве что сама смерть! Кроме того, я в те дни мало верил в бога, частью из-за тайных бесед с отцом, а частью потому, что мои собственные размышления заставили меня усомниться в учении церкви, как нам его излагали. Юности свойственны поспешные обобщения, и она зачастую приходит к выводу, что все на свете лживо лишь потому, что какие-то отдельные вещи оказались действительно ложными. Так и я в те дни думал, что бога нет, потому что священник нас уверял, будто образ Девы Марии Бангийской проливает слезы и творит прочие чудеса, а в действительности все это было ложью. Теперь-то я хорошо знаю, что есть высшая справедливость, ибо в этом убеждает меня вся история моей жизни.

Вернемся, однако, к тому печальному дню, о котором шла речь. Я знал, что в тот день моя любимая Лили выйдет одна на прогулку под большие остриженные дубы своего парка. Это место называется Грабсвелл. Здесь росли, да и теперь еще растут кусты боярышника, зацветающие раньше всех в округе.

Увидев меня в воскресенье у входа в церковь, Лили сказала, что в среду боярышник, наверное, уже расцветет и она придет туда под вечер за его душистыми ветками. Вполне возможно, что она сказала это с определенным умыслом, ибо любовь пробуждает хитрость даже в душе самой невинной и правдивой девушки. К тому же я заметил, что, хотя рядом стояли ее отец и вся наша семья, Лили постаралась, чтобы мой брат Джеффри ничего не услышал, потому что с ним ей встречаться вовсе не хотелось, а мне она бросила быстрый взгляд своих серых глаз. Я тотчас дал себе клятву, что в среду вечером приду рвать цветы боярышника на то самое место, даже если мне придется ради

---

* Фут равен 30,5 см; дюйм — 2,5 см; то есть Вингфилд имел рост около 176 см.— *Прим. перев.*

этого сбежать от моего учителя и бросить всех бангийских больных на произвол судьбы. Тогда же я твердо решил, что, если мне удастся застать Лили одну, я больше не стану тянуть и выскажу ей все, что у меня на сердце. Впрочем, это не составляло такой уж великой тайны, ибо каждый из нас читал сокровенные мысли другого, хотя мы и не обменялись еще ни единым словом любви. Я не рассчитывал при этом, что девушка сразу сделается моей невестой — ведь мне еще нужно было завоевать себе место в жизни. Я только боялся, что, если буду медлить и не выясню всех ее чувств, мой старший брат обратится раньше меня к отцу Лили и той придется принять его предложение, которое она бы отвергла, будь мы тайно помолвлены.

Случилось так, что именно в тот день мне было особенно трудно вырваться. Мой наставник-лекарь занемог, и мне пришлось вместо него навестить всех его больных и раздать им лекарства. Лишь в пятом часу вечера я, наконец, попросту сбежал, ни с кем не простившись.

Милю с лишним я бежал по нориджской дороге, пока не добрался до замка и поворота к церкви, откуда было уже недалеко до дитчингемского парка. Здесь я пошел шагом, ибо вовсе не хотел появляться на глаза Лили запыхавшимся и разгоряченным. Как раз сегодня мне хотелось выглядеть как можно лучше, и я нарочно надел свое воскресное платье.

Спустившись с невысокого холма на дорогу, за которой начинался парк, я вдруг увидел всадника: он остановился на перекрестке и нерешительно поглядывал то на тропу, уходившую вправо, то назад, на путь через общинные земли к Графскому Винограднику и реке Уэйвни, то вперед на большую дорогу. По-видимому, он не знал, куда ему ехать. Я все это тотчас заметил, хотя и соображал в тот миг не очень-то быстро, потому что голова моя была занята предстоящим разговором с Лили. И еще я заметил, что этот человек был не из наших краев.

Незнакомец — я дал бы ему на вид лет сорок — казался очень высоким, имел благородную осанку и был облачен в богатый бархатный наряд, украшенный золотой цепью, свисавшей у него с шеи. Однако внимание мое целиком захватило лицо незнакомца, в котором в тот миг проглянуло что-то страшное. Длинное, тонкое, изборожденное глубокими морщинами, оно было освещено огромными глазами, горевшими словно золото на солнце; маленький, красиво очерченный рот его кривила жестокая, дьявольская усмешка; едва заметный рубец выступал на высоком лбу, изобли-

чавшем недюжинный ум. В остальном незнакомец имел облик южанина: он был смугл, его черные волосы слегка вились, так же как у меня, и он носил остроконечную темно-рыжую бородку.

К тому времени, когда я все это разглядел, я почти поравнялся со всадником, и тут он, наконец, меня заметил. Мгновенно лицо его переменилось: злобная усмешка исчезла и теперь оно казалось приятным и добродушным. Весьма вежливо приподняв шляпу, незнакомец что-то забормотал на таком ломаном английском жаргоне, что я разобрал только одно слово — Ярмут. Затем, сообразив, что я его не понимаю, он разразился громкой бранью на чистейшем кастильском наречии, проклиная английский язык и всех, кто на нем говорит.

Тогда я тоже перешел на его язык и сказал:

— Если сеньор соблаговолит высказать по-испански, что ему угодно, я, может быть, сумею ему помочь.

— Что такое? Вы говорите по-испански, благородный юноша!— воскликнул он с удивлением.— Но ведь вы не испанец, хотя могли бы им быть с вашей внешностью! Странно,— пробормотал он затем, разглядывая меня.— Черт побери, весьма странно...

— Может быть это и странно, сэр,— ответил я,— но я тороплюсь. Поэтому скажите, что вам угодно, и не задерживайте меня.

— А я кажется знаю, почему вы так спешите! Вон там, чуть подальше за ручейком, я заметил белое платьице,— проговорил испанец, указывая рукой в сторону парка.— Послушайтесь совета старшего и будьте осторожны, благородный юноша! Делайте с женщиной что хотите, но ни в чем ей не верьте, а главное — не женитесь, иначе вы доживете до такого часа, когда вам захочется ее убить!

Я сделал движение, чтобы пройти мимо, но испанец заговорил снова:

— Простите меня за эти слова: в них нет ничего худого. Со временем вы, может быть, поймете, что я говорил правду, но сейчас я не стану вас удерживать. Скажите только, по какой дороге я смогу добраться до Ярмута? Я приехал другим путем и теперь совсем запутался в вашей английской стране, где полно деревьев и даже на милю вперед ничего не видно!

Я прошел несколько шагов по тропинке, которая в этом месте сливалась с дорогой, и указал, как ему проехать к Ярмуту мимо дитчингемской церкви. При этом я заметил, что незнакомец все пристальнее всматривается в меня с за-

таенным страхом. Он словно силился его побороть и не мог. Когда я замолчал, всадник еще раз приподнял свою шляпу, поблагодарил меня и сказал:

— Не скажете ли вы, как вас зовут, благородный юноша?

— Что вам за дело до моего имени?— ответил я резко, потому что этот человек мне не нравился.— Вы ведь мне не сказали, как зовут вас!

— Да, в самом деле. Но я путешествую инкогнито. Может быть, у меня тоже было свидание с одной дамой здесь поблизости!

При этих словах незнакомец странно улыбнулся и продолжал:

— Я только хотел узнать имя того, кто любезно оказал мне услугу, но оказался на деле совсем не так любезен, как я думал.

И он тронул повод своего коня.

— Я своего имени не стыжусь!— ответил я.— До сих пор оно было незапятнанным, и если вы желаете его знать, то я вам скажу: меня зовут Томас Вингфилд!

— Я так и думал!— воскликнул незнакомец, и лицо его исказилось от ненависти. Затем, прежде чем я успел хотя бы удивиться такой перемене, он соскочил с седла и очутился от меня в трех шагах.

— Счастливый день! Посмотрим теперь, сколько правды в предсказаниях,— пробормотал он, выхватывая из ножен отделанную серебром шпагу.— Имя за имя! Хуан де Гарсиа приветствует тебя, Томас Вингфилд!

Это может показаться странным, но только в тот момент я вспомнил все, что мне довелось услышать о каком-то испанце, появление которого в Ярмуте так взволновало отца и мать. В любое другое время мысль об этом возникла бы у меня тотчас же, но в тот день я думал только о моей встрече с Лили и о том, что я должен ей сказать, а потому ни для чего другого в моей голове просто не оставалось места.

«Наверное, это и есть тот самый человек»,— сказал я себе. Больше я ни о чем не успел подумать, потому что испанец устремился на меня со шпагой в руке. Я увидел прямо перед собой тонкое острие и метнулся в сторону. Я хотел бежать, так как был совсем безоружен, если не считать дубинки, и в таком бегстве не было бы ничего постыдного. Однако при всей моей ловкости я прыгнул слишком поздно. Клинок, нацеленный прямо в сердце, прошел сквозь мой левый рукав и сквозь мякоть предплечья. Больше ничего не было задето, и тем не менее боль от полученной раны сразу

заставила меня позабыть о бегстве. Мной вдруг овладела холодная ярость и сильнейшее желание убить этого человека, который без всякого повода набросился на безоружного. В руках у меня был мой верный дубовый посох, который я вырезал у подножия Двойного Холма. Мне оставалось только воспользоваться этой дубинкой наилучшим образом.

Дубинка кажется жалким оружием по сравнению с толедским клинком в руках искусного бойца. Но у нее есть одно достоинство. Когда дубинка взлетает над вами, вы сразу забываете о том, что у вас в руках смертоносная сталь, и вместо того, чтобы пронзить ею врага, стараетесь прежде всего защитить свою голову.

Именно это и произошло в данном случае, хотя я и не могу рассказать, как в точности было дело. Испанец оказался умелым фехтовальщиком. Если бы я был вооружен так же, как он, ему, несомненно, удалось бы со мной быстро справиться. В те годы я не имел ни малейшего опыта в этом искусстве, которое в Англии было почти совершенно неизвестно. Но когда он увидел здоровенную палку, опускавшуюся на его голову, он забыл о своем преимуществе и выставил руку, чтобы смягчить удар. Дубинка обрушилась на тыльную часть его кисти. От удара шпага вылетела и упала в траву. Однако я уже не мог уняться, потому что вся кровь во мне кипела. Следующий удар пришелся испанцу по губам: он выбил ему зуб и свалил его на землю. Затем я схватил его за ногу и принялся беспощадно молотить куда попало, стараясь только не попасть по голове, ибо теперь, когда я одержал верх, мне уже не хотелось убивать негодяя.

Так я колотил его до тех пор, пока у меня не устали руки. После этого я принялся пинать его ногами, а он все время корчился, как змея с перебитым хребтом, и изрыгал сквозь зубы ужасные проклятия. Однако он ни разу не вскрикнул и не попросил пощады. Наконец я утихомирился и стал разглядывать своего противника. Воистину он был хорош — весь в ссадинах, синяках и дорожной пыли! Сейчас вряд ли кто-нибудь узнал бы в нем изящного кавалера, которого я встретил менее пяти минут назад. Теперь он лежал передо мной на спине поперек тропинки и смотрел на меня злобными глазами, взгляд которых был отвратительнее всех его кровоподтеков.

— Ну как, мой испанский сеньор, получил по заслугам?— спросил я.— Не знаю, что меня удерживает, а следовало бы разделаться с тобой точно так же, как ты хотел поступить со мной, хотя я тебя и не трогал!

С этими словами я поднял его шпагу и приставил острие к его горлу.

— Коли, проклятый выродок!— прохрипел испанец.— Лучше умереть, чем жить после такого позора!

— О нет!— ответил я.— Я не какой-нибудь чужеземный убийца. Безоружных я не убиваю. Тебе придется ответить за все перед судом. Для таких, как ты, у наших палачей всегда есть в запасе веревка.

— В таком случае тебе придется тащить меня в суд на себе,— прохрипел он и закрыл глаза, словно потеряв сознание. По-видимому, с ним действительно случился обморок.

В тот момент, когда я стоял и раздумывал, что мне дальше делать с этим мерзавцем, взгляд мой случайно упал на просвет в живой изгороди, и там, среди грабсвеллских дубов, в каких-нибудь трехстах ярдах от меня вдруг мелькнуло знакомое белое платьице. Мне показалось, что его обладательница удаляется в сторону мостика вблизи водопоя, словно наскучив ждать того, кто слишком запоздал. Тогда я подумал, что, если потащу этого человека в деревенскую каталажку или в какое-нибудь другое надежное место, мне уже не удастся сегодня встретиться с моей любимой, а когда еще выпадет такой случай — бог весть! Нет, я вовсе не собирался терять час беседы с Лили ради сведения счетов со всеми не в меру воинственными чужеземцами. К тому же этот и без того получил уже хороший урок за свою наглость. Я подумал, что он и так никуда не денется, пока я улажу мои любовные дела, а если он сам не захочет меня подождать, то я найду способ его к этому принудить.

Конь испанца пощипывал траву шагах в двадцати от меня. Я подошел к нему, отцепил поводья и как можно крепче привязал чужеземца к стоявшему поодаль от дороги дереву.

— Подожди меня здесь, пока я не освобожусь,— проговорил я.— Потом я с тобой разделаюсь.

Но когда я повернулся и начал удаляться, в душу мою закралось сомнение. Я снова вспомнил страх матери и поспешный отъезд отца в Ярмут из-за какого-то испанца. А сегодня испанец появляется в Дитчингеме и, едва узнав мое имя, набрасывается на меня как бешеный, пытаясь убить. Может быть, это и есть тот самый человек, которого так боялась моя мать? Правильно ли я сделал, оставив его без присмотра только ради того, чтобы встретиться со своей милой? В глубине души я чувствовал, что совершаю ошибку, однако страсть моя была так глубока, а сердце влекло меня с такой неудержимой силой к девушке в белом плать-

ице, мелькавшем среди деревьев парка, что я позабыл все свои опасения.

Если бы я вернулся, насколько бы это было лучше и для меня и для тех, кого в то время еще не было на свете! Тогда они не познали бы ужаса смерти, а я не вкусил бы тоску изгнания, горечь рабства и муки отчаяния на жертвенном алтаре.

Глава IV

ТОМАС ПРИЗНАЕТСЯ В ЛЮБВИ

Итак, я привязал испанца как можно надежнее спиной к дереву, стянул ему руки позади ствола, взял его шпагу и бросился со всех ног вслед за Лили. Подоспел я вовремя, потому что еще минута, и она бы уже свернула на дорогу, которая ведет мимо водопоя к мостику и дальше через парк на холме выходит прямо к дому сквайра.

Заслышав мои шаги, Лили обернулась, чтобы поздороваться со мной, или, вернее, чтобы посмотреть, кто это за нею бежит. Озаренная вечерним светом, она стояла с охапкой цветущих ветвей боярышника в руках, и при виде ее сердце мое забилось с бешеной силой. Никогда еще она не казалась мне более прекрасной, чем в тот миг, когда остановилась вот так в белом платье, с полупритворным удивлением на лице и в глубине серых глаз, с бликами солнца на прядях каштановых волос, выбившихся из-под маленького чепчика.

Лили не походила на круглощеких деревенских девчонок, вся краса которых заключается в их молодости и здоровье. Она была высокой, стройной юной леди, уже тогда достигшей полного расцвета грации и красоты. Поэтому, несмотря на то, что мы были почти ровесниками, рядом с ней я себя чувствовал младшим, и это чувство придавало моей любви к Лили особый оттенок почтительности.

— Ох, это ты, Томас!— проговорила Лили, розовая от смущения.— А я уже думала, ты не придешь. То есть, я хотела сказать, что собралась домой, потому что уже поздно. Но что с тобой, Томас? Откуда ты так мчишься? Ой, у тебя вся рука в крови! А эта шпага — где ты ее взял?

— Погоди, дай отдышаться,— ответил я.— Давай пройдем обратно к боярышнику, там я тебе все расскажу.

— Но ведь мне пора домой! Я гуляю в парке уже больше часа. Да и цветов на боярышнике почти нет.

— Лили, я не мог прийти раньше! Меня задержали, да еще так необычно! А цветы есть, я видел, когда бежал...

— А я и не знала, что ты придешь, Томас,— проговорила Лили, потупив взор.— Ведь у тебя столько дел! Разве я думала, что ты прибежишь сюда собирать боярышник, словно девочка? Но расскажи мне, что случилось, только не очень длинно. Я немного пройдусь с тобой.

Мы повернулись и пошли рядышком обратно к подстриженным дубам парка. По дороге я рассказал Лили про испанца, о том, как он пытался меня убить и как я его отделал своей дубинкой. Лили слушала с жадным вниманием и, узнав, что я был на волосок от смерти, даже застонала от страха.

— Значит, ты ранен, Томас?— прервала она меня.— Смотри, как сильно бежит кровь из руки. Рана глубокая?

— Не знаю, я еще не видел... так спешил!..

— Томас, снимай куртку! Я тебя перевяжу. Нет, нет, не спорь! Так надо.

Не без труда я стянул куртку и закатал рукав рубашки выше того места, где в предплечье была сквозная колотая рана. Лили промыла ее водой из ручья и, не переставая шептать жалостливые слова, перевязала своим платком. По совести говоря, я охотно претерпел бы еще большие страдания, лишь бы она за мной так ухаживала. Ее нежные заботы избавили меня от последних сомнений и придали мне мужество, которое могло бы меня покинуть в ее присутствии. Правда, сначала я не мог найти слов, но, улучив момент, когда Лили перевязывала мне рану, я нагнулся и поцеловал ее милосердную руку.

Лили покраснела до корней волос; лицо ее пылало, словно закатное небо; но еще ярче алела ее рука, которую я поцеловал.

— Зачем это, Томас?— прошептала она.

И тогда я ответил:

— Затем, что я люблю тебя, Лили, и не знаю, как мне рассказать о своей любви. Я люблю тебя, дорогая, я всегда любил тебя и буду любить тебя вечно!

— Ты уверен в себе, Томас?— снова прошептала она.

— Я верю в свою любовь больше всего на свете, Лили! Но я хочу быть уверен, что ты тоже любишь меня так же сильно, как я.

Несколько мгновений Лили стояла молча, опустив на грудь голову. Затем она вскинула ее, и я увидел такие сияющие глаза, каких до этого не видел ни разу.

— Неужели ты сомневаешься, Томас?— проговорила Лили.

Тогда я обнял ее и поцеловал прямо в губы.

Воспоминания об этом поцелуе я хранил потом всю мою долгую жизнь и помню его до сих пор, хотя я уже стар и сед и стою на краю могилы. Поцелуй этот был для меня величайшим счастьем, которое мне довелось испытать. Увы, он был слишком короток, этот первый чистый поцелуй юношеской любви!

— Значит,— заговорил я снова, еще не придя как следует в себя,— значит, ты любишь меня так же крепко, как я тебя?

— Если ты сомневался раньше, то неужели ты еще сомневаешься теперь?— едва слышно ответила Лили.— Однако послушай, Томас,— продолжала она.— Любить друг друга — прекрасно! Мы рождены друг для друга и даже если бы захотели разлюбить, это было бы не в нашей власти. Но как ни сладка и ни свята любовь, нельзя забывать о долге. Что скажет мой отец, Томас?

— Не знаю, любимая, хотя догадаться нетрудно. Я уверен, что он захочет избавиться от меня и выдать тебя за моего брата Джеффри.

— Может быть, но я этого не захочу, Томас. Как бы ни было сильно чувство долга, оно не сможет принудить женщину к замужеству с тем, кто ей не мил. Однако чувство это может помешать ей выйти замуж за любимого и, повинуясь долгу, я наверное, не должна была говорить о своей любви.

— О нет, Лили! Любовь — это самое главное, пусть даже она не приносит сразу плодов. Все равно мы будем вместе отныне и навсегда!

— Ах, Томас, ты еще слишком молод, чтобы так говорить. Я тоже молода, однако мы, женщины, быстрее становимся взрослыми. А у тебя... что, если у тебя это только юношеское увлечение, что, если оно пройдет вместе с юностью?

— Оно не пройдет никогда, Лили. Не зря ведь говорят, что первая любовь — самая верная, и что посеянное в юности расцветет в зрелые годы. Слушай, Лили, мне придется завоевывать себе место в жизни, а для этого, наверное, потребуется время. Я прошу тебя лишь об одном, хотя и знаю, что просьба моя эгоистична: обещай, что будешь мне верна, и ни за что не станешь женою другого, пока я жив!

— Это не просто, Томас, потому что со временем многое изменяется. Однако в себе я уверена, и я обещаю,— нет, я

даю тебе в этом клятву! В тебе я не так уверена, но что делать? Женщинам приходится рисковать всем. Если я проиграю,— прощай мое счастье!

Не знаю, о чем мы еще говорили, но эти слова врезались мне в память и я их запомнил: они были слишком значительны сами по себе и я слишком часто их вспоминал в последующие годы.

Наконец я почувствовал, что мне пора уходить, хотя расставаться нам очень не хотелось. На прощание я еще раз обнял Лили и поцеловал, прижав ее к себе так крепко, что несколько капель крови из моей раны упало на ее белое платье. Случайно я поднял в этот миг глаза и замер от страха. Не далее как в пяти шагах стоял отец Лили, сквайр Бозард, и смотрел на нас далеко не ласковым взглядом.

Как потом оказалось, сквайр Бозард ехал по тропинке к водопою и, заметив под дубами какую-то парочку, слез с коня, чтобы прогнать ее из своего парка. Только подойдя совсем близко, он узнал, кого он собирался прогнать, и теперь стоял перед нами, остолбенев от изумления.

Лили и я медленно отодвинулись друг от друга, глядя на сквайра Бозарда. Это был низенький толстый человечек с красным лицом и строгими серыми глазами; сейчас они от ярости едва не выскакивали из орбит. На какое-то мгновение сквайр утратил дар речи, но когда он обрел его вновь, слова полились из его уст сплошным потоком. Я уже не помню всего, что он кричал, но общий смысл сводился к тому, что сквайр хотел бы знать, что тут происходит между его дочерью и мной. Я подождал, пока он замолчит, чтобы перевести дух, и, воспользовавшись паузой, ответил ему, что мы с Лили любим друг друга и сейчас обручились.

— Это правда, дочь моя?— спросил сквайр.

— Да, правда,— смело ответила Лили.

Тогда он разразился бранью.

— Вертихвостка!— кричал сквайр.— Тебя следует выпороть и запереть, чтобы ты посидела на хлебе да на воде! А ты, мой петушок, испанский ублюдок, запомни раз и навсегда: эта девушка не про тебя! Для нее найдется кто-нибудь получше! Ах ты, пустая коробка из-под пилюль! Да как же ты осмелился волочиться за моей дочерью, когда у тебя в кармане не звенит и двух серебряных пенни? Сначала добудь себе имя и деньги, а потом уже заглядывайся на таких, как она!

— Я так и хочу сделать, и я это сделаю, сэр,— перебил я его.

— Ты сделаешь? Ты, аптекарский мальчишка на побе-

гушках, хочешь добиться имени и положения? Что ж, попробуй! Только пока ты будешь стараться, моя дочь не станет ждать и благополучно выйдет замуж за того, кто всем этим уже обладает — ты знаешь, о ком идет речь. Дочь моя, сейчас же скажи ему, что между вами все кончено!

— Я не могу так сказать, отец,— ответила Лили, оправляя оборки на своем платье.— Если вы не желаете, чтобы я стала женой Томаса, я исполню свой долг и не выйду за него замуж. Но у меня тоже есть сердце и никакой долг меня не заставит стать женой того, кого я не люблю. Я поклялась, что пока Томас жив, я буду принадлежать только ему, и никому другому.

— Я вижу, ты смелая девчонка, и то хорошо!— проговорил сквайр.— Но теперь послушай, что я тебе скажу: либо ты выйдешь замуж за того, кого я тебе выбрал, и тогда, когда я прикажу, либо я тебя выгоню — и живи как хочешь. Неблагодарная, ты забыла, кто тебя вырастил? А что же до тебя, клистирная трубка, то я тебя отучу целоваться в кустах с дочками честных людей!

С этими словами он поднял палку и бросился на меня.

Второй раз в этот день горячая кровь вскипела во мне. Я схватил шпагу испанца, которая валялась рядом со мной на траве, и сделал выпад. Положение переменилось. Раньше мне пришлось драться дубиной против шпаги, зато теперь шпага была в моих руках. И если бы не Лили, которая, коротко вскрикнув от страха, успела ударить меня снизу по руке, так что клинок скользнул над плечом сквайра, я наверняка проткнул бы ее отца насквозь и окончил свои дни гораздо раньше — с петлей на шее.

— Безумец!— воскликнула Лили.— Неужели ты думаешь, что получишь меня, если убьешь моего отца? Сейчас же брось эту шпагу, Томас!

— Я вижу, мне тут надеяться почти не на что,— запальчиво возразил я,— а потому скажу тебе, что даже ради всех девушек на свете я никому не позволю избить меня палкой, как какого-нибудь мальчишку!

— За это я на тебя не сержусь, парень,— проговорил сквайр Бозард уже добродушнее.— Вижу, что у тебя тоже есть мужество, которое тебе сослужит добрую службу, и считаю, что был неправ, когда в сердцах обозвал тебя клистирной трубкой. Но я уже сказал, что эта девушка не для тебя, а потому лучше тебе уйти и забыть ее. И берегись, если я еще когда-нибудь увижу, что ты ее целуешь! За это ты поплатишься жизнью. Завтра я еще поговорю обо всем с твоим отцом, так и знай!

— Ну что ж, пойду, потому что мне пора уходить,— ответил я.— Однако я никогда не перестану надеяться, сэр, что когда-нибудь смогу назвать вашу дочь своей женой. Прощай, Лили! Переждем, пока буря утихнет!

— Прощай, Томас!— ответила она, заливаясь слезами.— Не забывай меня! А я свою клятву всегда буду помнить!

Но тут сквайр Бозард схватил ее за руку и увлек за собой.

Мне тоже осталось только уйти, и я удалился, расстроенный, однако не слишком огорченный, ибо знал, что хотя и навлек на себя гнев отца, зато одновременно завоевал искреннюю любовь дочери, а любовь длится дольше, чем злоба, и в конечном счете рано или поздно побеждает.

Отойдя на некоторое расстояние, я, наконец, вспомнил о моем испанце; за всеми этими любовными и палочными объяснениями он у меня начисто выскочил из головы. Я повернул вспять, чтобы оттащить испанца в каталажку, заранее испытывая от этого удовольствие, потому что был рад хоть на ком-нибудь сорвать злость. Но судьба спасла его руками дурака. Добравшись до места, я увидел, что испанец изчез, а возле дерева, к которому он был накрепко прикручен, стоит деревенский дурачок Билли Миннс и поглядывает то на дерево, то на серебряную монету у себя на ладони.

— Эй, Билли! Где человек, который был здесь привязан?— спросил я.

— Не знаю, мастер Томас,— прошепелявил он на своем норфолкском наречии,— я здесь не стану его воспроизводить.— Должно быть, уже полпути промчался, а куда — не знаю. Уж очень он быстро поскакал, когда я его подсадил на лошадь.

— Ты посадил его на коня, дурак? Когда это было?

— Когда было? Почем мне знать. Может час прошел, а может, два. Мы во времени не разбираемся. Оно само ведет счет, нас не спрашивая, как хозяин харчевни. Ого, поглядели бы вы, как он поскакал! Шпоры-то у него длиннющие, а он прямо воткнул их в бока своей лошадке! И не диво! Подумать только — среди бела дня посреди королевской дороги на него напали разбойники! Бедняга едва не рехнулся от страха. Слова сказать не мог, только блеял, точно овца. Но Билли развязал его, поймал ему лошадь и посадил в седло. А за свое доброе дело Билли получил вот эту монетку. Ну и обрадовался же он, когда я его отпустил! Ого! Видели бы вы, как он мчался!

— Ты еще больший дурак, чем я думал, Билли Миннс!— сказал я в сердцах.— Ведь этот человек едва не убил меня! Я с ним справился, связал, а ты его отпустил...

— Значит, он хотел вас убить, мастер, а вы его связали? Почему же тогда вы не посторожили его, пока я подойду? Тогда бы мы отвели его и посадили в колодки. Для нас это все равно что раз плюнуть. Вот вы обозвали меня дураком. А если бы вы нашли человека, привязанного к дереву, всего в крови и в синяках, который даже говорить не может от страха, разве бы вы его не освободили? Вот он и удрал, и осталась от него только эта штучка!

И дурачок подбросил в воздух монету.

Сообразив, что на сей раз Билли прав и что я сам во всем виноват, я повернулся и, не говоря ни слова, направился к дому, однако не напрямик, а по тропинке, которая пересекала дорогу и вела к вершине холма «Графский Виноградник». Мне хотелось побыть немного одному и обдумать все, что произошло между мной, Лили и ее отцом.

Мой путь лежал по склону, поросшему густым подлеском, среди которого возвышались огромные дубы. Они и сейчас виднеются ярдах в двухстах от дома, где я пишу. Подлесок был прорезан тропинками, по которым частенько гуляла моя покойная мать. Одна из этих тропинок проходила у подножия холма вдоль берега живописной Уэйвни, а вторая шла параллельно ей футов на сто выше, по гребню холма. Иными словами говоря, эти тропинки или, вернее, одна замкнутая тропинка образовывала как бы вытянутый овал, короткие стороны которого поднимались по склонам холма.

Вместо того, чтобы направиться вверх по тропинке прямо к дому, я немного спустился и пошел по ее нижней части вдоль берега. Здесь с одной стороны от меня текла река, с другой — рос густой кустарник. Я брел, опустив глаза, погруженный в глубокое раздумье о радости нашей любви, о горечи расставания с Лили и о гневе ее отца. Что-то белое попалось мне под ноги. Занятый своими мыслями, я не обратил внимания на эту тряпку и просто отбросил ее в сторону кончиком испанской шпаги. Однако форма и выработка этого куска материи остались в моей памяти. Я прошел еще шагов триста и был уже недалеко от дома, когда вдруг снова представил себе мягкую, нежную вещицу, брошенную на траву. В ней было что-то очень знакомое! Невольно мысль моя перескочила с клочка белой материи на испанскую шпагу, которой я его отбросил в сторону, а со шпаги — на ее владельца. Что привело его в наши края?

Наверняка какое-нибудь недоброе дело. Почему он при виде меня испугался и почему, узнав мое имя, напал на меня?

Я остановился, все еще глядя себе под ноги. Случайно взгляд мой упал на следы, отпечатавшиеся на сыром песке тропинки. Это были следы моей матери. Я узнал бы их среди тысячи других, потому что такой маленькой ножки не было ни у одной женщины во всей округе.

Рядом с ними, словно преследуя их, шли другие следы. Сначала я их принял за женские, настолько они были узки, но тут же сообразил, что это не так: чересчур длинные для женской ноги отпечатки оставила совершенно незнакомая мне обувь со слишком острым носком и на слишком высоком каблуке. И тут я вдруг вспомнил, что на испанце были именно такие сапоги; я хорошо их разглядел, пока с ним разговаривал. Значит, это его следы шли за следами моей матери! Значит, он бежал за нею, потому что во многих местах следы сходились вплотную, а кое-где на сыром песке остались только отпечатки его ног, под которыми исчезли следы матери. И в тот же миг я догадался, какую белую тряпку я отбросил в сторону. Это была мантилья моей матери! Я ее узнал, потому что видел каждый день на голове матери, а тут она валялась на земле. Все это я сообразил мгновенно и оцепенел от невыносимого, острого ужаса. Зачем этот человек преследовал мою мать и почему ее мантилья очутилась на тропинке?!

Я повернулся и бросился бежать, как одержимый, к тому месту, где заметил белое кружево. Следы все время были передо мной. Вот и то место. Да, это был головной убор моей матери, словно сорванный грубой рукой. Но где же она сама?

С замирающим сердцем я снова склонился над отпечатками ног, стараясь их разобрать. Здесь они перемешались, как будто два человека кружились на месте, то в одну, то в другую сторону, борясь друг с другом. Дальше на тропинке не было видно ничего. Тогда я начал рыскать вокруг, словно гончая. Сначала я направился в сторону реки, затем вверх по склону. Здесь следы появились вновь: одни убегали, а другие их преследовали. Я шел по ним ярдов пятьдесят с лишним, иногда теряя их на мягком дерне, но снова находя на песке или на суглинке. Так они привели меня к стволу большого дуба и тут снова смешались, потому что здесь преследователь настиг свою жертву.

Теперь я понял все и почти обезумел от страха. Беспорядочно, словно в кошмаре, я заметался во все стороны,

пока не увидел продолжения следов — следов испанца. Отпечатки были четкими и глубокими, как будто человек нес какой-то тяжелый груз. Я пошел по этим следам. Сначала они вели меня вниз по склону холма к реке, затем свернули в сторону, к тому месту, где заросли кустарника были гуще. В самой чащобе, уже покрытые листьями, ветки были пригнуты к земле, словно для того, чтобы что-то скрыть. Я отвел их в сторону. В наступивших сумерках передо мной смутно белело мертвое лицо моей матери.

Глава V

ТОМАС ДАЕТ КЛЯТВУ

Не знаю, сколько времени я простоял, пораженный ужасом, над телом любимой матери. Потом я попробовал поднять ее и увидел, что грудь ее пронзена, пронзена той самой шпагой, которая все еще была у меня в руке.

Тогда я понял все. Это сделал испанец! Я встретил его, когда он спешил уйти подальше от места преступления. Узнав, чей я сын, он пытался убить меня из ненависти или по какой-то другой причине. И я держал этого дьявола в своих руках и упустил его, не отомстив только потому, что мне хотелось набрать цветущего боярышника для своей милой! Если бы я знал правду, я бы сделал с ним то же самое, что делают жрецы Анауака с теми, кого приносят в жертву своим богам!

Когда я все это осознал, слезы горечи, бешенства и стыда хлынули из моих глаз. Я повернулся и, как безумный, бросился бежать к дому.

Я встретил отца и моего брата Джеффри у ворот — они возвращались верхом с бангийского рынка. У меня было такое лицо, что, увидев его, оба закричали в один голос:

— Что? Что случилось?

Трижды я поднимал на отца глаза и не решался ответить, боясь, что этот удар его сразит. Но я должен был говорить и в конце концов сказал все, обращаясь к моему брату Джеффри:

— Там, у подножия холма, лежит наша мать. Ее убил испанец по имени Хуан де Гарсиа.

Услышав мои слова, отец побелел так страшно, словно у него остановилось сердце. Челюсть его отвалилась, и глухой стон вырвался из широко раскрытого рта. Однако, уцепив-

шись рукой за луку, он удержался в седле и, склонив ко мне бледное, как у призрака, лицо, спросил:

— Где испанец? Ты убил его?

— Нет, отец. Я встретился с ним случайно близ Грабсвелла. Когда он узнал мое имя, он хотел убить меня, но я обломал об него дубинку, избил его в кровь и отнял у него шпагу.

— Ну, а потом?

— А потом я его упустил, потому что не знал, что он сделал с моей матерью. Я все расскажу вам после...

— И ты отпустил его? Ты отпустил Хуана де Гарсиа? Пусть же проклятье божье лежит на тебе, сын мой Томас, до тех пор, пока ты не докончишь того, что начал сегодня!

— Не проклинайте меня, отец, я уже сам себя проклял в душе. Поверните лучше коней и скорее скачите в Ярмут, потому что он отправился туда часа два назад. Там стоит его корабль. Может быть, вы успеете его захватить, пока он не уплыл.

Не говоря больше ни слова, отец и брат круто развернули коней и канули во мрак наступающей ночи.

Всю дорогу они мчались галопом. Кони у них были добрые, и через полтора с небольшим часа бешеной скачки они добрались до Ярмута. Но стервятник уже улетел. По его следам они бросились в порт и узнали, что совсем недавно он отплыл на ожидавшей его лодке к своему кораблю, который стоял на рейде на якоре, заранее распустив почти все паруса. Приняв испанца на борт, корабль тотчас отплыл и затерялся в ночи. Тогда мой отец приказал объявить, что заплатит двести золотых монет тому, кто захватит убийцу, и два корабля пустились за ним в погоню. Но они не успели его перехватить. Задолго до рассвета испанский корабль вышел в открытое море и скрылся из виду.

Тем временем, когда отец и брат ускакали, я созвал всех слуг и работников и объявил им о том, что произошло. Затем, захватив фонари, потому что стало уже совсем темно, мы направились к густым зарослям кустарника, где лежало тело моей матери. Я шел впереди, потому что слуги трусили. Я тоже боялся, сам не знаю чего. Совершенно непонятно, почему мать, которая так нежно любила меня при жизни, теперь после смерти внушала мне такой ужас? Тем не менее, когда мы пришли на место и когда я увидел в темноте два горящих глаза и услышал треск сучьев, я едва не упал от страха, хотя и знал, что это может быть только лисица или какая-нибудь бродячая собака, привлеченная запахом смерти.

Наконец я приблизился к матери и подозвал слуг. Мы положили ее тело на дверь, снятую для этого с петель, и так в последний раз моя мать вернулась домой.

Эта тропинка навсегда останется для меня проклятым местом. С того дня, как моя мать погибла от руки своего двоюродного брата Хуана де Гарсиа, прошло семьдесят с лишним лет; я состарился и привык ко всяким ужасам, но все равно до сих пор не решаюсь ходить этой тропой один, особенно по ночам.

Я знаю, что воображение часто выкидывает с нами злые шутки, однако, когда с год назад я отправился расставлять силки на тетеревов и очутился в ноябрьских сумерках под тем самым дубом, готов поклясться, что вся эта сцена снова предстала передо мной. Я видел самого себя молодым парнем; моя раненая рука все еще была повязана платком Лили. Я медленно спускался по склону холма, а за мной, сгибаясь под тяжестью страшной ноши, двигались силуэты четырех слуг. Как семьдесят лет назад, я снова слышал ропот волн и шум ветра, который шептался с речным камышом. Я видел облачное небо с разбросанными по нему редкими темно-синими просветами и колеблющиеся отблески фонарей на белой, вытянувшейся на двери фигуре с кровавым пятном на груди. Да, да, я сам слышал, как, идя впереди с фонарем в руках, приказывал слугам взять правее, чтобы обойти выбоину, и странно мне было слышать свой собственный юношеский голос. Я знаю, хорошо знаю, что это было только видение, но все мы — рабы своего воображения и все мы боимся мертвых, а потому даже мне страшно ходить по ночам по этой тропинке, хотя я и сам уже наполовину мертвец.

Но вот мы дошли с нашей ношей до дома, где женщины приняли ее и, рыдая, приступили к последнему обряду. Мне пришлось бороться не только с собственным отчаянием, но и заботиться о моей сестре Мэри; за нее я боялся больше всего. Я думал, что она сойдет с ума от ужаса и горя, но под конец она впала в какое-то оцепенение, а я спустился вниз и принялся расспрашивать слуг, сидевших в кухне вокруг очага. В ту ночь никто не ложился спать.

От слуг я узнал, что примерно за час или чуть побольше до того, как я встретился с испанцем, они видели на тропинке, ведущей к церкви, богато разодетого незнакомца. Он привязал своего коня среди кустов ежевики и дрока на вершине холма, некоторое время постоял, словно в нерешительности, пока моя мать не вышла из дому, а затем начал спускаться следом за ней. Я узнал также, что один из на-

ших людей, работавших в саду, расположенном в каких-нибудь трехстах шагах от того места, где было совершено убийство, слышал крики, однако не обратил на них внимания. Он решил, что там забавляется какая-то парочка из Банги, затеявшая обычную майскую беготню по лесу. Воистину, в тот день мне казалось, что весь наш дитчингемский приход превратился в приют для дураков, среди которых первым и самым тупым идиотом был я. Эта мысль с тех пор не раз приходила мне в голову уже в иных обстоятельствах.

Но вот пришло утро, и вместе с ним вернулись из Ярмута мой отец и брат. Они прискакали на чужих конях, потому что своих загнали. Следом за ними к полудню пришла весть, что корабли, отплывшие на поиски испанца, из-за шторма вернулись в порт, так и не увидев его судна.

Ничего не утаивая, я рассказал отцу все о моем столкновении с убийцей матери и выдержал новый приступ отцовского гнева за то, что, зная о страхе моей матери перед неким испанцем, не послушался голоса разума и упустил убийцу ради беседы со своей любимой. Брат мой Джеффри тоже не выразил мне ни малейшего сочувствия. Девушка нравилась ему самому, и он разозлился на меня, когда узнал, что мой разговор с Лили не был безрезультатным. Но об этой причине своей неприязни брат промолчал. И последней каплей, переполнившей чашу, было появление сквайра Бозарда, приехавшего вместе с другими соседями взглянуть на покойную и посочувствовать отцу в его утрате. Покончив с соболезнованиями, он тут же заявил, что моя помолвка с Лили произошла против его воли, что он этого не потерпит и что, если я буду по-прежнему за ней волочиться, их старой дружбе с отцом придет конец.

Удары сыпались со всех сторон. Смерть любимой матери, тоска по возлюбленной, с которой меня разлучили, угрызения совести за то, что я выпустил испанца буквально из рук, гнев отца и злоба брата — все разом обрушилось на меня. Воистину эти дни были так беспросветно горьки, что в том возрасте, когда стыд и горе воспринимаются всего острее, я мечтал только об одном — умереть и лечь в землю рядом с матерью. Единственное, что меня поддержало тогда, это записка от Лили, переданная ее доверенной служанкой. В ней Лили уверяла меня в своей нежной любви и заклинала не падать духом.

Наконец наступил день похорон, и мою мать, облаченную в белоснежные одежды, опустили на предназначенное ей место в приделе дитчингемской церкви. Там же рядом с

нею покоится ныне и мой отец, а чуть поодаль, под бронзовыми изваяниями,— родители Лили и все их многочисленные дети.

Эти похороны были для меня мучительны. Не в силах сдержать свое горе, отец разрыдался, а моя сестра Мэри без чувств упала мне на руки. Почти все в церкви плакали, потому что, хотя моя мать и была по рождению чужестранкой, ее все любили за обходительность и доброе сердце. Но вот похороны подошли к концу. Благородная испанская дама и жена англичанина уснула последним сном в старой церкви, где она будет покоиться еще долго после того, как люди позабудут не только ее трагическую историю, но и самое ее имя. А это, как видно, случится скоро, потому что из всех Вингфилдов в наших краях остался в живых только один я. У сестры моей Мэри, правда, есть наследники, к которым перейдет все мое состояние, за исключением некоторых пожертвований на бедных Банги и Дитчингема, однако они уже носят другое имя.

Когда все было кончено, я вернулся домой. Отец сидел в гостиной, погруженный в безысходную скорбь, а рядом с ним — мой брат Джеффри. Отец снова начал осыпать меня самыми горькими упреками за то, что я упустил убийцу, когда сам бог отдал его в мои руки.

— Вы забываете, отец, он же любезничал с девушкой,— язвительно заметил Джеффри. А это для него, видно, было куда важнее, чем спасение матери. Ну что же, зато он сразу убил двух зайцев: позволил убийце бежать, хоть и знал, что наша мать больше всего боялась появления испанца, и заодно поссорил нас со сквайром Бозардом, нашим добрым соседом, которому почему-то весьма не понравилось подобное ухаживание.

— Да, ты прав,— отозвался отец.— Кровь матери на твоих руках, Томас.

Я слушал и чувствовал, что больше не в силах переносить подобную несправедливость.

— Все это ложь!— воскликнул я.— И я это повторю даже родному отцу. Ложь! Этот человек убил мою мать до того, как я его встретил. Он уже возвращался в Ярмут к своему кораблю и только случайно сбился с дороги. Почему же вы говорите, что кровь матери на моих руках? Что же до моего ухаживания за Лили Бозард, то это уже мое дело, братец, а не твое, хотя тебе, конечно, хотелось бы, чтобы все было иначе! А вы, отец, почему вы не сказали мне раньше, что боитесь этого испанца? Я слышал только какие-то намеки и не обратил на них внимания, потому что

думал о другом. А теперь слушайте, что я вам скажу. Вы, отец, призвали на меня проклятие божье, чтобы оно тяготело надо мной до тех пор, пока я не найду убийцу и не завершу того, что начал. Да будет так! Пусть преследует меня проклятие божье, пока я его не найду. Я еще молод, но зато силен и ловок. С первой же оказией я отправляюсь в Испанию и буду охотиться за ним до тех пор, пока его не прикончу или не узнаю, что он уже мертв. Если вы дадите денег, чтобы помочь мне в поисках,— хорошо; если нет — обойдусь и без них. Но перед богом и перед духом моей матери я клянусь, что не успокоюсь и не остановлюсь до тех пор, пока не заколю злодея той же самой шпагой, которой была убита она, пока не отомщу за ее кровь убийце или не уверюсь, что он умер, и если я когда-нибудь почему-либо нарушу свою клятву, пусть погибну я еще более страшной смертью, чем погибла мать, пусть душа моя будет отвергнута на небесах, а имя мое навсегда опозорено на земле!

Так в ярости и отчаянии я дал клятву, воздев руки к небу, чтобы призвать его в свидетели истинности моих слов.

Отец смотрел на меня с одобрением.

— Если ты решился, сын мой Томас, в деньгах у тебя не будет недостатка,— сказал он.— Я бы сделал это сам, ибо кровь можно смыть только кровью, но силы мои уже не те. А потом меня слишком хорошо знают в Испании, и Святое Судилище меня сразу найдет. Отправляйся же, и да будет с тобой мое благословение! Ты должен это сделать, потому что наш враг ускользнул от нас по твоей оплошности.

— Да, да, он должен ехать,— поддакнул мой брат Джеффри.

— Ты это говоришь только потому, что рад от меня избавиться,— ответил я ему со злостью.— А избавиться от меня тебе хочется для того, чтобы занять мое место подле одной девушки, которую мы оба знаем. Ты хочешь воспользоваться моим отсутствием. Что ж, попытайся, если совесть тебе позволяет! Но помни — козни за моей спиной не доведут тебя до добра!

— Девушка достанется тому, кто сумеет ее завоевать,— ответил Джеффри.

— Сердце девушки уже завоевано, братец. Ты можешь купить у ее папаши только тело, но никогда не получишь души, а тело без души — незавидная добыча!

— Довольно!— вступился отец.— Не время сейчас болтать о любви и о девушках. Слушайте меня! Я расскажу

вам о вашей матери и об испанце, который ее убил. Раньше я не говорил об этом, но теперь я должен сказать вам все.

И отец начал:

«Когда я был молодым парнем, мне пришлось по воле отца отправиться в Испанию. Я попал в монастырь в городе Севилья, однако монахи и монашеская жизнь не пришлись мне по душе, и я оттуда сбежал. Год с лишним я перебивался как мог, потому что после бегства из монастыря боялся вернуться в Англию. Впрочем, жил я не так уж плохо, добывая деньги разными случайными способами, но главным образом — стыдно признаться!— азартными играми, в которых мне всегда везло. И вот однажды ночью за игорным столом я встретил Хуана де Гарсиа. Это его настоящее имя. Он его выболтал Томасу в порыве ярости, когда хотел его заколоть.

В те времена де Гарсиа уже пользовался дурной славой, несмотря на то, что был еще совсем юнцом. Но собой он был хорош, отличался приятным обхождением и принадлежал к знатному роду. Случилось так, что он выиграл у меня в кости и, придя в отличное настроение, пригласил в дом своей тетки, знатной севильской вдовы. У нее была единственная дочь, и это была ваша мать. Я узнал, что девушка, Луиса де Гарсиа, обручена со своим двоюродным братом, однако не по собственной воле, ибо контракт о помолвке был подписан тогда, когда ей едва исполнилось восемь лет. Тем не менее союз этот считался законным и нерушимым, поскольку в Испании такая помолвка рассматривается чуть ли не как освященный церковью брак. Женщины, связанные подобными обязательствами, обычно не питают к своим нареченным никаких нежных чувств, и так было с юной Луисой. По правде говоря, она просто ненавидела и боялась Хуана де Гарсиа, хотя он, я думаю, по-своему любил ее больше всего на свете. Под разными предлогами она добилась от Хуана согласия отложить свадьбу до тех пор, пока ей не исполнится двадцать лет. Но чем она становилась холоднее, тем больше он загорался желанием завладеть ею, а заодно и ее весьма значительным состоянием. Подобно всем испанцам, он был необузданно страстен и, как все беспутные игроки, всегда нуждался в деньгах.

Скажу, не вдаваясь в подробности, что с первой же встречи я и ваша мать полюбили друг друга, и единственным нашим желанием стало встречаться как можно чаще. Это нам было нетрудно, ибо мать Луисы тоже боялась и не любила своего племянника со стороны мужа, и хотела из-

бавить свою дочь от такого супруга. Кончилось все тем, что я открылся в своей любви, и мы тайно порешили бежать в Англию. Однако слух об этом дошел до Хуана де Гарсиа, который имел в доме своих соглядатаев и был ревнив и мстителен, как настоящий испанец.

Сначала он попытался отделаться от соперника, вызвав меня на дуэль, однако обстоятельства заставили нас разойтись, даже не позволив обнажить шпаги. Тогда он заплатил наемным убийцам, чтобы они разделались со мной, когда я выйду ночью на улицу. Но у меня под курткой была надета кольчуга, о которую сломались кинжалы бандитов и я сам заколол одного из них. Дважды потерпев неудачу, де Гарсиа, однако, не успокоился. Дуэль и убийство из-за угла не помогли, зато оставался еще один самый надежный способ. Я уже не знаю, как он узнал некоторые подробности моей жизни, например, о том, что я сбежал из монастыря, но с таким козырем на руках ему оставалось только выдать меня Святому Судилищу как еретика и вероотступника. Однажды ночью он так и сделал.

Это произошло накануне того дня, когда мы должны были сесть на корабль и отплыть из Испании. Луиса, ее мать и я сидели в их севильском доме, как вдруг в комнату ворвались шесть человек с капюшонами на головах и, не говоря ни слова, схватили меня. Когда я спросил, чего они от меня хотят, они вместо ответа поднесли к моему лицу распятие. Я сразу понял, в чем дело. Женщины отшатнулись, захлебываясь рыданиями. Затем тайно и тихо меня доставили в башню Святого Судилища.

Я не буду рассказывать обо всем, что мне пришлось там вынести. Дважды меня пытали на дыбе, один раз прижигали раскаленным железом, трижды бичевали железными прутьями и все время кормили такими отбросами, какие у нас в Англии никто бы не предложил и собаке. А когда мое «преступное» бегство из монастыря и прочие так называемые «святотатства» были окончательно установлены, меня приговорили к сожжению.

И, вот, когда после целого года пыток и ужасов я уже утратил последнюю надежду и приготовился к смерти, неожиданно пришла помощь. Вечером последнего дня (наутро меня должны были сжечь живьем на костре) в темницу, где лежал без сил на соломе, явился мой главный мучитель. Он обнял меня и сказал, чтобы я воспрянул духом, ибо церковь сжалилась над моей молодостью и решила вернуть мне свободу. Сначала я дико расхохотался, полагая, что это было только новой пыткой, и не поверил ни одному его слову.

Лишь когда с меня сняли мои лохмотья, одели в приличную одежду и вывели в полночь за ворота тюрьмы, я уверовал, что бог совершил это чудо. Измученный и пораженный, стоял я возле ворот, не зная, куда мне бежать, когда ко мне приблизилась закутанная в черный плащ женщина и прошептала: «Иди за мной!». То была ваша мать. Из хвастливой болтовни Хуана де Гарсиа она узнала о моей судьбе и решила меня спасти. Трижды все планы ее терпели неудачу, но, наконец, с помощью одного ловкого посредника золото сделало то, в чем мне отказало правосудие и милосердие. За мою жизнь и свободу ей пришлось заплатить огромную сумму.

Той же ночью мы обвенчались и бежали в Кадис. Однако мать Луисы не смогла последовать за нами, потому что была больна и не вставала с постели. Ради меня ваша любимая мать бросила все, что оставалось от ее состояния после выкупа, заплаченного за мою жизнь, и покинула свою семью и свою родину — так велика любовь женщины!

Все было подготовлено заранее. В Кадисе стоял на якоре английский корабль из Бристоля, «Мери», за проезд на котором было уже заплачено. Однако неблагоприятный ветер задержал нас в порту. Он был так силен, что, несмотря на все свое желание спасти нас, капитан не решался вывести «Мери» в открытое море. Мы провели в гавани два дня и еще одну ночь, опасаясь всего на свете, а все же счастливые нашей любовью. И опасались мы не без причины. Тот, кто бросил меня в темницу, поднял тревогу, уверяя всех, что я сбежал с помощью дьявола, своего господина, и меня искали по всему побережью. Кроме того, обнаружив исчезновение своей нареченной и будущей жены, Хуан де Гарсиа сообразил, что мы скрылись вместе. Обостренное ненавистью и ревностью чутье помогло ему проследить наш путь шаг за шагом, и в конце концов он нас нашел.

Наутро третьего дня яростный ветер утих, якорь был поднят и «Мери» двинулась по фарватеру. Но когда корабль стал разворачиваться и матросы приготовились поднять паруса, к борту его подошла лодка с двумя десятками солдат. Еще две лодки спешили за первой. С лодки капитану приказали бросить якорь, потому что по повелению Святого Судилища его корабль должен быть задержан и обыскан. Случайно я оказался на палубе и уже собирался спуститься вниз, чтобы спрятаться, когда один из сидевших в лодке вскочил на ноги и закричал, что я и есть тот самый сбежавший еретик, которого они ищут. В этом человеке я сразу узнал Хуана де Гарсиа.

Наверное, капитан выдал бы меня, испугавшись, что его корабль задержат, а его самого со всей командой упрячут в тюрьму. Но я в отчаянии сорвал с себя одежду и, обнажив страшные раны, покрывавшие все мое тело, закричал матросам: «Англичане, неужели вы отдадите своего соотечественника этим чужеземным дьяволам? Взгляните, что они со мной сделали!» И я показал на едва затянувшиеся язвы, оставленные раскаленными щипцами. «Если вы меня выдадите, вы обречете меня на еще более страшные пытки, и я буду сожжен живьем! Сжальтесь хоть над моей женой, если вам не жалко меня! А если в ваших сердцах нет жалости, дайте мне шпагу, чтобы я мог умереть и спастись от пыток!»

И тогда один из матросов, уроженец Саутуолда, знавший моего отца, воскрикнул: «Клянусь господом богом, я за тебя, Вингфилд! Если им нужен ты и твоя любимая, им придется сначала убить меня!» И с этими словами он схватил лук, сбросил с него чехол и, наложив стрелу на тетиву, прицелился в испанцев, сидевших в лодке. Следом за ним и другие матросы закричали:«Если вам нужен кто-нибудь из нас, идите сюда! Возьмите его сами! Суньтесь только, проклятые мучители!»

Глядя на матросов, и капитан обрел мужество. Ничего не ответив испанцам, он приказал половине команды как можно быстрее поднять паруса, а остальным в это время быть наготове, чтобы сбросить солдат, если те полезут на палубу.

Но тем временем подошли еще две лодки и уцепились баграми за борт корабля. Какой-то испанец вскарабкался на руслени, а оттуда на палубу, и я узнал в нем одного из священников инквизиции, который допрашивал меня во время пыток. Бешенство овладело мной, когда я вспомнил, как этот дьявол стоял и уговаривал моих мучителей постараться во имя любви к господу богу. Выхватив лук у моряка из Саутуолда, я до предела натянул тетиву и выстрелил. Я не промахнулся, Томас, потому что умел, как и ты, обращаться с луком. Испанец запрокинулся и полетел в море с доброй английской стрелой в груди.

После этого никто уже не пытался подняться на борт: испанцы только стреляли в нас, и им удалось ранить одного человека. Капитан приказал нам оставить в покое луки и укрыться за фальшбортом, ибо паруса уже приняли ветер. И тогда Хуан де Гарсиа поднялся в лодке во весь рост и проклял меня и мою жену.

«Вы от меня все равно не уйдете!— кричал он, пересы-

пая свою речь проклятиями и бранными словами.— Даже если мне придется ждать двадцать лет, я все равно отомщу вам и всем, кто вам дорог! А ты, Луиса де Гарсиа, помни: где бы ты ни спряталась, я найду тебя, и когда мы встретимся, тебе придется пойти за мной куда я захочу, или этот час станет твоим смертным часом!»

Но мы уже плыли к Англии, и лодки вскоре остались за кормой.

— Вот, сыновья мои,— закончил рассказ отец,— теперь вы знаете, что случилось со мною в юности и как я женился на вашей матери, которую сегодня похоронил. Хуан де Гарсиа сдержал свое слово.

— А все-таки странно,— проговорил Джеффри,— что после стольких лет он убил нашу мать. Ведь, по вашим словам, он был когда-то в нее влюблен. Право же, ни один злодей не сделал бы такого!

— Удивляться тут нечему,— ответил отец.— Мы не знаем, о чем они говорили, прежде чем он ее заколол. Ясно только одно: когда он крикнул Томасу, что хотел бы посмотреть, сколько правды в предсказаниях, он имел в виду какие-то слова вашей матери. И потом — много лет назад де Гарсиа поклялся, что либо она пойдет за ним, либо он ее убьет. Твоя мать была еще красива, Джеффри, и, возможно, он предложил ей на выбор — бежать с ним или умереть. А о большем, сын мой, и не старайся узнать...

Тут мой отец закрыл лицо руками и разразился душераздирающими рыданиями.

— Почему же вы не рассказали нам все это раньше, отец?— спросил я, когда снова мог заговорить.— Тогда на земле уже сейчас было бы одним негодяем меньше и мне не пришлось бы отправляться в далекий путь.

Я даже не представлял себе, каким этот путь окажется далеким!

Глава VI

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!

Через двенадцать дней после похорон матери и после того, как отец рассказал нам историю своей женитьбы, я уже был готов отправиться на поиски. По счастью, в Ярмутском порту оказался корабль, отплывавший в Кадис. Это судно водоизмещением в сто тонн носило имя «Авантюристка». Оно шло с грузом сукна и прочих англий-

ских товаров, рассчитывая вернуться с вином и тисовыми палками для луков.

Отец заплатил за мой проезд на судне и, кроме того, дал мне пятьдесят фунтов золотом. Взять с собой больше я не рискнул, но отец снабдил меня также рекомендательными письмами от ярмутских купцов к их агентам в Кадисе: в рекомендациях предписывалось выдать мне любую нужную сумму в пределах ста пятидесяти английских фунтов и в дальнейшем оказывать всяческое содействие.

«Авантюристка» отплыла третьего числа июня месяца. Вечером первого я должен был выехать в Ярмут. Все мои вещи отправили заранее, и я уже попрощался со всеми, кроме одного человека, как раз того, с кем мне больше всего хотелось бы увидеться перед отъездом. Со дня нашего объяснения в любви я видел Лили только на похоронах моей матери, но поговорить тогда мы не смогли. Да и сейчас похоже было на то, что мне придется уехать, так и не сказав ей на прощание ни одного слова, ибо сквайр Бозард велел предупредить, что, если я посмею приблизиться к его дому, слуги выставят меня за дверь, а я не желал подвергаться подобному позору.

Тяжко мне было отправляться в столь дальние края, откуда я мог и не вернуться, даже не сказав любимой последнего «прости».

Не зная, как мне поступить, я обратился со своим горем к отцу, рассказал ему обо всем и попросил помочь.

— Я уезжаю, чтобы отомстить за нашу общую утрату,— сказал я.— Может быть, мне придется расстаться с жизнью ради чести нашего имени. Помогите же мне теперь, отец!

— Мой сосед Бозард,— ответил отец,— прочит дочку за твоего брата Джеффри, а не за тебя, Томас. Своим добром каждый волен распоряжаться как хочет. Однако сегодня я тебе помогу, если сумею. Надеюсь, что меня-то он не выставит за порог! Прикажи оседлать коней: поедем к Бозарду вместе.

Не прошло и получаса, как мы уже были перед домом Лили. Отец сказал, что желает поговорить со сквайром. Слуга, помня приказ своего хозяина, посмотрел на меня с сомнением, однако впустил нас в приемный зал, где сидел, попивая эль, сам сквайр Бозард.

— Добрый день, сосед!— проворчал сквайр.— Рад тебя видеть. Однако ты привел с собой того, кому здесь вовсе не рады, хоть это и твой сын.

— Я привел его сюда в последний раз, брат Бо-

зард,— ответил отец.— Выслушай его просьбу. Ты можешь сказать ему да или нет — дело твое, однако если ты ему откажешь, наша дружба от этого не станет крепче, потому что парень сегодня в ночь уезжает, чтобы поспеть на корабль и отплыть в Испанию. Он едет на поиски того, кто убил его мать, и едет по своей доброй воле, ибо, сам того не желая, позволил убийце бежать, и я считаю, что он делает правильно.

— Щенок он еще!— проговорил сквайр Бозард.— Молод он для такой охоты, к тому же в чужих краях! Однако мне его смелость нравится, и я желаю ему добра. Чего он от меня хочет?

— Разрешения проститься с твоей дочкой. Я знаю, что его ухаживания тебе не по нраву, и не удивляюсь. Я и сам считаю, что он пока слишком молод, чтобы думать о женитьбе. Но если он еще один раз увидится с девушкой, худого в этом не будет. А теперь — слово за тобой!

Подумав немного, сквайр Бозард ответил:

— Парень-то он бравый, хоть и не бывать ему моим зятем. И едет далеко. Как знать — может, совсем не вернется? Не хочу я, чтобы он поминал меня недобрыми словами! Ступай-ка вон под тот бук, Томас Вингфилд, и жди. Я пришлю туда Лили. Можешь поговорить с ней полчаса. Только смотри — не больше! Да не уходите никуда, чтобы вас было видно из окон. И не благодари меня, ступай, пока я не передумал!

Я выбежал из дому, с замирающим сердцем остановился под буком и стал ждать появления Лили, словно ангела небесного. Воистину, когда она приблизилась, я подумал, что даже ангел не может быть прекрасней, добрей и нежней.

— О Томас!— прошептала она, когда мы поздоровались.— Неужели это правда, что ты плывешь за море на поиски испанца?

— Да, я плыву, чтобы искать этого испанца, чтобы найти его и убить, когда найду. Тогда я оставил его, чтобы прийти к тебе, а теперь я должен оставить тебя, чтобы найти его. Нет, только не плачь! Я поклялся это сделать, и если не исполню клятву, я буду опозорен.

— А я из-за твоей клятвы должна овдоветь, даже не став женой? Ах Томас, если ты уедешь, я тебя уже никогда не увижу!

— Почем знать, милая. Мой отец побывал за морями, прошел через все опасности и вернулся благополучно.

— Конечно, он-то вернулся, да еще не один! Ты молод, Томас, а в далеких странах столько прекрасных и знатных

дам! Разве я смогу удержать свое место в твоем сердце, когда буду так далеко?

— Клянусь тебе, Лили!

— Нет, Томас, не клянись: зачем брать лишний грех на душу, если вдруг ты нарушишь клятву? Просто помни обо мне, любимый, а я тебя никогда не забуду! Ведь может быть,— о, сердце мое разрывается, когда подумаю!— может быть, это наша последняя встреча на земле. Но если это так, будем надеяться на встречу на небесах. Но в одном будь уверен: я буду верна тебе, пока жива, и что бы ни делал мой отец, я скорее умру, чем нарушу свое обещание. Я молода, конечно, чтобы говорить так уверенно, но так оно и будет. О боже, это расставание хуже смерти! Уснуть бы сейчас вечным сном, чтобы все нас забыли! А может быть, лучше и впрямь тебе уехать... Ведь если ты останешься, каково нам с тобой будет, пока жив отец, а я ему желаю долгой жизни!

— Вечный сон и забвение придут скоро, Лили: никто их не ждал слишком долго. Однако пока мы живы, надо жить. Давай же помолимся, чтобы нам жить друг для друга! Я отправляюсь не только на поиски врага, но и на поиски богатства, и я его завоюю ради тебя, чтобы мы могли пожениться.

Лили горько покачала головой.

— Это было бы слишком большим счастьем, Томас. Люди редко женятся по настоящей любви, а если это и случается, то лишь для того, чтобы тут же потерять друг друга. Будем же благодарны за то, что узнали, какой может быть любовь на земле. И если не встретимся — будем любить друг друга в ином мире, где никто нам не скажет «нет».

Мы долго еще говорили, шепча несвязные слова любви, тоски и надежды, как это сделали бы любой юноша и девушка на нашем месте. Наконец Лили оглянулась с печальной и нежной улыбкой и сказала:

— Пора, милый. Вон в дверях стоит мой отец и зовет меня. Все кончено.

— Тогда будь что будет!— лихорадочно прошептал я и увлек Лили за ствол старого бука. Здесь я схватил ее в объятия и принялся целовать еще и еще, и она, не стыдясь, отвечала на мои поцелуи.

Плохо помню, что было потом. Помню только, что когда мы уже уезжали, я снова увидел любимое лицо, печальное и задумчивое: Лили смотрела, как я уходил из ее жизни. Потом в течение двадцати лет это печальное и прекрасное лицо вставало передо мной, как встает оно перед моими

глазами сейчас, наперекор всему, и жизни, и смерти. Другие женщины тоже любили меня, и я знавал расставания пострашнее, но воспоминание об этой девушке и ее прощальный взгляд оказались сильнее всего. Вглядываясь в прошлое, я всегда видел ее лицо и знал, что оно никогда не потускнеет. Разве может какая-нибудь печаль сравниться с юношеской печалью? Разве может какое-нибудь горе сравниться с горечью этой разлуки? Я знаю лишь одно такое горе; мне было суждено вкусить его через многие годы, и о нем я расскажу в свое время.

Над первой любовью обычно смеются, но если это настоящая любовь, если это не просто вспышка пробуждающейся страсти, такая первая любовь становится также последней любовью, вечной любовью, самым счастливым или самым горьким уделом, какой только может выпасть на долю мужчине или женщине. Это говорю вам я, старик, немало повидавший на своем веку. И это — святая истина.

Я позабыл рассказать еще об одной вещи. Когда мы с отчаянием в душе целовались и обнимались за стволом старого бука, Лили сняла с пальца кольцо и сунула его мне в руку со словами: «Каждое утро, когда проснешься, смотри на него и вспоминай обо мне!» Это было кольцо ее матери. Оно и сейчас поблескивает при свете зимнего солнца на моей морщинистой руке, которая выводит эти строки. Долгие годы, заполненные самыми невероятными событиями, всегда и всюду, в бою и в любви, при зареве лагерных костров, в отблесках жертвенного огня или под мерцающими одинокими звездами среди безлюдной дикой пустыни это кольцо сияло на моем пальце, напоминая о той, которая мне его дала. И с этим кольцом я сойду в могилу. На внутренней стороне гладкого золотого кольца выгравирован девиз, сейчас уже полустертое двустишие:

Пускай мы врозь,
Зато душою вместе.

Воистину, подходящие для нас слова! Они не утратили своего значения и поныне.

В тот же день мы с отцом отправились верхом в Ярмут. Мой брат Джеффри не поехал с нами, но простились подружески, и я этому рад, потому что больше я его уже не увидел. О Лили Бозард и о наших чувствах к ней не было сказано ни слова, хотя я прекрасно знал, что едва я скроюсь за поворотом, он тут же постарается занять мое место в ее сердце. Он и в самом деле сделал такую попытку, но за это я его прощаю. По правде говоря, его нельзя слишком

порицать, потому что разве найдется хоть один мужчина, который, увидев Лили, не захотел бы на ней жениться? Вряд ли. А раньше мы всегда были добрыми друзьями, и лишь позднее, когда мы оба возмужали и между нами встала любовь к Лили, мы начали постепенно отдаляться друг от друга. История довольно обычная. К тому же Джеффри ничего не добился, и сердиться мне на него попросту не за что. Куда лучше вспоминать о нашей детской дружбе, предав остальное забвению. Бог с ним!

Моя сестренка Мэри, которая стала самой красивой девушкой во всей округе после Лили Бозард, горько плакала, разлучаясь со мной. Она была всего на год моложе меня, и мы нежно любили друг друга: ведь в нашей привязанности не было и тени подобного соперничества! Я утешил Мэри, как сумел, и, рассказав обо всем, что произошло между мною и Лили, попросил стать ее нашим союзником. Мэри обещала сделать все возможное, и хотя она не сказала, что у нее на уме, однако я понял: сестренка надеется нам помочь. Как я уже говорил, у Лили был брат, весьма многообещающий юноша, в то время он находился в колледже. Сестра и он питали друг к другу глубокую привязанность, которая, возможно, могла бы в дальнейшем вылиться в нечто более прочное.

Итак, мы поцеловались в последний раз и со слезами простились. Отец и я сели на коней и двинулись в путь. Но когда, миновав Пирхноу-стрит, мы поднялись на невысокий холм за вайнгфордскими мельницами, расположенными левее Банги, я придержал своего коня, оглянулся назад, на живописную долину Уэйвни, и сердце мое сжалось от боли.

Если бы я знал все, что мне предстоит пережить, прежде чем я снова увижу родные места, оно бы, наверное, разорвалось. Но господь бог, ниспосылающий людям по мудрости своей тягчайшие испытания, спасает их неведением. Ибо если бы мы обладали даром предвидеть будущее, я думаю, лишь немногие из нас согласились бы жить по доброй воле. Поэтому я только бросил последний долгий взгляд на темнеющие вдали кроны дубов, за которыми скрывался дом Лили, и тронул коня.

На следующий день я уже был на борту «Авантюристки». Перед самым отплытием сердце отца дрогнуло: он вспомнил, что я был любимцем матери и испугался, что больше меня не увидит. Отец настолько встревожился, что в самый последний момент изменил свое решение и хотел меня удержать. Но я уже не мог остановиться, я выстрадал

всю горечь расставания и не желал возвращаться на посмешище соседям.

— Слишком поздно!— сказал я отцу.— Вы сами хотели, чтобы я отомстил, и побуждали меня к этому самыми жестокими словами. А теперь, даже если я буду знать наверное, что через неделю умру, я все равно не останусь дома, потому что от таких клятв, как моя, не отказываются, и пока она не исполнена, проклятие будет тяготеть надо мной.

— Да будет так, сын мой!— со вздохом проговорил отец.— Страшная смерть твоей матери затмила тогда мой разум, и я наговорил такого, что боюсь, мне еще придется раскаяться. К счастью, я вряд ли доживу до этого дня, ибо сердце мое разбито. Мне следовало бы вспомнить, что возмездие в руках божьих и он обрушит его в свое время без нашей помощи. Не поминай меня лихом, мой мальчик, если мы больше не встретимся. Я люблю тебя, и только еще более сильная любовь к твоей матери заставила меня обойтись с тобой так сурово.

— Я это знаю, отец, и не помню зла. Но если вы сами считаете, что вы передо мной в долгу, заплатите мне лишь одним: постарайтесь, чтобы мой братец не вредил нам с Лили, пока меня здесь не будет.

— Я сделаю что могу, сын мой, хотя, признаться, не будь вы так сильно привязаны друг к другу, я бы с удовольствием их поженил. Но, повторяю, я уже недолго могу заботиться о твоих и прочих земных делах, а когда меня не станет, все пойдет своим естественным путем. А тебе, Томас, я даю завет: не забывай своей веры и своей родины, что бы с тобой ни случилось, избегай ненужных стычек, держись подальше от женщин, губящих нашу молодость, а главное — следи за своим языком и своим характером, он у тебя далеко не голубиный. Кроме того, где бы ты ни был, не хули веру чужой страны, не насмехайся над ее обычаями и не нарушай их, иначе ты узнаешь, как жестоки бывают люди, когда думают, что это угодно их богам,— это я испытал на себе!

Я ответил, что не забуду его советов, и в действительности позднее они избавили меня от многих неприятностей.

Затем отец обнял меня, благословил, и мы расстались.

Больше я его уже не увидел. Несмотря на то, что отец мой был еще далеко не стар, примерно через год после моего отъезда он скончался. Сердечный приступ застиг его в тот момент, когда однажды после воскресной службы он стоял в приделе дитчингемской церкви близ алтаря, раз-

мышляя над прахом моей матери. Так он умер, оставив моему брату все свои земли и состояние. Упокой, господи, его душу! Отец был чистосердечным человеком, но любил мою мать слишком сильно, чтобы широко смотреть на жизнь и всегда быть справедливым. Подобная любовь, естественная лишь для женщин, может превратиться в нечто сходное с обыкновенным эгоизмом и заставить того, кто ею одержим, относиться с безразличием ко всему остальному. По сравнению с матерью дети были для моего отца ничто, и он охотно отдал бы нас всех, лишь бы вернуть ей жизнь. Но в конечном счете это был благородный недостаток, потому что отец в своей страсти о себе совершенно не думал и заплатил за любовь дорогой ценой.

О том, как мы доплыли до Кадиса, куда по слухам направился корабль де Гарсиа, рассказывать почти нечего. В Бискайском заливе поднялся встречный ветер и отнес нас к гавани города Лиссабона, где мы и укрылись. Но в конечном счете мы благополучно достигли Кадиса, проведя в море сорок дней.

Глава VII

АНДРЕС ДЕ ФОНСЕКА

Теперь я должен рассказать обо всем, что приключилось со мной за тот год с лишним, который я провел в Испании. Однако я буду краток, ибо если начну вспоминать все подробности, то, наверное, скончаюсь сам, так и не успев окончить свою повесть.

Прежде всего я направился вверх по Гвадалквивиру к Севилье. Красотами этого древнего мавританского города восторгались многие путешественники, и я не буду на них останавливаться, потому что мне предстоит рассказ о таких землях, где еще не бывал ни один из вернувшихся в Англию смельчаков.

Итак, буду краток. Я подумал о том, что мне, наверное, придется задержаться на некоторое время в Севилье и, не желая привлекать внимания, а также для того, чтобы избежать лишних расходов, решил заняться своим прежним делом, то есть продолжить изучение медицины. Для этого я обратился к торговым агентам английской компании, которые должны были мне помочь, и раздобыл у них рекомендательные письма к севильским врачам. В них по моей просьбе я был представлен под именем Диего д'Айла, ибо

не хотел, чтобы все знали, что я англичанин. С виду я и не был похож на британца, как уже говорилось, внешность у меня была самая что ни на есть испанская, и подвести меня могла только моя речь. Но и это затруднение уменьшалось с каждым днем. Зная язык с детства от матери, я не упускал ни единой возможности усовершенствоваться в чтении и в разговоре, и уже через полгода в совершенстве овладел кастильским наречием, так что лишь едва заметный акцент отличал меня от настоящего испанца. Изучение языков мне вообще давалось легко.

По прибытии в Севилью я оставил свои вещи в одной из наиболее скромных гостиниц и немедленно отправился, чтобы вручить свое рекомендательное письмо известному севильскому врачу, имя которого я теперь позабыл. Этот врач имел прекрасный дом на широкой, обсаженной чудесными деревьями улице Лас Пальмас, к которой сходились другие маленькие улочки. По одной из них я и пошел из своей гостиницы. Это был узенький, тихий переулок; дома выходили на него замкнутыми с трех сторон внутренними двориками, по-испански — патио. Шагая по переулку, я обратил внимание на человека, сидевшего на табурете в тени своего патио. Этот маленький сухой старичок с удивительно умными и зоркими черными глазами тотчас меня заприметил.

Дом знаменитого врача был расположен таким образом, что старичок его видел, не вставая с места, и мог следить за всеми, кто входил или выходил из дверей. Отыскав этот дом, я снова вернулся в тихий переулочек и принялся прогуливаться по нему взад и вперед, соображая, что мне сказать врачу, и все это время старичок не спускал с меня своих проницательных глаз. Наконец я приготовил свою речь и направился к дому врача, но только для того, чтобы услышать, что тот куда-то вышел. Спросив, когда его можно видеть, я повернулся и побрел по тому же узенькому переулку. Неторопливыми шагами дошел я до того места, где сидел старичок, но когда я с ним поравнялся, он уронил свою широкополую шляпу, которой обмахивался, прямо к моим ногам. Я нагнулся, поднял ее с мостовой и протянул старичку.

— Премного вам благодарен, юноша!— проговорил он глубоким приятным голосом.— Вы весьма любезны для иностранца.

— Откуда вы знаете, что я иностранец, сеньор?— спросил я, позабыв от удивления об осторожности.

— Если бы я не догадался раньше, я бы узнал это сей-

час,— ответил он со спокойной улыбкой.— Ваша кастильская речь говорит сама за себя.

Я поклонился и хотел пройти мимо, когда он снова заговорил со мной:

— Вы куда-то спешите, мой юный друг? Не зайдете ли выпить со мной стаканчик винца? Оно того стоит!

Я уже решил было отказаться, но вдруг подумал, что делать мне совершенно нечего, а тут я, может быть, узнаю из его разговоров что-нибудь полезное.

— Благодарю вас, сеньор,— сказал я.— День сегодня жаркий, и я не прочь освежиться.

Он тотчас молча поднялся и провел меня на внутренний, вымощенный мраморными плитами дворик, весь увитый виноградными лозами. Посреди дворика был бассейн, заполненный водой, подле которого в тени виноградной листвы стояли стулья и маленький столик. Затворив дверь патио, старичок усадил меня, взял со стола серебряный колокольчик и позвонил. Из дома выбежала молоденькая прелесная девушка в причудливом испанском наряде.

— Подай нам вина!— приказал старичок.

Вино появилось мгновенно, белое вино «опорто», подобного которому я еще не пробовал ни разу.

— За ваше здоровье, сеньор...— и здесь мой хозяин остановился, подняв бокал и вопросительно глядя на меня.

— Диего д'Айла,— отозвался я.

— Гм, гм,— пробормотал он.— Имя испанское, или, вернее, подражание испанскому, потому что я такого не слышал, а у меня на имена хорошая память.

— Это мое имя, а об остальном думайте, как вам будет угодно, сеньор...— и я в свою очередь выжидательно посмотрел на него.

— Андрес де Фонсека,— представился он с поклоном, врач этого города, и достаточно известный, особенно среди представительниц прекрасного пола. Будь по-вашему, дон Диего, я принимаю это имя, ибо имена ничего не значат и время от времени их можно просто менять. Я полагаю, что это никого, кроме их владельцев, не касается. Вы, я вижу, приезжий... Не удивляйтесь, сеньор! Здешний городской житель не станет оглядываться, колебаться и расспрашивать о том, как ему куда-то пройти, а, кроме того, уроженцы Севильи никогда летом не ходят по солнечной стороне улицы. А теперь, если не сочтете мой вопрос нескромным, расскажите, пожалуйста, что привело такого здорового юношу к моему сопернику и конкуренту?

И он кивнул в сторону дома знаменитого врача.

— Дела человека, точно так же, как и его имя, никого не касаются, кроме него самого ,— ответил я, решив про себя, что передо мной один из тех лекарей, которые позорят наше искусство, бесстыдно гоняясь за пациентами ради наживы.— Однако я вам отвечу. Я тоже врач, хотя и недостаточно опытный. Я ищу место у какого-нибудь известного доктора, которому я мог помогать в его практике, пополняя свои знания и одновременно зарабатывая себе на пропитание.

— Ах, вот как? В таком случае, сеньор, вы там ничего не найдете,— и он снова показал на дом врача.— Такие, как он, берут учеников только за хорошее вознаграждение: таковы обычаи нашего города.

— Значит, мне придется зарабатывать на жизнь другим способом или в другом месте.

— Не торопитесь. Давайте-ка сначала посмотрим, как вы разбираетесь в медицине и, что гораздо важнее, в природе человеческой, ибо в медицине вообще никто толком ничего не понимает, но тот, кто познал природу людей, может стать повелителем мужчин и женщин — их повелительниц.

И без дальнейших околичностей он принялся задавать мне вопросы, каждый из которых был так тонок и так прямо шел к самой сути дела, что я только удивлялся его проницательности. Некоторые вопросы относились к медицине, главным образом к особенностям женского организма, другие, более общие, больше касались женского характера. Наконец он кончил и проговорил:

— Неплохо, сеньор! Вы юноша со знаниями и способностями, хотя вам не хватает опыта, как и следовало ожидать, учитывая ваш возраст. В вас виден ум, сеньор, но также и сердце, и это очень хорошо, потому что даже промахи человека с добрым сердцем зачастую лучше успехов бессердечного ловкача. Кроме того, у вас есть воля и вы умеете владеть собой.

Я поклонился, всеми силами стараясь не показать, как мне приятны его слова.

— Однако,— продолжал он,— все это не заставило бы меня обратиться к вам с предложением, которое вы сейчас услышите, потому что и более достойные с виду юноши бывают неудачниками, наивными глупцами или вспыльчивыми задирами, каким и вы можете быть, насколько я понимаю. Но все же я рискну, потому что вы мне подходите совсем с другой стороны. Вы сами навряд ли понимаете, что вы очень красивы, сеньор, красивы редкой нео-

бычной красотой, которую не преминут оценить севильские дамы.

— Весьма польщен,— отозвался я.— Однако позвольте узнать, что означают все эти комплименты? Короче, что вы мне предлагаете?

— Короче? Хорошо. Мне нужен помощник, обладающий всеми качествами, какие есть у вас, но, кроме того, еще одним, самым ценным, которое я могу только в вас предполагать,— скромностью. Такой помощник не будет испытывать недостатка в деньгах, я предоставлю в его распоряжение этот дом, и он получит такую возможность изучать людей, о какой многие могут только мечтать. Что вы на это скажите?

— Я скажу вам, сеньор, что сначала хотел бы узнать, чему я должен помогать. Ваше предложение звучит слишком заманчиво, но я боюсь, что за все эти блага мне придется выполнять работу, недостойную честного человека.

— Прекрасный довод, но, к счастью, совершенно ошибочный! Слушайте: вам, наверное, говорили, что тот врач, к которому вы сейчас ходили, а также такие-то,— здесь он назвал четыре-пять имен,— это самые знаменитые врачи Севильи? Ну так вот — это неправда! Самый знаменитый и богатый врач, у которого вдвое больше клиентов, чем у любого другого,— это я. Хотите знать, сколько я заработал за сегодняшний день? Я вам скажу: двадцать пять песо золотом*, больше, чем все мои остальные коллеги, вместе взятые,— в этом я готов об заклад побиться! Вы хотите знать, каким образом я зарабатываю так много? Вас, наверное, также интересует, почему при таких доходах я не хочу отдохнуть от своих трудов? Хорошо, я вам объясню. Я зарабатываю такие деньги, потакая тщеславию женщин и помогая им избавиться от результатов их собственной глупости. Когда у какой-нибудь дамы тяжело на сердце, она идет ко мне за утешением и советом. Когда у нее прыщи на лице, она бежит ко мне, и я ее лечу. Когда у нее тайный роман, я скрываю плоды ее нескромности. Для нее я вопрошаю будущее, для нее я воскрешаю прошлое, ее я исцеляю от воображаемых недугов, а довольно часто исцеляю и от настоящих болезней. Я держу в своих руках половину тайн Севильи, и если бы я заговорил, кровопролитие и разорение обрушилось бы на многие знатные семьи. Но я не заговорю: мне платят за молчание, и даже в тех случаях, когда мне

---

* Двадцать пять золотых испанских песо равнялись примерно шестидесяти трем фунтам стерлингов.— *Прим. авт.*

не платят, я все равно молчу, чтобы не подорвать свою репутацию. Сотни женщин считают меня своим спасителем, а я их считаю дурочками. Однако заметьте — я никогда не захожу слишком далеко. Я могу продать любовный эликсир — подкрашенную воду, но отравленную розу — никогда! За этим обращайтесь к кому-нибудь другому! А в остальном я по-своему честен. Я принимаю людей такими, какие они есть, вот и все. Если женщинам нравится быть дурами, я пользуюсь их глупостью. На этой глупости я и разбогател. Да, да, теперь я разбогател, но уже не могу остановиться! Я люблю деньги, потому что это власть, но еще больше я люблю жизнь! Что там толкуют о романах и балладах! Разве может какой-нибудь роман сравниться с тем, что ежедневно происходит у меня на глазах? В каждом таком событии я играю свою роль, одну из первых ролей, хотя я и не чванюсь и не деру глотку на подмостках.

— Но если все это так, почему же вы обращаетесь за помощью к незнакомому человеку, о котором ничего не знаете?— подозрительно спросил я.

— Сразу видно, что у вас нет опыта!— рассмеялся старик.— Неужели вы думаете, что я выбрал бы какого-нибудь испанца, который мог бы иметь в этом городе какие-то неизвестные мне связи? Что же касается моей неосведомленности, молодой человек, то неужели вы думаете, что я зря сорок лет занимался своими необычными делами и не научился распознавать людей с первого взгляда? Я знаю вас, может быть, лучше, чем вы сами. Кстати, то, что вы по-настоящему влюблены в эту девушку в Англии, для меня уже достаточная рекомендация, потому что, не будь этой привязанности, вы наделали бы глупостей, которые могли бы поставить в затруднительное положение и вас и меня. Ага! Вы удивлены?

— Откуда вы знаете?..— начал я и осекся.

— Откуда я знаю? Да очень просто! Ваши сапоги сшиты в Англии. Я видел таких немало, когда был в вашей стране. Ваше произношение тоже имеет, хоть и слабый, английский акцент, и вы дважды вставляли английские слова, когда не могли подыскать испанских. Что же касается девушки, то разве на вашем пальце не женское кольцо? Кроме того, когда я рассказывал о наших дамах, это вас не слишком заинтересовало, а будь ваше сердце свободным, вы в свои годы отнеслись бы к моим словам по-другому. Эта девушка, конечно, высокая и светловолосая? Я так и думал! Я давно заметил, что мужчины и женщины тянутся к своей противоположности: брюнеты — к блондинкам и

наоборот. Разумеется, это правило не без исключений, но сейчас я угадал!

— Вы очень умны, сеньор.

— О нет, дело здесь не в уме, а в практике, и вы в этом убедитесь, когда пробудете со мною хотя бы год. Впрочем, похоже, вы не намерены так долго задерживаться в Севилье. Очевидно, вы прибыли сюда с какой-то целью и хотите с пользой провести время, пока ее не достигнете. Думаю, что на этот раз я угадал. Ну что ж, пусть будет так. Я все же рискну, потому что цель и ее достижение зачастую бывают далеки друг от друга. Итак, вы принимаете мое предложение?

— Я хотел бы его принять.

— В таком случае вы его примете. Но прежде чем мы договоримся об условиях, должен вам еще кое-что сказать. Я не хочу, чтобы вы играли при мне роль аптекарского ученика: для всего света вы будете моим племянником, прибывшим из-за границы для изучения профессии врача. Конечно, вы будете мне помогать и в медицине, но это не все. Вы должны войти в жизнь Севильи, наблюдать за нужными мне людьми и капля за каплей, там — словом, здесь — намеком и сотнями других способов, которые я вам подскажу, лить воду на мою, а также и на свою мельницу. Вы должны быть блестящим и остроумным или, наоборот, строгим и преисполненным учености, как я прикажу; вам придется пустить в ход все ваши личные качества и способности, потому что иначе с моими клиентами дела не сделаешь. С идальго вы должны говорить о поединках, с дамами беседовать о любви, но боже вас упаси впутаться самому в то или другое — тогда вам несдобровать. И самое главное,— при этих словах обращение старика изменилось, а лицо его стало суровым, почти жестоким,— самое главное, молодой человек, не вздумайте обмануть мое доверие или доверие моих клиентов. Вы можете мне не верить во всем остальном, дело ваше, но в этом отношении я прошу вас ради вашего собственного блага поверить мне на слово. Я буду с вами совершенно откровенен: если вы предадите меня, вы умрете. Вы умрете не от моей руки, но умрете. Таково мое условие, можете принять его или отвергнуть. Но даже если вы откажетесь, а потом где-нибудь разболтаете все, что здесь услышали, даже тогда вас рано или поздно постигнет нежданная кара. Вы меня поняли?

— Понял. Ради собственного блага я буду молчать.

— Юный сеньор, вы мне нравитесь все больше и больше! Если бы вы сказали, что будете молчать, потому что я

вам доверился, я бы вам не поверил, ибо про себя вы бы подумали, что секреты, которые доверяют с такой легкостью, не стоит хранить. Но если вы поняли, что за разглашение тайны вас постигнет внезапная и жестокая смерть,— это уже другое дело! Итак, вы согласны?

— Согласен.

— Превосходно. Я полагаю, что ваши вещи в гостинице? Сейчас я пошлю носильщиков; они оплатят ваш счет и все принесут сюда. Вам самим идти туда незачем, племянничек. Давайте-ка лучше посидим и выпьем еще по стаканчику! Чем скорее мы сойдемся, племянничек, тем лучше.

Вот так я познакомился с моим благодетелем сеньором Андресом де Фонсекой, самым удивительным человеком, какого я когда-либо видел.

Несомненно, читатель подумает, что, связавшись с ним, я поступил опрометчиво, сам накликал на себя беду, а может быть, просто попался в сети ловкого мошенника, который ради своих темных замыслов вовлек меня, юнца, в преступное и гибельное дело. Но на поверку все вышло совсем не так, и это, пожалуй, самое странное во всей этой странной истории. Каждое слово Андреса де Фонсеки оказалось истинной правдой.

Он был джентльменом, наделенным блестящими способностями, однако со странностями: какое-то горе, поразившее его много лет назад, наложило на него отпечаток. Я не знаю, кто обучал его медицине, если он вообще ей когда-либо обучался, но как знаток людей, особенно женщин, он не имел себе равных. Он много путешествовал, много видел и ничего не забывал. В каком-то отношении он был просто знахарем, но его знахарство никогда не превращалось в бессмысленное шарлатанство. Правда, он стриг дураков и даже занимался астрологией, зарабатывая деньги на суевериях, но в то же время Андрес де Фонсека совершал немало добрых дел без всякого вознаграждения. Он мог взять с богатой дамы десять золотых песо за окраску волос и вместе с тем совершенно бесплатно нянчился с какой-нибудь бедной девушкой, попавшей впросак. Мало того: после выздоровления он сам подыскивал ей подходящее приличное место! Он знал все тайны Севильи, но никогда не пытался ими торговать, говоря, что это не окупается. Андрес де Фонсека считал себя всесветным пройдохой, но в действительности же он был человеком честнейшей души.

Что касается меня, то я с ним чувствовал себя свободным и счастливым, насколько это возможно в моем положении. Вскоре я вошел в свою роль и разыгрывал ее пре-

восходно. Меня представляли как племянника старика Фонсеки, который практиковался под руководством своего дяди, богатого врача, чтобы впоследствии занять его место. Это в сочетании с моей внешностью и манерами открыло мне доступ в лучшие дома Севильи. Здесь я выполнял ту часть наших общих дел, которую мой хозяин целиком препоручил мне, потому что сам он уже не показывался в светском обществе города. Денег у меня было вдоволь, и я мог жить припеваючи; впрочем, вскоре выяснилось, что в делах я разбираюсь не хуже, чем в удовольствиях. Все чаще и чаще среди веселого бала или во время карнавала ко мне приближалась то одна, то другая дама и, понизив голос, спрашивала, не согласится ли дон Андрес де Фонсека принять ее наедине по очень важному делу; в ответ на такой вопрос я назначал время и место свидания. Если бы не я, все эти клиентки были бы для нас потеряны, потому что многие из них иначе не смогли бы преодолеть свою стыдливость.

Точно таким же образом, когда празднество заканчивалось и я уже собирался домой, меня частенько брал под руку какой-нибудь щеголь и просил у моего хозяина помощи в самых разнообразных делах — в любовных, в финансовых, а то и в деле чести. Тогда я вел его прямо к нашему старинному мавританскому дому, где сидел и писал, облаченный в бархатную мантию, дон Андрес, подобный какому-то раскинувшему свою паутину ночному пауку, ибо большую часть наших дел мы вершили ночью. Тут же любой вопрос разрешался ко всеобщему благополучию,— и не без выгоды для моего хозяина!

Постепенно я приобрел репутацию человека, который, несмотря на свою молодость, отличается крайней рассудительностью, никогда не говорит о том, что услышал, не вступает в ссоры, не пьет, не увлекается азартными играми и никому не выдает ни своих, ни чужих секретов; ни одна из близко знакомых мне прелестных дам не могла похвастаться, что стала поверенной моих тайн. Точно так же стало известно, что я сам довольно умелый врач, и дамы Севильи начали передавать друг другу, что никто не может сравниться с племянником старого Фонсеки в искусстве удаления пятен с кожи и окраски волос, а, как известно, одно лишь это уже стоит целого состояния. Не удивительно, что клиентки стали все чаще и чаще обращаться именно ко мне. Короче говоря, дела наши шли так хорошо, что за полгода своей службы я увеличил почти на треть доходы от нашей и без того достаточно обширной практики, од-

новременно освободив моего хозяина от немалой доли хлопот.

Это была странная жизнь, и если бы я написал обо всем, что мне довелось узнать и услышать, получилась бы сказочная история, но к моему повествованию она не имеет отношения. Казалось, что все маски молчания и улыбок, с помощью которых мужчины и женщины скрывают свои истинные мысли, вдруг упали передо мной, и я услышал голоса сердец, говоривших чистую правду. К нам приходили очаровательные девушки и милые жены и сознавались в таких пороках, что никто бы не поверил, если бы они не рассказывали о них сами; мы сталкивались порой с тайными убийствами супруга, любовника или соперницы; иногда появлялась какая-нибудь престарелая дама, стремившаяся заманить в свои сети молодого мужа, а иногда это был богач или богачка, мечтавшие купить себе титул, породнившись с обнищавшей, но знатной семьей. Таким я помогал без особой охоты, зато всякую повесть о несчастной или обманутой любви всегда выслушивал с сочувствием, потому что сам был в сходном положении. В подобных случаях моя симпатия была настолько глубокой и искренней, что несчастные красавицы не зря пытались найти во мне утешителя, и однажды дело дошло до того, что стоило мне захотеть, и я бы женился на одной из самых прелестных и самых богатых знатных дам Севильи.

Но мне не нужна была ни одна из них. День и ночь я думал только о моей златокудрой Лили.

Глава VIII

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

Можно подумать, что при таком времяпрепровождении я совершенно забыл о цели своего приезда в Севилью, о том, что я должен найти Хуана де Гарсиа и отомстить ему за смерть моей матери. Но это не так. Едва обосновавшись в доме Андреса де Фонсеки, я начал как можно осторожнее разузнавать, где находится де Гарсиа, однако без малейших результатов. Размышляя хладнокровно, я пришел к убеждению, что у меня довольно слабые шансы отыскать де Гарсиа в Севилье. Правда, он говорил в Ярмуте, что направляется именно сюда, однако его корабль не появлялся ни в Кадисе, ни на Гвадалквивире, да и вообще вряд ли человек, совершивший убийство в Англии, ста-

нет рассказывать англичанам о том, куда он действительно хочет плыть. Тем не менее я продолжал поиски.

Старый дом моей матери и бабушки давно сгорел, жили они замкнуто, и через двадцать с лишним лет в Севилье о них все забыли. Мне удалось найти лишь одну прозябавшую в нищете старуху, которая некогда была служанкой моей бабушки и знавала мою мать. В тот момент, когда мать бежала в Англию, старуха была где-то в другом месте, однако я все же получил от нее кое-какие сведения. О том, что я внук ее бывшей госпожи, я ей, разумеется, не сказал.

Насколько мне удалось установить, после бегства матери с отцом в Англию де Гарсиа начал преследовать мою бабушку и свою тетку всевозможными тяжбами и прочими способами. Этот негодяй довел ее до полного разорения и после этого бросил умирать с голоду. О нищете, в которой она доживала свои дни, можно судить хотя бы по тому, что похоронили ее бесплатно в общей могиле. Старуха служанка еще рассказала мне, будто бы де Гарсиа совершил вскоре какое-то преступление и был вынужден бежать, но что это за преступление, она не помнила, поскольку с тех пор прошло не менее пятнадцати лет.

Все это я узнал на четвертый месяц пребывания в Севилье. Рассказ старухи был для меня, конечно, интересен, но поискам моим он нисколько не помог.

Дней через пять после этого разговора, возвращаясь ночью к себе домой, я разминулся на пороге патио с выходившей оттуда молодой женщиной под густой вуалью. Я обратил внимание на ее высокую стройную фигуру. Дама рыдала так безудержно, что все ее тело содрогалось. Подобные сцены для меня уже были привычны, ибо многие из тех, кто прибегал к помощи моего хозяина, имели все основания горько плакать, а потому я прошел мимо нее, ни слова не говоря. Но когда я вошел в комнату, где дон Андрес принимал пациентов, я рассказал ему о своей встрече и спросил, кто эта дама.

— Ах, племянник!— ответил Фонсека, который всегда называл меня так, а последнее время вообще начал ко мне относиться, словно я и в самом деле был его родственником.— Ах, племянник, тяжелый случай! Но ты ее не знаешь,— она из бесплатных клиентов. Бедняжка из знатной семьи, пошла в монахини, принесла обет, и тут появляется щеголь, тайно встречается с нею в монастыре, обещает на ней жениться, если она согласится с ним бежать, и на самом деле устраивает какую-то комедию венчания, как она рассказывает, и все прочее. Теперь он от нее сбежал, а она

ждет ребенка. Но что самое страшное: если она попадется в лапы к попам, ее ждет мучительная, медленная смерть — несчастную замуруют в монастырскую стену. Она пришла ко мне посоветоваться и принесла вместо платы свои серебряные побрякушки. Вот они.

— И вы их взяли?

— Да, взял. Я всегда беру плату. Но я возместил их вес золотом. А потом я указал ей укромное местечко, где она сможет спрятаться от попов и переждать, пока охота за ней не кончится. Единственно, чего я не сделал, так это не сказал, что ее любовник — самый последний из мерзавцев, когда-либо появлявшихся на улицах Севильи. Но какой в этом толк? Она все равно его больше не увидит. Тш-ш-ш! Кажется, пришла герцогиня. Это астрологический случай. Где гороскопы и жезл? Ага. А хрустальный шар? Спасибо. Теперь прикрути лампы, дай мне вон ту книгу и исчезни!

Я повиновался и едва не столкнулся с массивной дамой, которая в сопровождении дуэньи боязливо пробиралась по темному коридору для того, чтобы узнать будущее по звездам и заплатить за это немало золотых песо. Вид ее так меня насмешил, что я быстро позабыл о другой даме и ее горестях.

Теперь я должен рассказать о том, как я во второй раз встретился со своим двоюродным дядюшкой и смертельным врагом Хуаном де Гарсиа.

Дня через два после того как я столкнулся с плачущей дамой под вуалью, я шел около полуночи по окраинной улочке города, где почти не встречается прохожих. Появляться одному в такое время в этом квартале весьма небезопасно, однако у меня было поручение от моего хозяина, не терпевшее отлагательств. К тому же я не имел врагов и, наконец, был вооружен: при мне была та самая шпага, что я отнял у де Гарсиа близ Дитчингема, шпага, которой была убита моя мать и которой я надеялся отомстить ее убийце. В обращении с этим оружием у меня к тому времени уже был изрядный опыт: каждый день я брал по утрам уроки фехтования.

Выполнив поручение, я шел, не торопясь, домой, раздумывая о своей странной жизни, столь отличной от моего детства, прошедшего в долине Уэйвни, и о многих прочих вещах. Я думал о Лили, о том, что ее преследует мой братец Джеффри, понуждая выйти за него замуж, и о том, сумеет ли она устоять перед его наглостью и волей своего отца. Так размышляя, дошел я до прохода в стене, за которым

начинался спуск к берегу Гвадалквивира, облокотился на гребень низкого парапета и невольно залюбовался красотой ночи.

Ночь была поистине прекрасна — я помню ее до сих пор. Те, кто знают Севилью, могут подтвердить, что нет ничего восхитительнее вот такой августовской ночи, когда над древним городом сияет луна, отражаясь в широких водах Гвадалквивира.

Пока я так стоял и любовался луной, снизу по ступенькам поднялся какой-то человек, прошел за моей спиной и углубился в темноту улицы. Сначала я не обратил на него внимания, но когда до меня донеслись голоса, оглянулся и увидел, что мужчина разговаривает с женщиной; они встретились в верхней части улочки, спускающейся к проходу в стене. Очевидно, это было любовное свидание. Подобные вещи всегда интересны, особенно для того, кто молод, поэтому я с любопытством стал за ними наблюдать.

Вскоре я убедился, что любовники не проявляли друг к другу никакой нежности, особенно мужчина. Он все время отстранялся и отступал назад, приближаясь ко мне, словно спешил поскорее спуститься к лодке, на которой, по-видимому, приплыл. Меня это удивило, потому что даже на расстоянии и при свете луны я разглядел, как хороша его дама. Лица мужчины я не видел: он все время пятился, и широкополое сомбреро заслоняло его совершенно.

Постепенно они приблизились настолько, что я начал разбирать отдельные слова. Кавалер все так же отступал, а дама следовала за ним и умоляла:

— Нет, я не верю, ты не покинешь меня! Ты ведь взял меня в жены, ты клялся, обещал... Неужели у тебя хватит духу бросить меня после этого? Я отказалась для тебя от всего! Мне грозит опасность. И ведь я...

Тут она перешла на шепот, и я не расслышал последних слов.

— Восхитительная!— заговорил мужчина.— Я обожаю тебя по-прежнему, но мы должны на время расстаться. Не жалуйся, Изабелла, ты и так мне многим обязана. Я вытащил тебя из могилы, я научил тебя жить и любить. С твоими достоинствами и твоими прелестями ты, конечно, сумеешь извлечь пользу из этой науки. Я не могу дать тебе денег, потому что у меня нет лишних, но я дал тебе опыт, который стоит дороже. Сердце мое разрывается, ибо нам придется ненадолго проститься. Но, как говорят:

Там, где солнце ярче,
Поцелуи жарче!..

— А я, пока...

Но тут мужчина снова понизил голос, и больше я ничего не смог разобрать.

Когда он заговорил впервые, дрожь пронизала меня с головы до ног. Эта сцена сама по себе была достаточно трагичной, но взволновала меня не она, а голос, этот голос! Он напомнил мне... нет, я, наверное, просто ослышался!

— О, не будь таким жестоким!— воскликнула дама.— Неужели ты оставишь меня одну, зная, в каком я положении и какая опасность мне угрожает? Умоляю, возьми меня с собою, Хуан!

С этими словами она схватила его за руку и прильнула к нему. Мужчина довольно грубо оттолкнул ее, но тут широкополая шляпа свалилась от толчка и луна осветила его лицо. Это был Хуан де Гарсиа собственной персоной.

Ошибиться я не мог. То же самое, жестокое, изрезанное морщинами лицо, шрам на высоком лбу, тонкогубый язвительный рот, остроконечная бородка. Случай снова свел нас, и теперь-то я его убью или он убьет меня.

Сделав три шага вперед, я обнажил шпагу и остановился прямо перед ним.

— Что такое?— воскликнул он, в изумлении отступая назад.— Похоже у тебя, голубка, есть телохранитель! Что угодно сеньору? Может быть, сеньор явился на защиту опеченной красотки?

— Хуан де Гарсиа, я явился, чтобы отомстить за убитую женщину. Может быть, вы помните берег реки, далеко отсюда, в Англии, где вы встретили одну знакомую вам даму и оставили ее мертвой? Если вы забыли, то может быть, вспомните хотя бы эту шпагу, которой я вас убью!

И с этими словами я взмахнул над головой некогда принадлежавшей ему шпагой.

— Матерь божья! Тот самый английский парень...

Но тут он остановился.

— Да, я Томас Вингфилд, который избил вас и связал. Теперь я хочу исполнить свою клятву и довершить то, что начал тогда. Защищайтесь, Хуан де Гарсиа, иначе я заколю вас на месте!

Сегодня эти слова, произнесенные самым решительным и мрачным тоном, кажутся мне какими-то театральными, но когда де Гарсиа их услышал, он сразу стал похож на затравленного волка. Я видел, что он не хочет драться, и не из трусости, ибо надо отдать ему справедливость, он не был трусом, а из суеверия. Как я узнал позднее, он боялся со мной драться, ибо считал, что ему суждено умереть от моей

руки. Именно поэтому он и попытался убить меня, когда встретился со мной в первый раз.

— Дуэль имеет свои законы, сеньор,— галантно возразил де Гарсиа.— Драться без секундантов, да еще в присутствии женщины не принято. Если вы полагаете, что я вас чем-то оскорбил, хоть я по правде не понимаю, о чем идет речь, и не знаю имени, которым вы меня называете, я встречусь с вами в другой раз, где и когда вам будет угодно.

В продолжение всей этой речи он озирался, пытаясь найти путь к отступлению. Но я его оборвал:

— Мне угодно встретиться с вами сейчас. Защищайтесь, или я вас заколю!

Тогда он обнажил свою шпагу, и мы сошлись.

Схватка была отчаянной. Звон стали огласил всю тихую улочку. Искры так и сыпались от сталкивающихся клинков. Сначала преимущество было на стороне де Гарсиа, потому что ярость ослепляла меня, но постепенно я взял себя в руки и начал драться увереннее. Я хотел его убить, и я знал, что убью его, если нам ничто не помешает. Он был более искусным дуэлистом, чем я. До нашей встречи близ Дитчингема я вообще не видел испанской шпаги, но на моей стороне были справедливость и молодость, стальная рука и ястребиный глаз.

Медленно, шаг за шагом, я теснил его, и чем увереннее и опаснее становились мои выпады, тем беспорядочнее он защищался. Я уже дважды ранил его, один раз в лицо, и прижал спиной к стене прохода, спускавшегося к реке. Он больше не нападал, только отбивал мои выпады. И в эту минуту, когда победа была уже в моих руках, случилось несчастье. Женщина, которая до сих пор стояла в стороне, со страхом наблюдая за нами, увидела, что ее неверному любовнику угрожает смертельная опасность, и вцепилась в меня сзади, испуская пронзительные крики о помощи!

Я мгновенно стряхнул ее, но де Гарсиа успел воспользоваться своим преимуществом: сделав подлый выпад, он почти проткнул мое правое плечо. Теперь мне в свою очередь пришлось перейти к обороне, защищая свою жизнь.

Крики женщины привлекли внимание стражников, они неожиданно появились из-за угла, свистками призывая подмогу. Увидев их, де Гарсиа быстро отступил, повернулся и побежал вниз по проходу к реке. Дама тоже куда-то исчезла, и я остался один.

Стража приближалась. Капитан с фонарем в руке уже устремился ко мне, чтобы схватить меня. Рукояткой шпаги

я ударил по фонарю, фонарь упал на мостовую, разбился и запылал, как костер.

После этого я в свою очередь повернулся и бросился бежать, потому что мне вовсе не улыбалось предстать перед городским судом за ночную драку. Но спасаясь от стражи, я совсем забыл, что и враг мой тоже сбежал!

Трое стражников погнались было за мной, однако они были слишком тучными и скоро выбились из сил: пробежав с полмили, я от них отделался. Остановившись, чтобы перевести дыхание, я только тут вспомнил о де Гарсиа. Где его теперь искать?

Сначала я хотел вернуться, однако сообразил, что на прежнем месте его уже, конечно, нет, а меня стража может схватить, опознав по свежей ране. К тому же и рана начала давать о себе знать. Поэтому я повернулся и побрел домой, проклиная свою судьбу, женщину, которая вцепилась в меня как раз тогда, когда я уже был готов нанести смертельный удар, а заодно и свое неумение драться. Удар следовало нанести раньше! Дважды я мог это сделать и дважды не решался из-за излишней осторожности. Я хотел бить только наверняка, и вот упустил такой случай! Кто знает, когда он еще повторится? Как я теперь найду де Гарсиа в этом огромном городе?

Мне только сейчас пришло в голову, что он наверняка скрывается здесь под вымышленным именем, как тогда в Ярмуте. Горько мне было думать о том, что отмщение было так близко, и я снова сплоховал.

Добравшись, наконец, до дому, я решил обратиться за помощью к моему хозяину дону Андресу. До сих пор я ему об этом деле ничего не говорил, потому что всегда предпочитал действовать самостоятельно, и он даже ничего не знал о моем прошлом. Но сейчас я прямо отправился в комнату, где он обычно принимал пациентов. Оказалось, однако, что Фонсека лег спать и просил его не будить, потому что чувствовал себя нездоровым...Поэтому я кое-как сам перевязал рану и тоже улегся в постель, весьма недовольный собой и своим невезением.

Утром я зашел в комнату моего хозяина. Он не вставал с постели из-за внезапных болей, послуживших началом болезни, которая свела его в могилу. Когда я начал приготовлять для него лекарство, он заметил, что я плохо владею правой рукой, и спросил, что случилось. Воспользовавшись случаем, я решил ему все рассказать.

— Хватит ли у вас терпения выслушать мою историю?— спросил я.— Мне нужна ваша помощь.

— А, обычный случай,— ответил он.— Врач не может исцелиться сам. Говори, племянник, я слушаю.

Тогда я присел к нему на кровать и рассказал обо всем без утайки. Я рассказал ему историю знакомства матери и отца, рассказал о своем детстве, о том, как де Гарсиа убил мою мать, и о том, как я поклялся ему отомстить. Напоследок я описал все, что случилось прошлой ночью, когда мой враг ускользнул от меня. Пока я говорил, Фонсека, закутанный в богатый мавританский халат, сидел в кровати, поджав ноги, опираясь подбородком на колени, и пристально разглядывал мое лицо своими проницательными глазами. Но пока я не замолчал, он не произнес ни слова, не сделал ни единого жеста.

— Ну и дурень же ты, племянничек!— заговорил он, наконец.— Причем редкосный дурень! Обычно юнцы грешат излишней откровенностью, а ты поплатился из-за чрезмерной осторожности. Из-за этой сверхосторожности ты упустил удобный случай во время поединка прошлой ночью, из-за этой же глупой скрытности ты ничего не рассказал мне раньше и упустил еще лучшую возможность. Неужели ты не знаешь, что я не раз помогал в подобных делах совершенно чужим людям и никогда не выдавал их секретов? Почему же ты не посоветовался со мной?

— Не знаю,— пробормотал я.— Мне хотелось сначала попытаться самому...

— Гордыня до добра не доводит! А теперь слушай меня, племянник. Если бы я узнал эту историю месяц назад, де Гарсиа был бы сейчас уже мертв. Он умер бы самой жалкой смертью, и не от твоей руки, а от руки закона. Я знаком с этим человеком со дня его рождения и знаю о нем вполне достаточно, чтобы дважды его повесить. Для этого мне стоило только заговорить. Больше того. Я знал твою мать, мой мальчик, и теперь-то я понимаю, почему твое лицо сразу показалось мне знакомым: ты очень на нее похож. Ведь это я подкупил стражников инквизиции, чтобы они выпустили твоего отца, хотя его самого я так и не видел. И побег в Англию подготовил тоже я. Что касается де Гарсиа, то я раз пять держал его в своих руках, и каждый раз он носил другое имя. Однажды он сам явился ко мне в качестве клиента, но я не захотел пачкать руки и не взялся за ту мерзость, которую он мне предлагал сделать. Де Гарсиа самый грязный из всех известных мне негодяев Севильи, а этим уже сказано многое. Но в то же время он самый умный и самый мстительный. Он погряз в пороках, и на совести у него не одна загубленная душа. Но все его злодеяния не

принесли ему ничего: до сих пор он остается безвестным проходимцем и живет вымогательством или за счет какой-нибудь женщины, которую грабит на досуге. Подай мне мои книги вон из того сундука, и я тебе расскажу, кто такой твой де Гарсиа.

Я повиновался и передал ему несколько тяжелых пергаментных томов, каждый из которых был завернут в тонкую кожу. Страницы томов покрывали шифрованные записи.

— Это мои заметки,— проговорил Фонсека.— Прочесть их не сможет никто, кроме меня. Посмотрим оглавление. Так, вот оно. Дай мне теперь третий том. Найди двести первую страницу.

Я положил открытую в нужном месте книгу перед ним на кровать, и он начал читать непонятные знаки с такой легкостью, словно это были обычные буквы.

— Де Гарсиа, Хуан. Рост, внешность, семья, ложные имена и так далее. Вот его история, слушай!

Далее следовали целые две страницы, густо исписанные тайнописью. Расшифровывая ее на ходу, Фонсека начал читать.

Запись была немногословной, но я ничего подобного ей не слышал никогда, ни до, ни после. Здесь было собрано все, все пороки и преступления, какие только может совершить человек в погоне за наслаждениями и золотом и ради удовлетворения своих страстей и мстительной ненависти.

В этом черном списке было два убийства: удар ножом в спину сопернику и отравление любовницы. Но, кроме того, здесь перечислялись и другие вещи, слишком постыдные, чтобы о них писать.

— Конечно, мои заметки далеко не полны,— спокойно проговорил дон Андрес,— он натворил гораздо больше. Но то, что здесь написано, я знаю наверное, и одно из этих убийств можно доказать, когда его схватят. Постой, дай-ка мне чернила! Я должен дополнить эту запись.

И он приписал снизу:

«В мае 1517 года вышеупомянутый де Гарсиа отплыл в Англию якобы с торговыми целями и там, в дитчингемском приходе графства Норфолк, убил Луизу Вингфильд, в девичестве Луизу де Гарсиа, свою кузину, с которой был ранее обручен. Приблизительно в сентябре месяце того же года с помощью ложной свадьбы он соблазнил, а затем бросил донну Изабеллу из знатного рода Сигуенса, бывшую монахиню из монастыря нашего города».

— Не может быть!— воскликнул я.— Неужели де Гар-

сиа бросил ту самую девушку, что позавчера приходила к вам ночью за советом?

— Ту самую, племянник. Ты сам слышал, как она умоляла его прошлой ночью. Если бы я знал позавчера то, что знаю сегодня, этот мерзавец уже был бы надежно упрятан в темницу. Но, может быть, еще не поздно. Хоть я и болен, я поднимусь и сделаю что могу. Предоставь это мне, племянник. Ступай, позаботься о себе, а это оставь мне. Если что-нибудь еще можно сделать, я это сделаю. Стой, скажи посыльному, чтобы был наготове. Сегодня вечером я узнаю все, что можно будет узнать.

Ночью Фонсека послал за мной.

— Я навел справки,— сказал он.— Я даже поднял на ноги судебных ищеек — впервые за много лет. Сейчас они охотятся за де Гарсиа, как собаки-людоеды за беглым каторжником. Но пока о нем ничего не слышно. Он исчез бесследно. Этой ночью я отправил письмо в Кадис, потому что он, по-видимому, спустился вниз по реке. Но кое-что я все-таки разузнал. Сеньора Изабелла захвачена стражей. В ней опознали монахиню, сбежавшую из монастыря, и передали ее для допроса в руки инквизиции. Иными словами, если ее проступок будет доказан, ее ждет смерть.

— Неужели ей нельзя помочь?

— Поздно. Если бы она меня послушалась, ей бы сейчас ничто не угрожало.

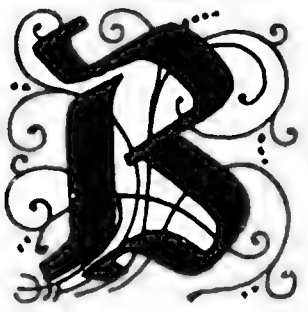
— Но можно с ней хоть как-то связаться?

— Нет. Двадцать лет тому назад еще можно было что-то сделать, но теперь инквизиция стала суровей и неподкупней. Золото там бессильно. Больше мы ее не увидим и ничего о ней не услышим вплоть до ее смертного часа. Если она захочет поговорить со мной перед смертью, может быть, ей окажут такую милость, однако и в этом я сомневаюсь. Впрочем, непохоже, чтобы она это пожелала. Ах, если бы ей удалось скрыть свое положение! Но надежды мало. Не смотри так печально, племянник, религия требует жертв. Может быть, для нее будет лучше умереть сразу, чем жить еще долгие годы, погребенной заживо в монастыре. Ведь умирают только один раз! Да падет ее кровь на голову Хуана де Гарсиа!

И я ответил: — Аминь.

ГЛАВА IX

ТОМАС СТАНОВИТСЯ БОГАЧОМ



В течение нескольких месяцев мы больше ничего не слышали ни о де Гарсиа, ни об Изабелле де Сигуенса. Оба исчезли, не оставив следов, и все наши поиски были напрасны. Я вернулся к своей прежней жизни помощника Фонсеки и снова начал появляться в обществе в качестве его племянника. Но с той ночи, когда я дрался на дуэли с убийцей матери, здоровье моего хозяина становилось все хуже и хуже из-за непонятной болезни печени, которая не поддавалась никакому лечению. Через семь месяцев он уже не мог вставать с постели и говорил с трудом. Тем не менее Фонсека сохранил полную ясность ума и время от времени даже принимал некоторых клиентов, приходивших к нему за советом. Закутавшись в свой расшитый халат, он беседовал с ними, сидя в глубоком кресле. Но тень смерти уже коснулась его, и он сам это понимал.

С каждым днем Фонсека все больше и больше привязывался ко мне. Он полюбил меня всей душой, словно родного сына, а я в свою очередь делал все возможное, чтобы хоть немного облегчить его страдания: других врачей он и близко к себе не подпускал.

Однажды, чувствуя, что силы его уже покидают, Андрес де Фонсека выразил желание переговорить с нотариусом. Названный им нотариус пришел и на час с лишним заперся наедине с моим хозяином. После этого он ненадолго вышел и вернулся с несколькими своими писцами. Попросив меня удалиться, они снова заперлись в комнате Фонсеки. Наконец все ушли, унося с собой какие-то исписанные пергаменты.

Вечером Фонсека послал за мной. Он выглядел очень слабым, но настроение у него было бодрое и разговорчивое.

— Подойди поближе, племянник,— сказал он.— Сегодня у меня было много дел. Я всегда был занят делами, всю мою жизнь, и не годится мне под конец впадать в праздность. Ты знаешь, что я сегодня делал?

Я отрицательно покачал головой.

— Ну так я тебе скажу. Я составлял завещание. Ведь после меня кое-что останется, не так уж много, но все-таки кое-что.

— Не говорите о завещании!— взмолился я.— Вы проживете еще много лет, верьте!

Фонсека рассмеялся.

— Плохо же ты обо мне думаешь, племянник, если считаешь, что меня так легко провести! Я скоро умру, ты сам это знаешь, но смерти я не боюсь. В жизни я был удачлив, но несчастлив, потому что юность мне искалечили,— теперь это уже неважно. История старая, и нечего ее вспоминать. К тому же какой дорожкой не иди, все равно придешь к одному — к могиле. Каждый из нас должен пройти свой жизненный путь, но когда доходишь до конца, уже не думаешь, гладок он был или нет. Религия для меня ничто: она не может меня ни утешить, ни устрашить. Только сама моя жизнь может меня осудить или оправдать. А в жизни я творил и зло, и добро. Я творил зло, потому что соблазны бывали порой слишком сильны и я не мог совладеть со своей натурой; я и делал добро, потому что меня влекло к нему сердце. Но теперь все кончено. И смерть в сущности совсем не такая уж страшная штука, если вспомнить, что все люди рождаются, чтобы умереть, как и прочие живые существа. Все остальное ложь, но в одно я верю: есть бог и он куда милосерднее тех, кто принуждает нас в него верить.

Здесь Фонсека остановился, выбившись из сил.

Я потом часто вспоминал его слова, да и сейчас их вспоминаю, когда сам близок к смерти. Фонсека был фаталистом, и я не могу с ним согласиться, ибо верю, что в известных пределах мы сами создаем свой характер и свою судьбу. Но с его последними словами я целиком согласен. Есть бог, и он милосерд, и смерть не страшна ни сама по себе, ни тем, что грядет за ней.

Но вот Фонсека снова заговорил:

— Зачем ты заставляешь меня говорить о таких вещах? Это меня утомляет, а времени у меня осталось немного. Я говорил о своем завещании. Слушай, племянник. Кроме определенной и, как ты сам понимаешь, небольшой суммы, оставленной мной для бедных, все мое достояние я завещал тебе.

— Мне?!— воскликнул я в изумлении.

— Да, племянник, тебе. А почему бы и нет? У меня нет близких, а тебя я полюбил, хотя думал, что уже не смогу полюбить ни мужчину, ни женщину, ни ребенка. Я тебе благодарен: ты показал мне, что сердце мое не омертвело. Прими же сей дар в знак моей признательности!

Я начал его бессвязно благодарить, но Фонсека оборвал меня:

— Тебе достанется в общей сложности около пяти тысяч золотых песо, или двенадцать с лишним тысяч ваших анг-

лийских фунтов — для начала сумма вполне достаточная, чтобы такой молодой человек, как ты, зажил безбедно, даже вдвоем с женой. В Англии это наверняка будет целым состоянием. Я полагаю, что теперь-то отец твоей нареченной не будет возражать против вашей свадьбы. Кроме того, тебе достанется мой дом со всем его содержимым. Серебро, а главное — книги тоже стоят немало; советую их сохранить. Все это перейдет к тебе по закону, все формальности соблюдены и никто не сможет оспаривать твоих прав. Предчувствуя свой конец, я заранее собрал все мои деньги — большая часть золота лежит в ларцах в потайной нише вон в той стене, ты о ней знаешь, племянник. Я бы оставил тебе много больше, если бы встретил тебя несколько лет назад. Но тогда я думал, что слишком разбогател, наследников у меня не было, и я тратил деньги не глядя: помогал всем бедным, укрывал всех бездомных и страждущих. Слушай, Томас Вингфилд! Большая часть этого золота — плод людской глупости и порочности, плата за человеческие слабости и грехи. Постарайся же использовать его с умом на дело справедливости и свободы. Пусть оно пойдет тебе на пользу, и пусть оно напоминает тебе обо мне, о твоем хозяине, старом испанском мошеннике, пока ты сам не оставишь его своим детям или нищим. А теперь еще одно слово. Если можешь, смири свою душу и не преследуй больше Хуана де Гарсиа. Захвати свое состояние, отправляйся с ним в Англию, женись на своей любимой и живи с ней счастливо, как тебе заблагорассудится! Подумай, кто ты такой, чтобы брать на себя отмщение этому негодяю? Оставь его! Он сам навлечет на себя возмездие. Иначе тебе придется вынести немало трудностей и опасностей, а кончиться это может тем, что ты потеряешь и жизнь, и любовь, и все свое достояние.

— Но ведь я поклялся его убить!— возразил я.— Разве могу я нарушить подобную клятву? Разве смогу я спокойно сидеть дома, покрытый позором?

— Не знаю, не знаю! Здесь я тебе не судья. Делай что хочешь, но помни: если ты поступишь по-своему, может случиться так, что ты будешь опозорен еще больше. Ты с ним дрался, и он от тебя бежал. Не будь же глупцом и оставь его в покое. А теперь нагнись и поцелуй меня. Простимся! Я не хочу, чтобы ты видел, как я буду умирать, а смерть моя уже рядом. Не знаю, встретимся мы, когда пробьет и твой смертный час, или нас ждут разные звезды. Если так,— прощай навсегда!

Я нагнулся и поцеловал его в лоб. Слезы хлынули у ме-

ня из глаз. Только сейчас я понял, как сильно его любил: мне казалось, что умирает мой родной отец.

— Не плачь,— проговорил Фонсека.— Вся наша жизнь — расставание. Когда-то у меня был сын, такой же, как ты, и не было ничего страшнее нашего прощания. А сейчас я иду к нему, потому что он не может прийти ко мне. О чем же плакать? Прощай, Томас Вингфилд! Да хранит тебя бог. А теперь — иди.

Я ушел весь в слезах, и этой же ночью перед рассветом Андреса де Фонсеки не стало. Мне сказали, что он умер в полном сознании, шепча имя своего сына, о котором заговорил со мной только в последний час.

Я так никогда и не узнал, что произошло с его сыном и с самим Фонсекой. Подобно индейцу, он шел по жизненной тропе, шаг за шагом заметая за собой все следы. Он никогда не рассказывал о своем прошлом, и я не нашел ни малейших сведений о нем ни в книгах, ни в документах, которые после него остались.

Однажды, много лет спустя, я прочел все тома зашифрованных записей Фонсеки: перед смертью он дал мне ключ к шифру. Они стоят передо мной и сейчас, когда я пишу эти строки. В них я нашел немало историй позора, горя и преступлений, немало рассказов об обманутом доверии, о проданной честности, о жестокости священнослужителей, о торжестве жадности над любовью и торжестве любви над смертью. Их хватило бы по меньшей мере на полсотни больших романов. Но в этой хронике давно ушедшего и забытого поколения ни разу не упоминается даже имя Фонсеки и нет ни намека на его собственную историю. Она утрачена навсегда, и, может быть, к лучшему.

Так умер мой лучший друг и мой благодетель.

Когда Фонсеку обрядили для похорон, я пришел еще раз взглянуть на него. Объятый смертным сном, он казался спокойным и даже красивым.

В этот момент ко мне приблизилась женщина, которая обмывала его, и подала мне два изящных портрета-медальона на слоновой кости: она нашла их на груди покойного. Эти медальоны до сих пор у меня. На одном из них изображена головка дамы с нежным и задумчивым выражением; на другом — лицо мертвого юноши, прекрасное, но бесконечно печальное. По всей видимости, то были мать и сын, а больше я ничего о них не знаю.

На следующий день я похоронил Андреса де Фонсеку. Похороны были скромные, потому что он приказал не тратить деньги на погребение его трупа.

С кладбища я вернулся домой, где меня ожидали нотариусы. Печати были сломаны, документы зачитаны, и я вступил в полное владение всем достоянием покойного. После того как я уплатил пошлину, налог на наследство и выдал нотариусам положенное вознаграждение, они удалились, униженно кланяясь. Ведь отныне я был богат!

Да, я стал богачом, и богатство, к которому я так стремился, досталось мне без особого труда. Однако оно меня не радовало. Я провел самый горький из всех вечеров с тех пор, как высадился в Испанию. Печаль и сомнения разрывали мне сердце, тоскливое одиночество давило меня. Но я не знал, что эта горестная ночь к утру мне покажется еще страшнее.

Я сидел за столом и делал вид, что ужинаю, когда слуга доложил, что в гостиной какая-то дама ожидает моего покойного хозяина. «Наверное, клиентка, которая еще не знает о смерти Фонсеки— решил я и уже хотел приказать слуге, чтобы он ее выпроводил, но потом подумал, что, может быть, смогу ей чем-нибудь помочь или хотя бы выслушать ее и на время забыть свое собственное горе. Поэтому я велел провести даму ко мне. В комнату вошла высокая женщина, закутанная в темный плащ с капюшоном, скрывавшим ее лицо. Я поклонился, усадил ее, но внезапно она снова поднялась и проговорила тихо и быстро:

— Я хотела видеть дона Андреса де Фонсеку, а не вас!

— Андреса де Фонсеку сегодня похоронили,— ответил я.— Во всех делах я был его помощником и остался его наследником. Если могу вам чем-нибудь помочь, располагайте мной.

— Вы так молоды, слишком молоды,— смущенно пробормотала дама,— а дело это ужасное и спешное. Можно ли вам верить?

— Судите сами, сеньора.

Подумав немного, дама сбросила плащ, под которым оказалось одеяние монахини.

— Слушайте,— сказала она.— Этой ночью мне предстоит немало забот, и я с трудом урвала время, чтобы прийти сюда для дела милосердия. Я не могу вернуться с пустыми руками, поэтому мне приходится вам верить. Но сначала поклянитесь святым именем Божьей Матери, что вы меня не предадите.

— Я даю вам мое слово,— ответил я.— И если этого вам недостаточно, закончим наш разговор.

— Не сердитесь на меня!— взмолилась женщина.— Я не выходила за стены монастыря уже много лет, и у меня

большое горе. Мне нужен самый сильный яд. Я хорошо вам заплачу.

— Убийцам я не пособник,— возразил я.— Для чего вам понадобился яд?

— О, я не должна... Но я вижу, что мне придется сказать. Этой ночью в нашем монастыре должна умереть одна женщина, почти девочка, молоденькая и красивая. Она нарушила обет и сегодня ночью умрет вместе со своим ребенком. Она, она...о господи! их замуруют живыми в стену монастыря, который она осквернила. Таков приговор, и его невозможно ни отменить, ни смягчить. Я аббатиса этого монастыря — не спрашивайте ни моего имени, ни как называется монастырь,— и я люблю эту грешницу, словно родную дочь. Только благодаря моим особым заслугам перед церковью и моим тайным покровителям мне удалось добиться для нее высшей милости: прежде чем работу закончат, я смогу дать ей чашу с водой, к которой будет подмешан яд, и смочить отравой губы младенца, чтобы они умерли быстро. Я смогу это сделать, не беря греха на душу. У меня есть тайное отпущение. Помогите же мне стать невинной убийцей и спасти эту грешницу от последних земных страданий.

У меня нет слов, чтобы описать, что я испытал, слушая этот страшный рассказ. Оцепенев от ужаса, я тщетно пытался что-то ответить, как вдруг у меня мелькнула чудовищная мысль.

— Эту женщину зовут Изабелла де Сигуенса?— спросил я.

— Да,— ответила аббатиса,— так ее звали в мире, хоть я и не понимаю, откуда вам это известно.

— В этом доме известно многое, святая мать. Скажите, можно ли ее спасти с помощью денег или каких-нибудь посулов?

— Немыслимо: приговор утвержден Трибуналом Милосердия. Она должна умереть через два часа. Вы дадите мне яд?

— Я могу его дать только в том случае, если буду уверен в его назначении. Откуда я знаю, может, вы просто выдумали всю эту историю и воспользуетесь ядом таким образом, что мне потом придется отвечать перед законом! Я дам его вам только при одном условии: я должен видеть сам, как вы его используете.

Аббатиса задумалась на мгновение, затем проговорила:

— Хорошо, это возможно: мое отпущение прикроет и этот грех. Но вам придется надеть монашескую рясу с капюшоном, ибо те, кто исполняет приговор, не должны

знать ни о чем. Однако другие будут знать, и я предупреждаю: если вы проговоритесь, вас ждет суровая кара. Церковь жестоко мстит тем, кто выдает ее тайны, сеньор.

— Когда-нибудь эти тайны сами отомстят за себя церкви,— с горечью ответил я.— А теперь извините, мне нужно найти подходящее средство. Оно должно подействовать быстро, но не слишком, иначе ваши псы увидят, что добыча от них ускользнула, прежде чем закончат свою дьявольскую работу. Вот это нам подойдет,— и я показал ей флакон, который вынул из ларца, где хранились яды.— Одевайтесь, святая мать, и пойдемте, совершим ваше «дело милосердия».

Она повиновалась, и мы вышли из дому.

Быстро оставив позади людные улицы, мы вступили в старую часть города и спустились к реке. Здесь аббатиса показала мне на лодку, которая ждала у пристани. Мы сели в нее и поплыли вверх по течению. Через милю с лишним лодка подошла к причалу под высокой стеной. Мы сошли на берег, приблизились к глухой деревянной двери, и аббатиса трижды постучала. Стукнуло дверное окошко, за которым смутно белело в темноте чье-то лицо. Человек что-то спросил, моя спутница ему тихо ответила. Через некоторое время дверь отворилась, и мы оказались в большом, окруженном стеной саду апельсиновых деревьев.

— Я привела вас в наш дом,— обратилась ко мне аббатиса.— Если вы случайно знаете, где вы находитесь и как называется это место, ради вашего же блага прошу вас обо всем позабыть, когда вы закроете за собой эту дверь.

Не отвечая, я озирался вокруг. Вот он, этот сырой, темный сад! Наверное, здесь де Гарсиа встретил несчастную девушку, которая должна умереть сегодняшней ночью.

Мы прошли по саду шагов сто и вновь остановились перед дверью в стене низкого здания, выстроенного в мавританском стиле. Здесь моя спутница опять постучала, но на сей раз переговоры длились дольше. Наконец дверь открыли, и мы очутились в еле освещенном узком и длинном коридоре, в глубине которого я различил фигуры монахинь, скользивших взад и вперед, подобно летучим мышам в гробнице. Аббатиса повела меня за собой по коридору, пока мы не дошли до двери с правой стороны. Она открыла дверь, впустила меня в келью и оставила одного в темноте.

Минут десять с лишним я стоял во власти самых противоречивых мыслей, о которых предпочитаю не вспоминать. Но вот дверь снова открылась, и аббатиса вошла в сопровождении высокого монаха, облаченного в белую рясу до-

миниканцев. Его лица я не мог различить, потому что на голове у него был такой же белый остроконечный колпак; сквозь прорези виднелись одни глаза. Некоторое время монах рассматривал меня при свете фонаря. Потом он заговорил:

— Привет тебе, сын мой. Мать аббатиса рассказала мне о твоем деле. Ты слишком молод для таких вещей.

— Будь я старше, они бы от этого не сделались приятнее, святой отец. Вы знаете, о чем идет речь. Меня просили достать смертельный яд для некоторых милосердных целей. Я принес яд, но должен убедиться сам, что он будет использован по назначению.

— Сын мой, ты слишком подозрителен! Церковь не занимается убийствами. Эта женщина должна умереть, ибо грех ее доказан, а в последнее время подобная распущенность становится всеобщей. Посему после долгих молитв, размышлений и тщетных поисков обстоятельств, могущих смягчить ее участь, она была осуждена на смерть теми, чьи имена слишком святы, чтобы их называть. Я же — увы! — нахожусь здесь для того, чтобы проследить за исполнением приговора с некоторыми отступлениями, которые из милости разрешил допустить по отношению к ней ее верховный судья. Вижу, что тебе, сын мой, необходимо присутствовать при свершении этого дела милосердия, а потому не стану чинить тебе препятствий. Мать аббатиса уже предупредила тебя, какая кара ждет тех, кто выдает тайны церкви? Ради тебя самого прошу — не забывай об этом!

— Я не из болтунов, святой отец, и предупреждать меня не к чему. Но вот еще что. За этот визит мне должны хорошо заплатить, яд стоит недешево.

— Не бойся, лекарь!— ответил монах с ноткой презрения в голосе — Назови свою цену, и тебе заплатят.

— Я прошу не денег, святой отец. Я сам бы заплатил немало, чтобы только не находиться здесь этой ночью. Я прошу, чтобы мне дали возможность переговорить с девушкой, прежде чем она умрет.

— Что?!— воскликнул монах.— Надеюсь, не ты ее совратил? Если это так, ты поистине наглец, достойный разделить ее участь!

— Нет, святой отец, это не я. Я видел Изабеллу де Сигуенса лишь однажды, и ни разу не говорил с ней. Ее соблазнил не я, но я знаю этого человека. Его имя Хуан де Гарсиа.

— Вот как?— быстро проговорил монах.— Она ни за что не хотела сказать его настоящее имя, даже под угрозой пы-

ток. Несчастная заблудшая душа, она была искренна в своем заблуждении. О чем ты хочешь с ней говорить, сын мой?

— Я хочу у нее узнать, куда направился этот человек. Он мой враг, и я буду преследовать его, как преследовал до сих пор. Он причинил мне и моей семье куда больше зла, чем этой бедной девушке. Не откажите мне, святой отец, чтобы я мог отомстить ему за себя и за церковь.

— Господь сказал: «Мне отмщение, и аз воздам!» Но, быть может, сын мой, господь избрал тебя орудием своей мести. Я дам тебе возможность переговорить с ней. Облачись в эти одежды,— тут он протянул мне белую доминиканскую рясу с таким же капюшоном,— и следуй за мной.

— Сначала,— возразил я,— надо передать яд аббатисе, потому что я не хочу давать его сам. Возьмите этот флакон, святая мать, и когда придет время, вылейте его в чашу с водой. Смочите как следует губы и язык младенца, а остальное дайте матери и проследите, чтобы она все выпила. Прежде чем будет положен последний кирпич, они крепко уснут и больше уже не проснутся.

— Я это сделаю,— пробормотала аббатиса.— Отпущение придает мне смелость, и я это сделаю во имя любви и милосердия.

— Ты слишком мягкосердечна, сестра,— проговорил монах, осеняя себя крестным знамением.— Правосудие — вот истинное милосердие! Горе немощной плоти, восстающей против духа!

Когда я облачился в одеяние белого призрака, монах и аббатиса взяли фонари и повели меня за собой.

Глава X

СМЕРТЬ ИЗАБЕЛЛЫ ДЕ СИГУЕНСА

Мы молча шли по длинному коридору, и я видел, как сквозь зарешеченные дверные окошки келий за нами следят глаза монахинь, заживо погребенных в своих склепах. Чему тут удивляться, если женщина не побоялась смерти, лишь бы вырваться из этой темницы в мир жизни и любви! И вот за такое «преступление» она должна теперь умереть. Нет, воистину бог не забудет злодеяний этих попов и этой нации, что их породила!

И бог не забыл. Ибо где ныне величие Испании и что стало с жестокими обрядами, которыми она славилась? Здесь, в Англии, их узы порваны навсегда. Они хотели за-

ковать нас, свободных англичан, в свои кандалы, но мы их разбили, и они уже никогда больше не пригодятся.

В дальнем конце коридора оказалась лестница: по ней мы спустились вниз и остановились у тяжелой, окованной железом двери. Монах отпер ее своим ключом, впустил нас и снова запер изнутри. Отсюда шел второй коридор, высеченный в толще стены, за ним была еще одна дверь, а за ней — место казни.

Это было низкое сырое подземелье, внешнюю сторону которого омывала река; в мертвой тишине я слышал, как журчат ее воды. Оно имело приблизительно восемь шагов в ширину и десять в длину. Своды его поддерживали массивные колонны, за ними в стене виднелась вторая дверь, ведущая в темницу.

В дальнем углу этого мрачного склепа, тускло освещенного факелами и фонарями, два человека в грубых черных рясах с глухими колпаками на головах молчаливо перемешивали известковый раствор, от которого в затхлом воздухе поднимались клубы горячего пара. Рядом с ними лежали аккуратные штабеля обтесанных камней, а напротив виднелась вырубленная в толще стены ниша, похожая на большой гроб, поставленный вертикально на более узкий конец. Напротив ниши стояло тяжелое кресло из каштанового дерева. В той же стене я заметил еще две подобные ниши, заложенные брусками такого же беловатого камня. На каждой из них виднелась глубоко высеченная дата. Одна ниша была замурована более ста лет назад, другая — спустя семьдесят.

Когда мы вошли в подземелье, в нем не было никого, кроме двух монахов-каменщиков, но вскоре из второго коридора до нас донеслись звуки нежного и торжественного песнопения. Дверь открылась, монахи прекратили работу и отошли от кучи извести. Звуки становились все громче. Вскоре я мог уже разобрать слова: это была латинская заупокойная молитва. Затем появился и сам хор: восемь монахинь с закрытыми вуалями лицами попарно прошли через дверь, встали в ряд у противоположной стены и умолкли. За ними вошла обреченная в сопровождении еще двух монахинь и последним — священник с распятием в руках. На нем была черная сутана, и его полубезумное лицо оставалось открытым.

Все это и другие подробности я заметил и запомнил, однако тогда мне казалось, что я не вижу ничего, кроме лица несчастной жертвы. Я ее узнал, хоть видел всего лишь раз, да и то при лунном свете. Она сильно изменилась: прелест-

ное лицо отекло, приобрело восковой оттенок, и теперь на нем выделялись только темно-красные губы да огромные, сверкающие, словно звезды, измученные глаза. Но лицо было то же самое! Именно эту женщину я видел какие-нибудь восемь месяцев назад, когда она говорила со своим неверным возлюбленным. Только теперь ее высокая фигура была окутана смертным саваном, по которому волной рассыпались черные пряди волос, и в руках она держала спящего младенца, судорожно прижимая его время от времени к груди.

У порога своей могилы Изабелла де Сигуенса остановилась и начала затравленно озираться, словно взывая о помощи. Но тщетно ее отчаянный взгляд впивался в закрытые капюшонами лица безмолвных зрителей. Потом она увидела нишу, кучу дымящейся извести, содрогнулась и наверное бы упала, если бы не сопровождавшие ее монахини,— они подхватили несчастную под руки, подвели к креслу и опустили на него, как живой труп.

Ужасный ритуал начался. Монах-доминиканец встал перед осужденной, объявил о ее преступлении и огласил приговор:

— Да будет она, а вместе с ней дитя ее греха, оставлены наедине с господом богом, дабы он поступил с ними по воле своей!*

Однако несчастная, по-видимому, не слышала ни приговора, ни последовавших за ним увещеваний. Наконец монах кончил, перекрестился и, повернувшись ко мне, сказал:

— Приблизься к грешнице, брат мой, и поговори с ней, пока еще не поздно!

После этого он приказал присутствовавшим отойти в дальний конец подземелья, чтобы они не слышали нашего разговора, и все безмолвно повиновались. По-видимому, они приняли меня за монаха, который должен исповедовать осужденную.

С бьющимся сердцем я подошел ближе, наклонился над ней и заговорил над самым ее ухом:

— Слушайте меня, Изабелла де Сигуенса!— когда я

---

* Подобная жестокость может показаться невероятной и беспрецедентной, однако автор видел сам в музее города Мехико разрубленное на части тело молодой женщины, прежде замурованное в стене монастыря. Там же было найдено и тело ее ребенка. Не совсем ясно, что именно вменяли ей в преступление, однако то, что она была казнена, не оставляет ни малейших сомнений. На теле ее до сих пор сохранились следы веревки, которой она была связана при жизни. Таково было милосердие церкви в те дни!— *Прим. авт.*

произнес ее имя, она содрогнулась.— Где де Гарсиа, который вас соблазнил и бросил?

— Откуда вы знаете это имя?— спросила она.— Даже пытки не могли у меня его вырвать.

— Я не монах и не знаю ни о каких пытках. Я тот самый человек, который дрался с де Гарсиа в ту ночь, когда вас схватили и который убил бы его, если бы не вы.

— Я его спасла, и в этом мое утешение.

— Изабелла де Сигуенса,— продолжал я.— Я ваш друг, самый искренний и последний, в чем вы сами сейчас убедитесь. Скажите мне, где этот человек? Между нами есть счеты, которые нужно уладить.

— Если вы мой друг, не мучьте меня больше. Я ничего о нем не знаю. Много месяцев назад он отправился туда, куда вы навряд ли когда-нибудь попадете, в Индию*. Но и там вам его все равно не найти.

— Как знать! На тот случай, если мы все же встретимся, не захотите ли вы что-нибудь ему передать?

— Нет. Хотя... постойте! Расскажите ему, как мы умерли, его жена и его ребенок, и скажите, что я сделала все, чтобы инквизиция не узнала его настоящего имени, ибо тогда его ожидала бы такая же участь.

— Это все?

— Да... Нет, скажите ему еще, что я умерла любя его и прощая.

— У меня мало времени,— сказал я.— Очнитесь и слушайте!

Я сказал так потому, что, проговорив эти слова, она словно погрузилась в какой-то полусон.

— Я был помощником Андреса де Фонсеки, советом которого вы пренебрегли себе на погибель. Я дал вашей аббатисе одно снадобье. Когда она поднесет вам чашу воды, выпейте все и дайте испить ребенку. Если вы так сделаете, ваша смерть будет легкой и безболезненной. Вы меня поняли?

— Да, да!— прошептала она, задыхаясь.— Пусть наградит вас за это господь! Теперь я не боюсь. Я сама давно хотела умереть и страшилась только этой казни.

— Тогда прощайте, несчастная женщина! Бог с вами.

— Прощайте!— ласково ответила она.— Но зачем же меня называть несчастной, если я умру такой легкой смертью вместе с тем, кого я люблю.

И она посмотрела на своего спящего младенца.

---

* Здесь и далее речь идет о Вест-Индии.— *Прим. перев.*

После этого я отошел от нее и молча встал у стены, опустив голову. Затем доминиканец приказал всем занять свои места.

— Заблудшая сестра,— обратился он снова к осужденной.— Не хочешь ли сказать нам что-нибудь, пока уста твои не умолкли навеки?

— Да, хочу!— ответила она чистым и нежным голосом, теперь, когда она узнала, что смерть ее будет быстрой и легкой, он даже не дрожал.— Да, я хочу вам сказать, что умираю с чистой совестью, ибо если я и согрешила, то только против обычая, а не против бога. Правда, я нарушила свои обеты, но меня заставили их принять насильно, и они меня все равно не связывали. Я была рождена для любви и света, а меня заточили во мрак монастыря, чтобы я гнила здесь заживо. Поэтому я и нарушила обеты, и я рада, что так сделала, хотя и расплачиваюсь за это жизнью.

Пусть даже меня обманули, пусть моя свадьба не была настоящей свадьбой, как мне сейчас говорят,— я этого не знаю,— для меня она все равно останется истинной и святой, и душа моя чиста перед господом. Я жила настоящей жизнью, несколько счастливых часов я была женою и матерью, и теперь лучше мне по вашей милости умереть сразу в этом склепе, чем медленно умирать в этих кельях наверху. А теперь слушайте меня! Вы осмеливаетесь говорить детям божьим: «Не смейте любить!» и убиваете их за любовь друг к другу. Но ваше изуверство обернется против вас самих. Попомните мои слова, оно обернется против вас и против церкви, которой вы служите, и тогда служители и церковь падут, а имена их станут проклятием в устах людей!

Шепот изумления и страха пронесся по подземелью.

— Она рехнулась!— воскликнул доминиканец.— Она потеряла разум и богохульствует в своем безумии. Не слушайте ее! Напутствуй ее, брат мой,— обратился он к священнику в черной сутане,— да поскорее, пока она еще чего-нибудь не наговорила!

Чернорясый поп с горящим, пронзительным взглядом. приблизился к осужденной, сунул свой крест ей под нос и что-то забормотал. Но она резко поднялась с кресла и оттолкнула распятие.

— Поди прочь!— вскричала она.— Не тебе меня исповедовать! Я покаюсь в моих грехах перед богом, а не перед такими, как ты, убивающими людей во имя Христа!

От этих слов фанатик пришел в ярость.

— Отправляйся же в ад нераскаянной, проклятая,— за-

вопил он и ударил несчастную тяжелым распятием из слоновой кости прямо по лицу, осыпая ее непристойной бранью.

Доминиканец гневно приказал ему замолчать, но Изабелла де Сигуенса только вытерла кровь с рассеченного лба и расхохоталась жутким безумным смехом.

— О, теперь я вижу, что ты еще к тому же и трус!— проговорила она.— Слушай же меня, поп! В последний свой час я молю бога, чтобы ты сам погиб от рук фанатиков и еще более страшной смертью, чем я!

Когда ее втолкнули в смертную нишу, она снова заговорила.

— Дайте нам попить,— попросила она,— меня и мое дитя томит жажда.

Я увидел, как из двери темницы, где была заключена осужденная, появилась аббатиса с чашей воды и ковригой хлеба в руках, и по ее виду понял, что она уже влила мое снадобье в воду. И больше я ничего не видел.

Сразу после этого я попросил доминиканца поскорее открыть дверь и выпустить меня из подземелья. Сделав несколько шагов по коридору, я остановился подальше от двери и здесь, оцепенев от ужаса, простоял бог весть сколько времени. Наконец я увидел перед собой аббатису с фонарем в руке.

— Все кончено,— проговорила она, горестно всхлипывая.— Нет, не бойтесь, ваше снадобье подействовало. Еще первый камень не был положен, а мать и дитя уже спали глубоким сном. Но она умерла нераскаянной и без исповеди. Горе ее душе!

— Горе душам всех, кто приложил руку к этому делу!— ответил я.— А теперь отпустите меня, святая мать, и дай нам бог никогда больше не встречаться!

Она отвела меня обратно в келью, где я сбросил проклятый монашеский балахон, а оттуда к двери в садовой ограде и к лодке, которая все еще ожидала у причала. Почувствовав на своем лице нежное дуновение ночного ветра, я обрадовался так, словно наконец-то очнулся от страшного кошмара. Но ни в эту, ни в следующие ночи сон не шел ко мне. Едва я смежал глаза, как передо мной возникал образ несчастной красавицы, такой, как я ее видел в последний раз. Освещенная тусклым отблеском факелов, закутаннная в саван, стоит она гордо и непокорно в своей нише, словно в каменном гробу, прижимая одной рукой младенца к груди и протягивая другую за чашей с ядом.

Видеть такое дважды вряд ли кто пожелает, да и тех,

кто видел подобное хоть один раз, тоже найдется немного — инквизиция и ее пособники, совершая свои злодеяния, стараются избавиться от свидетелей. И если я не слишком хорошо описал события той ночи, то вовсе не потому что забыл их, а потому, что даже сейчас, по прошествии почти семидесяти лет, мне трудно писать обо всех этих ужасах.

Пожалуй, самым удивительным из того, что я видел в ту необычайную ночь, было чувство несчастной красавицы к негодяю, который соблазнил ее, обманул ложной свадьбой, а потом оставил умирать лютой смертью. Она любила его до последнего мгновения. Чем заслужил подобный человек столь святую жертву? Не знаю. Но это было именно так.

Раздумывая обо всем, что тогда произошло, я вспоминаю сегодня о вещах не менее удивительных, чем беззаветное чувство несчастной женщины. Я уже говорил, что когда священник ударил ее, она пожелала ему умереть от рук таких же фанатиков еще более страшной смертью. Так оно и случилось. Много лет спустя этот самый священник по имени отец Педро был послан в Анауак для обращения язычников и здесь прославился своей жестокостью, за которую индейцы прозвали его «Христов Дьявол». Однажды он забрался дальше, чем следовало, на земли еще не покоренного тогда племени отоми, попал в руки жрецов бога войны Уицилопочтли и, по кровавому обычаю, был принесен ему в жертву. Когда его повели на казнь, я напомнил ему предсмертное проклятие Изабеллы де Сигуенса, не сказав, однако, что сам присутствовал при ее кончине. И тогда на какой-то момент ужас обуял его. Он увидел во мне только индейского вождя и подумал, что сам сатана говорит моими устами, чтобы помучить его перед смертью. Но довольно об этом. Если понадобится, я расскажу обо всем подробнее в другом месте. А теперь скажу лишь одно: потому ли, что провидение захотело воздать ему полной мерой, по чистой ли случайности или потому, что Изабелле де Сигуенса в ее последний час открылось будущее, этот фанатик погиб именно так, как она предсказала, и я о нем нисколько не сожалею, хотя его смерть и навлекла на меня впоследствии немало несчастий.

Так умерла Изабелла де Сигуенса, загубленная попами только за то, что осмелилась преступить их устав.

Когда все, что я видел и слышал в ту страшную ночь, немного улеглось в душе, я смог, наконец, подумать о себе. С одной стороны, я стал богатым человеком, и если бы за-

хотел теперь вернуться в Норфолк со своим состоянием, меня бы ожидало прекрасное будущее; об этом мне говорил еще Фонсека. Но, с другой стороны, клятва, данная мной, висела на мне, точно гиря. Я поклялся отомстить Хуану де Гарсиа и призвал на себя все кары небесные, если этого не исполню. Но как я ему отомщу, если буду жить в Англии в мире и благополучии?

Наконец, теперь я знал, где был мой враг или хотя бы в какой части света его искать. Там, где белых людей не так много, ему не удастся спрятаться от меня, как в Испании. Я узнал об этом от осужденной женщины и рассказал здесь довольно подробно ее историю лишь потому, что, если бы не она, я никогда не отправился бы на Эспаньолу*, точно так же, как если бы жрецы племени отоми не принесли в жертву ее палача, отца Педро, я никогда бы не вернулся в Англию, ибо не будь этого жертвоприношения, испанцы не стали бы осаждать Город Сосен, и я до сих пор, наверное, был бы там, живой или мертвый. Так незначительные с виду события определяют судьбы людей. Если бы Изабеллла де Сигуенса не произнесла нескольких роковых слов, я со временем отчаялся бы в бесплодных поисках и уплыл домой, в Англию, где меня ожидало счастье. Но, услышав ее слова, я уже не мог так поступить, потому что с моей стороны это было бы, как я думал на горе себе, последней трусостью. Тем более что теперь я считал своим долгом отомстить за двоих, за смерть моей матери и за смерть Изабеллы де Сигуенса. Это может показаться удивительным, но если бы кто-нибудь видел, как страшно умирала юная красавица, он без сомнения поклялся бы отплатить за ее муки тому, кто ее соблазнил и бросил.

Кончилось все это тем, что я по своему упрямому нраву пошел наперекор собственным желаниям, не послушался предсмертного совета моего благодетеля и решил исполнить свою клятву: последовать за де Гарсиа хоть на край света и убить его там, где встречу.

Для начала я все же постарался ловко и незаметно разузнать, действительно ли де Гарсиа отплыл в Индию. Не вдаваясь в подробности, расскажу о том, что мне удалось установить, пользуясь имевшейся у меня путеводной нитью.

Через два дня после той ночи, когда я дрался с де Гарсиа на дуэли, какой-то мужчина, по описанию очень похожий на него, однако носящий другое имя, отплыл из Се-

---

* Эспаньола — испанское название острова Гаити.— *Прим. перев.*

вильи на караке*, которая направлялась к Канарским островам. Там карака должна была дождаться прибытия других судов и вместе с ними отплыть к Эспаньоле. Сопоставив целый ряд обстоятельств, я убедился, что этот человек был никем иным, как Хуаном де Гарсиа. В этом не было ничего удивительного, хотя я только тогда вспомнил, что Индия служила убежищем для многих авантюристов и всяких мерзавцев, которым нельзя было оставаться в Испании. И вот я принял решение последовать за ним. Единственное, что хоть немного меня утешало, так это мысль, что я увижу новые чудесные края. В то время я даже не предполагал, сколько новых чудес меня там ожидает.

Но сначала я должен был распорядиться так неожиданно доставшимся мне богатством. Что с ним делать и как его сохранить до своего возвращения, я просто не знал, и лишь случайно услышав, что в Кадис прибыла из Ярмута «Авантюристка», тот самый корабль, на котором я приплыл в Испанию, я тут же решил, что надежнее всего будет переправить золото и прочие ценные вещи в Англию, где их сберегут для меня в полной неприкосновенности. Тотчас же я направил нарочным письмо моему другу, капитану «Авантюристки», сообщая, что у меня есть для него ценный груз. После этого я начал спешно готовиться к отъезду. Из-за спешки мне пришлось продать дом моего благодетеля и множество прочих вещей по самым низким ценам. Большую часть книг, посуду и некоторые другие предметы я велел упаковать в ящики и отправил по реке в Кадис, на имя тех самых торговцев, к которым у меня были рекомендательные письма от ярмутских купцов. Только после этого я уехал сам, увозя с собой все мое золото в многочисленных мешочках, тщательно запрятанных среди прочих вещей.

Так год спустя я навсегда покинул Севилью. Этот город принес мне удачу. Я приехал сюда бедняком, а уезжал богатым человеком. О приобретенном мною опыте, который сам по себе стоил немало, нечего и говорить. И тем не менее я был рад отъезду, потому что здесь, в этом городе, Хуан де Гарсиа снова ускользнул от меня, здесь я потерял своего лучшего друга, и здесь я видел смерть Изабеллы де Сигуенса.

До Кадиса я добрался благополучно, не потеряв ни одной вещи. В порту я нанял лодку и вскоре уже был на борту «Авантюристки», где меня встретил капитан Бэлл. Он

---

* Карака — средневековое парусно-гребное судно, широко распространенное до XVI века.— *Прим. перев.*

был в добром здравии и, увидев меня, весьма обрадовался. Но я обрадовался еще больше, когда узнал, что у капитана Бэлла было для меня три письма: одно от отца, второе от сестренки Мэри, а третье от моей нареченной Лили Бозард. Это единственное письмо, которое я от нее получил.

Однако содержание писем оказалось далеко не радостным. Отец мой был совсем плох и почти не вставал с постели. Как потом выяснилось, он умер в нашей дитчингемской церкви в тот самый день, когда я получил его письмо, но это я узнал уже много лет спустя. Письмо отца было коротеньким и печальным. В нем он говорил, что весьма сожалеет о том, что позволил мне уехать, что, наверное, меня больше не увидит, а потому молит бога сохранить мне жизнь и помочь благополучно вернуться на родину.

Что касается письма Лили, которое она сумела отправить тайком, когда узнала, что «Авантюристка» снова отплывает в Кадис, то оно было хоть и более длинное, но не менее печальное. Лили писала, что едва я уехал из дома, мой братец Джеффри заручился согласием от отца и они вдвоем принялись ее осаждать, принуждая к замужеству. Жизнь девушки превратилась в настоящий ад; мой братец преследовал ее неотступно, а сквайр Бозард пилил свою дочь каждый день, обзывая упрямой ослицей, которая отказывается от богатства ради какого-то нищего бродяги.

«Но верь мне, любимый,— писала далее Лили,— я не отступлюсь от своей клятвы, если только они не заставят меня выйти замуж насильно. А они уже грозились это сделать. Но если даже им удастся привести меня к алтарю против моей воли, то знай, Томас, я не долго буду чужой женой. Здоровье у меня, правда, крепкое, но тогда я просто умру от стыда и горя. И за что мне все эти муки? Неужели только за то, что ты беден?! И все же я твердо надеюсь, что все образуется к лучшему, хотя бы потому, что мой брат Уилфрид серьезно увлечен твоей сестрой Мэри. До сих пор он тоже торопил меня с этой свадьбой, но Мэри наш с тобой верный друг, и она сумеет склонить брата на нашу сторону, прежде чем примет его предложение».

Заканчивалось письмо всякими нежными словами и пожеланиями благополучного возвращения.

Примерно об этом же говорила в своем письме и моя сестренка Мэри. Она писала, что пока ничего не может сделать для нас с Лили. Мой братец Джеффри сходит с ума от любви, отец слишком болен и ни во что не вмешивается, а сквайр Бозард зарится на наши земли и потому решительно настаивает на свадьбе. Однако, по ее словам, все это долж-

но измениться, потому что вскоре она, возможно, сумеет замолвить за меня словечко и, надеется, небезуспешно.

Подобные новости заставили меня глубоко задуматься. С новой силой проснулась во мне тоска по дому, преследуя меня словно наваждение. Нежные слова моей нареченной и тонкий аромат, исходивший от ее письма, воскресили передо мной образ любимой, и сердце мое разрывалось от желания снова быть рядом с ней. К тому же я знал, что теперь меня встретят с распростертыми объятиями, ибо мое состояние было много больше того, на что мог рассчитывать мой братец, а родители не выставляют за дверь женихов, у которых в кармане двенадцать тысяч золотых монет. И, наконец, мне так хотелось повидать отца, пока он еще жив!

Однако между мной и родиной лежала тень Хуана де Гарсиа и моя клятва. Я так долго стремился к мести, это чувство настолько овладело мной, что теперь я уже не мог даже думать о счастливой жизни, пока цель не достигнута. Для того, чтобы быть счастливым, я должен был уничтожить де Гарсиа. Я уверился в том, что пока он жив, проклятие, произнесенное мной, будет преследовать меня повсюду.

Поэтому я сделал следующее. Обратившись к нотариусу, я приказал ему составить дарственную, которую перевел на английский язык. По этой дарственной я разделил все мое состояние, за исключением оставленных для себя двухсот песо, на три части и передал его трем лицам на сохранение вплоть до того дня, пока я сам за ним не явлюсь. Указанными тремя лицами были мой старый учитель, честнейший доктор Гримстон из Банги, моя сестра Мэри Вингфилд и моя невеста Лили Бозард. Этой дарственной, засвидетельствованной для большей верности на борту корабля капитаном Бэллом и еще двумя англичанами, я доверял вышеупомянутым лицам распоряжаться моим состоянием по своему усмотрению, однако с таким условием, чтобы не менее половины денег было вложено в земельные владения, а остаток — в доходные дела. Вся прибыль и доходы с имений должны были выплачиваться Лили Бозард до тех пор, пока она не выйдет замуж.

Одновременно с дарственной я составил завещание. Большая часть моего состояния переходила по нему к Лили Бозард, если ко дню моей смерти она будет не замужем, а остальное — к моей сестре. В случае замужества или смерти Лили ее доля переходила к Мэри или ее наследникам.

Когда оба документа были подписаны и запечатаны, я вручил их вместе со всем своим достоянием капитану Бэл-

лу, чтобы он в свою очередь доставил все это в Банги и передал доктору Гримстону, который должен был его за это щедро вознаградить. Капитан со слезами умолял меня отправиться вместе со всеми моими сокровищами в Англию, и лишь когда я наотрез отказался, обещал все исполнить в точности.

Вместе с золотом и документами я послал несколько писем: отцу, сестре, брату, доктору Гримстону, сквайру Бозарду и, наконец, самой Лили. В этих письмах я рассказал обо всем, что со мной приключилось, начиная с первого дня пребывания в Испании, так как убедился, что прежние мои письма вообще не достигли Англии, и объявил о своем решении последовать за де Гарсиа хоть на край света.

«Я сам отдаляю и, может быть, теряю счастье,— писал я Лили,— которое мне дороже всего на земле. Пусть люди думают, что я сошел с ума! Но ты, ты знаешь мое сердце, и ты меня не осудишь, хотя мое решение и принесет тебе много горя. Ты знаешь, что, если я в чем-нибудь утвердился, ничто, кроме смерти, не заставит меня отступить. А я, кроме того, связан клятвой; нарушить ее мне не позволит совесть. Даже рядом с тобой я не смогу быть счастливым, если сейчас откажусь от своих поисков. Сначала дело, а потом отдых; сначала горе, и лишь потом — радость. Не бойся за меня, я верю, что не погибну и вернусь. А на тот случай, если мне не суждено будет вернуться, я сделал все так, чтобы тебе никогда не пришлось выходить замуж против своей воли. Но сейчас, пока де Гарсиа жив, я буду его преследовать».

Своему братцу Джеффри я написал очень короткое письмо, где высказал все, что думаю о человеке, который преследует беззащитную девушку и старается напакостить отсутствующему брату. Мне потом рассказывали, что это письмо ему весьма не понравилось.

Здесь же я хочу сказать, что мои письма и все прочее благополучно прибыли в Ярмут. Затем золото и вещи переправили в Лоустофт, погрузив на баркас, а когда капитан Бэлл покончил с выгрузкой своего корабля, он поднялся в этом баркасе по Уэйвни до Банги, и здесь все было перенесено в дом доктора Гримстона на Незейргейт-стрит.

Капитан Бэлл заранее предупредил о своем приезде моего отца, сестру и брата, а также сквайра Бозарда, его сына и дочь, и в тот день они собрались в доме доктора Гримстона все, за исключением моего отца — он уже два месяца покоился на кладбище.

С безграничным удивлением выслушали они рассказ ка-

питана, но их изумление еще более возросло, когда сундуки открыли и начали взвешивать их содержимое, чтобы сверить его с цифрами, приведенными в моих письмах, ибо столько золота за раз в нашем Банги до сих пор еще не видал никто.

Тут Лили расплакалась, сначала от радости, потому что теперь я был богат, а затем от горя, потому что я не вернулся одновременно с моими сокровищами. Сквайр Бозард, увидев золото и услышав мою дарственную, сразу сделавшую Лили богатой женщиной, независимо от того, жив я или нет, во всеуслышание поклялся, что всегда думал обо мне только самое хорошее, а потом поцеловал свою дочь, желая ей счастья и поздравляя с большой удачей. Короче говоря, остались довольны все, кроме моего братца, который выскочил из дому, не сказав никому ни слова. С того дня он начал предаваться всевозможным бесчинствам, опускаясь все ниже: ведь у него, можно сказать, отняли желанную чашу, не дав испить ни глотка! Унаследовав земли нашего отца, он решил, что Лили во что бы то ни стало выйдет за него замуж, если не по доброй воле, то насильно, ибо даже в наши дни отец может принудить свою дочь к замужеству, особенно если она не достигла совершеннолетия, а сквайр Бозард, всегда полагавший, что с девичьими желаниями нечего считаться, перед таким насилием не остановился бы. Но с того дня все изменилось,— так велика сила золота! О том, чтобы выдать Лили за кого-нибудь, кроме меня, больше не было и речи. Теперь отец сам удержал бы ее, если бы она захотела так поступить, ибо тогда Лили потеряла бы все полученные от меня богатства. Зато все продолжали громко возмущаться моей глупостью, порицая меня за то, что я не отказался от клятвы и решил последовать за своим врагом даже в далекую Вест-Индию. Сквайр Бозард утешался лишь тем, что в любом случае, погибну я или выживу, деньги все равно останутся у его дочери. И только Лили, заступаясь за меня, говорила:

— Томас дал клятву, и он должен ее исполнять. Это дело его чести, и теперь я буду ждать до конца, пока мы не встретимся на земле или на том свете.

Однако подобные воспоминания здесь некстати, потому что прежде чем я узнал обо всем этом, прошло еще много-много лет.

Глава XI

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

На другой день после того, как я передал капитану Бэллу письма и все мое состояние, «Авантюристка» уже медленно огибала мол кадисского порта. Глядя ей вслед, я почувствовал такую тоску, что, признаюсь, заплакал. С радостью я расстался бы со всеми погруженными на нее сокровищами, если бы вместо них она уносила домой меня. Но решение мое оставалось непоколебимым, и к английским берегам мне было суждено вернуться лишь много лет спустя и на другом корабле.

В порту оказалась большая испанская карака «Las Cinque Llagas», или «Пять ран Христовых», готовая отплыть к Эспаньоле. Я выправил разрешение на торговлю для купца д'Айла и под этим именем взошел на судно. Чтобы обман не раскрылся, я, кроме того, накупил на сто пять песо всевозможных товаров, которые, как я узнал, были в Индии в большом спросе, и погрузил их в трюм того же корабля.

Все судно было забито испанскими авантюристами, по большей части просто всевозможными мошенниками с самыми удивительными биографиями. Впрочем, они были довольно сносными попутчиками, пока не напивались. К тому времени я настолько овладел кастильской речью и приобрел такую неподдельно испанскую внешность, что мне легко было сойти за их соотечественника, чем я и не преминул воспользоваться, выдумав подходящую историю о своем родстве и о причинах, побудивших меня пытать счастье за океаном. В остальном же я, как и раньше, полагался только на самого себя. Впрочем, несмотря на мою сдержанность и на то, что я не принимал участия в общих оргиях, попутчики вскоре меня полюбили главным образом за то, что я врачевал их недуги.

О нашем плавании в сущности рассказывать нечего, если не считать его печального окончания. Месяц мы провели на Канарских островах, затем отплыли к Эспаньоле, и всю дорогу нам сопутствовала прекрасная погода, только ветер был слабый.

Когда до Санто-Доминго, порта нашего назначения, оставалась, по словам капитана, всего неделя пути, погода внезапно переменилась. С севера на нас обрушился яростный шторм, усиливавшийся с каждым часом. Три дня и три ночи наш неуклюжий корабль стонал и скрипел под удара-

ми урагана, который увлекал нас неизвестно куда. Наконец стало ясно, что, если буря не утихнет, мы пойдем ко дну. Судно трещало по всем швам, одну мачту снесло, а у другой сломало верхнюю часть на высоте двадцати футов от палубы. Появилась течь. Но все эти беды ничего не значили по сравнению с тем, что произошло на четвертый день. Огромный вал сорвал руль, и наше беспомощное судно оказалось целиком во власти волн. Примерно через час зеленая стихия океана еще раз обрушилась на палубу, вывернула якорный шпиль, и вода хлынула в трюм. Теперь наша гибель стала неизбежной.

И вот тогда началось самое ужасное. В течение последних дней и матросы, и пассажиры беспрерывно пили, стараясь заглушить страх, и сейчас, когда они увидели, что конец близок, все заметались взад и вперед по кораблю. Молитвы, стенания и проклятия смешались в одном хоре. Те, кто был еще трезв, начали спускать обе лодки. Вдвоем с одним достойным священником мы пытались усадить в них детей и женщин, которых на судне оказалось немало, но сделать это было нелегко. Пьяные матросы отшвырнули нас в сторону и сами бросились в лодки. Одна из них тут же перевернулась, и все, кто был в ней, пошли ко дну. В этот момент карака начала крениться, быстро погружаясь.

Увидев, что ждать больше нельзя, я сказал священнику, чтобы он следовал за мной, прыгнул в море и поплыл ко второй лодке, с которой тщетно пытались справиться несколько кричащих от страха женщин. Плавал я неплохо, и не только сам благополучно добрался до лодки, но успел еще вытащить из воды и священника, который уже захлебывался.

В это время судно, высоко задрав нос, погрузилось кормой в воду. В таком положении оно держалось минуты две на поверхности; это позволило нам взяться за весла и отплыть от него на некоторое расстояние. Едва мы отгребли, раздался дикий отчаянный вопль тех, кто еще оставался на борту, и корабль канул в бездну. Будь мы ближе, он увлек бы нас за собой.

Несколько мгновений мы сидели молча, онемев от ужаса. Затем, когда воронка, образовавшаяся на месте гибели корабля, перестала бурлить, мы поплыли обратно. Все вокруг было покрыто обломками, но мы смогли подобрать только одного ребенка, уцепившегося за весло. Остальные двести человек, находившиеся на борту, исчезли в пучине вместе с судном. Может быть, кто-нибудь еще был в живых

и держался на воде, но в наступившей темноте мы не нашли среди волн никого.

В сущности в этом нам повезло, потому что в лодке было уже десять человек и больше она не смогла бы вместить ни души. Мужчин оказалось только двое — священник и я.

Как я уже сказал, наступила темнота, и к ночи море, по счастью, утихло, иначе бы мы тоже перевернулись. Единственное, что нам теперь оставалось, это держать лодку носом к волнам. Так мы провели всю бесконечную ночь. Странно было видеть или, вернее, слышать, как мой добрый спутник, священник, продолжая грести, исповéдовал женщин одну за другой, а потом, отпустив все грехи, возносил к небесам молитвы о спасении наших душ, ибо о спасении тела никто уже не помышлял. В ту ночь я пережил такое, что трудно себе представить, но я не буду на этом останавливаться, потому что впереди меня ожидало гораздо худшее, и об этом мне еще предстоит рассказать.

Наконец ночь прошла, и над пустынным морем занялся рассвет. Взошло солнце. Сначала мы ему обрадовались, потому что продрогли до костей, но вскоре жара стала невыносимой. В лодке у нас не оказалось ни пищи, ни воды, и нас начала мучить жажда.

Между тем порывистый ветер сменился устойчивым бризом. С помощью весел и одеяла нам удалось соорудить некое подобие паруса, и наша лодка довольно быстро пошла вперед. Но океан велик, а мы даже не знали, в какую сторону плывем.

С каждым часом страшная жажда терзала нас все сильнее. Около полудня внезапно умер один ребенок, и мы опустили его труп за борт. Часа через три его мать зачерпнула полный черпак горько-соленой воды и начала жадно пить. Сначала казалось, что это умерило ее жажду, но потом ею вдруг овладело безумие. Вскочив на ноги, она выпрыгнула из лодки и утонула.

Когда солнце, подобно сияющему раскаленному докрасна ядру, наконец, кануло за горизонт, в лодке осталось только два человека, которые еще могли сидеть,— священник и я. Остальные лежали вповалку на сланях, еле шевелясь, словно умирающие рыбы, и жалобно стеная. Но вот пришла ночь, воздух стал чуть заметно свежее и немного облегчил наши страдания. Мы молились о дожде, но его не было, и когда солнце снова взошло в безоблачном небе, мы поняли, что видим его в последний раз, если только нас не спасет какое-нибудь чудо. Жара стала невыносимая.

Через час после восхода умер еще один ребенок. Когда

мы опускали его тело за борт, я случайно поднял глаза и вдруг заметил вдалеке судно. Оно шло в нашу сторону и, судя по курсу, должно было проплыть милях в двух от нас. Возблагодарив бога за этот чудесный знак, мы со священником взялись за весла и начали потихоньку выгребать наперерез кораблю. Ветер к тому времени настолько ослаб, что наш жалкий парус уже не мог сдвинуть лодку с места.

Так мы гребли около часа. К тому времени ветра совсем не стало, и корабль с обвисшими парусами замер неподвижно милях в трех от нас. Мы со священником продолжали работать веслами из последних сил. Мне казалось, что я умру в этой лодке под обжигающими лучами солнца. Ни одно дуновение не облегчало немилосердную жару, и губы наши уже начали трескаться от жажды. Но мы продолжали бороться, пока тень от парусов не упала на лодку и мы не увидели матросов, разглядывавших нас с палубы корабля. В следующее мгновение мы подошли к борту, сверху упала веревочная лестница и послышалась испанская речь.

Я не помню, как мы поднялись на палубу. Помню только, что я свалился в тени под навесом из парусины и принялся пить и пить воду, которую мне подавали кружка за кружкой. Наконец мне удалось утолить жажду, но тут я почувствовал такую тошноту и головокружение, что уже не мог проглотить ни кусочка пищи, хотя мне ее сунули прямо в руки. В этот момент я, по-видимому, потерял сознание, потому что когда я очнулся, солнце уже стояло прямо над головой.

Я думал, что все еще сплю. Почему-то мне слышался знакомый и ненавистный голос, но в действительности я был под навесом один: вся команда корабля столпилась на носу вокруг какого-то предмета; кажется, это был лежащий на палубе человек.

Рядом со мной стояло большое блюдо с едой и фляга, полная крепкого вина. Почувствовав прилив сил, я с жадностью принялся есть и пить, пока не насытился.

Тем временем матросы на носу корабля подняли лежащего там человека и выбросили его за борт. Я успел заметить, что кожа у него была черная. Затем трое мужчин — по одежде я принял их за офицеров — направились ко мне, и я поднялся на ноги, чтобы их приветствовать.

— Сеньор,— проговорил мягким и вежливым тоном самый высокий офицер,— разрешите поздравить вас с чудесным...— Но тут он внезапно умолк.

Неужели я все еще бредил? Голос был мучительно зна-

комый! Я поднял глаза, взглянул в лицо мужчины и увидел перед собой Хуана де Гарсиа!

Но он в свою очередь тоже узнал меня.

— Карамба!*— воскликнул де Гарсиа.— Какая встреча! Приветствую вас, сеньор Томас Вингфилд. Смотрите, друзья, кого мы выудили из моря! Этот молодой человек не испанец, он английский шпион! Последний раз мы с ним встретились на улице в Севилье, где он пытался убить меня, потому что я хотел выдать его властям. А теперь он очутился здесь. Только вот с какими целями? Об этом следует спросить у него.

— Это ложь,— возразил я.— Я не шпион, и в эти моря меня привело мое личное дело. Я хотел найти вас.

— Ну, что же, это вам удалось, вполне удалось. Только не слишком ли велика удача, сеньор? А теперь отвечайте, правда ли, что вас зовут Томас Вингфилд и что вы англичанин?

— Это правда, но я...

— Минутку! Почему же тогда ваш дружок священник сказал мне, что на «Las Cinque Llagas» вы плыли под именем д'Айла?

— У меня были на то причины, Хуан де Гарсиа.

— Вы ошиблись, сеньор. Меня зовут Сарседа, и мои товарищи могут это подтвердить. Когда-то я знавал одного дворянина по имени де Гарсиа, но он давно умер.

— Ты лжешь!— воскликнул я, но в этот миг один из приятелей де Гарсиа ударил меня прямо в зубы.

— Потише, любезный,— остановил его де Гарсиа.— Не пачкай руки об эту крысу. А если уж хочешь бить, то возьми лучше палку. Вы слышали, друзья, он признался, что плыл под чужим именем и что на самом деле он англичанин, один из врагов нашей родины. Могу добавить, что я лично знаю его, как шпиона, который уже покушался на убийство,— в этом даю вам мое честное слово. А теперь, сеньоры, поскольку мы представляем здесь его величество короля и облечены всей полнотой власти, нам надлежит вынести ему приговор. Но чтобы никто не подумал, что я могу погрешить против закона из-за того, что эта английская собака обозвала меня лжецом, я предоставляю судить его вам.

Я снова попытался заговорить, но испанец, тот самый, что меня ударил, подлец с жестоким лицом бандита, вы-

---

* Карамба! — испанское ругательство, примерно соответствующее русскому «черт побери!».— *Прим. перев.*

хватил шпагу и поклялся, что, если я еще раз открою рот, он проткнет меня насквозь. После этого я предпочел молчать.

— Этот англичанин неплохо будет выглядеть на рее!— проговорил все тот же испанец.

Де Гарсиа с безразличным видом мурлыкал какой-то мотивчик. Он посмотрел вверх на мачту, потом на мою шею, улыбнулся и его взгляд, полный ненависти, обжег меня, словно огнем.

— У меня есть предложение получше,— вступился третий офицер.— Если мы его повесим, могут пойти разговоры. Но даже в лучшем случае мы все равно лишимся хорошего барыша. А парень сложен неплохо и протянет в рудниках не один год. Предлагаю продать его вместе с остальным грузом. А если вы против, я куплю его сам; мне такие в моем поместье пригодятся!

При этих словах лицо де Гарсиа слегка побледнело. Ему, конечно, хотелось отделаться от меня раз и навсегда, но из осторожности он счел более разумным не возражать.

— Что касается меня,— проговорил он, деланно позевывая,— то я не против. Бери его хоть даром, друг мой! Только смотри за ним получше, не то он воткнет тебе стилет в спину.

Офицер расхохотался и ответил:

— Вряд ли у него будет такая возможность! Я в рудники не спускаюсь, а нашему голубчику придется провести остаток своих дней на глубине ста футов под землей. Да и теперь, я думаю, тебе будет лучше внизу, англичанин!

Офицер окликнул матроса и приказал ему принести кандалы, снятые с мертвеца. Меня обыскали, отняли у меня все золото — то немногое, что со мной оставалось, набили мне на ноги цепь, соединенную с кольцом на шее, и потащили к трюму. Но прежде чем я туда попал, я уже догадался, что представлял собой груз этого корабля. Он вез рабов, захваченных на Фернандине,— так испанцы называют остров Кубу. Он вез их для продажи на Эспаньолу. И я был теперь одним из этих рабов.

Не знаю, как описать все ужасы трюма, в который меня привели. Он был низким, не более шести футов в высоту, и рабы в кандалах лежали прямо на дне судна, в затхлой трюмной воде. Их было здесь так много, что они могли только лежать, прикованные цепями к кольцам, ввинченным во внутреннюю обшивку бортов. В общей сложности неделю тому назад сюда впихнули не менее двухсот мужчин, женщин и детей, но теперь рабов стало меньше. Уже

умерло человек двадцать, и это считалось немного, потому что обычно испанцы заранее списывают в убыток треть или даже половину «товара» своей дьявольской торговли.

Когда я очутился в трюме, мной овладела смертельная слабость. Я и так был едва жив, и меня окончательно доконали ужасные звуки, отвратительная вонь и то, что предстало передо мной при свете фонарей моих тюремщиков, тускло мерцавших в трюме, куда не проникал ни свет, ни воздух. Не обращая внимания, мои провожатые тащили меня вперед, и вскоре я уже стоял, прикованный у цепи посреди темнокожих мужчин и женщин. Ноги мои были в трюмной воде.

Испанцы удалились, с издевкой бросив мне на прощание, что для англичанина и такая постель слишком хороша. Некоторое время я крепился, потом сон или обморок пришли мне на помощь, я погрузился во мрак.

Так миновали сутки.

Когда я снова открыл глаза, рядом со мной стоял с фонарем тот самый испанец, которому меня продали или просто отдали, и следил за тем, как сбивают кандалы с темнокожей женщины, прикованной к моей цепи. Она была мертва; при свете фонаря я успел разглядеть, что она умерла от страшной болезни, с которой мне до сих пор не приходилось встречаться. Впоследствии я узнал, что она называется «черной рвотой». Женщина оказалась не единственной ее жертвой: я насчитал еще двадцать трупов. Их вытащили из трюма один за другим. Многие другие рабы тоже были больны.

Испанцы казались весьма встревоженными. Они ничего не могли поделать с ужасной болезнью и решили только очистить трюм и проветрить его, оторвав несколько досок палубного настила над нашими головами. Если бы они этого не сделали, мы наверняка погибли бы все. Я уверен, что избежал заразы лишь потому, что самое широкое отверстие в палубе оказалось прямо надо мной, и когда я выпрямился, насколько позволяла цепь, я мог дышать сравнительно чистым воздухом. Раздав нам воду и пресные лепешки, испанцы ушли. Воду я с жадностью выпил, но лепешки есть не смог, потому что они оказались заплесневелыми.

То, что я видел и слышал вокруг, было так жутко, что не хочется об этом писать. Солнце нагревало палубу, и мы изнемогали от страшной жары. Чувствовалось, что судно неподвижно: я понял, что ветра нет и мы дрейфуем.

Поднявшись на ноги, я уперся пятками в стрингер — продольное крепление корабля, а спиной — о борт. В

таком положении мне были видны ноги тех, кто проходил по палубе. Внезапно перед моими глазами проплыла сутана священника. Я подумал, что, наверное, это мой попутчик, с которым мы спаслись после кораблекрушения, и постарался привлечь его внимание. После нескольких попыток мне это удалось. Как только священник понял, кто находится в трюме, он прилег на палубу, словно для того, чтобы передохнуть, и мы немного поговорили.

Священник сказал, что на море штиль, как я и полагал, и что на корабле свирепствует мор, уложивший уже треть команды. Он прибавил, что их поразила небесная кара за жестокость и злодеяния.

На это я ему ответил, что кара небесная постигла не только захватчиков, но и захваченных, и спросил, где сейчас де Гарсиа, или, как его здесь называют, Сарседа.

Священник сообщил мне, что сегодня утром он заболел. Новость эта несказанно обрадовала меня, потому что, если я ненавидел де Гарсиа и раньше, то легко представить, как возненавидел я его теперь.

После этого священник ушел, но скоро вернулся. Он принес мне воды с лимонным соком, которая показалась мне божественным нектаром, хорошей пищи и фруктов. Все это он передал мне сквозь отверстие в палубе. С большим трудом я подхватил еду своими закованными руками и тотчас съел все до крошки. Затем священник удалился, к вящему моему огорчению. Причину его ухода я узнал только на следующее утро.

Прошел день, за ним — бесконечно длинная ночь. Наконец, в трюме снова появились испанцы. На сей раз им пришлось вытащить сорок трупов, а больных за это время стало еще больше. Когда испанцы ушли, я опять встал на ноги и начал поджидать моего друга священника. Но я ждал напрасно; он так и не появился.

Глава XII

ТОМАС НА БЕРЕГУ

Я простоял больше часа и едва не свернул себе шею, высматривая своего благодетеля. Наконец, когда я уже готов был упасть на дно трюма, потому что не мог больше держаться в таком скрюченном положении, в отверстии между досками мелькнул край женского платья. Я узнал одежду одной из дам, что была с нами в лодке.

— Сеньора!— зашептал я.— Ради бога выслушайте меня! Это я, д'Айла! Я здесь, среди рабов, меня заковали в цепи.

Женщина вздрогнула, но потом так же, как и священник, присела на палубу, и я рассказал ей об ужасах трюма и о том, как я попал в такое положение, не зная, что ей уже все известно.

— Увы, сеньор,— ответила она мне,— наши дела немногим лучше. Страшный мор губит всех. Шесть матросов уже умерли, а тех, кто хрипит в агонии,— еще больше. Лучше бы нам тогда утонуть вместе со всеми! Мы спаслись от моря, а попали прямо в ад. Моя мать скончалась, мой маленький братишка умирает.

— Где священник?— спросил я.

— Он умер этим утром; его только что сбросили в море. Перед смертью он рассказал мне о вас и просил помочь вам, если будет возможно. Но он уже говорил совсем несвязно, и я подумала, что он бредит. К тому же, чем я могу вам помочь?

— Может быть, вы сумеете раздобыть мне еду и питье,— ответил я.— Жаль нашего друга, упокой господи его душу. А что капитан Сарседа? Он уже умер?

— Нет, сеньор, он единственный, кому удалось побороть заразу, и теперь он поправляется. Простите, я должна идти к своему брату. Еду я вам сейчас принесу.

Она ушла, но скоро вернулась с пищей и флягой вина, спрятанной в складках одежды. Я снова насытился, благословляя ее доброту.

Так эта женщина кормила меня два дня, принося еду по ночам. На вторую ночь она сказала, что ее маленький брат умер, а из команды осталось всего пятнадцать здоровых матросов и один офицер. Сама она чувствовала, что заболевает. Еще она сказала, что запасы воды на судне подходят к концу, а пищи не осталось. После этого я ее уже больше не видел и, думаю, что она тоже умерла. Через двадцать часов после ее последнего посещения я сам покинул проклятый корабль.

Целый день никто не заходил в трюм, чтобы кормить рабов или хотя бы присмотреть за ними. Впрочем, большинство из них уже не нуждалось ни в каком присмотре. Лишь немногие еще оставались в живых, но и те, насколько я мог рассмотреть, были поражены болезнью. Сам я так и не заразился, наверное, потому, что отличался в те дни силой и завидным здоровьем, спасавшим меня от всяких простуд и недомоганий. К тому же пища моя была много

лучше. Но я чувствовал, что долго мне не протянуть. Закованный в цепи среди мертвецов чудовищного плавучего гроба, я мечтал о смерти, как о сладком избавлении от всех этих ужасов и страданий.

Так прошел еще один день, такой же удушающе жаркий. За ним наступила ночь, наполненная дикими воплями и хрипением умирающих. Но мне все же удалось заснуть, и во сне я бродил с любимой по берегу родного Уэйвни.

Под утро меня разбудил лязг железа. Открыв глаза, я увидел, что несколько испанцев при свете фонарей сбивают оковы со всех рабов подряд — и с мертвых, и с живых. Освободив тело раба от цепей, они накидывали на труп или на умирающего веревочную петлю, а затем те, кто был наверху, вытаскивали его через люк на палубу. После этого за бортом слышался тяжелый всплеск, завершавший дело. Я понял, что испанцы решили выбросить всех рабов в море из-за нехватки воды и в надежде, что это, может быть, спасет от заразы тех, кто еще оставался в живых.

Испанцы подходили ко мне все ближе. Скоро между ними и мной осталось только два темнокожих раба, один мертвый, а второй живой; после них шла моя очередь. Зная, какая незавидная участь меня ожидает, я начал раздумывать, что делать дальше: сказать им, что я здоров, что болезнь меня не тронула, и вымолить себе жизнь или покориться и оказаться за бортом? Мне очень хотелось жить, но уже по тому, что я принял решение не делать ни малейших усилий и встретить смерть, как милосердную избавительницу, можно судить, насколько я исстрадался телом и ослаб духом от пережитых ужасов. К тому же я знал, что любая моя попытка сохранить жизнь заранее обречена на неудачу. Испанские моряки обезумели от страха и думали только о том, чтобы поскорее избавиться от рабов, которые требовали воды и, самое главное, были, по их мнению, источником заразы. Поэтому я прочел все молитвы, какие только мог вспомнить, и приготовился к смерти. Но как ни тверда была моя душа, бедная плоть содрогалась, устрашенная близким концом и тем неизведанным, что ее ожидало после.

Но вот, отправив наверх моего еще живого товарища по несчастью, прикованного со мной рядом, испанцы взялись за меня. Полуголые матросы трудились ожесточенно, стараясь поскорее разделаться с ненавистной работой. Они обливались потом и, чтобы не упасть в обморок, то и дело подкреплялись глотками виноградной водки.

— Этот тоже еще жив, и похоже, не болен,— проговорил один моряк, сбивая с меня кандалы.

— Живой он или мертвый, кончай с ним скорее!— злобно отозвался другой испанец, и я узнал в нем того самого офицера, которому я был отдан в рабство.— Эта английская собака принесла нам несчастье. У него дурной глаз. За борт его! Пусть там попробует сглазить акул!

— Правильно,— ответил моряк и последним ударом освободил меня от цепей.— Когда остается по кружке воды на брата, гостей потчевать нечем: их выставляют за дверь. Молись, англичанин, и пусть твои молитвы помогут тебе хоть немного больше, чем всем остальным на этом проклятом богом корабле. Вот тебе снадобье, чтобы облегчить конец,— его осталось больше, чем воды.

С этими словами он протянул мне свою флягу. Я жадно припал к ней и начал пить большими глотками. Водка меня немного приободрила. После этого испанцы обвязали меня веревкой, дали сигнал, и те, кто был на палубе, принялись тянуть так, что вскоре я повис в воздухе под открытым люком.

В этот миг свет фонаря упал на офицера, сделавшего меня рабом и теперь приказавшего выбросить за борт, и я прочел на его лице приговор, который был ясен для любого врача.

— Прощай!— сказал я ему.— Наверное, мы скоро встретимся. О чем ты хлопочешь, глупец? Отдохни лучше напоследок, потому что мор коснулся тебя. Через шесть часов ты умрешь!

Услышав мои слова, он разинул рот и на мгновение онемел от ужаса. Потом из его уст полились страшные проклятия; он размахнулся молотком и едва не нанес мне удар, который положил бы конец всем моим страданиям. Но в этот миг меня вытащили наверх.

В следующую секунду веревку отпустили, и я свалился на палубу. Рядом со мной стояли два чернокожих,— их обязанностью было сбрасывать в море несчастных рабов,— а позади них с изможденным после недавней болезни лицом сидел в кресле Хуан де Гарсиа и обмахивался своим сомбреро: ночь была очень жаркой.

Он сразу узнал меня при лунном сиянии и обратился ко мне:

— Что я вижу? Ты все еще здесь и все еще жив, кузен? Да ты и впрямь молодец; я думал, что ты уже подох или подыхаешь. Если бы не проклятый мор, мне пришлось бы самому об этом позаботиться, но в конце концов все обош-

лось к лучшему. Я получу немалое удовольствие, отправив тебя к акулам, кузен Вингфилд. Это будет единственная удача за наше плавание, но она утешит меня за все сразу. Значит, ты отправился за море, чтобы отомстить мне, не так ли? Ну что ж, я надеюсь, что ты неплохо провел здесь время. Обстановка была, правда, скромной, зато какой сердечный прием тебе оказали! Но — увы!— гость нас покидает, и надо его проводить. Спокойной ночи, Томас Вингфилд! Если встретишь свою матушку, скажи ей: я сожалею о том, что мне пришлось ее заколоть, ибо она единственное существо на земле, которое я любил. Ты, наверное, думаешь, я приехал тогда для того, чтобы ее убить? Нет. Она сама меня вынудила, и я это сделал, спасая свою собственную жизнь. Если бы я ее не убил, не видать мне Испании! В ней было слишком много моей крови, и она не дала бы мне уйти живому. Похоже, что и в твоих жилах бежит та же кровь, иначе ты бы не думал так много о мести. Увы, это не довело тебя до добра!

Здесь он умолк, откинулся в кресле и снова начал обмахиваться своей широкополой шляпой.

Даже в тот миг, когда я стоял на краю бездны, горячая кровь закипела во мне от этих гнусных насмешек. Да, де Гарсиа мог, конечно, торжествовать! Я преследовал его по пятам, но чем это кончились? Еще секунда, и он отправит меня к акулам. И все же я постарался ему ответить как можно достойнее.

— Судьба против меня, де Гарсиа,— сказал я.— Но если в тебе осталась хоть капля мужества, дай мне шпагу, и мы окончим наш спор раз и навсегда. Я знаю, ты ослабел после болезни, но и я не сильнее тебя после всех ночей и дней, проведенных в вашем аду. Силы равны, де Гарсиа.

— Возможно, кузен, вполне возможно! Но к чему нам драться? По чести говоря, когда мы встречались лицом к лицу, мне до сих пор не везло, и это весьма прискорбно. Но знай: я дважды сплоховал только потому, что меня смущало предсказание, будто встреча с тобой станет моим концом. Главным образом из-за этого я и решил отправиться в более теплые края. Но теперь ты сам видишь, как глупо верить в пророчества. Я хоть и перенес болезнь, пока еще жив, и умирать не собираюсь, а ты — извини меня за невежливое напоминание,— ты уже, можно сказать, мертвец. Вот эти сеньоры,— тут де Гарсиа показал на двух чернокожих, которые, воспользовавшись нашим разговором, сбросили в море еще одного извлеченного из трюма раба,— эти сеньоры сейчас оборвут нашу приятную беседу. Если хо-

чешь передать со мной какую-нибудь просьбу, говори, потому что время не терпит. Мы должны очистить трюм до рассвета.

— Я тебя ни о чем не прошу, де Гарсиа,— ответил я.— Зато к тебе у меня есть поручение, и я его выполню. Только сначала я тебе кое-что скажу. Тебе кажется, что ты победил, грязный убийца, но подожди радоваться. Игра еще не окончилась. Твои страхи еще могут сбыться. Я умру, но месть моя будет жить, ибо я вручаю ее богу, как следовало бы это сделать сразу. Может быть, ты проживешь еще несколько лет, но куда ты денешься от его отмщения? В один прекрасный день ты умрешь точно так же, как я умру в эту ночь, и что тогда? Что будет тогда, де Гарсиа?

— Полно тебе болтать, кузен,— проговорил он с презрительной усмешкой.— Насколько я знаю, ты еще не стал проповедником. Ты сказал, что у тебя есть ко мне поручение. Говори быстрей! Время идет, Томас Вингфилд! Кто мог послать весть изгнаннику вроде меня?

— Изабелла де Сигуенса, которую ты обманул ложной женитьбой и бросил,— ответил я.

Де Гарсиа вскочил с кресла и остановился передо мной.

— Что с ней?— спросил он лихорадочным шепотом.

— Монахи замуровали ее живьем вместе с ребенком.

— Замуровали живьем? Матерь божья! Откуда ты это знаешь?

— Я случайно был при этом, вот и все. Она просила рассказать тебе о том, как они умирали, она и дитя, о том, что она никому не открыла твоего имени и умерла любя и прощая. Больше она ничего не сказала, но я хочу кое-что добавить. Пусть образы этой несчастной и моей матери преследуют тебя вечно, пусть они преследуют тебя в жизни и в смерти, на земле и в аду!

Де Гарсиа на мгновение закрыл лицо ладонями, но потом опустил руки, повалился на свое кресло и крикнул чернокожим матросам:

— Кончайте с этим рабом! Чего вы медлите?

Негры двинулись ко мне, однако я не намеревался даваться им в руки. Я задумал, если удастся, заставить де Гарсиа разделить со мной мою участь. Рванувшись вперед, я обхватил его поперек тела и стащил с кресла. Ярость и отчаяние удвоили мои силы. Мне удалось поднять де Гарсиа на уровень фальшборта, но на этом все и кончилось. В то же мгновение чернокожие матросы схватили меня и вырвали негодяя из моих рук. Я понял, что все пропало. Не

дожидаясь, когда негры изрубят меня своими тесаками, я оперся руками о фальшборт и сам прыгнул в море.

Разум подсказывал мне, что в моем положении лучше всего было бы утонуть сразу. Я решил, что не стану сопротивляться и прямехонько пойду ко дну. Однако сила жизни оказалась сильнее меня; едва очутившись в воде, я поспешил вынырнуть и поплыл вдоль борта корабля, стараясь держаться в тени, потому что опасался, как бы де Гарсиа не приказал прикончить меня выстрелом из лука или из мушкета. И как раз в это мгновение сверху послышался его голос:

— Теперь-то он наверняка подох!— говорил де Гарсиа, приправляя свои слова проклятиями.— Но пророчество все же едва не сбылось. Черт возьми, сколько страха я пережил из-за этого щенка!

Я плыл и ругал себя за то, что не погиб сразу. На что мне было надеяться? Если даже ни одна акула не позарится на меня, я смогу продержаться так в теплой воде часов шесть-восемь, а потом все равно утону. Какой же смысл бороться и тратить силы? И тем не менее я продолжал неторопливо плыть. После зловонного удушливого трюма прикосновение свежей воды и чистый воздух были для меня как вино и пища. Каждый гребок увеличивал мои силы. Я уже отстал от корабля ярдов на сто, и с палубы уже вряд ли кто-либо мог меня заметить, но я все еще слышал тяжелые всплески падающих за борт трупов и пронзительные крики последних, оставшихся в живых рабов. Подняв голову, я огляделся. Невдалеке от меня покачивался на волнах какой-то предмет. Я поплыл к нему, ожидая, что каждый миг будет моим последним мигом, потому что эти воды кишели акулами.

Вскоре я приблизился к плавающему предмету и с радостью обнаружил, что это была большая бочка, сброшенная с корабля. Она держалась стоймя, и волны в нее не заплескивались.

Мне удалось уцепиться за верхний край бочки, и я увидел, что она наполовину заполнена испорченными пресными лепешками; наверное, потому ее и выбросили в море. Эта масса гнилого теста словно баласт удерживала бочку на поверхности, не давая ей перевернуться.

Я подумал, что, если мне удастся забраться в бочку, акулы хотя бы на время будут мне не страшны. Но как это сделать? И в это мгновение я случайно обернулся. Все мысли разом вылетели из моей головы. Шагах в двадцати я увидел плавник акулы, которая неслась прямо на меня.

Ужас овладел мной, отчаяние придало мне силу и сообразительность. Одним рывком я выпрыгнул из воды, ухватился за противоположный край бочки и упал в нее, подогнув колени.

Как удалось мне совершить этот прыжок, я не могу понять до сих пор, но в следующую секунду я уже был внутри бочки, отделавшись только царапиной на подбородке.

Однако неожиданно обретенная мной лодка готова была сама пойти ко дну под тяжестью заплесневелых мокрых лепешек, моего тела и воды, которая залилась внутрь, когда я ее наклонил. Края бочки выступали над поверхностью всего на какой-нибудь дюйм. Я понял, что достаточно одного всплеска и бочка пойдет ко дну. А плавник акулы был уже всего в пяти ярдах. В следующее мгновение она с разгону ткнулась носом о дерево, и бочку сильно тряхнуло.

Я начал лихорадочно вычерпывать воду руками. Края бочки почти не возвышались над уровнем океана. Когда, наконец, они поднялись дюйма на два, акула, разъяренная тем, что упустила добычу, повернулась на бок, и я услышал, как ее зубы проскрежетали по деревянным клепкам и железным обручам бочки. Бочка закрутилась на месте, и волна снова захлестнула ее. Я вычерпывал воду как одержимый. Если бы акула напала еще раз, я бы наверняка погиб, но, по-видимому, дерево и железо пришлись ей не по вкусу. Акула удалилась, однако еще в течение нескольких часов я видел время от времени, как ее плавник вспарывает морскую гладь.

Сначала, пока воды было много, я выплескивал ее пригоршнями, потом снял сапог и приспособил его вместо черпака. Когда края бочки поднялись дюймов на двенадцать, мне пришлось остановиться; я боялся, что, если вычерпаю всю воду, бочка перевернется. Теперь можно было, наконец, передохнуть. Но тут мне пришла в голову мысль, что все мои усилия тщетны, что я все равно либо утону, либо погибну от жажды, и я горько посетовал на свое малодушие, которое только затягивало и умножало мои страдания.

В отчаянии я воззвал к небесам, и молился так искренне и горячо, как никогда. Вскоре ко мне вернулась надежда и какое-то удивительное спокойствие. За последние несколько дней страшная опасность грозила мне трижды: во время кораблекрушения, в трюме корабля работорговцев, где я мог умереть от голода и мора, и вот теперь, когда меня поджидали свирепые пасти акул. Но я был уверен, что и на сей раз все обойдется. Ведь не для того я два раза спасался от бед, которые для других были бы верной смертью, чтобы

на третий раз погибнуть самым жалким образом! И вот, хотя в моем положении всякая надежда была безумием, я снова начал надеяться. Не скажу, что эта благодать снизошла на меня свыше. Скорее всего во мне было тогда слишком много жизни, и я просто не мог поверить, что скоро умру.

Постепенно я настолько приободрился, что начал даже замечать красоту ночи. Океан был тих, как пруд; ни одно дуновение ветерка не тревожило его гладь. Луна уже заходила, и все небо усыпали бесчисленные, удивительно яркие звезды, каких не бывает в Англии. Но вот и они начали бледнеть, небо на востоке порозовело, и вскоре первые лучи солнца выглянули из-за горизонта. В это время над гладью вод поднялся густой туман, в котором на расстоянии пятидесяти ярдов ничего не было видно. Час с лишним я плыл вслепую. Лишь когда солнце поднялось выше, туман рассеялся, и я заметил, что меня отнесло от корабля довольно далеко: на горизонте виднелись только верхушки его мачт, а потом и они исчезли. К этому времени вся поверхность океана очистилась; только с одной стороны непонятно почему над самой водой осталась висеть узенькая полоска не то тумана, не то пара.

Солнце становилось все жарче, причиняя мне жестокие муки. За исключением нескольких глотков водки, выпитой в трюме моей плавучей тюрьмы, я ничего не пил уже целые сутки. Не стану описывать всех моих страданий. Час проходил за часом, а я все еще стоял в своей бочке, изнывая от жажды, с непокрытой головой под палящими лучами тропического солнца, ослепительный блеск которого отражался в зеркальной глади океана. Тот, кто не испытал ничего подобного, вряд ли сможет это представить. Временами меня охватывала непереносимая слабость, и несколько раз я едва не вывалился в море. Наконец я впал в смутный полусон, или, вернее, полузабытье, от которого меня пробудил плеск волн и птичьи голоса.

Подняв голову, я с изумлением и великой радостью увидел, что странная узенькая полоска тумана на самом деле оказалась низким берегом. Прилив быстро нес меня к отмели в устье большой реки. Многочисленные чайки с криком кружились над тем местом, где при слиянии пресной и соленой воды ходили рыбьи стаи. Вот одна чайка выхватила из воды рыбу весом не менее трех фунтов и хотела подняться вверх, но тяжесть оказалась для нее слишком велика. Тогда она принялась долбить рыбу клювом по голове, пока не оглушила, а затем начала ее рвать на куски. В это

время бочонок подплыл к ней совсем близко, и, сделав усилие, я ухитрился выхватить у чайки ее добычу. В следующее мгновение я уже пожирал трепещущую рыбу. Это может показаться отвратительным, но я еще ни разу в жизни не ел с таким аппетитом и еще ни одно блюдо не казалось мне столь освежающим!

Поскольку воды у меня не было, я съел сколько мог, а остаток рыбы спрятал в карман своего камзола. После этого мысли мои обратились к ревущему на отмели прибою. Скоро мне стало ясно, что стоя в бочке пересечь полосу бурунов невозможно, поэтому я опрокинулся вместе с бочкой в воду, а когда она всплыла, сел на нее верхом.В полосе прибоя меня едва не сбросило, однако прилив быстро нес бочку вперед, буруны вскоре остались позади, и я очутился в устье большой реки.

Здесь судьба еще раз улыбнулась мне: я выловил из воды плывший по течению сук и теперь мог грести. С помощью этого весла мне удалось направить мою посудину к густо заросшему тростником берегу, на котором чуть поодаль стеной стояли прекрасные высокие деревья с гроздьями крупных орехов в зеленых кронах.

Так, проведя в своей бочке без малого десять часов, я благополучно высадился на сушу. В этом мне тоже помог чистый случай, ибо река буквально кишела отвратительными пресмыкающимися, так называемыми крокодилами, или, иначе, аллигаторами. Но тогда я даже не подозревал об их существовании.

Я достиг земли как раз вовремя, потому что, когда я подплывал к берегу, начался отлив, который вместе с течением реки понес меня обратно в открытое море. Запоздай я немного, и мне бы уже не выбраться. Последние десять минут мне пришлось напрягать все силы,чтобы заставить бочку двигаться вперед. Наконец я заметил, что подо мной глубина не достигает и четырех футов, свалился с бочки и вброд добрался до отмели. Здесь я упал ничком на песок и возблагодарил бога за чудесное спасение.

Вскоре, однако, жажда охватила меня с новой силой и заставила подняться на ноги. Я побрел вверх по берегу реки, пока не натолкнулся на лужицу дождевой воды. На вкус она оказалась пресной и свежей, и я припал к ней, обливаясь слезами радости.

Я пил и пил до тех пор, пока для воды уже не осталось места. Только те, кто побывал в моем положении, знают, как вкусна прохладная чистая вода!

Напившись, я смыл морскую соль с лица и тела, достал

из кармана остатки рыбы и честно доел ее до конца. Эта трапеза меня подкрепила, однако я был настолько измучен, что тут же растянулся в тени под каким-то кустом с белыми цветочками и мгновенно уснул.

Когда я открыл глаза, была уже ночь. Наверное, я проспал бы еще немало часов, если бы не боль и непонятное жжение во всем теле. Наконец меня так допекло, что я в бешенстве вскочил на ноги, проклиная все на свете. Сгоряча я никак не мог понять причину своих мучений, но потом заметил, что воздух прямо кишит похожими на комаров насекомыми, издающими тонкий звенящий писк. Опускаясь на мою кожу, они сосали из меня кровь и одновременно впускали яд в ранки. Испанцы называют этих подлых кровопийц москитами. Еще хуже были насекомые величиной с булавочную головку. Они набрасывались сотнями, впивались, словно бульдоги в медведя, вгрызаясь глубоко в тело, так, что потом оставались гноящиеся язвочки. Эти создания, которых испанцы называют «гаррапатас», представляют собой разновидность мелких клещей. Кроме них, было еще множество разных мучителей,— всех не перечесть,— отличающихся друг от друга по размерам и по виду, но имевших одну общую особенность: все они сосали кровь и все были ядовиты.

Целую ночь я сражался с этой напастью и едва не сошел с ума. У меня не было ни мгновения покоя! Незадолго до рассвета я бросился к реке и улегся в воду, надеясь хоть немного облегчить свои страдания, но не пролежал и десяти минут, как рядом со мной выполз из ила огромный крокодил. Никогда еще я не видел такого отвратительного и страшного чудовища и, конечно, в ужасе выскочил на берег, где меня тотчас с жужжанием облепили мириады летающих и ползающих кровопийц...

Но довольно об этих гнусных насекомых!

Глава XIII

ЖЕРТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Наконец пришло утро, застав меня в самом плачевном положении. Лицо мое разнесло от яда москитов, словно тыкву, да и тело выглядело не лучше. Жгучие уколы не прекращались, и я то бежал, то прыгал, как сумасшедший. Сам не зная куда, я продирался наугад сквозь густые заросли. Вокруг не было никаких признаков человеческого жилья,— одно бесконечное болото. Я шел

вдоль берега реки, то и дело натыкаясь на крокодилов и отвратительных змей. Чувствуя, что силы меня покидают и что я уже недолго смогу выносить эти муки, я решил идти вперед до конца, пока не свалюсь замертво, и пусть тогда смерть избавит меня от всех страданий

Так я пробирался час с лишним, пока не вышел на открытый берег, где не было ни кустов, ни тростника. Я шел, подпрыгивая, приплясывая и отмахиваясь распухшими руками от проклятых кровопийц, тучей круживших над моей головой. Конец мой был уже близок. Силы меня покидали, я едва не валился с ног. И в этот миг я внезапно увидел перед собой группу бронзовокожих людей в белых одеждах. По-видимому, они ловили в реке рыбу, но теперь сидели на берегу и ели, а позади них стояло на воде множество длинных челнов,нагруженных всякой всячиной.

Заметив меня, туземцы громко закричали что-то на незнакомом мне языке, схватили лежавшее рядом с каждым оружие,— луки со стрелами и деревянные палицы, утыканные со всех сторон острыми осколками вулканического стекла*,— и начали приближаться, по-видимому, намереваясь меня прикончить. Я воздел руки и взмолился о милости. Когда туземцы увидели, что я безоружен и совершенно беспомощен, они опустили оружие и заговорили со мной на своем языке. Я потряс головой в знак того, что ничего не понимаю, потом показал рукой в сторону моря, а затем на свое распухшее лицо и тело. Туземцы закивали головами. Один из них сбегал к челнам и принес какую-то пахучую мазь коричневого цвета. Затем он знаками приказал мне снять остатки изорванной одежды, приводившей всех в немалое изумление. Когда я разделся, туземцы умастили меня коричневой мазью, и я сразу почувствовал величайшее облегчение: зуд и жжение прекратились, а самое главное — запах мази отгонял насекомых, которые отныне мне почти не докучали.

После этого туземцы накормили меня жареной рыбой, лепешками и напоили восхитительным горячим напитком, покрытым коричневой пузырящейся пеной; позднее я узнал, что это был шоколад. Когда я поел, туземцы тихонько посовещались между собой, а затем знаками приказали мне войти в один из челнов и лечь на специально подстеленные циновки. Я повиновался. Следом за мной в тот же

---

* Вулканическое стекло, или обсидин,— вулканическая горная порода черного или красноватого цвета с режущим изломом. Употреблялась с доисторических времен для изготовления наконечников стрел, ножей, скребков и т.п.— *Прим. перев.*

челн,— он был достаточно велик,— сели еще три человека. Один из них, весьма важный мужчина с приятным лицом и величавыми движениями — я его сразу признал за самого главного,— сел напротив меня, а двое других поместились на носу и на корме и взялись за весла. Мы отчалили в сопровождении других трех челнов, но едва успели проплыть с милю, как я погрузился в сон, сломленный крайней усталостью.

Пробудился я совершенно свежим, проспав, по-видимому, немало часов, потому что солнце уже садилось. С удивлением я заметил, что величавый туземец, сидевший в челне напротив меня, оберегает мой сон, отгоняя от меня комаров густолистой веткой. Судя по его доброте, мне нечего было опасаться дурного обращения. Успокоившись, я начал раздумывать, куда я, собственно говоря, попал, что это за удивительная страна и кто эти люди. Но вскоре я перестал ломать себе голову и, вместо того чтобы предаваться пустым измышлениям, залюбовался проплывавшими перед моими глазами картинами.

Мы поднимались теперь по более узкой реке, чем та, на которой я высадился. Заболоченные заросли исчезли, и вместо них по обеим сторонам раскинулось открытое пространство. Берега можно было бы назвать голыми, если бы не огромные деревья, превосходившие по величине самые большие дубы. Некоторые из них были удивительно красивы! Лианы опутывали их, свешиваясь с верхних ветвей, а между ними виднелись удивительные пышные цветы, растущие прямо на древесной коре, словно мох на стенах. Хриплоголосые птицы с ярким сверкающим оперением порхали в листве, обезьяны трещали и бормотали, встревоженные нашим приближением.

Когда солнце, озарявшее последними лучами это удивительное, небывалое зрелище, закатилось, мы подошли к бревенчатому причалу и высадились на берег. Стемнело почти сразу, и я разобрал только, что меня куда-то ведут по хорошей дороге. Вскоре мы достигли ворот; здесь толпилось множество людей и слышался лай собак; по-видимому, это был вход в город. Пройдя ворота, мы углубились в длинную улицу с домами по обеим сторонам. У порога последнего дома мой спутник остановился, взял меня за руку и ввел в узкую низкую комнату, освещенную глиняными светильниками. Несколько женщин приблизились и поцеловали его, другие, по-видимому, служанки, склонились перед ним, касаясь одной рукой пола. Затем все взгляды обратились ко мне, и со всех сторон на моего спутника посы-

пались вопросы, о содержании которых я мог только догадываться.

Когда всеобщее любопытство было удовлетворено, женщины принесли блюда со множеством странных кушаний и расставили их прямо на полу. Хозяин пригласил меня разделить с ним ужин. Я сел рядом с ним на циновку и принялся за еду

Прислуживавшие нам женщины были довольно привлекательны, но среди них особенно выделялась своей грацией одна высокая, стройная девушка с нежным и добрым выражением лица, придававшим ее красоте особую прелесть. Она была такой же смуглой, как все, но с правильными чертами лица и прекрасными глазами. Я говорю о ней здесь по двум причинам: потому, что она дважды спасла меня — от жертвоприношения и от пыток, и потому, что эта женщина была не кто иная, как Марина; впоследствии она стала любовницей Кортеса, и без нее он никогда бы не сумел захватить Мехико. Но в то время даже она не думала, что именно ей суждено отдать свою родину Анауак во власть жестоким испанским поработителям.

С первого взгляда я заметил, что Марина — отныне я буду называть ее так потому, что ее полное индейское имя слишком длинно,— была тронута моим горестным состоянием и делала все возможное, чтобы услужить мне и избавить меня от назойливого любопытства окружающих. Она принесла мне воды умыться, дала чистое полотняное одеяние взамен грязных лохмотьев и накинула на мои плечи плащ, искусно сшитый из ярких перьев.

После ужина меня проводили в отдельную маленькую комнату с циновкой вместо постели, на которой я тотчас растянулся и принялся размышлять о своей судьбе. Мой прежний мир был потерян, и, по-видимому, навсегда, но зато я очутился среди приятных и добрых людей, по всем признакам вовсе не походивших на дикарей. Правда, меня беспокоила одна вещь: я обнаружил, что, несмотря на хорошее обращение, со мной обходились, как с пленником: на пороге моей маленькой комнаты спал воин, вооруженный копьем с медным наконечником.

Прежде чем заснуть, я выглянул сквозь забранное деревянной решеткой отверстие, заменявшее окно, и увидел, что дом расположен на краю обширной площади. Посредине возвышалась огромная темная масса в форме пирамиды высотой более чем в сто футов. На вершине этой пирамиды виднелись очертания храма, как я правильно угадал, а перед входом в него горел огонь. Уже засыпая, я все еще раз-

думывал, для чего понадобилось такое гигантское сооружение и во славу каких богов оно было воздвигнуто?

Утром мне это предстояло узнать.

Здесь следует, пожалуй, рассказать о том, что мне стало известно лишь много времени спустя. Я попал в город Табаско, столицу одной из южных провинций Анауака, расположенную от главного города Теночтитлана, ныне Мехико, на расстоянии нескольких сотен миль. Река, к устью которой меня пригнало, называется Рио-Табаско. Именно здесь высадился Кортес в следующем году. А моим хозяином был касик, или вождь, Табаско, тот самый, что впоследствии подарил Кортесу Марину. Таким образом, я оказался первым белым человеком, жившим среди индейцев, если не считать некоего Агилара; лет за шесть до меня буря выбросила его с несколькими товарищами на юкатанское побережье.

Агилара выручил Кортес, а все остальные были принесены в жертву Уицилопочтли, жестокому богу войны. Но индейцы уже были наслышаны об испанцах и смотрели на них с суеверным ужасом. Примерно за год до этого побережье Юкатана посетил идальго Эрнандес де Кордова, неоднократно сражавшийся с туземцами, а после него, незадолго до моего появления, в устье реки Табаско заходили каравеллы Хуана де Грихальвы. Таким образом, меня приняли за одного из людей этого незнакомого странного племени теулей, как индейцы называли испанцев, а следовательно — за врага, крови которого жаждали их боги.

Освеженный крепким сном, я поднялся с рассветом, умылся и, облачившись в приготовленные для меня полотняные одежды, вышел в большую комнату. Тотчас мне принесли еду, но едва я успел подкрепиться, как в комнату вошел мой хозяин, касик, в сопровождении еще двух людей, вид которых заставил меня содрогнуться от ужаса. Какая-то странная масса склеивала в отвратительный колтун их черные длинные и прямые космы, лица выражали устрашающую жестокость, а черные одежды были расшиты таинственными мистическими знаками кроваво-красного цвета. Все присутствующие, не исключая самого касика, с явным уважением относились к этим людям, разглядывавшим меня с такой свирепой радостью, что кровь стыла в жилах. Один из них приблизился, раскрыл одеяние у меня на груди и, положив омерзительную грязную ладонь на мое тревожно бьющееся сердце, принялся считать вслух его удары, что-то приговаривая. Как я узнал позднее, он говорил, что

я очень силен. Все это время его спутник не открывал рта и только одобрительно кивал головой.

Чтобы понять, что здесь происходит, я начал всматриваться в лица окружающих, пытаясь прочесть на них ответ, и встретился взглядом с глазами Марины. То, что я в них прочел, не оставило у меня ни малейшего сомнения: они были полны страха и жалости. Я понял, что меня ожидает какая-то ужасная смерть. Но прежде чем я успел осознать это до конца и что-либо сделать, жрецы, или, как их называют индейцы, п а б а, схватили меня и вытащили из дома. Все присутствующие, за исключением касика и Марины, высыпали следом за нами.

Я увидел, что нахожусь на обширном плацу или базарной площади, окруженной красивыми каменными домами; лишь изредка среди них попадались глинобитные хижины. Площадь быстро заполняли толпы народу. Мужчины, женщины и дети — все старались взглянуть, как меня ведут к высокой пирамиде, на вершине которой пылал огонь.

У подножия пирамиды меня втолкнули в небольшую комнату, вырубленную в ее толще. Здесь еще несколько жрецов сорвали с меня всю одежду, кроме набедренной повязки, и возложили мне на голову венок из цветов. В этой комнате уже находилось два других индейца; судя по их искаженным от ужаса лицам, они были тоже обречены на смерть.

Но вот где-то наверху над нашими головами тревожно, громко забил барабан. Нас вывели из комнаты и поместили в середине многочисленной процессии жрецов так, что я оказался впереди осужденных индейцев. Жрецы затянули какой-то гимн, и мы начали подниматься на пирамиду с уступа на уступ, каждый раз обходя ее вокруг, пока, наконец, не достигли верхней квадратной площадки со сторонами, равными примерно сорока футам. Отсюда открывался прекрасный вид на раскинувшийся внизу город и окрестности, но мне было не до прелестных пейзажей. Напротив меня на другом краю площадки стояли две деревянные башни высотой футов в пятьдесят — храм бога войны Уицилопочтли и храм бога воздуха Кецалькоатля. Сквозь открытые настежь двери храмов виднелись чудовищно уродливые, высеченные из камня, фигуры обоих богов, а перед ними на низеньких алтарях плавали в больших золотых блюдах сердца вчерашних жертв. Стены храмов покрывали изнутри омерзительные и страшные изображения. Напротив башен горел на большом алтаре неугасимый огонь, перед алтарем возвышался прямоугольный выпуклый сверху блок из чер-

ного мрамора высотой с обыкновенный стол, какие стоят у нас в харчевнях, а рядом лежал огромный круглый камень с медным кольцом посредине, высеченный в форме жернова футов десяти в поперечнике.

Все это я хорошо запомнил, хотя и не имел времени как следует рассмотреть, потому что едва мы достигли верхней площадки, как меня схватили и поставили на жерновообразный камень. Здесь на меня надели кожаный пояс, привязанный к медному кольцу веревкой как раз такой длины, чтобы я мог свободно перебегать с края на край камня, но не дальше. Затем мне сунули в руки копье с кремневым наконечником, роздали такие же копья двум обреченным индейцам, которые шли следом за мной, и знаками приказали начать бой: индейцы должны были нападать, а я — защищать свой камень.

Я подумал, что, если мне удастся сразить этих двух несчастных, может быть, меня помилуют, и приготовился убить ни в чем не повинных людей ради спасения своей собственной жизни. Верховный жрец подал знак, приказывая индейцам напасть на меня, однако оба они были настолько испуганы, что не двинулись с места. Тогда жрецы принялись хлестать их кожаными бичами, и несчастные устремились ко мне, крича от боли. Один из индейцев первым достиг камня. Я ударил и пронзил копьем его руку. Выронив свое оружие, он отскочил в сторону, и второй индеец последовал за ним. Они не хотели сражаться, и никакие удары бичей не могли их заставить напасть на меня.

Видя, что мужество окончательно покинуло пленников, жрецы решили с ними разделаться. Под громкое пение и музыку они подтащили раненного мной индейца к черному мраморному столу — я уже понял, что это был жертвенный камень — и опрокинули его на выпуклую верхнюю площадку грудью вверх. Пять жрецов вцепились в несчастного: один держал его за голову, двое за руки и двое за ноги. Затем к нему приблизился верховный жрец, облаченный в багряное одеяние, тот самый, что считал удары моего сердца. Пробормотав какое-то заклинание, он взметнул ицтли — изогнутым ножом из вулканического стекла, одним ударом вспорол грудь бедного индейца и совершил древний обряд жертвоприношения солнцу.

В это мгновение вся стоявшая внизу многочисленная толпа, перед глазами которой разыгрывали этот кровавый спектакль, простерлась ниц и лежала на земле до тех пор, пока сердце жертвы не опустили на золотое блюдо перед

богом Уицилопочтли. Затем страшные жрецы бога набросились на тело жертвы. С дикими криками они дотащили его до края верхней площадки пирамиды, или, правильнее, т е о к а л л и, и швырнули вниз так, что оно покатилось по крутому склону. У подножия теокалли труп подхватили какие-то ожидавшие этого момента люди и унесли. В то время я еще не знал, для чего он им нужен.

Тотчас вслед за первой жертвой последовала вторая, и снова толпа на площади благоговейно простерлась ниц. Затем наступил мой черед. Когда жрецы схватили меня, все смешалось перед моими глазами, и я пришел в себя уже на проклятом жертвенном камне. Повиснув на моих руках и ногах и оттягивая назад голову, жрецы не давали мне шевельнуться. Я лежал на спине, выпятив грудь колесом, так, что туго натянутая кожа на ней едва не лопалась, как на барабане. А надо мной стоял сам дьявол в образе человеческом со стеклянным ножом в руке. Никогда не забуду я ни его свирепого лица, искаженного жаждой крови, ни его сверкающих из-под сальных косиц глазок. Откидывая назад свисающие на лоб пряди, жрец медлил. Он примеривался не спеша, покалывая меня ножом в то место, куда хотел нанести удар. Казалось, прошла целая вечность, пока я лежал так, вздрагивая от каждого укола, но вот, наконец, п а б а решился и взмахнул ножом.

Словно сквозь туман, я увидел, как стремительно опускался нож. Последний мой час пробил! Но в этот миг чья-то рука перехватила руку жреца на полдороге, и я услышал тихий голос.

Как видно, то, что он говорил, пришлось жрецу не по вкусу. Пронзительно взвыв, он рванулся, чтобы заколоть меня, но та же рука снова перехватила нож на лету. Жрец ушел в храм Кецалькоатля, а я так и остался распростертый на жертвенном камне, испытывая муки тысячи смертей. Почему меня не убили сразу? Неужели они еще будут меня пытать перед смертью? Одна эта мысль была для меня ужаснее всех агоний.

Я лежал на проклятом черном камне, и лучи солнца жгли мою обнаженную грудь. Снизу доносился отдаленный гул многотысячной толпы. И пока я лежал на этом ужасном ложе, казалось, вся моя жизнь пронеслась перед моими глазами. Я вспомнил тысячи давно забытых мелочей, вспомнил далекое детство, мою клятву, прощальный поцелуй и последние слова Лили, вспомнил, какое лицо было у де Гарсиа, когда меня бросили в море, вспомнил смерть Изабеллы де Сигуенса, и последняя смутная мысль моя бы-

ла горестным удивлением: почему, почему служители всех богов так жестоки?!

Но вот снова послышался звук шагов, и я поспешно закрыл глаза. Я больше не в силах был видеть этот страшный нож! Однако прошло мгновение, еще мгновение, еще, а удара все не было. Вместо этого меня внезапно отпустили и поставили на ноги, хотя я думал, что ноги уже мне больше никогда не понадобятся, а затем довели до края площадки, потому что сам я идти не мог. Тут мой жрец-палач, прокричав собравшейся у подножия теокалли толпе какие-то слова, заставившие ее зашуметь, как лес от порыва ветра, обнял меня окровавленными руками и поцеловал в лоб.

Только теперь я заметил, что рядом со мной стоит захвативший меня в плен касик, величественный и невозмутимый, с вежливой улыбкой на лице. Улыбаясь, он отдал меня жрецам и теперь все с той же улыбкой вырвал из их рук.

Мне помогли омыться, снова одели, ввели в святилище Кецалькоатля и поставили перед ужасным изваянием этого божества. Пока жрецы бормотали свои молитвы, я стоял неподвижно, не в силах оторвать взгляда от золотого блюда, на котором уже должно было бы лежать мое сердце. Затем, поддерживая с двух сторон, мне помогли спуститься по огибающей пирамиду лестнице к подножию теокалли, где касик взял меня за руку и повел сквозь толпу. Я заметил, что теперь индейцы смотрят на меня с непонятным благоговением. Первым человеком, встретившим нас в доме касика, была Марина: она обратилась ко мне с какими-то ласковыми словами, но я их не понял. Меня отпустили в мою комнату, и здесь я провел остаток дня, совершенно измученный пережитым волнением. Поистине, я попал в страну сатаны!

А теперь время рассказать о том, как мне удалось спастись от жертвенного ножа. Мне помогла Марина. Я приглянулся ей, и она сжалилась над моей страшной участью. Обладая живым умом, Марина сумела избавить меня от смерти.

Когда я уже шел к жертвенному камню, она обратилась к своему хозяину касику и напомнила ему, что император Анауака Монтесума, обеспокоенный появлением теулей, или испанцев, как известно, не раз выражал желание увидеть одного из них. Марина сказала, что я, несомненно, теуль, и Монтесума наверняка разгневается, если меня принесут в жертву в этом отдаленном городе, вместо того, чтобы сначала показать ему, а уж потом, если он пожелает,

покончить со мной в столице. Касик ей ответил, что речь ее мудра, однако сейчас говорить об этом поздно, потому что жрецы уже завладели мной и вырвать жертву из их рук немыслимо.

— О нет!— возразила Марина.— Надо просто сказать им вот что: они хотят принести теуля в жертву Кецалькоатлю, а Кецалькоатль сам был белокожим*. Что, если этот теуль — один из его детей? Бог разгневается, когда его сына принесут ему в жертву. Но если даже бог не разгневается, то Монтесума наверняка придет в ярость и отомстит и тебе, и жрецам.

Выслушав Марину, касик понял, что она права, и поспешил подняться на теокалли. Он подоспел как раз вовремя, чтобы остановить занесенный надо мной нож. Сначала верховный жрец ни о чем не хотел слышать и кричал о святотатстве, однако когда касик растолковал ему, в чем дело, жрец сообразил, что разумнее уступить и не навлекать на себя гнев Монтесумы. Поэтому меня освободили, отвели в святилище, а затем снова показали народу, и п а б а объявил, что бог признал меня одним из сыновей. Этим объясняется то благоговейное почтение, с которым отныне смотрели на меня индейцы.

Глава XIV

СПАСЕНИЕ КУАУТЕМОКА

После этого ужасного дня жители Табаско начали относиться ко мне превосходно и уже не помышляли о том, чтобы принести испанца, или теуля, как они меня называли, в жертву своим богам. Все сразу переменилось. Теперь я был хорошо одет, всегда сыт и мог разгуливать где угодно, хотя и в сопровождении воинов, которые в случае моего бегства поплатились бы головой. Я узнал, что на следующий же день после того, как меня вырвали из

---

* Кецалькоатль — бог ацтеков, который, по преданию, научил индейцев Анауака всем полезным ремеслам и искусствам, а также политике и управлению государством. Он был белокожим и темноволосым. Покинув Анауак, Кецалькоатль уплыл от его берегов в сказочную страну Тлапаллан на барке из змеиной кожи, но перед отплытием он обещал вернуться со своими многочисленными детьми. Ацтеки помнили это обещание, и когда появились испанцы, они приняли их за детей Кецалькоатля. Это заблуждение весьма пригодилось испанцам при завоевании Анауака. Возможно, что Кецалькоатль существовал в действительности и был скандинавом. Намеки на посещение викингами Америки можно найти в Сагах об Эйрике Рыжем и о Торфинне Карлсоне.— *Прим. авт.*

рук жрецов, к великому правителю Монтесуме были отправлены гонцы с известием о моем пленении. Монтесума должен был передать с ними свою волю. Но до Теночтитлана путь был неблизкий, и пока гонцы вернулись, прошло немало недель.

Тем временем я каждый день усердно изучал язык майя*, а также ацтеков. В этом мне особенно помогала Марина. Сама она была родом не из Табаско, а из Пайналлы, расположенной в юго-восточной части страны. Мать продала Марину торговцам, чтобы все наследство досталось другому ребенку, родившемуся у нее от второго брака, и, таким образом, Марина очутилась в конце концов у касика Табаско.

Помимо языков, я старался как можно лучше узнать историю и обычаи этой страны и научиться читать рисунчатое письмо, которым здесь пользовались. В то же время благодаря своим познаниям в медицине я постепенно завоевал славу великого врачевателя, так что жители Табаско окончательно уверились в том, будто я настоящий сын доброго бога Кецалькоатля.

Но чем больше я узнавал этот народ, тем меньше я его понимал. Во многих отношениях индейцы стояли на одном уровне с известными мне народами Европы. Они были искуснейшими ремесленниками и строителями. Немногие наши города могут похвастаться столь совершенной архитектурой и немногие страны — столь справедливыми законами. Кроме того, этот народ терпелив и мужественен. Но суеверия подтачивали его изнутри, словно грибок, разрушающий сердцевину здорового дерева. Сами по себе верования индейцев были довольно возвышенными и даже имели немало общего с христианской религией, например, обряд крещения, однако к чему они приводили на деле — об этом я уже говорил.

А теперь я спрашиваю себя, что в конечном счете хуже — приносить людей в жертву богам или пытать их в подземельях инквизиции и замуровывать заживо в стенах монастырей? Пожалуй, последнее более жестоко.

За месяц, проведенный в Табаско, я выучил язык настолько, что уже мог разговаривать с Мариной. Мы стали друзьями, и только. От Марины я получил большую часть сведений об этой стране, а кроме того она учила меня, как

---

* Майя — группа родственных по языку и древней культуре индейских племен, населявших южную часть современной Мексики и прилегающие области.— *Прим. перев.*

себя держать, чтобы не попасть в беду. В благодарность я рассказал ей кое-что о нашей религии и об обычаях европейцев. Именно эти знания помогли ей впоследствии сделаться незаменимой для испанцев, принять их веру и вступить на путь белых людей.

Так я прожил в доме касика Табаско более четырех месяцев. Под конец благоволивший ко мне касик даже предложил мне в жены свою сестру, и был немало удивлен, когда я как можно почтительнее отклонил его милость, потому что девушка была по-настоящему красива. Несмотря на отказ, со мной продолжали обходиться великолепно, и если бы сердце не влекло меня к далекой родине и не возмущалось кровавыми обрядами, происходившими на моих глазах почти ежедневно, я бы, наверное, целиком отдал его этому доброму, искусному и трудолюбивому народу.

Наконец, по истечении полных четырех месяцев, прибыли посланцы двора Монтесумы, задержавшиеся в пути из-за разлива рек и прочих дорожных происшествий. Император настолько заинтересовался вестью о моем пленении, что счел необходимым послать за мной своего родного племянника принца Куаутемока, поручив ему доставить меня в столицу под усиленной охраной из лучших воинов.

Я никогда не забуду нашу первую встречу с принцем, ставшим впоследствии моим добрым другом и собратом по оружию. Когда он прибыл с эскортом в Табаско, я охотился в окрестностях города на оленей, изумляя индейцев искусной стрельбой из лука. Они ведь не знали, что я достиг совершенства в обращении с этим видом оружия еще на родине, где дважды завоевывал первый приз на состязаниях бангийской общины. Гонец прервал нашу охоту, и мы поспешили в город, захватив с собой подстреленного оленя. Приблизившись к дому касика, я увидел, что весь двор заполнен пышно разряженными воинами. Среди них особенно выделялся своим великолепием один индеец. Он был молод, очень высок и широкоплеч, с приятным лицом и орлиным взором. Весь его властный облик был преисполнен величия. Тело индейца прикрывал золотой панцирь, на плечи был наброшен плащ из сверкающих перьев, искусно подобранных в перемежающиеся разноцветные полосы. Голову его украшал золотой шлем, увенчанный царским символом орла, раздирающего золотую змею, инкрустированную драгоценными камнями. На руках выше локтей и на ногах под коленями он носил золотые обручи с самоцветами, а в руке у него было длинное копье с медным наконечником.

Вокруг этого человека толпилось множество других

знатных воинов, разодетых не менее пышно, с той лишь разницей, что вместо золотого панциря они носили стеганые хлопковые доспехи — эскаупили*, а шлемы их вместо царского символа украшали пучки длинных перьев, скрепленных пряжками с каменьями. Так предстал передо мной принц Куаутемок, племянник Монтесумы, а позднее — последний император Анауака.

Увидев принца, я приветствовал его по обычаю индейцев,— коснулся правой рукой земли, а потом поднес эту руку ко лбу. Куаутемок пристально разглядывал меня несколько мгновений,— я стоял перед ним в простой охотничьей одежде с луком в руках,— потом улыбнулся открытой дружеской улыбкой и сказал:

— Поистине, теуль, если я хоть что-нибудь понимаю в людях, мы с тобою равны по происхождению и по летам, а потому не подобает тебе склоняться передо мной, словно рабу перед господином!

И с этими словами он протянул мне руку. Я пожал ее и с помощью Марины, не спускавшей восторженных глаз со столь знатного повелителя, ответил:

— Может быть, и так, принц. У себя на родине я действительно был человек с именем и достатком, однако здесь я только несчастный раб, спасенный от смерти на алтаре.

— Я это знаю,— проговорил он, хмурясь.— Хорошо, что тебя успели спасти и нож не оборвал твою жизнь. Иначе гнев Монтесумы обрушился бы на весь город, и тогда...

С этими словами он посмотрел на касика, который задрожал всем телом,— такой страх внушало в те дни грозное имя Монтесумы.

Затем Куаутемок спросил меня, правда ли, что я теуль, то есть испанец. Я ответил, что нет, что я из другого племени белых людей, но в жилах моих течет половина испанской крови. Это его удивило: до сих пор он не слыхал о других белокожих племенах. Тогда я кое-что рассказал ему о себе, главным образом о том, как я здесь очутился.

Выслушав меня, Куаутемок проговорил:

— Если я правильно понял твои слова, теуль, ты не испанец, хотя в тебе есть испанская кровь и ты прибыл сюда на испанском корабле. Все это непонятно. Однако пусть в этом разбирается сам Монтесума, а сейчас давай поговорим о другом. Покажи мне, как ты стреляешь из своего большо-

---

* Эскаупили, ацтекские панцири, представляли собой куртки из стеганого хлопка, предварительно вымоченные в рассоле. После такой обработки они приобретали жесткость и надежно защищали тело от стрел и ударов копий.— *Прим. перев.*

го лука. Ты привез его с собой или сделал здесь? Мне сказали, что среди местных жителей ты самый лучший стрелок!

Я показал ему изготовленный мной лук, посылавший стрелы шагов на шестьдесят дальше любого индейского лука, и мы заговорили с ним о битвах и об охоте. Марина помогала нам, возмещая бедность моего языка, и к вечеру мы с принцем были уже друзьями.

С неделю Куаутемок и его воины отдыхали в городе Табаско, и все это время часто встречались и беседовали в троем: принц, Марина и я. Вскоре я заметил, что Марина посматривает на высокого гостя влюбленными глазами. Ее привлекало не только его богатство и знатность; обладая большим честолюбием, Марина не желала прозябать в рабстве у касика и мечтала разделить с Куаутемоком власть и славу.

Всевозможными способами пыталась она завоевать сердце принца, но он ее просто не замечал. Наконец, она решилась поговорить с ним начистоту и сделала это в моем присутствии.

— Завтра ты покидаешь наш город, принц,— начала она вкрадчивым тоном.— Если ты позволишь говорить своей рабыне, я бы хотела испросить у тебя одну милость.

— Говори, женщина,— ответил Куаутемок.

— Я прошу об одном: купи меня у касика или, если хочешь, прикажи, чтобы он отдал меня тебе. Я хочу последовать за тобой в Теночтитлан.

Куаутемок расхохотался.

— Ты говоришь откровенно, женщина,— сказал он.— Но ты должна знать, что в городе Теночтитлане меня ждет моя царственная сестра и жена Течуишпо, а с ней еще три знатные женщины, которые, к несчастью, довольно ревнивы.

Несмотря на свою смуглую кожу, Марина густо покраснела, и я в первый раз увидел, как в ее добрых глазах загорелся гнев.

— Принц,— проговорила она,— я просила только взять меня с собой! Я не просила тебя брать меня в жены или наложницы!

— Но ты об этом думала,— ответил он насмешливо.

— О том, что я думала, принц, не будем говорить! Я хотела увидеть великий город и великого императора, потому что устала от этой жизни здесь и потому, что тоже хотела возвыситься. Ты отказал мне, принц, но придет время, и я, может быть, возвышусь и без твоей помощи. Тогда я

вспомню, как ты меня унизил, и отплачу за все и тебе и твоему царскому дому!

Куаутемок снова рассмеялся, но потом посуровел.

— Ты забылась рабыня!— проговорил он.— Того, что ты здесь наболтала, хватит, чтобы отправить на жертвенный камень десяток людей. Но твоя женская гордость уязвлена, и ты сама не понимаешь, что говоришь, а потому я забуду твои слова. И ты, теуль, тоже забудь их, если только понял.

Марина повернулась и пошла к выходу. Грудь ее бурно вздымалась от ярости, оскорбленного тщеславия, а может быть, и от горя отвергнутой любви. Когда Марина проходила мимо меня, я услышал, как она бормотала сквозь зубы:

— Ладно, принц, ты, может быть, и забудешь, но я никогда!

Впоследствии я частенько задумывался, вспоминая тот день.

Что это было? Говорила Марина наобум, просто в порыве гнева, или в то мгновение перед ней действительно открылось грядущее? И еще об одном я спрашиваю себя: какую роль сыграл разговор с Куаутемоком в дальнейшей судьбе Марины? Правда ли, что она отдала свою родину на позор и поругание только из-за любви к Кортесу, как она мне сама потом говорила? Ответить на эти вопросы трудно, да, пожалуй, и незачем отвечать, потому что вряд ли они имеют прямое отношение к тому, что вскоре произошло. Когда случается какое-нибудь великое событие, мы начинаем отыскивать его причины в прошлом, и зачастую ошибаемся. Скорее всего у Марины была обыкновенная вспышка гнева, которая вскоре прошла и была забыта. В самом деле, редко кто строит здание своей жизни на прочном фундаменте какого-нибудь одного чувства — ненависти или надежды, отчаяния или страсти,— как это было со мной. Гораздо чаще зодчим человеческих судеб становится случай; хочется этого людям или нет, он властно вмешивается в их жизнь и перестраивает ее по-своему. Только одно я знаю — Марина действительно не забыла того разговора, и в свое время мне довелось услышать, как она напомнила принцу о каждом его слове и как благородно ответил ей Куаутемок.

Прежде чем говорить о том, что случилось со мной в Теночтитлане, где дочь Монтесумы стала моей женой и где я снова встретил де Гарсиа, я хочу рассказать еще об одном эпизоде моего пребывания в городе Табаско.

В день нашего отъезда, чтобы умилостивить богов, исп-

росить их помощи в дальней дороге, а также по случаю одного из очередных празднеств, которых у индейцев неисчислимое множество, на теокалли было устроено великое жертвоприношение. Мне приходилось наблюдать эти ужасы ежедневно, и в тот день я тоже поднялся вместе со всеми на вершину ступенчатой пирамиды. Внизу собрались толпы народу. Мы стояли вокруг жертвенного камня и ждали. Все было готово.

Но вот свирепый паба, тот самый, что считал удары моего сердца, вышел из святилища и сделал знак своим слугам положить на жертвенный камень первого раба. В это мгновение принц Куаутемок внезапно шагнул вперед и, указав на пабу, приказал жрецам:

— Схватить этого человека!

Те заколебались. Куаутемок был, конечно, принцем, в жилах его текла царственная кровь, но наложить руку на верховного жреца считалось святотатством! Тогда Куаутемок с улыбкой снял с руки перстень, украшенный темно-синим камнем, на котором были выгравированы какие-то странные знаки. Одновременно он вынул свиток с начертанными на нем рисунчатыми письменами и показал его вместе с перстнем жрецам. Это был перстень самого Монтесумы, а на свитке стояла подпись верховного жреца Теночтитлана. Ослушаться того, кто обладал подобными знаками власти, значило обречь себя на верную смерть и бесчестье. Поэтому жрецы, не говоря ни слова, схватили своего главаря и замерли, ожидая дальнейших приказаний.

— Положите его на камень и принесите в жертву богу Кецалькоатлю!— коротко проговорил принц.

Теперь палач, которому смерть других доставляла такую жестокую радость, сам затрясся от страха и зарыдал. Как видно, собственное лекарство пришлось ему не по вкусу!

— За что меня приносят в жертву, принц?— кричал он.— Ведь я был верным служителем богов и императора!

— За то, что ты хотел принести в жертву этого теуля,— ответил Куаутемок, указывая на меня.— За то, что ты хотел этим нарушить волю своего повелителя Монтесумы и за прочие злодеяния, записанные на этом свитке. Теуль — сын Кецалькоатля, ты сам это объявил. Пусть же Кецалькоатль получит жертву за своего сына! Я сказал. Кончайте с ним!

Тотчас же младшие жрецы, которые до этого момента были только слугами верховного пабы, повалили его на жертвенный камень. Один из них облачился в его багряную мантию и, невзирая на мольбы и угрозы своего бывшего хо-

зяина, показал на нем свое искусство. Еще миг — и тело негодяя покатилось вниз по склону пирамиды. Должен сказать, что я отнюдь не был огорчен, когда этот палач погиб точно такой же смертью, на какую он обрекал множество более достойных людей. Мне, видно, не достает христианской кротости.

Когда все было кончено, Куаутемок повернулся ко мне и проговорил:

— Так погибнут все твои недруги, брат мой теуль.

Этот эпизод показал мне, какой огромной властью обладал Монтесума. Достаточно было показать перстень с его руки, чтобы заставить жрецов без промедления умертвить своего собственного верховного пабу.

Примерно час спустя мы уже тронулись в дальний путь. Перед этим я успел, однако, дружески проститься со своим приятелем касиком и с Мариной, не сумевшей напоследок удержаться от слез. С касиком я больше не встречался, но Марину мне еще довелось увидеть.

Наше путешествие продолжалось целый месяц. Путь был неблизкий и очень тяжелый. Зачастую приходилось прорубать себе дорогу заново сквозь чащу леса, то и дело застревая на речных переправах. За это время я видел немало удивительного. С величайшим почетом принимали нас в многочисленных городах, где мы останавливались, но если описывать все подряд, это займет слишком много времени.

Об одном событии мне все же придется рассказать, потому что оно послужило началом нашей дружбы с принцем Куаутемоком. Эта дружба оборвалась только с его смертью, но светлая память о ней до сих пор живет в моем сердце.

Однажды, когда нас задержала разлившаяся река, мы решили, чтобы провести время, поохотиться на красного зверя. Вскоре три оленя были подстрелены, но тут Куаутемок заметил на холме еще одного самца, и мы начали к нему подкрадываться впятером. Однако олень стоял на открытом месте и приблизиться к нему оказалось невозможно — вокруг ярдов на сто не было ни кустика, ни деревца. Тогда Куаутемок начал надо мной подшучивать.

— Про тебя, теуль, рассказывали сказки, говорили, что второго такого стрелка не сыскать. Вот тебе олень — он стоит в три раза дальше, чем нужно нам, ацтекам, для верного выстрела. Покажи на нем свое искусство!

— Попробую,— ответил я, — хоть цель и далека.

Мы укрылись под деревом сейба, нижние ветви которого простирались футах в пятнадцати над землей. Здесь я на-

ложил стрелу на тетиву своего большого, изготовленного моими собственными руками лука, точно такого же, какой был у меня на родине, в Англии, прицелился и выстрелил. Стрела просвистела и под одобрительный ропот восхищенных зрителей мгновенно вонзилась в цель, поразив оленя прямо в сердце.

Мы уже выходили из-под дерева, направляясь к убитому оленю, как вдруг с нижних ветвей сейбы на плечи принцу прыгнул пума-самец, подстерегавший ту же добычу. Пума — огромный дикий кот, раз в пятьдесят тяжелее обыкновенного — сбил принца на землю и, сидя у него на спине, принялся терзать его и рвать своими когтями. Если бы не золотой панцирь и шлем, свирепый хищник сразу покончил бы с ним и Куаутемок никогда не стал бы императором Анауака. Впрочем, возможно, для самого Куаутемока это было бы много лучше.

Увидев, что пума терзает и рвет тело принца, сопровождавшие его знатные воины подумали, что он уже мертв, и, несмотря на всю храбрость, бросились бежать, охваченные неудержимым ужасом. Но я не побежал, хотя охотнее всего последовал бы за ними. На поясе у меня висело излюбленное оружие индейцев, заменяющее им меч,— плоская дубина, острые края которой утыканы осколками обсидана, словно зазубренный бивень меч-рыбы. Высвободив ее из ременной петли, я напал на пуму. От первого удара по голове зверь покатился по земле, обливаясь кровью, но уже в следующее мгновение сжался в ком и с яростным ревом прыгнул на меня. Схватив свой деревянный меч двумя руками, я со всего размаха ударил его еще раз, когда он был в воздухе. Второй удар пришелся между растопыренных лап пумы прямо по морде и черепу. Он был так силен, что мое оружие разлетелось на куски, но пуму это не остановило. Могучий толчок швырнул меня на землю, зверь обрушился на меня и впился зубами и когтями мне в грудь. Хорошо еще, что в тот день я надел куртку из стеганого хлопка, иначе хищник просто растерзал бы меня, но даже эти доспехи не спасли мою шею и затылок от жестоких ран. Глубокие следы когтей пумы я ношу на своем теле и поныне.

Я уже думал, что пришел мой конец, однако нанесенный мной страшный удар оказался для пумы роковым, потому что один из обсидиановых осколков проник в мозг хищника. Когти его судорожно сжались, впиваясь в мое тело, он в последний раз поднял голову, взвыл, словно подыхающая собака, и замертво рухнул на меня.

Придавленный непомерной тяжестью и обессиленный

глубокими ранами, я лежал так, пока мужество не вернулось к нашим спутникам. Наконец они приблизились и стащили с меня мертвую пуму. К этому времени принц Куаутемок, который видел все, но не мог пошевельнуться, тоже поднялся на ноги.

— Теуль,— сказал он мне,— ты поистине храбрый человек, и если ты выживешь, клянусь, я буду твоим другом до самой смерти, как ты был моим.

Принц обращался только ко мне, словно не замечая остальных воинов; их он не счел нужным даже упрекнуть.

Но тут я потерял сознание.

Глава XV

ДВОР МОНТЕСУМЫ

Я так ослабел от ран, что с неделю после этого случая не мог тронуться с места, да и потом меня пришлось нести на носилках. Лишь когда мы находились уже в трех днях пути от Теночтитлана, я смог идти сам. Дороги здесь были куда лучше английских, и о них тщательно заботились. Я радовался, что держусь на собственных ногах, потому что мне вовсе не нравилось ехать на плечах у других людей, как это принято у индейцев. Такой способ передвижения больше подходит для женщин. К тому же в нем не было больше никакой необходимости. Жара спала, и теперь мы шли по прохладному плоскогорью, переваливая через хребты.

Никогда еще я не видел такой мрачной местности, как эти бесконечные голые пространства, где росли только редкие колючки алоэ* да кактусы самых фантастических видов, ибо только они и могли выжить на песчаной безводной почве. Поистине удивительная страна! Три совершенно различные по климату области уживаются в ней бок о бок, и рядом с великолепием тропиков лежит бескрайняя мертвая пустыня.

На ночь остановились в одном из выстроенных вдоль дороги домов для путников. Дом этот стоял недалеко от перевала через с ь е р р у, или горную цепь, окружающую долину Теночтитлана. Снова в путь мы пустились задолго до рассвета, потому что здесь на большой высоте было так холодно, что после привычной жары почти никто не мог

---

* Автор имеет в виду американское алоэ, то есть агаву. — *Прим. перев.*

спать. К тому же Куаутемок хотел к ночи добраться до города.

Через несколько сотен шагов дорога вывела нас на перевал. Невольно я остановился, охваченный восторгом и удивлением. Далеко внизу, словно в огромной чаше, лежали земли и воды, еще скрытые от глаз ночными тенями, зато прямо передо мной возвышались окутанные облаками вершины двух снежных гор. Лучи еще невидимого солнца уже играли на них, окрашивая снежную белизну кровавыми бликами. Это были Попокатепетль — «Холм, который курит», и Истаксиуатль — «Спящая женщина»*. Невозможно представить более величественное зрелище, чем эти две вершины в предрассветный час.

Над высоким кратером Попокатепетля поднимался толстый столб дыма. Пронизанный изнутри отблесками пламени и залитый снаружи темно-алым заревом восходящего солнца, он казался вращающейся огненной колонной. У ее основания сверкающие склоны постепенно меняли свой цвет от ослепительно белого до темно-красного, от красного до густо-малинового, и так — через все великолепие оттенков радуги. Описать это невозможно, а представить себе подобное зрелище может только тот, кто сам видел вулкан Попокатепетль в лучах восходящего солнца.

Налюбовавшись Попокатепетлем, я повернулся к Истаксиуатлю. Эта гора не так высока, как ее «муж» — ацтеки считают оба вулкана мужем и женой. Сначала я увидел только огромную, словно изваянную из снега, фигуру женщины, которая как бы покоится в вознесенном к облакам гробу, рассыпав волной волосы по склону горы. Но вскоре солнечные лучи коснулись ее, и она пробудилась и величаво поднялась из розового тумана, являя поразительное и захватывающее зрелище. Однако как ни хороша «Спящая женщина» на рассвете, я больше люблю ее вечером, когда она возлежит во всем великолепии на ложе ночной темноты и медленно, торжественно погружается во мрак.

Пока я любовался вершинами, заря постепенно разливалась сверху по склонам вулканов, освещая покрывающие их леса. Однако обширная долина все еще была заполнена густым туманом; он медленно перекатывался, словно волнующееся море, из которого, подобно островкам, выступали верхушки холмов и крыши храмов. По мере того как мы спускались по довольно крутой дороге, туман постепенно

---

* Правильнее — «Белая женщина», однако мы сохраняем тот перевод, который дает автор.— *Прим.перев.*

рассеивался, и, наконец, внизу засверкали освещенные солнцем озера Чалько, Хочимилько* и Тескоко, подобные трем гигантским зеркалам. На берегах озер виднелись многочисленные города, но самый большой из них — Теночтитлан, казалось, плыл посредине водной глади. Вокруг городов и за ними зеленели возделанные поля маиса, заросли алоэ и густые рощи, а далеко позади возвышалась черная стена скал, замыкающих долину.

Целый день мы быстро продвигались по этой волшебной стране. Позади остались города Амекамека и Айоцинго, которые я не стану описывать, а также множество живописных селений, разбросанных по берегу озера Чалько. Затем мы вступили на каменную дамбу, похожую на широкую дорогу, проложенную посреди озера, и во второй половине дня достигли города Тлауака. Отсюда мы направились к Истапалапану, где Куаутемок хотел заночевать в доме своего царственного дяди Куитлауака. Но когда мы добрались до города, оказалось, что Монтесума, извещенный скороходами о нашем приближении, повелел нам немедленно прибыть в Теночтитлан и выслал для этого навстречу паланкины. Нам оставалось только сесть в них и покинуть цветущий город садов.

Носильщики, не останавливаясь, несли нас по южной дамбе в столицу. Мы двигались мимо городов, выстроенных на вбитых в дно озера сваях, мимо садов, выращенных на плотах и плававших на воде, словно лодки, мимо бесчисленных теокалли и пышных святилищ. Озеро вокруг было заполнено множеством легких пирог, а по дамбе сновали в разных направлениях тысячи индейцев, занятых своими делами. Наконец, перед самым заходом солнца мы достигли Холока, укрепленного сторожевого форта, который расположен на скрещении двух дамб. Я написал «расположен», но — увы!— его уже больше нет. Кортес разрушил Холок, точно так же, как все остальные прекрасные города, представшие в тот день перед моими глазами.

От Холока начинался Теночтитлан — теперь его называют Мехико,— самый величественный и могучий из всех городов, какие мне доводилось когда-либо видеть. В предместьях дома были построены из адобов,— слепленных из ила необожженных кирпичей,— но в центральных, богатых кварталах возвышались здания, сложенные из красного камня. Посредине каждого дома, окруженного садом, нахо-

---

* Другое, удержавшееся до нашего времени, название этого озера — Хочикалько.— *Прим. перев.*

дился открытый дворик. Между домами пролегали бесчисленные каналы с пешеходными дорожками по обеим сторонам. На площадях стояли ступенчатые пирамиды, дворцы и храмы. Но все это сразу померкло, когда мы очутились на огромной торговой площади, или тьянкес, и я увидел гигантскую пирамиду. К вершине ее с юга и с севера, с запада и с востока вели четыре каменные лестницы, на ступенях пирамиды лежали груды человеческих черепов, а на самом верху стоял великолепный храм из полированных глыб с высеченными на всех стенах изображениями змей. Я видел этот храм лишь мельком, потому что уже смеркалось, и нас быстро понесли куда-то дальше сквозь темные улицы.

Через некоторое время я заметил, что здания города остались позади. Теперь мы поднимались на холм, поросший могучими кедрами. Наконец носилки остановились на широком дворе, и меня попросили сойти.

Дом, куда привел меня принц Куаутемок, оказался поистине необычайным! Потолки во всех комнатах были из кедрового дерева, на стенах висели богатые разноцветные ткани, а золота здесь было, наверное, столько же, сколько в нашем английском доме бывает кирпича и дуба. Вслед за слугами с кедровыми жезлами в руках мы прошли сквозь анфиладу комнат и галерей, пока, наконец, не добрались до зала, где нас ожидали другие слуги. Они омыли нас ароматной водой, облачили в пышные наряды, а затем провели к двери, перед которой нам пришлось снять сандалии и накинуть грубые темные плащи, чтобы скрыть под ними свои роскошные одеяния. Только после этого нам позволили переступить порог и войти в большой зал, где уже собралось множество знатных мужчин и несколько женщин. Все они стояли неподвижно и были закутаны в такие же грубые плащи. Дальний конец зала отгораживала позолоченная деревянная ширма, из-за которой доносилась нежная музыка.

Мы остановились посредине зала, освещенного благоухающими факелами. Несколько человек приблизилось к нам, приветствуя принца Куаутемока, однако я заметил, что все с любопытством рассматривают меня. Но вот к нам подошла высокая, стройная женщина необычайной красоты. Она была облачена в великолепное одеяние, украшенное драгоценностями, которые виднелись из-под темного плаща. Я уже устал удивляться и был до крайности утомлен, но, несмотря на все, вид этой женщины буквально поразил меня: никогда еще я не встречал такого прелестного лица! Обрамленное падающими на плечи волнистыми прядями, оно было озарено большими, ласковыми, как у лани, глаза-

ми; благородные черты были необычайно нежны; лицо казалось немного грустным, но чувствовалось, что при случае оно может быть яростным и даже жестоким. Этой знатной особе было не более восемнадцати лет: она находилась в самом начале расцвета, однако обладала формами зрелой женщины и поистине царственным величием.

— Привет тебе, мой брат Куаутемок!— проговорила она приятным голосом.— Наконец-то ты прибыл! Мой царственный отец давно тебя ждет, и тебе придется ему объяснить, почему ты задержался. Моя сестра и твоя жена тоже удивлялись твоему опозданию.

Пока девушка говорила, я скорее почувствовал, чем увидел, что она внимательно меня разглядывает.

— Привет тебе, Отоми, сестра моя!— ответил принц.— Я задержался в дороге. Путь от Табаско дальний, а тут еще с моим спутником теулем,— при этих словах он кивнул в мою сторону,— приключилось по дороге несчастье.

— Какое несчастье?

— Он спас меня от когтей пумы, рискуя жизнью, когда все остальные бежали, ну и сам пострадал. Дело вот как было...— и принц рассказал о нашей охоте.

Девушка слушала внимательно, и я заметил, как горели ее глаза, пока принц говорил. Но вот он кончил, и она обратилась ко мне.

— Добро пожаловать, теуль,— проговорила она с улыбкой.— Ты не из нашего племени, но все равно ты мне нравишься.

И все так же улыбаясь, она отошла от нас.

— Кто эта знатная женщина?— спросил я Куаутемока.

— Это моя двоюродная сестра Отоми, принцесса племен отоми, любимая дочь моего дяди Монтесумы,— ответил принц.— Ты ей понравился, теуль, и это очень хорошо по многим причинам. Но...тш-ш-ш!

В этот момент ширма в дальнем конце зала раздвинулась, и я увидел высокого человека, окутанного клубами табачного дыма. Он сидел на расшитых узорами подушках и по индейскому обычаю курил позолоченную деревянную трубку. Это был сам император Монтесума. Его необычайно бледное для индейца лицо, обрамленное тонкими черными волосами, казалось унылым и меланхоличным. На нем было ослепительно белое одеяние из чистейшей хлопковой ткани, золотой пояс и сандалии, унизанные жемчужинами. Голову его украшали перья царственного зеленого цвета. Позади императора виднелось несколько красивых почти

нагих девушек, которые наигрывали на разных музыкальных инструментах, а напротив них стояли четыре старейших советника, босые и закутанные в темные плащи.

Когда ширма раздвинулась, все, кто был в зале, упали на колени, и я поспешил последовать их примеру. Но вот император сделал знак своей позолоченной трубкой, разрешая присутствующим подняться, и мы снова встали на ноги. Однако я заметил, что все стоят сложив руки и не смеют оторвать взгляд от пола.

Монтесума сделал еще один жест, и к нему приблизились трое пожилых мужчин. Насколько я мог понять, это были послы. Они обратились к императору с какой-то просьбой, и он ответил им кивком головы. После этого они отошли, беспрестанно кланяясь и пятясь задом, пока не смешались с толпой. Затем Монтесума что-то сказал одному из своих советников; тот поклонился и медленно направился в зал, озираясь по сторонам. Наконец его взгляд упал на Куаутемока, заметить которого, по правде говоря, было нетрудно, потому что он был на голову выше всех присутствующих.

— Привет тебе, принц,— проговорил советник.— Царственный Монтесума желает говорить с тобой и с твоим спутником теулем.

— Делай все, как я, теуль,— шепнул мне Куаутемок и направился к деревянной ширме. Когда мы вошли, ширму за нами задвинули, отгородив нас от зала.

Некоторое время мы стояли неподвижно, сложив руки и потупив глаза, пока нам не сделали знак приблизиться.

— Рассказывай, племянник,— негромко, но повелительно проговорил Монтесума.

— Я прибыл в город Табаско, о прославленный Монтесума! Я нашел там теуля и привел его сюда. Я так же принес в жертву верховного жреца согласно твоему царственному повелению и теперь возвращаю знак императорской власти.

С этими словами Куаутемок передал советнику перстень Монтесумы.

— Почему ты так задержался, племянник?

— В дороге случилась беда, о царственный Монтесума! Спасая мне жизнь, мой пленник теуль жестоко пострадал от когтей пумы; ее шкуру мы привезли тебе в дар.

Только тогда император ацтеков впервые обратил ко мне взор. Один из советников подал ему свиток, и Монтесума принялся читать письмена-рисунки, время от времени поглядывая на меня.

— Описание точное,— проговорил он наконец.— В нем не сказано только одного — что этот пленник прекраснее любого мужчины Анауака. Скажи, теуль, зачем твои собратья пришли в мои владения? Зачем они убивают мой народ?

— Об этом я ничего не знаю, о повелитель,— ответил я, как умел, с помощью Куаутемока.— Эти люди не братья мне.

— В донесении сказано, что в твоих жилах течет кровь теулей и что ты высадился на наши берега или близ берегов с одной из их больших пирог,— ты, сам в этом признался.

— Да, это так, повелитель, однако я из другого племени, а до берега я доплыл в бочке.

— Я полагаю, что ты лжешь,— нахмурившись, проговорил Монтесума.— Так тебя сожрали бы крокодилы и акулы. Но скажи мне, теуль,— продолжал он с видимым волнением,— скажи мне, вы правда дети Кецалькоатля?

— Не знаю, о повелитель. Я из племени белых людей, и нашим отцом был Адам.

— Наверное, это другое имя Кецалькоатля. Давно уже было предсказано, что дети его вернутся, и вот час их прихода, как видно, наступил.

Тяжело вздохнув, Монтесума заговорил снова:

— Ступай, теуль, завтра ты мне расскажешь о своих собратьях, а потом совет жрецов решит твою участь.

Услыхав о жрецах, я затрясся всем телом, умоляюще сжал руки и воскликнул:— Если хочешь, убей, повелитель, только не отдавай меня снова жрецам!

— Все мы в руках жрецов, чьими устами говорят боги,— холодно возразил Монтесума.— Кроме того, я думаю, что ты мне солгал. А теперь — уходи!

Так я удалился с самыми мрачными предчувствиями, и Куаутемок, повесив голову, вышел вместе со мной. Я проклинал тот час, когда черт меня дернул сознаться, что во мне есть испанская кровь, хоть я и не испанец. Знай я тогда то, что знаю теперь, даже пытки не вырвали бы у меня ни слова! Но сейчас горевать было поздно.

Вслед за Куаутемоком я прошел в отдаленные покои дворца Чапультепека, где нас ожидала его прелестная жена, царственная принцесса Течуишпо, а вместе с ней еще несколько знатных мужчин и женщин. Среди них была и дочь Монтесумы.

Во время пышного ужина я оказался рядом с принцессой Отоми. Она мило беседовала со мной, расспрашивая о

моей стране и о племени теулей. От нее я узнал, что эти теули, или испанцы, весьма беспокоили императора, принимавшего их за детей бога Кецалькоатля. Монтесума свято верил в древнее пророчество, гласившее, что Кецалькоатль скоро вернется и будет снова править своей страной.

В тот вечер Отоми была так очаровательна и царственно прекрасна, что сердце мое дрогнуло; впервые за все последнее время другая женщина заставила меня на миг забыть свою нареченную. Ведь она была так далеко, где-то в Англии, и я уже думал, что больше ее никогда не увижу! Но, как я узнал позднее, в ту ночь сердце дрогнуло не только у меня.

Неподалеку от нас сидела Папанцин, царственная сестра Монтесумы. Она была уже далеко не молода и вовсе не красива, однако я редко видел такое привлекательное и в тоже время такое печальное лицо, словно уже отмеченное печатью смерти. Через несколько недель она и в самом деле умерла, но даже в могиле не обрела покоя. Однако об этом речь впереди.

Покончив с едой, мы запили ее напитком какао или шоколадом и выкурили по трубке табаку. Этому странному, но весьма приятному обычаю я научился еще в Табаско и не могу от него отказаться до сих пор, хотя доставать заморское зелье у нас в Англии нелегко.

Наконец меня проводили в маленькую, облицованную панелями кедрового дерева комнату, отведенную мне под спальню, однако заснуть мне долго еще не удавалось. Я был переполнен новыми впечатлениями. Передо мной теснились странные картины незнакомой страны, столь высоко цивилизованной и одновременно варварской; я думал о ее печальном монархе, у которого есть все, что только может сердце пожелать: сказочные богатства, сотни прекрасных жен, любящие дети, бесчисленные армии и все великолепие искусства; об этом абсолютном повелителе миллионов, правящем самой чудесной на свете империей, которому доступны все земные радости, об этом человеке, равном богам во всем, кроме бессмертия, и почитаемом, как божество, и в то же время угнетенном страхами и суевериями и в глубине души более несчастном, чем самый последний раб из его дворцов. Вслед за пророком Екклезиастом Монтесума мог бы горестно возопить:

«Собрал я себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел певцов и певиц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия...

Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им; не

возбранял я сердцу моему никакого веселия; потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих; и было это долею моею от всех трудов моих.

Но вот оглянулся я на все дела мои, и на труд, которым трудился я, совершая их, и вижу — все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем»*

Так мог бы сказать Монтесума, и так говорил он, только другими словами. Пляска смерти, изображенная на стенах дитчингемской часовни, где скелеты ведут за собой трех царей, достаточно ясно показывает, что монархам не избежать общей судьбы и что счастья отпущено на их долю ничуть не больше, чем на долю прочих сынов человеческих. И даже совсем наоборот, как говорил мне однажды мой благодетель Андрес де Фонсека. Истинное счастье — лишь сон, от которого мы пробуждаемся ежечасно для горестей нашей короткой и многотрудной жизни.

Затем мои мысли перенеслись к прекрасной принцессе Отоми, смотревшей на меня, как я заметил, с такой добротой, и образ ее был сладостен для моего сердца, ибо я был молод, а моя единственная любовь Лили осталась где-то далеко-далеко и казалась мне потерянной навсегда. Что же тут удивительного, если меня покорили достоинства этой индейской девушки? Поистине не нашлось бы мужчины, которого она бы не околдовала своей нежностью, красотой и той особой царственной грацией, какую дает лишь кровь императоров и долголетняя привычка повелевать. В ней, так же, как в ее пышных одеяниях, было нечто варварское, но тогда я видел в этом лишь одно достоинство. Именно это больше всего притягивало и волновало меня; ее нежная женственность была окрашена особым оттенком, непонятным и мрачным; ее восточная роскошь, которой так не хватает нашим слишком благовоспитанным английским леди одновременно действовала на воображение и на чувства, проникая через них прямо в сердце.

Да, Отоми была из тех женщин, о чьей любви мужчина может только мечтать, зная, что подобных характеров на свете очень немного, а исключительных условий, способных их воспитать,— и того меньше. Целомудренная и страстная, царственно благородная, богато одаренная природой, очень женственная, одновременно храбрая, как воин, и прекрасная, как прекраснейшая из ночей, с живым разумом, открытым для познания, и светлой душой, которую неспособно сломить никакое испытание, с виду вечно из-

---

* Екклезиаст, II, 8 — 11

менчивая, но в действительности преданная и дорожащая своей честью, как мужчина,— такова была Отоми, дочь Монтесумы, принцесса племен отоми. Можно ли удивляться,что ее красота запала мне в сердце и что позднее, когда судьба подарила мне любовь принцессы, я ее тоже полюбил?

И в то же время в характере Отоми были такие черты, которые оттолкнули бы меня, если бы я о них знал. Несмотря на все свои достоинства, красоту и очарование, Отоми оставалась в глубине души дикаркой, и как она ни старалась это скрыть, кровь ацтеков временами брала в ней свое.

Так я раздумывал, лежа в одной из комнат дворца Чапультепека, когда тяжелые шаги стражи за дверью напомнили мне о том, что любовь и прочие прекрасные вещи не для меня, ибо жизнь моя по-прежнему висит на волоске. Завтра жрецы будут определять мою участь, а пленник, попавший в руки жрецов, может предугадать их решение заранее. Я был для них чужестранцем из племени белых людей. Такая жертва, конечно, в тысячу раз приятнее их богам, чем сердце простого индейца. Меня для того спасли от жертвенного ножа в Табаско, чтобы положить на более высокий алтарь Теночтитлана,— вот и все. Мне суждено погибнуть ужасной смертью вдали от родины, и ни одна душа на земле об этом даже не узнает. С такими печальными мыслями я погрузился в сон.

Меня разбудили утренние лучи солнца. Поднявшись со своей циновки, я подошел к оконному проему, забранному деревянной решеткой, и выглянул наружу.

Дворец, где я находился, стоял на вершине каменистого холма. Его подножие омывали волны озера Тескоко, посреди которого примерно в миле с небольшим вздымались над водой храмовые башни Теночтитлана. По склонам холма и вокруг него отдельными группами росли гигантские кедры, увешанные серыми бородами лишайников, придававшими им странный призрачный вид. Они были так огромны, что самый большой дуб из нашего дитчингемского прихода показался бы карликом рядом с самым маленьким кедром, а самый высокий из них достигал у земли в окружности двадцати двух шагов. Между этими древними исполинами и в тени их ветвей раскинулись сады Монтесумы с удивительными пышными цветами, с мраморными водометами, с многочисленными птичниками и загонами для диких зве-

рей. Мне кажется, я не видел на свете ничего прекраснее!*

«Ну что ж,— подумал я про себя.— Пусть я погибну! Зато я увидел Анауак, его императора, его обычаи и его народ, а это уже кое-что значит!»

Глава XVI

ТОМАС — БОГ

Разве могло мне в то раннее утро прийти в голову, что еще до захода солнца я, скромный дворянин Томас Вингфилд, превращусь в божество и стану самым почитаемым после императора Монтесумы человеком, или, вернее, богом города Теночтитлана!

А произошло это так. После завтрака с домашними принца Куаутемока меня отвели в зал суда, или, как его здесь называют, «Судилище Бога». Там восседал на золотом троне Монтесума и вершил правосудие с такой пышностью и торжественностью, что я не берусь это описать. Вокруг него толпились советники и знатнейшие придворные, а перед ним лежал человеческий череп, увенчанный диадемой с изумрудами небывалой величины, от которых исходило даже сияние. В руке император держал вместо скипетра стрелу.

Перед Монтесумой стояло несколько вождей, или касиков, схваченных за измену. Суд над ними был короток. После того как было предъявлено обвинение, их спросили, что они могут сказать в свое оправдание, и каждый в нескольких словах изложил свою историю. Затем Монтесума, до сих пор безмолвный и неподвижный, взял свиток, на котором были изображены письменами-рисунками преступления касиков, и все так же молча проткнул стрелой образ каждого обвиняемого, осуждая всех на смерть. Обреченных тут же увели, и я так и не узнал, какая казнь их ожидала.

Когда с изменниками было покончено, в зал вошло несколько жрецов в мрачных черных одеяниях со свисающими на спины спутанными космами. Дрожь охватила меня

---

* Сады Монтесумы давно уничтожены, однако несколько гигантских кедров, несмотря на то, что испанцы вырубали их беспощадно, все еще возвышаются в Чапультепеке. Ствол одного из них, по личным, а потому приблизительным измерениям автора, имеет около шестидесяти футов в обхвате. Говорят, что это было любимое дерево великого императора. Странно подумать, что от всего богатства и славы государства Монтесумы до наших дней суждено было дожить лишь нескольким хвойным великанам.— *Прим. авт.*

при виде этих надменных и жестоких людей с пронзительными глазами. Я заметил, что даже к самому императору они относились без особого почтения.

Советники и знатные воины отошли, жрецы заговорили с Монтесумой. Затем двое из них приблизились ко мне, взяли меня из рук стражи и подвели к трону. Здесь один жрец внезапно приказал мне раздеться, и я со стыдом повиновался. Когда на мне не осталось никакой одежды и я стоял обнаженный перед троном, жрецы обступили меня и начали внимательно разглядывать мое тело. На руке у меня выделялся шрам, оставленный шпагой де Гарсиа, а на плечах и на спине багровели едва затянувшиеся рубцы от когтей и зубов пумы. Жрецы спросили, откуда у меня эти следы. Я ответил. Отойдя в сторону, чтобы я не мог их слышать, они принялись яростно спорить между собой, но не пришли ни к какому решению и вынуждены были обратиться к императору. Немного подумав, он заговорил, и его слова я услышал:

— Изъяны эти ему не присущи, их не было на его теле при рождении. Это следы ярости человека и зверя.

Жрецы еще о чем-то посовещались, и наконец, старший из них шепнул несколько слов на ухо Монтесуме. Император кивнул, поднялся с трона и приблизился ко мне. Я стоял перед ним обнаженный, вздрагивая от холода, ибо воздух в окрестностях Теночтитлана бывает довольно свеж. Монтесума на ходу снял с шеи цепь из золота и изумрудов, отстегнул застежку своей царской мантии и собственными руками возложил на меня цепь и накинул мантию мне на плечи. Затем он униженно преклонил передо мной колени, с мольбой простер ко мне руки и обнял меня.

— Привет тебе, о божественный сын Кецалькоатля! — заговорил он.— Будь благословен, вместилище духа Тескатлипоки, Души Мира, творца всего сущего! За какие заслуги осчастливил ты нас своим появлением на этот год? Что можем мы сделать, чтобы отплатить тебе за высокую честь? Ты создал нас и всю эту землю,— будь же благословен! Повелевай нами — мы все твои слуги. Приказывай — и твое повеление будет исполнено, пожелай — и твое пожелание сбудется прежде, чем твои уста произнесут его. О, Тескатлипока! Я, Монтесума, твой раб, склоняюсь перед тобой, и весь мой народ склоняется вместе со мною!

И он снова упал на колени.

— Мы взываем к тебе,— заголосили жрецы.— Мы склоняемся перед собой, о Тескатлипока!

А я продолжал молча стоять, пораженный всем этим не-

понятным фарсом. Монтесума хлопнул в ладоши — и на его зов появились женщины с красивыми одеяниями и гирляндами цветов. Они облачили меня в принесенные одежды, украсили мне голову цветами, не переставая молиться и повторять:

— Тескатлипока, что умер вчера, явился к нам снова. Возрадуйтесь! Тескатлипока явился к нам снова в образе пленного теуля!

Только тогда я понял, что теперь я бог, и не просто бог, а величайший из богов. Ни разу в жизни я не чувствовал себя так глупо!

Следом за женщинами появились почтительные и важные мужчины с музыкальными инструментами в руках. Мне сказали, что отныне они будут моими наставниками, а целый эскорт царских слуг — моими рабами. Под звуки музыки меня вывели из зала. Впереди шел глашатай, громко выкрикивая, что вот шествует бог Тескатлипока, Душа Мира, творец всего сущего, снова посетивший свой народ. Меня провели по всем дворам и всем бесконечным комнатам дворца, и везде мужчины, женщины и дети склонялись передо мной до земли и молились на меня, Томаса Вингфилда из дитчингемского прихода, графства Норфолк, и под конец мне стало казаться, что, должно быть, я просто рехнулся.

Затем меня усадили в паланкин и понесли вниз с холма Чапультепека по дамбе, и дальше — по городу, через все улицы к обширной площади перед храмом. Впереди шли глашатаи и жрецы, позади следовали знатные юноши и слуги, и всюду, где бы мы ни проходили, толпы людей простирались передо мной ниц. Постепенно я начал понимать, что быть богом — дело довольно утомительное.

Между стен, украшенных изваяниями змей, меня понесли по идущей ломаной спиралью лестнице на вершину огромного теокалли, где стояли идолы и святилища. Здесь под несмолкающий гром большого барабана жрецы начали приносить в мою честь жертву за жертвой, и я вынужден был смотреть на все эти кровавые зверства, едва сдерживая тошноту.

Но вот меня попросили выйти из паланкина. Под ноги мне подстилали ковры и бросали цветы, однако я пришел в ужас, ибо подумал, что сейчас меня принесут в жертву мне самому или какому-нибудь другому богу. К счастью, это оказалось не так. У края верхней площадки — слишком близко я подходить отказался, опасаясь, как бы меня не столкнули неожиданно вниз — сам верховный жрец объя-

вил многотысячной толпе о моем божественном сане, и все — народ на площади и жрецы на пирамиде — молитвенно преклонили колени. Церемония продолжалась мучительно долго. Голова моя шла кругом от всех этих молений, музыки, воплей и окровавленных трупов, и я вздохнул облегченно, когда мы, наконец, двинулись обратно в Чапультепек.

Однако здесь меня ожидали новые почести. Мне отвели целую анфиладу великолепных комнат, примыкающих к покоям самого императора, и торжественно объявили, что отныне все родичи и домочадцы Монтесумы становятся моими слугами, и тот, кто посмеет ослушаться моего повеления, умрет.

Тогда я, наконец, впервые заговорил и пожелал остаться один, чтобы хоть немного отдохнуть. Слугам я повелел за это время приготовить праздничную трапезу в покоях принца Куаутемока, где надеялся встретиться с Отоми.

Наставники и знатные воины из моей свиты пытались было возразить, что эту ночь хотел отпраздновать со мной мой слуга Монтесума, однако я не изменил решения. В конце концов они удалились, предупредив, что вернутся через час, чтобы отправиться вместе со мной на пир. Сбросив знаки своего божественного достоинства, я с наслаждением растянулся на подушках и принялся думать. Странное возбуждение владело мной. Разве я не был богом и разве власть моя не была почти беспредельной? Однако недоверчивый разум задавал каверзные вопросы. Чего ради меня сделали богом и надолго ли я сохраню эту власть?

Не прошло и часа, как мои знатные наставники и слуги вернулись с новыми одеяниями и свежими цветами. Облачив меня и украсив венками, они двинулись следом за мной в покои Куаутемока. Прекрасные женщины шли впереди и наигрывали на музыкальных инструментах.

Принц Куаутемок уже ожидал нас. Здесь мне была оказана такая встреча, словно я, его недавний пленник, был самим императором. И в то же время мне показалось, что он был чем-то смущен, а в глазах его светилась жалость. Наклонившись вперед, я шепотом спросил Куаутемока:

— Что все это значит, принц? Я действительно бог или надо мной издеваются?

— Тш-ш-ш! — ответил он еле слышным голосом, низко склоняясь передо мной.— Для тебя это и хорошо и плохо, друг мой теуль. Потом я тебе объясню.

И уже громко прибавил:

— О Тескатлипока, бог богов, угодно ли будет тебе, что-

бы мы вкушали трапезу вместе с тобой или ты желаешь остаться один?

— Принц,— ответил я,— боги любят хорошую компанию.

Пока мы так переговаривались, я заметил в толпе, заполняющей залу, принцессу Отоми. Поэтому, когда все начали рассаживаться на подушках за низким столом, я задержался, подождал, пока она займет свое место, и тотчас же сел рядом с ней. Это вызвало короткое замешательство среди присутствующих, так как приготовленное для меня почетное место находилось в голове стола, где справа от меня должен был сидеть принц Куаутемок, а слева — его жена, царственная Течуишпо.

— Твое место не здесь, о Тескатлипока,— проговорила Отоми, и ее оливковое лицо слегка порозовело.

— Я думаю, царственная Отоми, что бог может сидеть там, где он хочет,— ответил я и, понизив голос, добавил: — Разве может быть для бога более почетное место, чем рядом с самой прекрасной богиней на земле?

Она снова покраснела и сказала:

— Увы, я совсем не богиня, а простая смертная девушка. Слушай, если хочешь, чтобы я была рядом с тобой за трапезой, ты должен встать и объявить свою волю; никто не посмеет тебя ослушаться, даже мой отец Монтесума.

Тогда я поднялся и на сквернейшем ацтекском языке обратился ко всем присутствующим:

— Отныне мое место на пирах всегда будет рядом с принцессой Отоми,— такова моя воля!

При этих словах Отоми покраснела еще больше. Гости начали перешептываться. Принц Куаутемок сначала нахмурился, потом улыбнулся. Зато мои знатные наставники низко склонились, а глашатаи провозгласили:

— Повинуйтесь воле Тескатлипоки! Да будет отныне место царственной принцессы Отоми рядом с богом Тескатлипокой, ибо бог возлюбил ее!

С этого вечера Отоми всегда сидела рядом со мной, за исключением тех случаев, когда мне приходилось вкушать трапезы вместе с Монтесумой. В городе прекрасную Отоми теперь называли не иначе, как «благословенная принцесса, возлюбленная богом Тескатлипокой». Сила обычая и суеверий была так велика, что ацтеки искренне полагали, будто тот, кто хоть на короткое время воплотил в себе Душу Мира, может осчастливить знатнейшую женщину в стране и оказать ей величайшую честь, выразив простое желание, чтобы она была его соседкой по трапезе.

Когда пиршество началось, я тихонько спросил Отоми, что все это может означать.

— Увы,— проговорила она шепотом,— разве ты не знаешь? Сейчас я не могу ответить, но скажу одно: пока ты бог и можешь сидеть, где хочешь, но придет время — и тебя положат там, где ты не хотел бы лежать. Слушай, когда трапеза кончится, скажи, что желаешь прогуляться по дворцовому саду и что я должна тебя сопровождать. Тогда я, наверное, смогу тебе рассказать все.

Я последовал ее совету и, когда пиршество завершилось, сказал, что хочу пройтись по садам с принцессой Отоми. Мы вышли из дворца и вступили под сень величественных кедров, поросших длинными лохмами серого лишайника; словно бороды целой армии седовласых старцев, свисали они с каждой ветки, раскачиваясь и жалобно шурша под порывами прохладного ночного ветерка. Но увы! мы были здесь не одни. Шагах в двадцати позади нас двигалась вся моя свита вместе с музыкантами, беспрестанно дудящими вразнобой на своих проклятых флейтах, и хорошенькими танцовщицами, пляшущими под их нестройную музыку. Напрасно я приказывал им угомониться, напрасно говорил, что издревле ведется, чтобы час музыки и плясок чередовался с часом тишины — это было мое единственное повеление, которое никогда не исполнялось: свита, музыканты и танцовщицы сопутствовали мне везде и всюду. Только в те дни я понял, каким неоценимым сокровищем может быть иногда одиночество.

Нам ничего не оставалось, как продолжать нашу прогулку в тени деревьев, и вскоре, несмотря на несмолкающую музыку, преследовавшую нас по пятам, мы были захвачены разговором, из которого я узнал, какая ужасная судьба меня ожидает.

— Слушай, теуль,— проговорила Отоми, всегда называвшая меня так, когда нас никто не мог слышать,— в нашей стране есть обычай каждый год выбирать молодого пленника и делать его земным воплощением бога Тескатлипоки, создателя мира. Для этого пленник должен обладать только двумя качествами — благородным происхождением и красотой без пороков и изъянов. Случилось так, что тот день, когда ты явился сюда, был днем избрания нового пленника для воплощения бога, и жрецы избрали тебя, ибо ты знатного рода, и ты прекраснее любого мужчины Анауака. Кроме того, ты из племени теулей, детей Кецалькоатля, слухи о которых давно уже доходят до нас. Мой отец Монтесума страшится их появления больше всего на свете, и

потому жрецы решили, что ты сможешь отвратить от нас гнев теулей и умилостивить богов.

Отоми умолкла, словно с трудом подыскивая слова для того, что ей предстояло сказать, но я не обратил на это внимания. Речь ее польстила мне; она внутренне перекликалась с сознанием моего величия и возвышала меня в моих собственных глазах. Ведь прелестная принцесса сама признала, что я прекраснее любого мужчины в Анауаке! До сих пор я считал себя просто довольно приглядным парнем, и уж, конечно, ни мужчина, ни женщина, ни ребенок еще не говорили мне, что я «прекрасен». Однако, чем выше вознесешься, тем страшнее падение. Так было и теперь.

— Теуль, я должна сказать тебе правду,— продолжала Отоми,— хоть и горько мне, что ты узнаешь ее от меня. Целый год ты будешь богом города Теночтитлана, и ничто тебя не будет тревожить. Тебе придется только присутствовать на разных церемониях, и тебя научат некоторым обрядам. Любое твое желание будет законом, и если ты кому-нибудь улыбнешься, улыбка твоя будет благословением божьим, и люди будут на тебя молиться. Сам Монтесума, отец мой, будет относиться к тебе с почтением, как к равному, или даже больше. Все радости будут доступны тебе, кроме женитьбы. Лишь в начале последнего месяца года тебе выберут в жены четырех самых красивых девушек нашей страны.

— А кто их будет выбирать? — спросил я.

— Не знаю, теуль,— поспешно ответила Отоми.— Я незнакома с этим тайным обрядом. Иногда выбирает сам бог, а иногда — жрецы. Бывает по-разному. Но дослушай меня до конца и тогда ты наверняка забудешь все остальное. Месяц ты проживешь со своими женами, и весь этот месяц пройдет в пиршествах и празднествах во всех самых знатных домах города. Но в последний день месяца тебя посадят в царскую барку и вместе с твоими женами повезут к тому месту, что называется «Плавильня Металлов». Там тебя возведут на теокалли, который мы называем «Дом Оружия», где твои жены простятся с тобой навсегда, А затем — увы, теуль, мне трудно тебе это говорить! — ты будешь принесен в жертву тому самому богу, чей дух воплощаешь, великому богу Тескатлипоке. Сердце твое вырвут из груди, голову твою отделят от тела и насадят на кол, прозванный «Столбом для голов»...

Услышав этот страшный приговор, я громко застонал, и ноги мои подкосились так, что я едва не упал на землю. Но затем безудержная ярость овладела мной, и, забыв советы

своего отца, я проклял всех жестоких богов Анауака и народ, который им поклоняется, сначала на языках ацтеков и майя, а когда мои знания истощились, продолжал поносить их по-испански и на старом добром английском языке.

Но тут Отоми, которая наполовину поняла меня, а об остальном могла догадаться, в ужасе простерла ко мне руки и взмолилась:

— Прошу тебя, теуль, не проклинай грозных богов, иначе тебя тотчас постигнет жестокая кара! Если тебя услышат, все подумают, что в тебя вошел не добрый дух, а злой, и ты умрешь в страшных мучениях. Но если даже люди ничего не узнают, тебя услышат боги, ибо они вездесущи!

— Пусть слышат! — ответил я.— Это ложные боги, и страна эта проклята, потому что им поклоняется. Идолы ваши обречены, и все идолопоклонники обречены вместе с ними,— это я тебе говорю. Пусть меня услышат! Лучше сейчас умереть под пытками, чем целый год выносить пытку приближающейся смерти! Но я умру не один. Море крови, пролитой вашими жрецами, взывает об отмщении к истинному богу, и он за нее воздаст!

Вне себя от ужаса и бессильной ярости, я продолжал бушевать. Отоми, испуганная и пораженная, слушала мои ужасные проклятия, а позади нас пищали флейты и плясали танцоры.

Но вдруг я заметил, что Отоми словно перестала меня слышать: взгляд ее был обращен на восток, и выражение у нее было такое, как будто она увидела привидение. Я оглянулся. Все небо позади меня было озарено. От самого горизонта до зенита по нему разливалось веером мертвенно-бледное сияние, пронизанное огненными искрами. Казалось, что ручка этого чудовищного веера покоится где-то на земле, а перья его закрывают всю восточную половину неба. Я невольно умолк, пораженный небывалым зрелищем, и в тот же миг вопли ужаса огласили дворец. Все его обитатели высыпали наружу, чтобы взглянуть на пылающее на востоке знамение.

Но вот из дворца в окружении знатнейших мужей вышел сам Монтесума, и я увидел в призрачном свете, что губы его дрожат, а руки жалко трясутся. И тогда свершилось новое чудо. Из безоблачного неба на город опустился огненный шар; на мгновение он задержался на самом высоком храме, вспыхнул, озарив ослепительным светом теокалли и прилегающую к нему площадь, и погас. Но на месте его поднялось новое пламя — пылал храм Кецалькоатля.

Крики отчаяния и жалобные стоны вырвались у всех, кто наблюдал это зрелище с холма Чапультепека и снизу, из города. Даже я испугался неизвестно чего, хотя и понимал, что сияние, озарявшее небо в эту и следующие ночи, скорее всего было обыкновенной кометой, а пожар в храме могла вызвать шаровая молния. Однако ацтеки, и особенно Монтесума, чей разум был смущен слухами о появлении людей странного белого племени, которые, если верить пророчествам, должны были сокрушить и уничтожить его империю, увидели во всем этом самые дурные предзнаменования. К тому же, если у них и оставались еще какие-то сомнения, случай постарался рассеять их окончательно.

Как раз в этот момент, когда все еще стояли, оцепенев от ужаса, сквозь толпу пробрался измученный и запыленный в дальней дороге гонец. Упав ниц перед императором, он вынул из складок своей одежды свиток с письменами и протянул его одному из знатных придворных. Однако нетерпение Монтесумы было так велико, что он, нарушая все обычаи, вырвал свиток из рук советника, развернул и при свете пылающего неба и храма начал читать рисунчатые письмена. Все молча смотрели на него. Вдруг Монтесума громко вскрикнул, отбросил свиток и закрыл лицо руками. Случайно свиток оказался поблизости от меня, и я увидел на нем грубые изображения испанских кораблей и людей в испанских доспехах. Отчаяние Монтесумы сразу стало понятно: испанцы высадились на его землю.

Несколько советников приблизились к императору, пытаясь его утешить, но он оттолкнул их.

— Оставьте меня! — простонал он.— Не мешайте мне оплакивать мой народ. Пророчество свершилось, и Анауак обречен. Дети Кецалькоатля господствуют на моих берегах и убивают моих детей. Оставьте, не мешайте мне плакать!

В это мгновение к нему приблизился второй гонец из дворца. Отчаяние было написано на его лице.

— Говори,— приказал Монтесума.

— О владыка, пощади уста, несущие скорбную весть. Твоя царственная сестра Папанцин умирает, сраженная ужасными знамениями,— и он показал на пылающее небо.

Услышав, что его любимая сестра лежит на смертном одре, Монтесума молча закрыл лицо краем своей императорской мантии и медленно побрел во дворец.

Багряное зарево по-прежнему искрилось и полыхало на востоке, подобно чудовищному противоестественному зака-

ту, а внизу в городе огонь продолжал яростно пожирать храм Кецалькоатля.

Я повернулся к Отоми. Она стояла рядом со мной, пораженная и дрожащая.

— Разве я не сказал тебе, принцесса Отоми, что страна эта проклята?

— Да, ты сказал, теуль,— отозвалась Отоми.— Наша страна проклята.

Затем мы направились во дворец, и даже в этот ужасный час танцоры и музыканты последовали за нами.

Глава XVII

ПРОРОЧЕСТВО ПАПАНЦИН

К утру Папанцин умерла, а вечером того же дня ее с великой пышностью похоронили на кладбище Чапультепека рядом с царственными предками императора. Но это соседство, как мы увидим позднее, пришлось ей не по душе.

В тот же день я узнал, что быть богом не так-то просто. От меня требовалось, чтобы я изучил всевозможные искусства, в частности их ужасную музыку, хотя к музыке у меня вообще не было ни малейшей склонности. Но в данном случае моего мнения никто не спрашивал. Мои наставники, почтенные пожилые люди, которые могли бы найти себе более достойное занятие, явились ко мне с лютнями, чтобы я выучился на них играть. Другие принялись обучать меня ацтекской грамоте, поэзии и прочим искусствам, как они сами их понимали, но этому я учился с удовольствием. Однако я не забывал пророческих слов о том, что умножающий свои знания умножает свои горести. И в самом деле, какой мне был толк от всех этих наук, если они в скором времени должны были умереть вместе со мной на жертвенном камне!

Мысль о проклятом жертвоприношении сначала приводила меня в отчаяние. Однако затем я подумал о том, что смертельная опасность уже грозила мне неоднократно, но я всегда выходил сухим из воды. Может быть, мне повезет и на сей раз? Во всяком случае, до смерти было еще далеко. Пока я был богом и хотел, независимо от того, погибну я потом или уцелею, прожить отведенный мне срок как бог, наслаждаясь всеми доступными богу благами жизни. И я зажил вовсю. Вряд ли кто-нибудь когда-либо имел больше возможностей, да еще таких необычных, и уж наверняка никто не сумел бы ими лучше воспользоваться. Поистине

если бы не тоска по дому и по моей далекой возлюбленной, временами охватывавшая меня с непреодолимой силой, я чувствовал бы себя почти счастливым. Власть моя была безмерна, а все окружающее удивительно и необычно. Но продолжим рассказ.

В течение нескольких дней после смерти Папанцин дворец и весь город были погружены в траур. Распространялись всевозможные странные слухи, смущая умы людей. Каждую ночь пылающее зарево озаряло восточную половину неба, и каждый день приносил все новые знамения и чудеса или новые страшные россказни об испанцах. Большинство считало их белокожими богами, детьми Кецалькоатля, возвратившимися на свою землю, которой некогда владел их предок.

Среди всей этой сумятицы хуже всего себя чувствовал сам император. Последние несколько недель он почти ничего не ел, не пил и совсем не спал. В таком состоянии Монтесума отправил гонцов к своему старому сопернику, суровому и мудрому Несауалпилли, вождю союзного государства Тескоко. Он просил его приехать, и Несауалпилли приехал.

Это был старик с проницательными и свирепыми глазами. Мне довелось стать свидетелем его встречи с Монтесумой, потому что в качестве бога я свободно разгуливал по всему дворцу и даже мог присутствовать на совете императора со старейшинами.

Когда оба монарха обменялись приветствиями, Монтесума заговорил с Несауалпилли о знамениях, о появлении теулей и попросил рассеять своей мудростью окружающий его мрак. Несауалпилли погладил свою длинную седую бороду и ответил, что как ни тяжело у Монтесумы на сердце, скоро ему придется еще тяжелее.

— Слушай меня,— сказал старик.— Я знаю, что дни нашей власти сочтены. Я в этом настолько уверен, что готов с тобой сыграть в мяч на все мое царство, которое и ты и все твои предки так хотели завоевать.

— А какой заклад должен поставить я? — спросил Монтесума.

— Мы будем играть так. Ты поставишь трех бойцовых петухов, и если я выиграю, ты отдашь мне их шпоры. А я ставлю все мое царство Тескоко.

— Ставки неравные,— заметил Монтесума.— Петухов много, а царств куда меньше.

— Ну и что же из того? — возразил вождь-старик.— Мы играем против судьбы. Как сложится игра, так и

будет. Если ты выиграешь царство — все будет хорошо, а если я выиграю петушиные шпоры — тогда прощай навсегда слава Анауака, ибо народ наш перестанет быть народом и земли наши захватят пришельцы.

— Ну что ж, сыграем и посмотрим,— согласился Монтесума, и они направились к площадке для игры в тлачтли*.

Игра началась. Сначала выигрывал Монтесума и уже громко похвалялся, что скоро будет повелителем Тескоко.

— Хорошо, если так! — сказал умудренный годами Несауалпилли, и с этого мгновения удача отвернулась от императора ацтеков. Как он ни старался, ему ни разу больше не удалось втолкнуть шар в кольцо, и под конец Несауалпилли выиграл своих петухов. Заиграла музыка, придворные столпились вокруг своего старого вождя, поздравляли его с победой. Но он в ответ лишь тяжело вздохнул и проговорил:

— Лучше бы я проиграл свое царство, чем выиграл этих птиц, ибо тогда мое царство перешло бы в руки человека из нашего рода. Но — увы! — и мои и его владения достанутся чужеземцам, которые свергнут наших богов и всю нашу славу обратят в ничто!

С этими словами он поднялся и, простившись с императором, отбыл в свою страну. По счастью, старый вождь скоро умер, так что ему не пришлось самому увидеть исполнение своих страшных предсказаний.

На следующий день после отъезда Несауалпилли прибыло новое известие о действиях испанцев, обеспокоившее Монтесуму еще больше. Охваченный страхом, он послал за астрологом, прославленным на всю страну мудростью своих прорицаний. Астролог явился, и Монтесума заперся с ним наедине. Не знаю, что он сказал императору, но, по-видимому, ничего приятного не было в его пророчествах, потому что той же ночью Монтесума приказал своим воинам обрушить дом мудреца, и тот погиб под развалинами собственного жилища.

Два дня спустя после смерти астролога Монтесума, упорно считавший меня одним из теулей, решил, что я могу дать ему необходимые сведения. На закате он послал за

---

* Тлачтли, или тлачко,— ритуальная игра, заключавшаяся в том, что игроки старались попасть тяжелым каучуковым шаром в установленные вертикально кольца, причем толкать шар можно было только корпусом и локтями. Весь этот эпизод описан в ацтекских хрониках. Автор допустил лишь одну неточность: Несауалпилли поставил свое царство не против шпор бойцовых петухов, а против трех индюков, в то время не известных европейцам.— *Прим. перев.*

мной и предложил прогуляться вместе с ним по саду. Я пришел в сопровождении своих музыкантов, ни на минуту не оставлявших меня в покое, но тут император сказал, что хочет поговорить со мной наедине, и повелел всем удалиться. Следом за ним, держась на шаг сзади, я вступил под сень могучих развесистых кедров.

— Теуль,— заговорил, наконец, Монтесума,— расскажи мне о своих братьях! Зачем они высадились на наших берегах? Но смотри, бойся солгать!

— Они мне не братья, о Монтесума! — ответил я.— Только моя мать была из их племени.

— Я повелел тебе говорить только правду. Ты слышал, теуль? Если твоя мать была из их племени, разве ты не такой же, как они, разве ты не плоть от плоти и не кровь от крови своей матери?

— Как будет угодно повелителю,— проговорил я с поклоном и начал рассказывать об испанцах — об их стране, об их величии, жестокости и ненасытной жажде золота. Монтесума слушал с жадностью, но, по-видимому, не верил и половине того, что я говорил, ибо страх сделал его безмерно подозрительным. Когда я умолк, он снова спросил меня:

— Для чего же они явились в Анауак?

— Боюсь, повелитель, что они пришли, чтобы захватить эту землю или, в лучшем случае, чтобы разграбить все ее сокровища и, свергнуть ее богов.

— Что же ты мне посоветуешь, теуль? Как защититься от этих могучих воинов, одетых в металл и скачущих на свирепых диких зверях? У них есть какие-то трубки, грохочущие словно гром, от звуков которого валятся сотни врагов, а в руках у них оружие из сверкающего серебра. Как бороться с ними? Увы, противиться им невозможно, ибо они — сыновья Кецалькоатля, вернувшиеся, чтобы завладеть своей землей. Я слышал о них с самого детства, я страшился их всю жизнь, и вот сегодня они стоят у моего порога.

— Я всего лишь бог,— ответил я,— но если земной владыка дозволит, я дам ему простой совет. На силу отвечают силой! Теулей мало, и против каждого из них ты можешь выставить тысячу воинов. Нападай на них первым, не жди, пока они найдут себе союзников, раздави их сразу!

— И это советует мне тот, чья мать была из племени теулей,— с ехидной усмешкой проговорил император.— Скажи мне еще, советник, как я смогу узнать, что против меня сражаются люди, а не боги? Как я смогу уз-

нать желания и замыслы этих людей или богов, если они не говорят на моем языке, а я не говорю на их языке?

— Это нетрудно сделать, о Монтесума,— ответил я.— Мне знаком их язык. Пошли меня — и я все для тебя узнаю.

Произнося эти слова, я почувствовал, как в сердце моем загорелась надежда. Если бы мне удалось добраться до испанцев, я бы спасся от жертвенного алтаря! А может быть, даже вернулся на родину. Ведь они приплыли на кораблях, и корабли, наверное, поплывут обратно. Пока что мне нечего было жаловаться на свою участь, но, само собой разумеется, больше всего мне хотелось бы снова очутиться среди христиан.

Некоторое время Монтесума молча смотрел на меня, потом ответил:

— Теуль, ты, наверное, принимаешь меня за глупца. Да неужели ты думаешь, что я пошлю тебя к ним, чтобы ты рассказал своим братьям о моем страхе, о моей слабости и показал им все наши уязвимые места? Неужели ты думаешь, мне неизвестно, для чего ты сюда явился? Глупец! Я знаю — ты лазутчик теулей! Ты пробрался к нам, чтобы все разведать о нашей стране! Я узнал об этом в первый же день, и, клянусь богом Уицилопочтли, если бы ты не был посвящен Тескатлипоке, твое сердце завтра же дымилось бы на алтаре! Поостерегись же и не давай мне больше лживых советов, иначе ты умрешь гораздо раньше, чем думаешь. Знай, я расспрашивал тебя нарочно, ибо так повелели боги. Я прочел их волю на сердцах сегодняшних жертв и заговорил с тобой, чтобы выведать твои тайные мысли и обратить их против тебя. Ты советуешь мне сразиться с теулями? Так вот, я не буду с ними сражаться. Я встречу их ласковыми словами и подарками, ибо знаю: ты советуешь мне только то, что меня погубит!

Все это Монтесума проговорил негромко, захлебываясь от ярости; он стоял передо мной со скрещенными на груди руками, низко опустив голову, и нервная дрожь сотрясала все его тело. Я испугался не на шутку. Хоть я и был богом, я прекрасно понимал, что достаточно одного кивка земного властелина, чтобы обречь меня на самую мучительную смерть. И тем не менее больше всего в тот момент меня поразила глупость этого человека, во всем остальном столь мудрого и рассудительного. Он не доверял мне и в то же время слепо верил своим идолам, толкавшим его на верную смерть. Но почему? Только сегодня я нашел ответ на этот вопрос.

Сам Монтесума не был виноват. Неотвратимый рок направлял каждый его шаг, и сама судьба говорила его устами. Боги Анауака были ложными богами. Я знаю теперь, что за их уродливыми каменными изваяниями скрывался живой дьявольски жестокий ум жрецов — не зря ведь они говорили, что боги любят кровавые человеческие жертвы. Но проклятие тяготело над ними. И когда император вопрошал своих идолов через жрецов, они давали ему лживые советы, обрекавшие на гибель их самих и всех, кто им поклонялся, ибо так было предопределено.

Пока мы говорили, солнце быстро зашло и все погрузилось во мрак. Только снежные вершины вулканов Попокатепетль и Истаксиуатль все еще были освещены зловещим кроваво-красным заревом.

Никогда еще фигура мертвой женщины, покоящейся в своем вечном гробу на вершине Истаксиуатля, не вырисовывалась с такой четкостью и совершенством, как в ту ночь. Может быть, это была игра воображения, однако я ясно видел гигантское окровавленное женское тело, лежащее на смертном одре.

Но, очевидно, это была не только моя фантазия, потому что когда Монтесума умолк, взгляд его случайно упал на вершину вулкана, и он тоже замер, не в силах отвести от нее глаз.

— Смотри, теуль! — проговорил он, наконец, с горьким смехом,— смотри! Там покоится душа народа Анауака, омытая кровью и готовая к погребению. Ты видишь, как страшна она даже в смерти?

Но едва он произнес эти слова и повернулся, чтобы уйти, как со стороны горы донесся дикий нечеловеческий вопль, преисполненный такой страшной муки, что у меня кровь застыла в жилах. Монтесума в ужасе уцепился за мою руку, и мы оба уставились на Истаксиуатль, откуда неслись эти неземные рыдания. Нам показалось, что окровавленная, залитая жутким багровым светом фигура спящей женщины приподнялась из своего каменного гроба. Она поднималась медленно, словно пробуждаясь от сна, и, наконец, встала во весь свой гигантский рост на вершине горы. Дрожа от страха, смотрели мы на пробудившуюся великаншу, закутанную в белоснежные одеяния, словно запятнанные кровью.

Несколько мгновений призрак стоял неподвижно, глядя вниз на Теночтитлан. Затем он внезапно простер к нему руки, жестом, преисполненным сострадания, и в тот же миг

ночной мрак поглотил его, и скорбные стоны постепенно затихли вдали.

— Скажи, теуль,— прошептал император,— разве это не ужасно, каждый день видеть подобные знамения? Я боюсь. Прислушайся к стенаниям в городе! Там тоже видели этот призрак. Слышишь, как кричит от страха народ? Слышишь, как жрецы бьют в барабаны, чтобы отвратить от нас проклятие? Плачь, плачь, народ мой! Молитесь, жрецы, и умножайте жертвы, ибо день вашей гибели близок! О Теночтитлан, царь всех городов! Я вижу тебя разрушенным и поруганным. Я вижу дворцы твои почерневшими от пожарищ, храмы твои — осквернеными, прекрасные сады — одичавшими. Я вижу твоих благородных жен наложницами чужеземцев; твоих царственных принцев — их слугами. Каналы твои покраснели от крови детей твоих, дамбы твои усыпаны их обугленными костями. Смерть повсюду, бесчестие — хлеб твой, отчаяние — участь твоя. Ты взрастил меня, царь городов, колыбель моих предков. А ныне я говорю тебе — прощай навсегда!

Так горевал Монтесума среди ночной темноты, громко изливая свою скорбь. Но вот из-за гор выглянула полная луна, и ее тусклое сияние просочилось сквозь ветви кедров, увешанные призрачными бородами лишайников. Оно осветило высокую фигуру Монтесумы, его искаженное горем лицо, его тонкие руки, то взлетающие, то падающие в пророческом экстазе, мои блестящие украшения и кучку замерших от страха придворных музыкантов, которые на сей раз позабыли о своих дудках. Налетел слабый порыв ветра, печально прошелестел в ветвях могучих деревьев на склонах и у подножия холма Чапультепека и смолк. Никогда еще я не видел более странной и зловещей сцены, таинственной и полной неосознанного ужаса. Монарх заранее оплакивал падение своего народа и своего могущества! Еще ничего не случилось ни с ним, ни с его подданными, а он уже знал, что они обречены, и слова отчаяния вырывались из его сердца, сокрушенного одной лишь тенью грядущих бед.

Но чудеса этой ночи еще не кончились.

Когда Монтесума прокричал в тоске свои пророческие видения, я осторожно спросил, не позвать ли придворных, которые обычно его окружали, но сейчас держались от нас на некотором расстоянии.

— Нет,— ответил император ацтеков.— Я не хочу, чтобы они прочли страдание и страх на моем лице. Они могут бояться, но я должен казаться неустрашимым. Пройдись

немного со мной, теуль, и если ты задумал убить меня — убей, я не буду об этом жалеть.

На это я ничего не ответил и молча последовал за Монтесумой; он направился вниз по одной из самых темных тропинок, извивающихся между стволами кедров. Если бы я захотел, я мог бы легко его здесь убить, но что в этом пользы? Кроме того, хотя я и знал, что Монтесума мой враг, сердце мое возмущалось при одной мысли об убийстве.

Милю с лишним император прошагал, не произнося ни слова. Мы шли то в тени деревьев, то по открытому месту среди садов, украшенных чудными цветами, пока не очутились перед воротами, за которыми находилась усыпальница царского дома. Как раз напротив ворот была широкая прогалина, залитая ярким лунным светом. Посреди нее лежало что-то белое, похожее издали на тело женщины, но заметил это я один. Ничего не видя вокруг, Монтесума пристально смотрел на ворота. Наконец он заговорил:

— Эти ворота открылись четыре дня назад для моей сестры Папанцин. И вот я думаю — через сколько дней они откроются для меня?

Когда он заговорил, фигура на траве вздрогнула, словно пробуждаясь от сна. Она вздрогнула, как снежная женщина на горе, она также приподнялась, так же встала во весь рост и так же простерла руки. Теперь Монтесума увидел ее и задрожал, и я чувствовал, что меня тоже бьет дрожь.

Женщина — ибо это была женщина — медленно приближалась к нам. Уже можно было разглядеть, что она облачена в смертные одежды. Но вот она подняла голову, и лунный свет упал на ее лицо. Монтесума дико вскрикнул, и я закричал вместе с ним: мы узнали тонкое бледное лицо принцессы Папанцин, той самой Папанцин, что была погребена здесь четыре дня назад.

Ступая легко и неслышно, словно во сне, она шла к нам, пока не остановилась перед кустом, тень от которого нас скрывала. Здесь Папанцин — или дух Папанцин — посмотрела прямо на нас открытыми, но ничего не видящими слепыми глазами и произнесла голосом Папанцин:

— Монтесума, брат мой, ты здесь? Я чувствую, что ты рядом, но не вижу тебя.

Тогда Монтесума вышел из тени и встал лицом к лицу с привидением.

— Кто ты? — проговорил он.— Кто ты, принявшая облик мертвой и носящая одеяние мертвой?

— Я Папанцин,— ответила та.— Я воскресла из мертвых, чтобы принести тебе весть, брат мой Монтесума.

— Какую весть ты несешь мне? — хриплым голосом спросил император.

— Весть о гибели, брат мой. Царство твое падет, скоро ты умрешь, а вместе с тобой — десятки и десятки тысяч твоих подданных. Четыре дня я была среди мертвых, и там я видела твоих ложных богов. Это не боги, а дьяволы! Там же я видела тех, кто им поклоняется, и жрецов, которые им служат. Все они осуждены на муки невыносимые. Народ Анауака обречен, потому что он чтит этих дьявольских идолов.

— Папанцин, сестра моя, неужели у тебя нет для меня ни слова утешения?

— Ни слова,— ответила она.— Если ты отречешься от ложных богов, ты, может быть, спасешь свою душу, но свою жизнь и жизнь своего народа тебе уже не спасти.

После этого Папанцин повернулась и скрылась в тени деревьев; я слышал, как ее смертные одеяния прошелестели по траве.

Безудержная ярость охватила вдруг Монтесуму.

— Будь же ты проклята, сестра моя Папанцин! — закричал он громовым голосом.— Для чего ты воскресла? Неужели только для того, чтобы принести мне эту черную весть? Если бы ты принесла мне надежду, если бы указала путь к спасению — я бы с радостью тебя приветствовал. А теперь — уходи назад во мрак, и пусть вся тяжесть земли придавит твое сердце навечно! А мои боги — им поклонялись мои отцы, и я буду им поклоняться до конца. Пусть даже они отвернутся от меня, я их все равно не оставлю! Боги разгневаны, ибо жертвы оскудевают на алтарях. Отныне я их удвою! Я прикажу положить на алтари всех жрецов, потому что они не могут умилостивить богов.

Монтесума неистовствовал, как слабый человек, обезумевший от ужаса. Знать и придворные, следовавшие за нами в отдалении, столпились теперь вокруг него, испуганные и недоумевающие.

Наконец Монтесума разодрал на себе царское одеяние и, вырывая клочья волос из головы и бороды, в судорогах покатился по земле. Придворные подхватили его и унесли во дворец.

Три дня и три ночи императора никто не видел. Однако то, что он говорил о жертвоприношениях, оказалось не пустыми словами, ибо со следующего утра количество жертв было удвоено по всей стране. Тень креста уже пала на ал-

тари Анауака, но к небесам все еще вздымался дым жертвоприношений, а с вершин теокалли по-прежнему слышались страшные крики пленников. Час дьявольских богов уже пробил, но они все еще собирали свою последнюю кровавую жатву, и жатва их была изобильной.

Я, Томас Вингфилд, видел эти знамения собственными глазами, но чем они были — предупреждением, ниспосланным свыше, или просто случайным явлением природы — сказать не берусь. Всю страну в те дни охватил ужас, и вполне возможно, что мятущийся разум людей принимал за вещие знаки то, на что в другое время никто не обратил бы внимания.

Что же касается воскресения Папанцин, то это истинная правда, хотя скорее всего она вовсе не умирала, а просто была погружена в глубокий обморок. С той ночи она уже не появлялась, и сам я больше ее не встречал. Однако мне говорили, что впоследствии Папанцин приняла христианство и часто рассказывала об удивительных и странных вещах, которые она видела в царстве смерти*.

Глава XVIII

ВЫБОР НЕВЕСТ

о дня моего превращения в бога Тескатлипоку до вступления испанцев в Теночтитлан прошло несколько месяцев, и все это время город был охвачен тревогой. Снова и снова Монтесума слал к Кортесу послов со щедрыми дарами, с золотом и драгоценными каменьями, упрашивая его удалиться. Безумный император не понимал, что, выставляя напоказ свои огромные богатства, он только дразнит стервятника, привлекая его к своему гнезду.

Кортес отделывался от его послов ничего не стоящими вежливыми заверениями и такими же дешевыми безделушками. И это было все.

Но вот испанцы двинулись в глубь страны, и Монтесума с ужасом узнал о разгроме воинственного племени тласкаланцев. Тласкаланцы были его извечными злейшими врагами, но до сих пор они являлись преградой между ацтеками и белыми завоевателями. Затем пришла весть о том, что

---

* Рассказ о воскресении Папанцин приводится в историческом труде Бернардино де Саагуна.— *Прим. авт.*

Бернардино де Саагун — один из первых историографов испанских колоний в Америке, автор многотомной «Общей истории Новой Испании».— *Прим. перев.*

побежденные тласкаланцы превратились в союзников и слуг своих недавних противников, и теперь тысячи свирепых тласкаланских воинов идут вместе с испанцами на священный город Чолулу. Прошло еще немного времени, и повсюду разнесся слух о кровавой бойне в Чолуле, где победители свергли всех святых, или, вернее, святотатственных богов, этого города с их пьедесталов.

Об испанцах рассказывали всяческие чудеса. Шептались об их мужестве и силе, об их неуязвимых доспехах, об их оружии, извергающем гром во время сражений, о свирепых зверях, на которых они скакали. Однажды Монтесуме доставили головы двух белых людей, убитых в одной из схваток,— две устрашающие огромные волосатые головы, а вместе с ними — голову лошади. При виде этих чудовищных останков Монтесума едва не потерял сознание от страха, но все же приказал выставить их в большом храме напоказ и объявить народу, что подобная судьба ожидает каждого, кто посмеет вторгнуться в Анауак.

Тем временем в делах империи царили разброд и смятение. Каждый день собирались советы знати, верховных жрецов и вождей соседних дружественных племен. Одни говорили одно, другие — другое, а в конечном счете оставалась лишь неуверенность и преступная нерешительность. Если бы Монтесума прислушался в те дни к голосу великого воина Куаутемока, Анауак не был бы сейчас испанским владением, ибо Куаутемок снова и снова убеждал Монтесуму отбросить все его страхи и, пока еще не поздно, объявить теулям открытую войну. Довольно послов и подарков! Надо собрать все бесчисленное войско ацтеков и раздавить врага в горных проходах!

Но — увы! — на все его уговоры Монтесума неизменно отвечал:

— Ни к чему все это, племянник. Можно ли бороться против этих людей, если сами боги за них? Если боги захотят, они вступятся за нас, а если нет — горе нам! О себе я не думаю, но что будет с моим народом? Что будет с женщинами и детьми, что будет с больными и стариками? Горе нам, горе!

После этого он закрывал лицо и принимался стонать и плакать, как малый ребенок. Куаутемок покидал его, не находя слов от ярости при виде подобной глупости великого императора. Но что он мог сделать? Так же, как и я, Куаутемок полагал, что само небо лишило Монтесуму разума, чтобы покарать и уничтожить Анауак.

Здесь следует сказать, что, хотя мое положение бога и

позволяло мне все знать и все видеть, я, Томас Вингфилд, оставался вместе с тем только жалкой игрушкой, увлекаемой волной великих событий, которые в течение двух последующих поколений стерли державу ацтеков с лица земли. Правда, я был игрушкой, вознесенной на вершину этой волны, но власти у меня было ровно столько же, сколько у клочка пены на гребне морского вала. Монтесума принимал меня за шпиона и не верил ни одному моему слову; жрецы смотрели на меня как на бога и как на будущую жертву; только мой друг Куаутемок да еще Отоми, тайно любившая меня, все-таки доверяли мне, и с ними я часто беседовал обо всем, объясняя им истинный смысл того, что происходило на наших глазах. Но оба они тоже были бессильны.

Утратив разум, Монтесума все еще сохранял всю полноту власти и дрожащей рукой направлял корабль империи то туда, то сюда; казалось, что это гигантское судно покинуто всеми матросами и несется по воле стихий прямо навстречу своей гибели.

Ужас перед грядущим охватил поголовно всех. Но несмотря на это, а может быть, именно поэтому люди безудержно предавались наслаждениям, отрываясь от них только для свершения религиозных обрядов. В те дни никто не пропускал ни одного празднества, и ни один алтарь не оставался пустым. Подобно реке, убыстряющей бег свой по мере приближения к пропасти, в которую ей предстоит низвергнуться, народ Анауака, словно предвидя скорую гибель, пробудился ото сна и зажил напряженной лихорадочной жизнью. С утра до вечера с алтарей на вершинах теокалли слышались вопли жертв, и с вечера до утра улицы оглашала нестройная дикая музыка. «Заморские боги идут на нас,— говорили люди.— Давайте же пировать и пить, потому что завтра мы умрем!» И вот самые добродетельные женщины пускались в безудержное распутство, самые благородные мужи, дорожившие честью своего имени, становились подлецами, и даже дети в те дни шатались пьяные по улицам города, хотя это для ацтеков — неслыханное преступление!

Монтесума покинул Чапультепек и вместе со всем своим двором перебрался во дворец на обширной площади напротив большого теокалли. Этот дворец был настоящим городом внутри города. Под его кровлями по ночам собиралось более тысячи человек, не говоря уже о всевозможных карликах и уродцах, о сотнях редкостных птиц в птичнике и множестве диких зверей в клетках. Здесь, в этом дворце, я пировал каждый день с кем хотел, а когда мне надоедали

пиршества, облачался в сверкающие одеяния и в сопровождении толпы юных слуг и знатных мужей выходил на улицы, наигрывая на ацтекской лютне (до какой-то степени я овладел этим ненавистным инструментом). Народ с криками выбегал из домов и склонялся передо мной, дети осыпали меня цветами, девушки плясали вокруг, целуя мне руки и ноги, и вскоре за мной уже двигалась тысячная толпа. И я тоже плясал и вопил, как юродивый, потому что в те дни среди всеобщего фанатизма меня охватило какое-то странное безумие. Я старался заглушить страх, я хотел забыть о том, что обречен на жертвоприношение и что каждый день приближает к моему сердцу окровавленный жреческий нож.

Я хотел забыть, но — увы! — это было не в моей власти. Сколько бы я ни пил, пары мескаля и пульке* мгновенно улетучивались из моей головы; ароматы цветов, красота женщин и преклонение народа больше не волновали меня; неотступно, неотвязно думал я о своей обреченности, с тоской вспоминая родной дом и далекую любимую. В те дни мне казалось, что сердце мое не выдержит, и если бы не доброта Отоми, я бы, наверное, наложил на себя руки. Но прекрасная и величественная дочь Монтесумы всегда была рядом со мной. Она находила тысячи способов отвлечь меня и успокоить, а время от времени с ее уст срывались неясные слова надежды, от которых кровь начинала быстрее пульсировать в моих жилах.

Я хочу напомнить, что, когда я впервые встретил Отоми при дворе Монтесумы, она показалась мне очень красивой и привлекательной. Но сейчас, хотя я по-прежнему находил ее такой же прекрасной, в моем окаменевшем от ужаса сердце не было места для нежных чувств ни к Отоми, ни к какой-либо другой женщине. Когда я не был опьянен хмелем или поклонением толпы, все мои помыслы устремлялись к небесам: я старался примирить с ними свою душу, что, по правде говоря, было нелегко.

Я часто беседовал с Отоми, рассказывая ей о нашей вере и прочих вещах, как когда-то рассказывал Марине, которая теперь была, по слухам, любовницей и переводчицей Кортеса, предводителя испанцев. Отоми сосредоточенно слушала, не сводя с меня своих нежных глаз, но не больше, ибо скромность этой прекраснейшей из женщин можно было сравнить только с ее мужеством и красотой.

---

* Пульке — похожий на брагу хмельной напиток из перебродившего сока агавы. Мескаль — ацтекская водка.— *Прим. перев.*

Так продолжалось до тех пор, пока испанцы не выступили из Чолулы на Теночтитлан.

Как-то утром я сидел в саду с лютней в руках. Знатные мужи из моей свиты и мои наставники о чем-то оживленно разговаривали, держась на почтительном расстоянии. Со своего места мне был виден двор, где ежедневно собирался императорский совет, и я заметил, что, когда вожди удалились, по двору начали сновать жрецы, а затем показалась группа красивых девушек в сопровождении нескольких женщин средних лет.

Появился принц Куаутемок и подошел ко мне. В последнее время он не часто улыбался, но сегодня Куаутемок с улыбкой спросил, знаю ли я, что там происходит. Я ответил, что не знаю, да и знать не хочу, должно быть, Монтесума собирает новые «подношения», чтобы отправить их своим испанским хозяевам.

— Думай, о чем говоришь, теуль! — запальчиво проговорил Куаутемок.— Даже если бы ты сказал правду, я бы заставил тебя проглотить свои слова и не поглядел бы, что в тебе дух Тескатлипоки! Только моя любовь спасает тебя.

Затем, немного успокоившись, он продолжал:

— Увы, безумие моего дяди привело к тому, что такие речи стали возможны. Ах, если бы я был императором Анауака! Не прошло бы и недели, как головы всех этих теулей из Чолулу уже украшали бы карнизы вон того храма!

— Думай, о чем говоришь, принц,— насмешливо ответил я.— Если кое-кто услышит твои слова, тебе придется их проглотить самому. Но когда-нибудь ты сделаешься императором, и тогда мы посмотрим, как ты справишься с теулями. Во всяком случае, другие посмотрят, потому что я-то уже этого не увижу. Но что там происходит? Может быть, Монтесума выбирает себе новых жен?

— Да, он выбирает жен, но только не для себя. Знай, теуль, тебе осталось недолго жить. Поэтому Монтесума вместе со жрецами уже выбирает тех, кто станут твоими женами.

— Моими женами? — крикнул я, вскакивая на ноги.— Женами того, кто обручен со смертью? Что мне теперь в любви и в женитьбе! Пройдет неделя, другая — и моим брачным ложем станет алтарь. Ах, Куаутемок, ты говоришь, что любишь меня. Я спас тебе жизнь. Если ты меня любишь, спаси меня теперь. Ведь ты поклялся это сделать.

— Я поклялся сделать все, что в моей власти, и готов

отдать за тебя жизнь, теуль. Я готов сдержать свое слово, ибо не все ценят жизнь так высоко, как ты, мой друг. Но помочь тебе я все равно не смогу. Ты посвящен богам, и умри я хоть тысячу раз, это не изменит твоей судьбы. Только небо может спасти тебя, если захочет. Поэтому утешься, теуль, и когда придет час — умри мужественно. Твоя участь ничем не хуже моей и многих других, ибо смерть ожидает нас всех. А теперь — прощай!

Когда принц удалился, я покинул сады и ушел в свои покои, где обычно принимал тех, кто приходил на поклонение к богу Тескатлипоке, как меня называли. Здесь я сел на свое золотое ложе и окутался табачным дымом. По счастью, я был один. Без моего позволения сюда никто не осмеливался входить.

Но вот главный из моих слуг объявил, что кто-то желает со мной поговорить. Я был измучен своими мыслями и, чтобы хоть как-нибудь отвлечься, склонил голову в знак согласия. Слуга вышел, и передо мной очутилась закутанная женщина. С удивлением посмотрев на нее, я приказал ей открыть лицо и говорить. Женщина повиновалась, и я увидел принцессу Отоми.

Ничего не понимая, я встал ей навстречу. Обычно принцесса никогда не приходила ко мне одна, но я подумал, что у нее ко мне дело, а может быть, она выполняет какой-нибудь неизвестный мне обряд.

— Прошу тебя, сядь,— смущенно проговорила Отоми.— Тебе не подобает стоять передо мной.

— Отчего же? — спросил я.— Если бы я даже не уважал тебя, как принцессу, я все равно воздал бы должное твоей красоте.

— Довольно слов! — прервала меня Отоми жестом гибкой руки.— Я пришла сюда, о Тескатлипока, по древнему обычаю, ибо я несу тебе весть. Те, кто станут твоими женами, избраны. Я должна назвать тебе их имена.

— Говори, принцесса Отоми!

— Это... — и здесь она назвала имена трех девушек. Я знал, что они были первыми красавицами в стране.

— Мне показалось, что их должно быть четыре,— проговорил я с горькой усмешкой.— Или у меня отняли четвертую жену?

— Их четыре,— ответила Отоми и снова умолкла.

— Говори же! — вскричал я.— Скажи мне, какую еще несчастную девку выбрали в жены мошеннику, обреченному на жертвоприношение?

— Тебе выбрали одну девушку высокого рода, носившую

иные титулы, чем те, которыми ты ее награждаешь, о Тескатлипока.

Я вопросительно взглянул на нее, и Отоми тихо проговорила:

— Четвертая и первая среди всех — это я, Отоми, принцесса племен отоми, дочь Монтесумы.

— Ты! — воскликнул я, падая на подушки ложа.— Неужели ты?

— Да, я. Слушай! Я была избрана жрецами, как самая красивая девушка Анауака, хоть я и недостойна такой чести. Мой отец, император, пришел в ярость и сказал, что ни за что на свете его дочь не станет женой пленника, который должен умереть на жертвенном алтаре. Но жрецы ответили ему, что в такое время, когда боги разгневаны, он не должен требовать исключений для своей дочери. «Разве знатнейшая женщина страны не достойная жена для бога?» — спросили они. И тогда мой отец согласился и сказал, что пусть будет так, как я пожелаю. И я сказала вслед за жрецами, что в нашей юдоли скорби самая гордая должна унизиться до праха под ногами и стать женой пленного раба, названного богом и обреченного на жертвоприношение. Так я, принцесса Отоми, согласилась стать твоею женой, о Тескатлипока! Но если бы я знала тогда то, что читаю сейчас в твоих глазах, я бы, наверное, не согласилась. В своем унижении я надеялась обрести любовь хотя бы на краткий миг, чтобы затем умереть рядом с тобой на алтаре, ибо обычай моего народа, если я захочу, дает мне на это право. Однако теперь я вижу — ты мне не рад. Отступать уже поздно, но ты можешь не бояться. У тебя будут другие, а я тебя не потревожу. Я сказала все, что должна была сказать. Могу я теперь удалиться? Торжественное бракосочетание назначено через двенадцать дней, о Тескатлипока!

Поднявшись с ложа, я взял Отоми за руку и проговорил:

— Благодарю тебя, благородная душа! Если бы не ты с Куаутемоком, если бы не ваши заботы и доброта, которыми вы меня окружили, я бы, наверное, давно уже погиб. Но ты хочешь утешать меня до последнего мгновения, ты даже решила умереть вместе со мной, если только я правильно тебя понял. Но почему, скажи мне, Отоми? В нашей стране женщина должна полюбить мужчину небывалой любовью, чтобы решиться разделить с ним ложе, ожидающее меня вон на той пирамиде. Я не могу поверить, чтобы ты, достойная любого властелина, отдала свое сердце жалкому рабу! Как истолковать мне твои слова, принцесса Отоми?

— Ищи ответ в своем сердце,— прошептала она, и рука ее дрогнула в моей руке.

Я посмотрел на Отоми: она была прекрасна! Я подумал о ее преданности, о ее самоотверженности, не отступившей перед самой ужасной из смертей, и дуновение нежности, сестры любви, коснулось моей души. Но даже в этот миг передо мной встал английский сад, образ девушки-англичанки, с которой я простился под дитчингемским буком, и я вспомнил клятвы, которыми мы тогда обменялись. Я знал, что она жива и верна мне. И я подумал, что пока я жив, я должен хранить ей верность, хотя бы в душе. Мне придется жениться на этих индианках, и я женюсь на них, но если я хоть однажды скажу Отоми, что люблю ее, я нарушу клятву. А Отоми нужна любовь, и на меньшее она не согласится. И как я ни был взволнован, как ни велико было искушение, я не сказал ей слов, которых она ждала.

— Присядь, Отоми,— проговорил я.— Присядь и выслушай меня. Ты видишь этот золотой перстень?

Я снял с пальца Лилино колечко и показал ей:

— Видишь надпись внутри кольца?

Отоми кивнула головой, но не произнесла ни слова. В глазах ее я увидел страх.

— Я прочту тебе эту надпись, Отоми,— сказал я и перевел на ацтекский язык трогательное двустишие:

Пускай мы врозь,
Зато душою вместе.

Только тогда Отоми заговорила.

— Что означает эта надпись? — спросила она.— Ведь я понимаю только наши письмена-рисунки, теуль.

— Она означает, Отоми, что в далекой стране, откуда я пришел, живет одна женщина. Она любит меня, и я люблю ее.

— Значит она твоя жена?

— Нет, Отоми, она мне не жена, но она обещана мне в жены.

— Она обещана тебе в жены,— горестно повторила Отоми.— Значит так же, как и я. В этом мы с ней равны, теуль. Разница только в том, что ее ты любишь, а меня — нет. Ты это хотел мне сказать? В таком случае не трать больше слов — я все поняла. Но если я потеряла тебя, то и она потеряет. Между тобой и твоей любимой катит волны великое море с бездонными глубинами, между вами

встал жертвенный алтарь и всепожирающая смерть. А теперь, позволь мне уйти, теуль. Я должна стать твоей женой, это уже неизбежно, но я не буду тебе слишком докучать, и скоро все это кончится. Ты отправишься в Звездный Дом, и я буду молиться, чтобы ты нашел там, что ищешь. Все эти месяцы я старалась вдохнуть в тебя надежду, найти выход, и мне уже казалось, что я его нашла. Но я ошиблась, и теперь все кончено. Если бы ты от души сказал, что любишь меня, было бы много лучше для нас обоих; если ты скажешь это перед самым концом, нам еще может быть хорошо, однако об этом я тебя не прошу. Не надо лжи! Я ухожу, теуль, но хочу сказать тебе перед уходом: сейчас я уважаю тебя больше, чем раньше, за то, что ты осмелился мне, дочери Монтесумы, высказать всю правду, когда солгать было так легко и куда безопаснее. Эта женщина за морями должна быть тебе благодарна. Я не желаю ей ничего худого, но между мной и ею отныне вражда не на жизнь, а на смерть. Мы с ней чужие и останемся чужими, но она касалась твоей руки так же, как я прикасаюсь к ней сейчас; ты соединил нас, и ты сделал нас врагами. Прощай, мой будущий муж! Мы больше не встретимся до того дня, когда «несчастная девка» будет отдана в жены «мошеннику». Ты сам так сказал, теуль!

С этими словами Отоми встала, закуталась с головой в свои одеяния и медленно вышла из комнаты, оставив меня в крайнем смущении. Только глупец мог отвергнуть любовь этой царицы женщин, и теперь, когда я так поступил, меня терзало раскаяние. Я спрашивал себя: смогла бы Лили снизойти с высоты подобного величия, сбросить пурпур императорской мантии и лечь рядом со мной на окровавленный жертвенный камень? Наверное, нет, потому что подобной дикой самоотверженности не встретишь среди женщин нашего мира. Лишь дочери Солнца любят с такой огромной полнотой и ненавидят так же страстно, как любят. Им не нужны жрецы, чтобы освятить любовные узы, но если эти узы станут им ненавистны, их не удержат никакие мысли о долге. Желание, чувство — для них единственный закон, и они повинуются ему слепо. Ради удовлетворения своей страсти они готовы пойти на все, вплоть до смерти, вплоть до полного самозабвения.

Глава XIX

ЧЕТЫРЕ БОГИНИ

Прошло еще немного времени, и вот наступил день, когда Кортес со своими завоевателями вступил в Теночтитлан. Не стану описывать всего, что творили испанцы в городе, ибо это дело историка, а я расскажу лишь свою собственную историю. Поэтому я буду говорить лишь о том, что касается меня лично.

Мне не довелось видеть самой встречи Кортеса с Монтесумой. Я видел только, как император облачился в самые великолепные одеяния и отбыл в сопровождении знатнейших мужей, подобный Соломону в сиянии своей славы. Но думаю, что ни один раб не шел к жертвенному алтарю с таким тяжелым сердцем, какое было у Монтесумы в тот злосчастный день. Безумие погубило его, и, наверное, он сам понимал, что идет навстречу своей судьбе.

Позднее, уже под вечер, я снова увидел императора: в золотом паланкине он направлялся во дворец, выстроенный его отцом, Ахаякатлем, и расположенный шагах в пятистах от собственного дворца Монтесумы, как раз напротив, по западную сторону от большого храма. Вслед за этим послышались крики толпы, ржание лошадей, голоса вооруженных солдат, и я увидел из своих покоев испанцев, двигавшихся по главной улице. Сердце мое радостно забилось: ведь это были христиане!

Впереди на коне ехал, закованный в богатые доспехи, предводитель испанцев, Кортес, человек среднего роста, с благородной осанкой и задумчивыми, но все подмечающими глазами. За ним, некоторые верхом, но большей частью в пешем строю, двигались солдаты его маленькой армии. Завоеватели с изумлением озирались вокруг, переговаривались по-испански. Их была всего горсточка, бронзовых от солнца, израненных в битвах и одетых почти в лохмотья. Глядя на этих зачастую даже плохо вооруженных людей, я мог только восхищаться их непреклонным мужеством, которое проложило дорогу сквозь тысячные толпы врагов и, несмотря на болезни и беспрестанные схватки, позволило им добраться до самого сердца империи Монтесумы.

Рядом с Кортесом, держась рукой за его стремя, шла красивая индианка в белом платье и венке из цветов. Проходя мимо дворца, она повернула голову — и я тотчас ее узнал: то была моя старая знакомая, Марина. Она принесла своей стране неисчислимые беды, но, несмотря на это, по-

видимому, была счастлива, согретая славой и любовью своего повелителя.

Пока испанцы проходили мимо, я пристально вглядывался в их лица со смутной и злой надеждой. Конечно, смерть могла разделить нас навсегда, но все же я был почти уверен, что увижу среди конкистадоров* своего врага. Неясный инстинкт говорил мне, что он жив, и я знал: при первой же возможности де Гарсиа присоединится к этому походу — запах крови, золота и грабежа должен был привлечь его жестокое сердце. Однако среди тех, кто входил в этот день в Теночтитлан, я не увидел его ни живым, ни мертвым.

Ночью я встретился с Куаутемоком и спросил, как идут дела.

— Хорошо для коршуна, который забрался в гнездо голубки,— с горькой усмешкой ответил принц,— но для голубки совсем скверно. Сейчас мой дядюшка Монтесума воркует там,— принц указал на дворец Ахаякатля,— и предводитель испанцев воркует вместе с ним. Но я слышал клекот ястреба в его голубином воркovании. Скоро мы увидим в Теночтитлане страшные дела!

И он был прав. Через неделю испанцы предательски захватили Монтесуму и сделали своим пленником. Они держали императора в предоставленном им дворце Ахаякатля, и солдаты стерегли его день и ночь.

Дальнейшие события следовали одно за другим. Вожди прибрежных племен взбунтовались и убили нескольких испанцев. По наущению Кортеса Монтесума вызвал их в Теночтитлан, а когда они явились, испанцы сожгли непокорных живьем на дворцовой площади. Но это было еще не все. Самого Монтесуму, закованного в цепи, заставили присутствовать при казни. Император ацтеков пал так низко, что на него надели кандалы, словно на обыкновенного вора. Тотчас после этого унижения Монтесума поклялся в верности королю Испании, а вскоре обманом завлек и передал в руки испанцам Кокамацина, правителя Тескоко, задумавшего напасть на захватчиков. Затем Монтесума вручил испанцам все накопленное им золото и все императорские сокровища стоимостью в сотни и сотни тысяч английских фунтов. И народ все это терпел, потому что люди были поражены и по привычке продолжали повиноваться приказам своего пленного императора.

---

* Конкистадоры — буквально «завоеватели» — исторический термин. Так называют испанских наемников и авантюристов, поработивших в XV — XVI веках народы Центральной и Южной Америки.— *Прим. перев.*

Но когда Монтесума позволил испанцам устроить богослужение в одном из святилищ большого храма, поднялся ропот возмущения, и тысячи ацтеков охватила безмолвная ярость. Она носилась в воздухе, ее можно было услышать в каждом слове, и голос ее был подобен отдаленному рокоту бушующего океана. Тучи сгустились. Буря могла разразиться с минуты на минуту.

Несмотря на все это, жизнь моя протекала по-прежнему, за исключением того, что теперь мне не позволяли выходить из дворца, опасаясь, как бы я не связался каким-нибудь способом с испанцами, хотя те даже не подозревали, что ацтеки захватили и обрекли на жертвоприношение белого человека. Кроме того, я в эти дни почти не встречался с принцессой Отоми. После нашего странного объяснения в любви первая из назначенных мне невест избегала меня, и когда мы все же оказывались вместе за трапезой или в саду, она говорила только о самых общих предметах или о государственных делах. Так продолжалось до нашего бракосочетания. Я помню, что оно произошло за день до страшной гибели шестисот знатнейших ацтеков, собравшихся по случаю празднества в честь Уицилопочтли.

В день моей свадьбы мне воздавали величайшие почести, как настоящему богу. Самые высокопоставленные люди города приходили на поклонение и окуривали меня ароматами, так что под конец я почувствовал тошноту от всех этих фимиамов.

Несмотря на то, что страна была охвачена горем, жрецы по-прежнему неукоснительно выполняли все обряды, и жестокость их нисколько не уменьшилась. На меня возлагали большие надежды.

Люди верили, что, принеся меня в жертву, они отвратят от себя гнев богов, потому что я в их глазах был одним из теулей.

На закате в мою честь было устроено роскошное пиршество, продолжавшееся более двух часов. По окончании его все присутствующие поднялись и хором начали меня славить:

— Слава тебе, о Тескатлипока! Да будешь ты счастлив здесь, на земле, и да будешь ты счастлив там, в Доме Солнца! Когда ты придешь туда, вспомни о нас! Вспомни, что мы почитали тебя, вспомни, что мы отдавали тебе все наилучшее, и прости нам наши грехи. Слава тебе, о Тескатлипока!

Затем вперед выступили двое знатных старейшин и, засветив факелы, провели меня в великолепную залу, где я

до этого ни разу не бывал. Здесь они переодели меня в еще более роскошный наряд из тончайшей хлопковой ткани с вышивками из сверкающих перьев колибри. На голову мне возложили венец из цветов, а на шею и на запястья — изумрудное ожерелье и браслеты с каменьями невиданной величины и ценности. В этом наряде, который больше подошел бы какой-нибудь красотке, я чувствовал себя самым разнесчастным щеголем...

Когда мое облачение было завершено, все факелы внезапно погасли и на мгновение воцарилась тишина. Затем издалека донеслись приближающиеся женские голоса: девушки пели свадебную песню, по-своему очень красивую, однако я затрудняюсь ее описать.

Песня кончилась. В темноте слышалось теперь только шуршание одежд и тихий шепот. Но вот из мрака прозвучал мужской голос:

— Вы здесь, избранницы неба?

— Мы здесь,— откликнулся женский голос. Мне показалось, что это была Отоми.

— О девы Анауака! — снова заговорил из темноты незримый человек.— О Тескатлипока, бог среди богов! Внимайте мне! Вам, девы, оказана великая честь. Небо вас наделило знатностью, добродетелями и красотой четырех великих богинь, и небо избрало вас в спутницы великому богу, вашему создателю и властелину, соизволившему посетить нас на короткий срок, после которого он возвратится в свой дом, в Обиталище Солнца. Будьте же достойны этой чести! Угождайте ему и ублажайте его, чтобы он снизошел к вашим ласкам, и когда настанет час возвращения на небеса, унес с собой добрую память и самые лучшие мысли о вашем народе. В этой жизни вам недолго придется быть рядом с ним, ибо дух его, подобно птице в клетке, уже расправляет крылья и скоро вырвется из темницы плоти, чтобы нас покинуть. Близок день, когда он вновь обретет свободу! Если вы захотите, одной из вас будет дозволено последовать за ним в его светлый дом и вознестись вместе с ним в Обиталище Солнца. Но я говорю вам всем, последуете вы за ним или останетесь здесь, чтобы оплакивать его до конца своих дней,— любите его и ублажайте его, будьте с ним нежны и приветливы, иначе вас ожидает кара и в этой жизни и в той, иначе гнев небес будет преследовать вас и весь наш народ. А тебя, о Тескатлипока, мы просим принять этих девушек, наделенных именами и достоинствами своих небесных богинь-покровительниц, ибо они знатнее и прекраснее всех дев Анауака, а одна из них — дочь нашего

императора. Конечно, все они не совершенны, ибо истинное совершенство возможно только в твоем небесном царстве. Здесь нет совершенных женщин, и они лишь тени, лишь воплощения высоких богинь, твоих настоящих жен. Увы, мы отдаем тебе самое лучшее, и у нас нет иного. Но мы надеемся, что, когда ты покинешь нас, ты не будешь думать плохо о женщинах этой страны и благословишь их с высоты, ибо у тебя останутся приятные воспоминания о тех, которые на земле были названы твоими женами.

Голос умолк, затем зазвучал снова:

— Женщины, именами всех богов и вашими божественными именами — Хочи, Хило, Атла, Клихто* — соединяю вас с нашим создателем Тескатлипокой на все время его пребывания на земле! Бог воплощенный, создавший вас, берет вас в жены! Да будет завершен обряд, и да будет счастлив ваш брак. Но знайте — радость ваша не вечна. Взгляните сейчас на то, что грядет впереди!

Едва отзвучали эти слова, в дальнем конце зала вспыхнуло множество факелов, озарив ужасающую сцену. Там, на жертвенном камне, лежал человек. Я до сих пор не знаю, что это было — живой человек или восковая фигура,— но либо он был раскрашен, либо слеплен из воска, потому что кожа у него была светлая, как у меня. Пять жрецов держали его за руки, за ноги и за голову, а шестой стоял над ним, сжимая двумя руками обсидиановый нож. Жрец взмахнул ножом, и когда нож, сверкая, начал опускаться, все факелы вдруг погасли. Послышался глухой удар, протяжный стон прозвучал из темноты, и все стихло.

Но вот невесты снова затянули свадебную песню, однако после того, что я видел и слышал мгновения назад, даже этот странный, дикий и нежный напев уже не мог меня взволновать.

Они пели в темноте все громче и громче, пока в дальнем углу не загорелся один факел, потом второй, еще и еще, но я так и не заметил, кто их зажигал. Наконец, весь зал был залит ярким светом. Алтарь, жертва, жрецы — все исчезло. Мы остались одни — я и четыре моих жены.

Это были высокие красивые женщины, облаченные в белые одежды невест, украшенные цветами и драгоценными

---

* Хочи — вероятно, Хочикецаль, или Шоцикецаль,— «перо цветка», богиня цветов; Хило — Хилонен, или Шилонен,— «мать молодой кукурузы»; Атла — по-видимому, Тласолтеотль — «богиня грязи», мать земли. Значение последнего имени — Клихто — выяснить не удалось, потому что транскрипция автора, к тому же сокращенная, крайне неточна.— *Прим. перев.*

каменьями. На лбу у каждой был начертан символ одной из четырех богинь, и воистину Отоми, самая статная и прекрасная из всех, казалась настоящей богиней. Одна за другой они подходили ко мне, с улыбкой преклоняли колени и говорили, целуя мне руки:

— Я избрана, чтобы стать на время твоей женой, о Тескатлипока. Я счастливейшая из жен. Пусть сделают добрые боги так, чтобы я понравилась тебе и ты полюбил меня так же сильно, как я почитаю тебя!

Проговорив эти слова, девушка отходила в сторону, чтобы не слышать того, что будет говорить другая.

Последней приблизилась ко мне Отоми. Она преклонила колени, произнесла священную формулу, а затем негромко добавила:

— Я говорила с тобой, как невеста и богиня должна говорить со своим мужем и богом Тескатлипокой. А теперь, теуль, я говорю с тобой, как женщина с мужчиной. Ты не любишь меня, и если дозволишь, мы не будем мужем и женой, ибо нас соединили по чужой воле. Этим ты меня избавишь от унижения. А о них не беспокойся,— она кивнула в сторону остальных трех невест,— это мои подруги, и они меня не выдадут.

— Как хочешь, Отоми,— коротко ответил я.

— Благодарю тебя за доброту, теуль,— с печальной улыбкой прошептала Отоми, еще раз склонилась передо мной и отошла — такая величественная и прекрасная, что сердце мое снова сжалось, как от любви. С той ночи и до страшного часа жертвоприношения мы не обменялись с принцессой Отоми ни одним поцелуем, ни одним нежным словом.

Тем не менее наша привязанность и дружба росли с каждым днем. Мы часто беседовали, и я делал все возможное, чтобы склонить сердце Отоми к истинной вере. Но это оказалось нелегким делом. Подобно своему отцу Монтесуме, принцесса Отоми почитала богов своего народа, хотя и ненавидела жрецов. Человеческие жертвоприношения, если только жертвами не были враги, вызывали ее возмущение. Она говорила, что все это придумано жрецами и что раньше на алтари богов возлагали не людей, а цветы.

Так продолжалось изо дня в день. Чувство мое постепенно и незаметно становилось все глубже, так что под конец сам не знаю как, я полюбил Отоми больше всех на свете — после Лили.

Что касается остальных трех женщин, то, несмотря на всю их доброту и привлекательность, они вскоре стали мне

ненавистны. Но я по-прежнему продолжал с ними пировать и бражничать ночи напролет, ибо, если бы стало известно, что они не смогли мне угодить, их ожидала бы постыдная смерть. А кроме того, я старался утопить свой страх в вине и наслаждениях, ибо дни мои были сочтены и ужасный конец приближался неотвратимо.

На следующий день после моей женитьбы произошло позорное убийство шестисот знатных ацтеков, совершенное по приказу идальго Альварадо, который командовал испанцами в отсутствие Кортеса. Сам Кортес в это время находился на побережье и сражался с Нарваэсом, которого послал против Кортеса его старый враг, губернатор Кубы Веласкес.

В тот день должно было состояться празднество в честь бога Уицилопочтли с жертвоприношениями, песнями и танцами на большом дворе храма, окруженном стеной с высеченными на ней извивающимися змеями. По счастливой случайности принц Куаутемок, прежде чем отправиться в храм, решил в то утро сначала навестить меня.

Взглянув на его пышное одеяние, я спросил, не собирается ли он принять участие в празднестве.

— Да,— ответил принц.— А почему ты об этом спрашиваешь?

— Потому что на твоем месте я бы туда не пошел. Скажи, Куаутемок, у танцующих будет оружие?

— Нет, это против обычая.

— Значит, они будут безоружны, Куаутемок, эти благородные юноши, цвет страны. Они будут плясать безоружные внутри замкнутой ограды, а вооруженные теули будут на них смотреть. Скажи мне теперь, принц, что станет со всеми этими знатными танцорами, если теули затеют с ними ссору?

— Не знаю, почему ты так говоришь? Я уверен, что белые люди не способны на трусливое подлое убийство, однако я послушаюсь твоего совета. Празднество все равно начнется,— видишь, все уже собрались, но я на него не пойду.

— Ты мудр, Куаутемок,— проговорил я.— Ты всегда был мудр, я это знал!

Немного погодя Отоми, Куаутемок и я вышли в сад и поднялись на вершину небольшой пирамиды, миниатюрного теокалли, выстроенного Монтесумой, чтобы наблюдать сверху за торговой площадью и храмовыми дворами. Отсюда хорошо были видны знатные ацтеки, танцующие под музыку и пение. В ярких лучах солнца их накидки из

перьев сверкали и переливались, как драгоценные камни. Какое это было радостное зрелище! И разве могли они предположить, чем все это кончится?

Среди танцоров кучками стояли испанцы в латах, вооруженные мечами и аркебузами. Вскоре я заметил, что постепенно они выбрались из толпы индейцев и, как пчелы в рои, начали собираться у входов и в других местах под прикрытием Змеиной Стены.

— Что бы это значило? — спросил я Куаутемока, и в то же мгновение увидел, как один из испанцев взмахнул над головой куском белой ткани.

Не успела белая тряпка опуститься, как весь двор храма заволокло дымом, и вслед за этим до нас донесся звук залпа из аркебуз. Мертвые и раненые усеяли весь двор, но основная масса безоружных танцоров продолжала стоять посредине, сбившись в кучу, словно стадо испуганных овец, и онемев от ужаса. Тогда испанцы обнажили мечи и, выкрикивая имена своих святых покровителей, как они это всегда делают, когда намереваются совершить какое-нибудь злодеяние, бросились на беззащитных ацтеков и начали их убивать. Одни были зарублены на месте, другие с криками пытались спастись бегством, но уйти не удалось никому, потому что выходы охранялись, а стены были слишком высоки, чтобы через них перебраться. Испанцы — да покарает их всевидящий бог! — перебили всех до единого. Они управились быстро! Не прошло и десяти минут после того, как белая тряпка взвилась в воздух, как шестьсот ацтеков, мертвых или умирающих, уже лежало на каменных плитах двора, а испанцы с победными криками срывали с поверженных драгоценные украшения.

Я повернулся к принцу.

— Похоже, ты хорошо сделал, что не отправился на это веселое празднество, друг мой Куаутемок,— проговорил я.

Куаутемок не ответил. Он стоял молча и, не отрываясь, смотрел на убитых и на убийц. Только Отоми сказала с горькой улыбкой:

— Вы, христиане, добрые люди! Так-то вы отблагодарили нас за гостеприимство? Я думаю, что мой отец Монтесума теперь может быть вполне доволен своими гостями. Ах, будь я на его месте — все эти люди уже лежали бы на жертвенных алтарях! Ты говорил мне, что наши боги — дьяволы. Кто же тогда эти убийцы, почитающие твоего бога?

Но тут наконец Куаутемок заговорил:

— Нам остается только одно — месть! Монтесума превратился в женщину. Для меня он умер. И если понадобит-

ся, я убью его сам, собственными руками! Но в Анауаке еще осталось двое мужчин — мой дядя Куитлауак и я. Хватит! Иду собирать войска!

И Куаутемок ушел.

Всю ночь город гудел, как осиное гнездо, а наутро торговую площадь и все улицы, насколько хватало глаз, заполнили десятки тысяч вооруженных воинов. Волна за волной устремлялись они на дворец Ахаякатля и, подобно волнам, разбивающимся об утес, откатывались назад под огнем испанцев. Ацтеки трижды ходили на приступ и трижды отступали. Перед четвертым штурмом на стене появился Монтесума, этот трусливый женоподобный монарх. Он умолял народ разойтись, потому что иначе ему самому грозила гибель, и благоговение ацтеков перед священной императорской властью все еще было так велико, что они прекратили штурм.

Однако расходиться никто не думал. Раз Монтесума запретил убивать испанцев, решено было уморить их голодом, и с этого часа началась глухая блокада дворца.

В первом сражении погибли сотни ацтекских воинов, но осажденные понесли более ощутимые потери. Ацтеки захватили в плен нескольких испанцев и множество их союзников тласкаланцев. Несчастных пленников тут же втащили на большой теокалли и принесли в жертву перед храмами на глазах их товарищей.

Спустя несколько дней в Теночтитлан вернулся с подкреплением Кортес. Он разгромил своего соперника, и многие солдаты Нарваэса примкнули к победителю. Среди них был один человек, которого я знал хорошо.

Неизвестно, почему Кортесу позволили беспрепятственно соединиться с его соратниками во дворце Ахаякатля. На следующий день он приказал выпустить на свободу брата Монтесумы Куитлауака, правителя Палапана, надеясь, что тот успокоит народ. Однако Куитлауак не был трусом. Едва очутившись за оградой своей темницы, он тотчас созвал совет, который в его отсутствие возглавлял Куаутемок. На совете было принято решение сражаться до конца. Монтесуму объявили изменником, погубившим страну своей трусостью. И битва возобновилась.

Если бы это решение было принято на какие-нибудь два месяца раньше, в Теночтитлане уже не осталось бы ни одного живого испанца. Конечно, Марина, возлюбленная Кортеса, немало способствовала своей хитростью его успехам, но главным виновником собственного падения и гибели империи Анауак был все же Монтесума.

Глава XX

СОВЕТ ОТОМИ

На другой день после возвращения Кортеса в Теночтитлан за час до рассвета пронзительные крики тысяч воинов, звуки дудок и бой барабанов прервали мой тяжелый сон. Я поспешил подняться на свой наблюдательный пост на вершине маленького теокалли. Вскоре ко мне присоединилась Отоми.

Внизу собрались для боя все жители города. Повсюду, куда ни взглянешь, в садах, на торговых площадях, на всех улицах толпились тысячи и десятки тысяч людей. Одни были вооружены пращами, другие — луками и стрелами, третьи — копьями с медными наконечниками и дубинами, утыканными острыми осколками обсидиана. Самым беднейшим горожанам оружием служили обожженные на огне колья. Тела знатных воинов прикрывали золотые доспехи и плащи из перьев, на головах у них красовались деревянные раскрашенные шлемы с пучками волос на гребне, изображавшие морды волков, змей или пум; на тех, кто победнее, были эскаупили или панцири из стеганого хлопка*, но большая часть воинов не имела на теле ничего, кроме набедренных повязок. Даже на плоских кровлях домов и на уступах большого теокалли толпились отряды воинов, забравшиеся туда, чтобы сверху осыпать занятый врагами дворец метательными снарядами. Странное и незабываемое зрелище представлял собой город, залитый алым светом зари.

Но вот первые лучи солнца скользнули над крышами храмов и над стенами дворца, озарив по одну сторону переливающиеся перья и острия бесчисленных пик, а по другую — яркие боевые значки и сверкающие латы испанских солдат, суетившихся позади своих укреплений. Испанцы лихорадочно готовились к защите.

Едва солнце взошло, жрец пронзительно затрубил в раковину; и, словно в ответ ему, в лагере испанцев тревожно запела труба. Тысячи ацтеков с яростными криками двинулись на приступ. Небо потемнело от ливня стрел и камней.

В тот же миг стены дворца Ахаякатля опоясала зигзагообразная линия огня и дыма. С грохотом, подобным грому, аркебузы и пушки христиан косили наступающих воинов, разметая их толпы, как осенние листья.

---

* См. примечание на с. 122.

На мгновение ацтеки заколебались. Стоны и вопли неслись к небесам. Но тут я увидел, как вперед вырвался Куаутемок с боевым значком в руках, и его воины, сомкнув ряды, устремились за ним. Вскоре они уже были под стенами дворца, и штурм начался.

Ацтеки сражались самоотверженно. Раз за разом пытались они взобраться на стену, карабкаясь по телам убитых, словно по лестнице, и каждый раз откатывались с жестокими потерями.

Видя, что таким способом ворваться во дворец не удастся, индейцы начали разбивать нижнюю часть стены тяжелыми бревнами, но когда стена рухнула и воины, мешая друг другу, ринулись в образовавшуюся брешь, испанцы встретили их огнем пушек. Каждый залп расчищал в толпе нападающих длинные кровавые просеки, оставляя на месте десятки трупов.

Тогда ацтеки принялись обстреливать испанцев горящими стрелами. Им удалось поджечь внешние деревянные строения, однако сам дворец, сложенный из камня, не мог загореться. Яростные атаки продолжались двенадцать часов подряд, и только внезапно наступившая темнота прервала сражение. Но всю ночь в городе пылали бесчисленные факелы, слышались стоны умирающих и рыдания женщин: ацтеки уносили убитых.

А с рассветом битва возобновилась. Кортес с большей частью испанских солдат и несколькими тысячами своих союзников-тласкаланцев предпринял вылазку. Сначала я решил, что он ударит по дворцу Монтесумы, и смутная надежда на спасение забрезжила передо мной — я думал, что в сумятице боя мне, может быть, удастся бежать. Однако я ошибся в своих предположениях. Кортес хотел прежде всего сжечь окружающие дома, с плоских кровель которых ацтеки осыпали его солдат градом стрел и камней, причиняя значительный урон, особенно тласкаланцам. Атака была отчаянной и увенчалась успехом. Ацтеки дрогнули под натиском всадников — их обнаженные тела не могли противостоять испанской стали. Вскоре запылали десятки домов, и к небу поднялся огромный вращающийся столб дыма, подобный тому, что поднимается над жерлом Попокатепетля.

Однако многие из тех, кто выехал на коне или вышел в пешем строю из дворца Ахаякатля, не вернулись в тот день назад. Ацтеки бросались под ноги лошадям и стаскивали всадников с седел. В тот же день всех пленных принесли в жертву Уицилопочтли на большом теокалли, чтобы их то-

варищи могли это видеть. Одновременно на алтарь положили одну из захваченных лошадей, которую с великим трудом наполовину ввели, наполовину втащили на вершину ступенчатой пирамиды. Никогда еще жертвы не были так многочисленны, как в эти дни непрекращающихся боев. Кровь потоками струилась по алтарям, вопли жертв, не смолкая, звенели в моих ушах, а проклятые жрецы трудились без устали, ибо этим они надеялись умилостивить своих богов и вымолить у них победу над теулями.

Теперь жертвоприношения совершались даже ночью при свете неугасимого священного огня. Те, кто участвовали в них, казались снизу какими-то адскими духами, терзающими несчастных грешников среди пламени преисподней, совсем как на изображении Страшного Суда в нашей дитчингемской церкви. И каждый час грозный голос звучал из темноты, призывая на головы испанцев все беды и проклятия:

— Эй, теули, Уицилопочтли жаждет вашей крови! Скоро, скоро вы последуете за теми, кто уже взошел на его алтарь. Вы их видели сами! Близок час! Клетки готовы, ножи остры, железо для пыток раскалено. Готовьтесь, теули! Вы можете перебить еще многих, но вам не уйти!

Битва не утихала. Каждый день ацтеки несли огромные потери. Погибло уже несколько тысяч воинов, однако испанцы тоже едва держались. Измученные беспрестанными схватками, израненные и голодные, они не знали теперь ни минуты покоя.

Но вот однажды утром в самый разгар штурма на главной башне дворца появился сам Монтесума, разодетый в великолепные одеяния с диадемой на голове. Перед ним стояли глашатаи, держа в руках золотые жезлы, а вокруг теснились прислуживавшие пленному императору придворные и испанская стража.

Монтесума вытянул вперед руку — и сражение мгновенно замерло. Мертвая тишина простерлась над площадью, даже раненые перестали стонать. И тогда Монтесума заговорил, обращаясь к многотысячной толпе. Я был слишком далеко и не разобрал его слов: мне пересказали его речь позднее. Император просил свой народ прекратить войну, он называл испанцев своими гостями и друзьями и обещал, что они сами оставят Теночтитлан. Но едва он успел произнести эти трусливые слова, ярость охватила его подданных, столько лет почитавших своего повелителя, словно бога. Толпа заревела. Казалось, все выкрикивают только два слова:

— Баба! Предатель!

Затем снизу взвилась стрела и вонзилась в императора. Следом за стрелой посыпался град камней. Я увидел, как Монтесума пошатнулся и упал на плоскую кровлю башни.

Вдруг чей-то голос прокричал:

— Монтесума умер! Мы убили нашего императора!

С испуганными воплями толпа бросилась врассыпную, и через мгновение на площади, где только что стояли тысячи воинов, не осталось ни одной живой души.

Отоми все время находилась рядом со мной и видела, как упал ее царственный отец. Пытаясь хоть как-нибудь утешить плачущую девушку, я повел ее во дворцовые покои. Здесь мы столкнулись с принцем Куаутемоком. В полном вооружении, с луком в руках он выглядел свирепо и устрашающе.

— Правда ли, что Монтесума умер? — спросил я.

— Не знаю и знать не хочу,— ответил принц с дикой усмешкой. Затем, обращаясь к Отоми, прибавил: — Ты можешь проклясть меня, сестра, потому что этого трусливого вождя, превратившегося в предателя и бабу, этого изменника, лгущего своему народу и своей стране, поразила моя стрела.

Отоми вытерла слезы.

— Нет,— проговорила она,— я не стану тебя проклинать, Куаутемок. Боги поразили моего отца безумием раньше, чем ты поразил его своей стрелой, и если он умер, будет лучше для него самого и для его народа. Но я знаю, Куаутемок, что твое преступление не останется безнаказанным. За это святотатство ты сам погибнешь позорной смертью.

— Может быть,— ответил Куаутемок,— зато я не умру предателем.

И с этими словами он вышел.

Должен сказать, что этот день, как я полагал, был последним днем моей жизни, потому что назавтра истекал ровно год воплощения Томаса Вингфилда в бога Тескатлипоку. В следующий полдень меня должны были принести в жертву. Несмотря на всеобщее смятение, несмотря на несмолкающий плач над убитыми и ужас, нависший над городом, подобно грозовой туче, все религиозные церемонии и празднества соблюдались так же строго и, пожалуй, даже строже, чем раньше. Так в эту ночь было устроено в мою честь прощальное пиршество. Я должен был сидеть увенчанный цветами в окружении своих жен и принимать поклонение знатнейших людей города, еще оставшихся в жи-

вых. Среди них был и Куитлауак, которому после смерти Монтесумы предстояло стать императором.

Это была печальная трапеза. Как я ни старался заглушить все чувства и мысли хмелем, страх не покидал меня, да и у гостей не было особых причин для веселья. Сотни их родичей и тысячи соплеменников погибли; испанцы продолжали держаться в своей крепости; император, которого они почитали, как бога, пал в этот день от руки одного из них, а самое главное — все они чувствовали себя обреченными. Чему же тут удивляться, если они не радовались? Поистине, никакие поминки не могли быть тоскливее этого пиршества: ни цветы, ни прекрасные женщины не радовали глаз. Но в конечном счете это и были поминки — поминки по мне.

Наконец пир окончился, и я удалился к себе. Отоми осталась, а три моих жены последовали за мной, называя меня самым счастливым и самым благословенным, потому что завтра я вознесусь в свой божественный дом, то бишь — на небеса! Но я не благословил их за это и, придя в ярость, выгнал всех троих, сказав на прощание, что если я действительно вознесусь, то моим единственным утешением будет мысль о том, что сами они останутся далеко внизу.

После этого я упал на подушки своего ложа и горько зарыдал от страха и тоски. Вот к чему привела меня клятва покарать де Гарсиа! Завтра мое сердце вырвут из груди и принесут в дар дьяволу. Воистину, прав был мудрый Андрес де Фонсека, когда советовал воспользоваться счастливым случаем и забыть о мести. Если бы я прислушался к его словам, я уже был бы женат на своей нареченной и наслаждался ее любовью в родном доме в мирной Англии. А вместо этого моя загубленная душа отдана во власть дьяволов, которые завтра принесут ее в жертву сатане.

Обезумев от этих мыслей и невыносимого страха, я с громкими рыданиями воззвал к творцу, умоляя его избавить меня от столь жестокой смерти или хотя бы отпустить мне мои грехи, чтобы я мог завтра умереть с миром.

Так, плача и бормоча молитвы, я незаметно погрузился в полусон. Мне привиделось, будто я иду по склону холма близ тропинки, бегущей через наш сад к дитчингемской церкви. Ветерок шепчется с травами на склонах, сладкий запах наших английских цветов щекочет мне ноздри и душистый воздух июня овевает мой лоб. Мне снилась ночь, и я думал о том, как прекрасно сияние луны над лугами и над рекой, а вокруг со всех сторон звенели соловьиные трели. Но меня занимала не эта музыка и не красоты приро-

ды. Я все время видел перед собой тропинку, спускающуюся от церкви по холму к задней стороне нашего дома, и напряженно прислушивался, стараясь уловить шорох приближающихся шагов. Но вот на холме послышалась песенка,— очень грустная песенка о том, кто уплыл далеко-далеко и уже никогда не вернется,— и вскоре на вершине под яблонями показалась белая фигура. Медленно-медленно приближалась она ко мне, и я знал, что это Лили, моя любимая! Вот она перестала петь, тихонько вздохнула и подняла опечаленное лицо. И хотя я увидел лицо женщины средних лет, оно все еще было прекрасно, даже прекраснее, чем в расцвете юности.

Лили спускается к подножию холма, приближается к маленькой садовой калитке, и тогда я выхожу из тени деревьев и останавливаюсь перед ней. С испуганным криком отступает она назад, молча всматривается в мое лицо, и чуть слышно шепчет:

— Неужели? Неужели это ты, Томас? Ты так изменился... Скажи, это ты, живой, воскресший из мертвых, или это твой призрак?

И медленно, робко видение протягивает ко мне руки, чтобы меня обнять.

Тут я проснулся. Я проснулся, и что же: передо мной стояла прекрасная женщина в белом, и луна освещала ее точно так же, как во сне, и руки ее были с любовью простерты мне настречу.

— Это я, любимая, а не призрак! — воскликнул я, соскакивая со своего ложа и прижимая возлюбленную к своей груди. Но прежде чем я успел поцеловать ее, прежде чем мои губы коснулись ее губ, я понял все. Та, кого я держал в объятиях, была не моя нареченная Лили Бозард, а Отоми, принцесса племен отоми, названная моей женой. Я понял, что это был только сон, самый жестокий и грустный сон, посланный мне, словно в насмешку, чтобы вся горькая правда еще ярче предстала передо мной.

Выпустив Отоми, я громко застонал и упал на свое ложе. Краска стыда залила лицо и шею принцессы, ибо она любила меня и мой поступок оскорбил ее до глубины души; Отоми было нетрудно догадаться, что означали мои слова и жесты.

Тем не менее она ласково заговорила со мной:

— Прости меня, теуль, я хотела только взглянуть, как ты спишь и не собиралась тебя будить. А потом я хотела поговорить с тобой наедине, пока не взошло солнце. Может быть, я еще смогу что-нибудь сделать или хотя бы утешить

тебя, ибо конец уже близок. Скажи, ты хотел обнять меня, потому что спутал во сне с другой женщиной? Наверное, она для тебя прекраснее и милее...

— Мне снилось, что это была моя невеста, которую я люблю,— с трудом ответил я.— Она далеко за морями. Только незачем сейчас говорить о любви и прочих вещах. На что мне все это, если я сам ухожу во мрак?

— По совести говоря, я и сама не знаю, теуль, но я слышала от мудрых людей, что истинная любовь вспыхивает во мраке смерти и превращает его в свет. Не печалься! Если в твоей или нашей вере есть хоть капля правды, глазами души ты увидишь свою любимую на земле или в небесах, прежде чем солнце зайдет еще раз, а я буду молиться, чтобы она осталась тебе верна. Скажи, она тебя сильно любит? Легла бы она рядом с тобой на жертвенный камень, как хотела сделать я, если бы у нас все шло по-другому?

— Нет,— ответил я.— Не в обычае наших женщин расставаться с жизнью из-за того, что мужу приходится умирать.

— Наверное, они считают, что лучше жить и выйти замуж за другого,— спокойно проговорила Отоми, но я заметил, как глаза ее сверкнули, а грудь, освещенная луной, задышала глубоко и часто.

— Довольно болтать об этих глупостях,— прервал я ее.— Слушай, Отоми, если бы я действительно был тебе дорог, ты бы спасла меня от ужасной казни или уговорила Куаутемока помочь мне? Ты — дочь Монтесумы. Неужели за все эти месяцы ты не могла добиться от своего отца — императора приказа о моем помиловании?

— Плохо же ты обо мне думаешь, теуль! — взволнованно ответила Отоми.— Я была тебе лучшим другом. Знай — все эти месяцы день и ночь я только и делала, что искала и придумывала способы тебя спасти. Пока мой отец император не стал пленником, я не давала ему покоя, и, наконец, он приказал не пускать меня к себе. Я пыталась подкупить жрецов, я все подготовила для твоего побега, и Куаутемок помогал мне, потому что он тебя тоже любит. Если бы не приход этих проклятых теулей, если бы не война, охватившая город, я бы наверняка спасла тебя, ибо женский ум изворотлив и всегда найдет лазейку даже там, где отступит любой мужчина. Но война изменила все. Предсказатели и жрецы, читающие по звездам, обрекли тебя на смерть. Они сказали, что, если завтра ровно в полдень кровь твоя обагрит алтарь, а сердце будет принесено в дар богу Тескатлипоке, наш народ одержит победу над теу-

лями и уничтожит их всех. Но если жертвоприношение свершится раньше или позже назначенного часа — гибель Теночтитлана предрешена. Кроме того, жрецы объявили, что ты должен умереть не в «Доме Оружия» посреди озера, а на вершине большого теокалли перед великой статуей бога. Об этом известно всей стране. Сейчас тысячи жрецов возносят молитвы, чтобы жертва была счастливой. Над жертвенным камнем уже подвешено золотое кольцо, через которое солнечный луч ровно в полдень упадет на твою грудь, там, где бьется сердце. Последние недели, боясь, что ты убежишь к теулям, жрецы подстерегали каждый твой шаг, как ягуар добычу. За нами, твоими женами, тоже следят. В эту ночь вокруг дворца установлено три ряда стражи, а за твоими дверями и под каждым окном стерегут жрецы. Суди сам, теуль, стоит ли надеяться на побег!

— Пожалуй, не стоит,— ответил я.— И все же я знаю один путь. Если я умру сам, они не смогут меня убить.

— Нет, нет! — поспешно вскричала Отоми.— Что тебе это даст? Пока ты жив, можно еще надеяться, но когда ты умрешь — все будет кончено. К тому же если умирать, то лучше от руки жреца. Верь мне, хотя такая смерть и кажется ужасной,— при этих словах Отоми содрогнулась,— зато она мгновенна и почти безболезненна — так говорят все жрецы. Сначала они хотели тебя пытать, чтобы воздать богу высшую честь, но от этого мы с Куаутемоком сумели тебя избавить.

Отоми присела рядом со мной на ложе, взяла меня за руку и продолжала:

— О теуль, не думай больше о кратком миге ужаса! Думай о том, что грядет за ним. Неужели смерть, даже мгновенная, так страшна? Мы все умрем: этой ночью, завтра или послезавтра — неважно когда, а твоя вера, как наша, учит, что за гробом нас ожидает бесконечная благодать. Подумай об этом, друг мой! Завтра ты избавишься от всех тревог и суеты; борьба, страдание, страх перед будущим, отравляющий душу,— все останется позади, и ты обретешь покой, которого уже никто никогда не нарушит. Ты встретишься там со своей матерью — я о ней столько слышала! Может быть, к тебе придет та, что любит тебя еще больше, чем твоя мать, и — кто знает? — наверное, встретишь там и меня.

Тут глаза Отоми как-то странно блеснули.

— Тебе придется пройти по темной дороге, но зато она хорошо проторена и в конце ее сияет свет. Будь же мужчиной, мой друг, и ни о чем не скорби! Радуйся тому, что так

рано избавился от горестей и сомнений, и скоро достигнешь врат счастья; радуйся, что пересек пустыню жизни, и теперь увидишь сверкающие озера, цветущие сады и храмы страны блаженных. А теперь прощай! Мы больше не встретимся до жертвоприношения, когда женщины, называемые твоими женами, придут проститься с тобой на нижней ступени теокалли. Прощай, добрый друг мой, и помни мои слова. Согласишься ты с ними или нет, но я уверена — ты будешь храбр, потому что я тебя об этом прошу и потому что иначе ты себя обесчестишь. Ты умрешь мужественно, теуль, как если бы на тебя были обращены глаза всего твоего народа.

Неожиданно Отоми нагнулась, нежно, как сестра, поцеловала меня в лоб и выскользнула из комнаты. Занавес на дверях опустился за ней, но эхо ее благородных слов все еще продолжало звучать в моем сердце.

Ничто не может заставить человека думать с радостью о близкой смерти, а меня ожидала такая смерть, перед которой содрогнулся бы любой. Но в то же время я понимал, что Отоми права. Смерть сама по себе не так страшна, жизнь бывает куда страшнее. И вскоре неестественное спокойствие окутало мою душу, словно густой туман, опустившийся над океаном. Пусть бушуют внизу незримые волны, пусть сияет наверху солнце — здесь в непроницаемой серой мгле царит покой.

Я как бы отрешился от своего земного существа и на все смотрел теперь со стороны с новым, неизведанным доселе чувством. Мое жизненное плавание подходило к концу, берег смерти был уже близок, и в ту ночь я понял, как понимаю это сегодня, на склоне лет, что для нас, простых смертных, смерть значит гораздо больше, чем быстролетное мгновение жизни. Я мог спокойно вспоминать свое прошлое, спокойно раздумывать о том, что ожидает мою душу в будущем, и даже восхищаться кроткой мудростью этой индианки, способной на столь благородные слова и мысли.

Да, что бы ни случилось, в одном я ее не разочарую: уповая на бога, я умру мужественно, как умирают настоящие англичане. Эти варвары не посмеют сказать, что иноземец был трусом. Разве не умирают на алтарях сотни таких же, как я, не проронив ни звука? Разве не умерла моя мать от руки убийцы? Разве не замуровали живьем Изабеллу де Сигуенса только за то, что она имела глупость полюбить негодяя, который ее покинул? Мир полон ужаса и страданий, и кто я такой, чтобы жаловаться и роптать?

Так я размышлял, пока не рассвело и голоса воинов, го-

товых к бою, не зазвучали навстречу восходящему солнцу. Теперь с каждым днем сражение кипело все ожесточенней, и этому дню суждено было стать одним из самых ужасных. Но мне не было дела до войны ацтеков с испанцами. Я готовился к своей последней схватке, ибо смерть уже простерла надо мною длань.

Глава XXI

ПОЦЕЛУЙ ЛЮБВИ

Но вот послышалась музыка, и в сопровождении художников — мастеров по разрисовке тела — в комнату вошли мои слуги с еще более роскошными нарядами, чем все, что я носил до сих пор. Слуги раздели меня, и художники принялись за работу. Все мое тело они раскрасили уродливыми красно-бело-синими узорами, так что я стал похож на какое-то знамя, а лицо и губы вымазали багряной краской. На груди, над сердцем, они как можно точнее и тщательнее намалевали алый круг. Затем, собрав мои падающие на плечи длинные волосы, они соорудили из них на макушке пучок, перевязанный красной вышитой лентой, как это принято у индейцев, и воткнули в него несколько ярких перьев.

После этого меня облачили в пышное одеяние, чем-то напоминающее церковные ризы, продели мне в уши золотые кольца, надели на руки и ноги золотые обручи, а на шею — ожерелье из бесценных изумрудов. Кроме того, на моей груди сверкал огромный драгоценный камень, переливавшийся, как море при лунном свете, а к подбородку мне подвесили бороду из розовых морских раковин. Наконец, нацепив на меня столько венков и цветочных гирлянд, что я превратился в настоящее майское дерево, какое устраивают в нашей дитчингемской общине, они отошли в сторону, восхищенные делом своих рук.

Вновь зазвучала музыка. Мне дали две лютни, по одной в каждую руку, и повели в большой зал дворца.

Здесь уже собрались все знатные ацтеки, облаченные в праздничные одежды. На возвышении стояли четыре мои жены в одеяних четырех богинь — Хочи, Хило, Атлы и Клихто*. Эти имена они получили в день свадьбы, Атлой была принцесса Отоми.

Когда я занял свое место на возвышении, они приблизи-

---

* См. примечание на с. 169.

лись ко мне, по очереди целуя меня в лоб, и начали предлагать мне всякие сласти на золотых блюдах, а также шоколад и мескаль в золотых чашах. Я не мог ничего есть и только выпил крепчайшего мескаля, чтобы хоть немного приободриться.

Когда эта церемония завершилась, наступила мгновенная тишина, а затем в дальнем конце залы показалась зловещая процессия людей в багряных жертвенных одеяниях. Это шли жрецы, с ног до головы заляпанные кровью. Кровь склеивала их длинные спутанные волосы, кровь покрывала голые руки, и даже свирепые глаза, казалось, были налиты кровью. Жрецы приблизились к возвышению, и тогда верховный паба внезапно вскинул вверх руки и возопил:

— Люди, склонитесь перед бессмертным богом!

Все, кто собрались в зале, простерлись ниц, громко восклицая:

— Мы поклоняемся богу!

Жрец трижды прокричал эти слова, и присутствующие трижды падали наземь, повторяя ответ. Затем, когда все поднялись на ноги, верховный жрец обратился ко мне:

— Прости нас, Тескатлипока, что мы не можем почтить тебя по обычаю, ибо наш повелитель должен был склониться перед тобой вместе с нами. Но ты знаешь, какое горе постигло твоих рабов: нам приходится в своем собственном доме сражаться с теми, кто богохульствует и оскорбляет тебя, о Тескатлипока, и других богов, твоих братьев, а наш возлюбленный император тяжело ранен и находится в руках святотатцев. Скоро, скоро ты достигнешь предела своих желаний и вознесешься на небеса! Ты покинешь свою земную оболочку, показав нам всем, что человеческое благополучие — лишь быстролетная тень. И тогда, во имя нашей любви к тебе, заклинаем тебя, о Тескатлипока, сделай так, чтобы мы победили твоих врагов, святотатцев, и смогли почтить тебя, принеся их в жертву на твоем алтаре. О Тескатлипока, ты недолго побыл среди нас, и ты не желаешь оставаться с нами, ибо тебе уготована вечная слава. Давно уже ты ожидал этого счастливого дня, и вот, наконец, он пришел. Мы любили тебя, мы поклонялись тебе, сделай же так, чтобы мы, твои дети, увидели тебя в сиянии славы! Ниспошли нам радость земного благополучия, о Тескатлипока, ниспошли благодать народу, среди которого ты согласился прожить этот год!

Так говорил верховный жрец, и голос его временами тонул среди громких рыданий собравшихся и горестных воплей моих жен. Отоми стояла молча.

Наконец верховный паба сделал знак, заиграла музыка, и жрецы окружили нас со всех сторон. Две мои жены-богини встали впереди меня, две — позади, и так мы вышли из зала, а затем через широко распахнутые перед процессией ворота — за стены дворца. С каменным спокойствием смотрел я по сторонам, и в этот последний час ничто не ускользало от моего внимания. Странное зрелище открылось передо мной! В нескольких сотнях шагов индейцы продолжали яростно штурмовать дворец Ахаякатля, где укрылись испанцы. Отдельные отряды воинов то тут, то там пытались взобраться на стены; испанцы косили их смертоносным огнем, а их союзники тласкаланцы сбрасывали нападающих копьями и боевыми палицами. В то же время другие отряды ацтеков, усеявшие крыши уцелевших от пожара соседних домов и все выступы большого теокалли, на котором мне предстояло испустить дух, осыпали тысячами дротиков, стрел и камней занятый испанцами дворец и другие участки обороны противника.

А всего в пятистах ярдах от того места, где кипела эта смертоносная битва, на другом конце площади, у ворот дворца Монтесумы разыгрывалась совершенно иная сцена. Огромная толпа с множеством женщин и детей собралась здесь, чтобы увидеть мою смерть. Люди пришли с охапками цветов, с музыкой, с песнями, и когда я предстал перед ними, приветственные крики на мгновения заглушили гром выстрелов и яростный шум сражения. Время от времени шальное пушечное ядро врезалось в толпу, оставляя на месте убитых и раненых, но никто не разбегался и не прятался. Люди только громче кричали:

— Слава тебе, Тескатлипока, и прощай! Будь благословен, спаситель наш! Слава тебе, и прощай!

Процессия медленно пробиралась сквозь толпу по узкому проходу, сплошь усыпанному цветами. Наконец мы пересекли площадь и достигли подножия теокалли. Здесь собралось так много народу, что нам пришлось остановиться. Пока жрецы расчищали путь, какой-то воин проложил себе дорогу сквозь толпу и склонился передо мной. Я узнал принца Куаутемока.

— Теуль, чтобы проститься с тобой, я оставил своих людей,— прошептал Куаутемок, кивнув в сторону воинов, готовых к штурму дворца Ахаякатля.— Наверное, мы скоро встретимся снова. Верь мне, теуль, я сделал бы все, чтобы выручить тебя, но это невозможно. Если бы мог, я поменялся бы с тобой местами. Прощай, друг! Ты дважды спас мою жизнь, а я твою спасти не сумел.

— Прощай, Куаутемок,— ответил я.— Да хранит тебя небо, ибо ты был мне верным другом.

И мы расстались.

У подножия теокалли все шествие выстроилось заново, и здесь одна из моих жен простилась со мной, бросившись мне на грудь и заливаясь слезами. Но я не стал рыдать на ее груди. Медленно и торжественно мы начали подниматься по каменным лестницам, расположенным таким образом, что после каждой из них нам приходилось совершать полный круг на очередном уступе пирамиды. Целый час бесконечная процессия ползла к вершине, обвивая весь теокалли пестрой ломаной спиралью. На каждом повороте мы останавливались, и я расставался либо с одной из жен, либо с одним их своих музыкальных инструментов (причем это я делал без малейшего сожаления), либо с одной из частей своего странного наряда.

Но вот, наконец, по широким ступеням последней лестницы мы взошли на плоскую вершину теокалли. Это была ничем не огражденная площадь, более обширная, чем весь наш церковный двор в Дитчингеме. Здесь на головокружительной высоте стояли храмы Уицилопочтли и Тескатлипоки, огромные сооружения из камня и дерева, внутри которых находились безобразные идолы этих богов и страшные комнаты, залитые кровью жертв. Напротив храмов горел неугасимый священный огонь и стояли жертвенные камни, орудия пыток и большой барабан, обтянутый змеиной кожей. Остальная часть вершины теокалли была совершенно голой. Голой, но не безлюдной. На стороне, обращенной к испанцам, толпилось несколько сотен воинов, беспрестанно осыпавших врага стрелами и камнями, а на противоположном краю собрались в ожидании моей смерти жрецы. Внизу вся обширная площадь, окруженная развалинами домов, была заполнена многотысячной толпой. Некоторые из ацтеков по-прежнему сражались с испанцами, но большинство собралось сюда только для того, чтобы увидеть, как меня принесут в жертву.

Мы достигли вершины теокалли за два часа до полудня, потому что до жертвоприношения еще предстояло выполнить ряд церемоний. Сначала меня ввели в святилище бога Тескатлипоки, имя которого я носил. Здесь стояло его изваяние из черного мрамора с золотыми украшениями. Идол держал в руке полированный золотой щит, устремив на него глаза из драгоценных камней. Жрецы говорили, что он видит в этом зеркале все, что было и что будет на созданной им земле.

Перед идолом стояло золотое блюдо. Верховный жрец взял его и, бормоча заклинания, принялся вытирать концами своих длинных слипшихся волос. Начистив блюдо до блеска, жрец поднес его к моим губам, чтобы я дохнул не сверкающую поверхность. Смертельная слабость и головокружение охватили меня: я понял, что после этого обряда блюдо готово принять сердце, которое еще трепетало и билось в моей груди.

Не знаю, какие еще церемонии ожидали меня в этом проклятом капище,— внезапное смятение на площади вокруг пирамиды заставило жрецов бросить все и поспешно вывести меня из храма. Я взглянул вниз и замер: доведенные до бешенства градом стрел и камней, сыпавшимися на них с уступов, испанцы пошли на приступ большого теокалли.

Крупные отряды под предводительством самого Кортеса прокладывали себе дорогу сквозь толпы ацтеков, запрудивших всю площадь. Вместе с испанскими солдатами пробивалось несколько сотен их союзников тласкаланцев. Но в то же время к подножию первой лестницы устремились тысячи ацтекских воинов, чтобы здесь раздавить белых захватчиков. Через пять минут враги встретились, и отчаянная, беспощадная схватка началась.

Под прикрытием залпов из аркебуз и мушкетов испанцы непрерывно атаковали ацтеков, однако их кони скользили на каменных плитах пирамиды и съезжали вниз. Тогда испанцы пошли на приступ в пешем строю. Нанося ацтекам огромные потери, они добрались до первых ступеней нижней лестницы, но впереди весь спиральный подъем, все уступы и вся вершина теокалли были сплошь облеплены сотнями воинов. Сумеют ли испанцы пробиться сквозь подобную массу? Задача казалась невыполнимой. И все же, когда я подумал об этом, вспышка надежды потрясла меня, как удар. Ведь если испанцы захватят храм, жертвоприношение не состоится! До полудня меня не посмеют принести в жертву (так сказали Отоми) — значит, впереди без малого два часа. Если испанцы за эти два часа одержат верх — я, может быть, останусь жив; если же нет — меня ждет неминуемая смерть.

Когда меня вывели из святилища Тескатлипоки, я с удивлением увидел принцессу Отоми, или, как ее называли, богиню Атлу. Последней из четырех жен она склонилась передо мной у самого входа в храм, но вместо того, чтобы уйти, все еще стояла среди жрецов и о чем-то с ними спорила. Из-за шума сражения я ничего не слышал, однако

страстные слова Отоми, по-видимому, убедили жрецов; они были смущены, и в то же время в их глазах сверкала жестокая радость. Жрецы склонились перед принцессой. Неторопливо отвернувшись от них, Отоми направилась ко мне, и даже в это мгновение я не мог не залюбоваться ее царственно-величавой поступью. Я взглянул на ее сосредоточенное лицо — оно светилось глубоким внутренним огнем отречения и одновременно было счастливым, как у невесты, идущей навстречу объятиям любимого.

— Почему ты не ушла, Отоми? — спросил я.— Теперь уже поздно: испанцы окружили теокалли. Теперь тебя убьют или захватят в плен.

— Пусть будет что будет,— коротко ответила она, и некоторое время мы молча наблюдали за продолжавшимся штурмом.

Битва становилась все ожесточеннее. Защищая святилище своих богов, ацтекские воины сражались отчаянно. На глазах бесчисленных толп, окружавших площадь и молча наблюдавших за боем, они бросались на испанские мечи, хватали испанцев голыми руками и, завывая от ярости, старались столкнуть их с уступов теокалли. Иногда им это удавалось, и целый ком человеческих тел, в середине которого оказывался один из испанцев, срывался вниз и разбивался о каменные плиты мостовой. Однако несмотря на все усилия ацтеков, их войско, подобно огромной змее, медленно сокращалось, отползало к вершине теокалли, а ряды испанцев, закованных в сверкающие доспехи, следовали за ним под градом копий и стрел. С каждой минутой шаг за шагом они взбирались все выше. Испанцы дрались так, как могут драться лишь те, кто знает, какая судьба ждет жертвы богов Анауака. Они сражались за свою жизнь, за честь и за свои души, ибо знали, что в случае поражения им всем уготована смерть на жертвенных алтарях.

Так прошел час. Испанцы достигли уже середины теокалли. Устрашающие звуки битвы становились все громче и громче. Испанцы испускали воинственные крики и призывали на помощь своих святых, ацтеки отвечали им дикими воплями, жрецы взывали к богам и криками старались подбодрить воинов, а наверху, заглушая даже выстрелы из аркебуз и пушек, грозно гудел огромный барабан из змеиных кож, по которому исступленно колотил полуголый жрец. Лишь толпы народа внизу оставались безмолвными и недвижимыми. Не произнося ни звука, люди стояли с поднятыми вверх лицами, и я видел, как солнце отражается в тысячах широко раскрытых глаз.

Все это время мы с Отоми находились около жертвенного камня, окруженные кольцом жрецов. Над камнем на четырех вставленных в особые углубления столбах был натянут большрй кусок черной ткани с укрепленной в середине золотой воронкой дюймов шести в поперечнике. Лучи солнца, проходя через воронку, падали на затененное черной тканью пространство ярким пятном величиной с яблоко. По мере того как солнце поднималось все выше, это световое пятно перемещалось, пока, наконец, не достигло края жертвенного камня и не легло на него.

В то же мгновение верховный паба подал знак, и жрецы схватили меня. Словно жестокие дети, ощипывающие живую птицу, они сорвали последние яркие одежды, и теперь на моем разрисованном теле не осталось ничего, кроме набедренной повязки. Я понял, что час мой пробил. Но — странное дело! — впервые за весь этот день мужество вернулось ко мне, и я даже обрадовался, зная, что скоро избавлюсь от своих мучителей.

— Прощай, Отоми! — ясным голосом заговорил я, поворачиваясь к ней, и умолк на полуслове. Покончив со мной, жрецы раздевали теперь ее! Через мгновение великолепные одеяния принцессы были сорваны, и она предстала передо мной во всем совершенстве своей красоты, едва прикрытой волной длинных волос да вышитым клочком хлопковой ткани на бедрах.

— Не удивляйся, теуль,— тихо проговорила она в ответ на мой невысказанный вопрос.— Я твоя жена, и этот камень будет нашим брачным ложем, первым и последним. Хоть ты и не любишь меня, я сегодня умру рядом с тобой той же смертью, что и ты. На это у меня есть право! Я не могу тебя спасти, теуль, но умереть вместе с тобой я могу.

От изумления я онемел, и, прежде чем снова обрел дар речи, жрецы меня повалили. Второй раз в жизни я очутился на проклятом жертвенном камне! В тот же миг послышался еще более яростный и продолжительный вопль сражающихся, возвестивший о том, что испанцы уже поднялись до подножия последней лестницы.

Едва меня уложили на огромный жертвенник, как Отоми оказалась рядом. Ей пришлось прижаться ко мне вплотную, потому что я должен был лежать в самой середине, и для нее почти не осталось места. Но час жертвоприношения еще не наступил. Жрецы привязали нас веревками к медным кольцам, вделанным в каменные плиты, покрывавшие вершину теокалли, и отвернувшись наблюдали за битвой.

Несколько минут мы лежали молча бок о бок, и с каждым мгновением во мне росло чувство удивления и бесконечной благодарности — удивления перед смелостью этой женщины и благодарности за ее великую любовь, которую она не побоялась скрепить своей кровью. Ради любви ко мне Отоми решила умереть вместе со мной, потому что без меня ей не нужна была ни жизнь, ни почести, ни богатство. И в то мгновение, когда я подумал об этом чуде, неизведанное сияние озарило мне душу. Всем сердцем потянулся я к Отоми, ибо понял, что никто не будет мне дороже и ближе этой царственной женщины — никто, даже моя невеста! Я почувствовал... Нет, об этом я не смогу рассказать. Я знаю только, что слезы хлынули из моих глаз, потекли по моему раскрашенному лицу, и я повернулся к Отоми.

Напрягаясь, насколько позволяли веревки, она старалась повернуться на левый бок, длинные волосы ниспадали с жертвенного алтаря на каменные плиты, и лицо ее было обращено ко мне. Мы лежали так близко друг к другу, что наши губы почти соприкасались.

— Отоми,— прошептал я.— Отоми, ты слышишь? Я люблю тебя!

Я увидел, как затрепетала ее грудь, перетянутая веревкой, и румянец заиграл на ее лице.

— О, я вознаграждена,— ответила она, и наши губы слились в поцелуе, первом и, как мы думали, последнем. Да, мы поцеловались на жертвенном камне под ножом жреца, когда тень смерти уже простерлась над нами. Много бывало на свете необычных любовных сцен, но о такой я не слыхивал никогда.

— Теперь я вознаграждена,— повторила Отоми.— Ради этого мига я готова умереть десять раз, и молю бога, чтобы смерть пришла прежде, чем ты успеешь взять назад свои слова. Ибо я знаю, теуль, другая тебе дороже. Просто преданность индейской девушки смягчила сейчас твое сердце и ты решил, что любишь. Но прошу тебя, дай мне умереть, думая, что слова твои не были сном.

— Не говори так! — возразил я с трудом, ибо даже в этот миг вспомнил о Лили.— Ты отдала за меня свою жизнь, и я тебя люблю.

— Моя жизнь не значит ничего, а твоя любовь для меня — все,— с улыбкой проговорила Отоми.— Ах, теуль, какая тайная сила заключена в тебе? Чем ты заставил меня, дочь Монтесумы, по собственной воле лечь рядом с тобой на алтарь наших богов? Что до меня, то иного ложа я

не желаю. Пусть будет так. Наверное, мы скоро оба узнаем ответ на эти и на все другие вопросы.

Глава XXII

ГИБЕЛЬ БОГОВ

Отоми,— заговорил я после короткого молчания.— Когда нас убьют?

— Когда луч света упадет на круг, начертанный над твоим сердцем,— ответила Отоми.

Я взглянул на солнечный луч, падавший сквозь нависшую над нами тень, как золотая стрела. Сейчас он находился дюймах в шести от моего бока. Я высчитал, что он коснется багряного круга, намалеванного на моей груди, примерно через четверть часа.

Тем временем шум сражения, приближаясь, становился все громче. Вытянувшись, насколько позволяли веревки, я приподнял голову и увидел, что испанцы уже достигли вершины пирамиды. Битва кипела теперь на самом ее краю.

Никогда еще я не видел такой жестокой схватки! Ацтеки сражались с яростью обреченных, уже не думая о спасении и стараясь только погубить как можно больше испанцев, хотя бы ценой своей собственной жизни. Их грубое оружие зачастую оказывалось бессильным перед стальными доспехами, но у них оставался еще один выход — столкнуть врага с верхней площадки, чтобы он разбился о мостовую, как яичная скорлупа. И они так и делали.

Сражающиеся разделились на изолированные группы. Враги наступали и отступали, сшибаясь над самой пропастью, куда время от времени скатывались целые отряды по десять — двадцать человек. Некоторые жрецы, забыв об опасности, тоже устремлялись на осквернителей святыни. Я видел, как один из них, человек огромного роста, обхватил испанского солдата поперек туловища и вместе с ним ринулся вниз. Но понемногу, шаг за шагом, испанцы и тласкаланцы оттеснили ацтеков к центру верхней платформы. Здесь угроза столь ужасной смерти была уже не так велика, ибо теперь ацтекам нужно было сначала дотащить врага до края площадки. И наконец битва приблизилась к жертвенному камню.

Все оставшиеся в живых ацтекские воины — их было человек двести пятьдесят, не считая жрецов,— окружили нас непроницаемой стеной. К этому времени неумолимый солнечный луч, падавший сквозь золотую воронку, уже коснулся моего разрисованного тела, и это прикосновение

обожгло меня, как раскаленным железом. Но я не мог заставить солнце остановиться, пока не кончится битва, как это сделал некогда Иисус Навин в долине Аиалонской*.

Едва луч солнца коснулся моей груди, пять жрецов уцепились за мои руки, ноги и голову, а верховный жрец, тот самый, что привел меня из дворца, двумя руками поднял свой обсидиановый нож. Смертельная слабость охватила меня, и я закрыл глаза, думая, что уже все кончено. Но в этот миг верховный звездочет, человек с безумно диким взглядом, который, как я успел заметить, стоял чуть поодаль, остановил убийцу:

— Жрец Тескатлипоки, еще не время! Если ты ударишь раньше, чем солнце засияет на сердце жертвы, боги Анауака погибнут и Анауак погибнет.

Заскрежетав зубами от ярости, верховный жрец посмотрел на неторопливо ползущее пятно света, потом оглянулся через плечо на сражающихся. Кольцо воинов вокруг нас медленно сжималось, и так же медленно золотой луч передвигался по моей груди. Вот его внешний край достиг багряного круга над моим сердцем. Снова жрец поднял свой ужасный нож, я опять закрыл глаза и снова услышал предостерегающий вопль звездочета:

— Еще не время! Остановись, или боги твои погибли!

И тут я услышал другой голос — это Отоми звала на помощь.

— Спасите нас, теули! — закричала она так пронзительно, что ее призыв долетел до ушей испанцев.— Спасите, нас убивают!

— Ко мне, друзья! — послышалась в ответ кастильская речь.— Вперед! Эти псы убивают кого-то на алтаре!

Последовал могучий натиск, отбросивший ацтекских воинов и опрокинувший верховного жреца, так что он свалился поперек моего тела.

Этот натиск повторялся трижды, подобно натиску морского прибоя, и с каждым разом кольцо защитников алтаря редело. Затем оно распалось, и мечи испанцев засверкали со всех сторон. Но золотой луч уже достиг середины круга над моим сердцем.

— Рази, жрец Тескатлипоки! — завопил звездочет.— Рази во славу твоих богов!

С жутким воем жрец взмахнул ножом. Я увидел, как сверкнул на его клинке солнечный луч, остановившийся

---

* Намек на библейскую легенду, согласно которой Иисус Навин приказал солнцу остановиться, и оно остановилось.— *Прим. перев.*

прямо над моим сердцем, и нож устремился вниз. Но тут наперерез ему, просияв в том же луче, мелькнул стальной клинок и вонзился в грудь палача. Огромный обсидиановый нож вылетел из его рук. Он достиг цели, но уже не смог поразить жертву. Ударившись об алтарь между мной и Отоми, нож разлетелся на куски и только поранил обоих. Наша кровь смешалась на жертвенном камне, соединив нас в одно целое, а сверху поперек наших тел рухнул, корчась в агонии, тот, кто пытался принести меня в жертву. Но на сей раз он уже больше не встал.

Словно во сне, я услышал жалобный голос звездочета, оплакивавшего гибель богов Анауака:

— Пал жрец и все его боги пали! Тескатлипока отверг свою жертву, и теперь обречен! Погибли боги Анауака, победили кресты пришельцев!

Удар меча оборвал его горестный вопль, и я понял, что провидец тоже мертв.

Чья-то сильная рука сбросила с нас умирающего жреца. Он покатился в сторону алтаря, где горел вечный огонь, и своей кровью и тяжестью тела погасил священное пламя, пылавшее на протяжении многих поколений. Затем кто-то перерезал ножом наши путы. Дико озираясь, я приподнялся на жертвенном камне и в этот миг услышал, как один из испанцев проговорил, обращаясь к своим товарищам:

— Еще немного, беднягам пришел бы конец. Опоздай я на секунду, этот дикарь проделал бы в парне дыру величиной с мою голову. А девочка, право, недурна, если, конечно, ее отмыть хорошенько. Клянусь всеми святыми, я выпрошу ее у Кортеса! Это моя добыча!

Я услышал голос и узнал его. Только один человек на свете обладал таким холодным и ясным тембром. Я узнал его даже сейчас, на жертвенном камне. И когда, соскользнув на землю, я поднял глаза, то увидел именно того, кого ожидал увидеть. Передо мной стоял закованный в латы мой старый враг Хуан де Гарсиа. Это его меч волей судьбы поразил жреца. Это он меня спас. Но если бы де Гарсиа знал, кого он спасает, он бы скорее направил клинок в собственное сердце, чем в сердце моего палача.

«Уж не сон ли все это?» — подумал я, и с губ моих невольно сорвалось восклицание:

— Д е Г а р с и а!

Услышав мой голос, он вздрогнул, как подстреленный, оглянулся и протер глаза. Теперь он меня узнал, несмотря на разрисовку.

— Матерь божья! — прохрипел де Гарсиа.— Проклятый Томас Вингфилд! И я сам спас ему жизнь!

Только тут я пришел в себя и, понимая, какую страшную ошибку совершил, бросился бежать. Но де Гарсиа не собирался упускать свою жертву. Выхватив меч, он бросился за мной, рыча от ярости, словно дикий зверь. Быстрее мысли бежал я вокруг жертвенного камня, спасаясь от его обнаженного меча. Но де Гарсиа не пришлось бы долго за мной гоняться, потому что я ослаб от пережитого ужаса, а ноги мои затекли от веревок. По счастью, какой-то офицер (судя по доспехам и повелительному тону, это был не кто иной, как сам Кортес) в последнее мгновение успел отбить меч де Гарсиа.

— Что с вами, Сарседа? — проговорил он.— Вы что, совсем обезумели от крови и хотите заняться жертвоприношениями, как индейский жрец? Оставьте беднягу в покое!

— Он не индеец, а английский шпион! — крикнул де Гарсиа, пытаясь ударить меня мечом.

— Ну ясно, он просто обезумел,— проговорил Кортес, взглянув на меня.— Придумать только — это несчастное создание и вдруг англичанин! Эй, вы! Проваливайте отсюда оба, не то еще кто-нибудь так же ошибется! Ступайте! — приказал он нам, и сделал знак мечом, думая, что я его не понимаю.

Де Гарсиа, онемев от бешенства, снова попытался на меня наброситься, но Кортес сердито крикнул:

— Стой, во имя господа бога! Я этого не потерплю! Мы пришли спасать жертвы, как христиане, а не убивать их. Ко мне, друзья! Держите этого дурака, чтобы он не загубил свою душу убийством!

Несколько испанцев схватили де Гарсиа, который только проклинал их и обливал гнусной бранью, ибо, как я уже сказал, в ярости он больше походил на дикого зверя, чем на человека. А я в это время стоял перед ним, не зная, куда бежать. К счастью, рядом оказалась Отоми; она хоть и не понимала испанского языка, зато соображала гораздо быстрее.

— Бежим, скорее бежим! — шепнула она и, схватив меня за руку, потащила прочь от жертвенного камня.

— Куда нам бежать? — спросил я.— Не лучше ли положиться на милость испанцев?

— На милость этого дьявола с мечом? — воскликнула Отоми.— Ну нет! Молчи, теуль, и не отставай!

Она повела меня за собой. Испанцы пропускали нас беспрепятственно и даже выказывали нам сочувствие, зная,

что мы едва спаслись от жертвоприношения, а когда какой-то тласкаланец бросился вперед, чтобы прикончить нас палицей, испанский солдат проткнул ему плечо, и мерзавец, обливаясь кровью, покатился по мощеной платформе.

У самого края теокалли мы оглянулись, и я увидел, что де Гарсиа уже нет возле жертвенного алтаря: он вырвался из рук своих друзей или просто объяснил им, в чем дело, обретя, наконец, дар речи, и теперь был от нас ярдах в пятидесяти. С мечом в руке испанец гнался за нами. Подстегиваемые страхом, мы понеслись от него быстрее ветра. Бок о бок мчались мы вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки, через убитых и умирающих, и лишь время от времени останавливаясь, чтобы нас не сшибли тела жрецов, которых испанцы сбрасывали с вершины теокалли. Один раз, оглянувшись, я заметил де Гарсиа далеко позади, но потом он совсем отстал. Может быть, его утомила погоня, но скорее де Гарсиа просто боялся попасть в руки ацтекских воинов, все еще толпившихся у подножия пирамиды.

В тот день мы с принцессой Отоми избежали многих опасностей, однако прежде чем хотя бы на время обрести покой, нам пришлось пережить еще одну. Когда мы достигли подножия теокалли и уже хотели смешаться с обезумевшей от страха толпой, которая перекатывалась по площади, унося убитых и раненых, словно волны морского отлива, смывающие обломки и мусор, сверху послышался вдруг какой-то шум, похожий на раскаты грома. Я поднял глаза и увидел огромную глыбу, несущуюся вниз, подпрыгивающую на уступах теокалли. Это было изваяние бога Тескатлипоки, свергнутое испанцами с его пьедестала. Даже тогда я узнал его. Подобно демону мести, оно катилось прямо на меня! Через мгновение мраморный идол должен был нас раздавить. Бежать поздно! Смерть казалась неминуемой. Мы избавились от жертвоприношения духу бога лишь для того, чтобы обратиться в прах под тяжестью его изваяния.

Идол приближался под торжествующие крики испанцев. Вот он ударился основанием о каменный выступ пирамиды футах в пятидесяти над нами и теперь, вращаясь в воздухе, описывал дугу, чтобы опуститься в трех шагах от нас. Я почувствовал, как вздрогнул от удара массивный склон теокалли, и в тот же миг воздух потемнел от ливня осколков. Огромные камни жужжали со всех сторон. Казалось, под нашими ногами взорвали пороховую мину, оторвавшую от земли скалу. Идол Тескатлипоки разлетелся на сотни кусков! Они просвистели над нами и вокруг нас, как стрелы, но ни один даже не оцарапал ни меня, ни Отоми. Голова

изваяния почти коснулась моей головы, одна нога упала на волосок от моих ног, и все-таки я остался невредим. Ложный бог оказался бессильным перед ускользнувшими от него жертвами!

Что было потом — не помню. Я пришел в себя уже в своих покоях во дворце Монтесумы, который я больше не надеялся увидеть. Отоми была рядом со мной. Она принесла воды, чтобы смыть с моего тела краску и кровь, обильно струившуюся из глубокого прореза, оставленного жреческим ножом. Не думая о себе, Отоми прежде всего искусно перевязала мою рану. После этого она переоделась в чистое белое одеяние, мне тоже раздобыла одежду, а заодно — еду и питье. Я заставил ее поесть вместе со мной и, когда она насытилась, постарался собраться с мыслями.

— Как быть дальше? — спросил я Отоми.— Придут жрецы и снова потащат нас на заклание. Здесь нам надеяться не на что. Нужно довериться милосердию испанцев и бежать к ним.

— Ты веришь в милосердие того человека с мечом? Ты его знаешь, теуль? Скажи мне, кто он?

— Тот самый испанец, о котором я тебе рассказывал. Он мой смертельный враг, Отоми. Это за ним я последовал через океан.

— А теперь ты хочешь отдаться ему на милость? Ты поистине неразумен, теуль!

— Лучше попасть в руки христиан, чем в руки ваших жрецов!

— Не бойся,— успокоила меня Отоми,— теперь жрецы не страшны. Если ты однажды ускользнул от них — они тебя не тронут. Только до сих пор почти никому не удавалось вырваться живым из их когтей,— для этого нужно быть настоящим волшебником! Наверное, твой бог и вправду сильнее наших богов, раз он сумел укрыть нас, когда мы лежали на алтаре. Ах, теуль, что ты со мной сделал? Я дошла до того, что стала сомневаться в наших богах и позвала на помощь врагов своей страны! Верь мне, ради себя я никогда бы этого не сделала. Я бы скорей умерла с твоим поцелуем на губах, пока эхо твоих слов еще не замерло в душе. А теперь мне придется жить, зная, что это счастье уже не вернется!

— Но почему? — спросил я.— Ведь я сказал тогда правду, Отоми. Ты хотела умереть со мной, и ты спасла мне жизнь, когда позвала на помощь испанцев. Отныне моя жизнь принадлежит тебе, ибо ты самая нежная и самая смелая женщина на свете. Я люблю тебя, Отоми, жена моя!

Наша кровь смешалась, и наши губы слились на жертвенном камне, пусть же это будет нашим свадебным обрядом. Может быть, я проживу недолго, но покуда я жив — я твой!

Так я говорил от полноты души, ибо силы мои были подорваны, мужество ослабело, страх и одиночество измучили меня, и единственное, что еще оставалось во мне,— это вера в провидение и любовь Отоми, сделавшей для меня так много. И вот, забыв свои клятвы, я прильнул к ней, как ребенок к матери. Конечно, не следовало мне этого делать, но хотел бы я видеть мужчину, который на моем месте поступил бы иначе! К тому же я не мог взять назад роковых слов, произнесенных на жертвенном камне. Тогда я думал, что это мои последние слова, и отказаться от них теперь, когда смерть уже не грозила мне, значило признаться в собственной трусости. К добру или к худу — я отдал себя дочери Монтесумы, и мне оставалось только хранить ей верность или покрыть себя несмываемым позором.

Однако благородство этой индейской девушки было так велико, что даже сейчас она не захотела поймать меня на слове. Некоторое время Отоми стояла с печальной улыбкой, поглаживая ладонью свои волосы. Потом она заговорила:

— Ты сейчас сам не свой, теуль, и я была бы глупа, если бы заключила такой торжественный союз с человеком, который сам не знает, что говорит. Там, на алтаре, в свой смертный час ты сказал, что любишь меня, и в тот миг ты сказал правду. Но сейчас, когда ты вернулся к жизни, скажи мне, мой господин, кто надел тебе на руку вот это золотое колечко и что на нем написано? Даже если ты не лжешь мне, даже если ты немножко любишь меня, там, за морями, есть другая, и ее ты любишь сильнее. Но с этим я могу примириться. Из всех мужчин сердце мое выбрало одного тебя, и если ты будешь хотя бы добр ко мне, я согреюсь в лучах твоей доброты. Но однажды увидев свет, я уже не смогу блуждать в темноте. Ты не понял меня? Хорошо, я скажу, чего я боюсь. Я боюсь, что когда... когда мы станем мужем и женой, ты скоро пресытишься мною, как это бывает с мужчинами, и воспоминания о былом постепенно опять овладеют тобой. И тогда, рано или поздно, ты уплывешь за море и вернешься в свою страну, к своей любимой. Тогда ты покинешь меня, теуль, а этого я не перенесу. Лучше нам остаться просто друзьями. Помни: со мной, дочерью императора Монтесумы, нельзя играть, как с какой-нибудь танцовщицей, подругой одной ночи! Если ты женишься на мне, это будет на всю жизнь. Ты ведь не думал

о таком долгом сроке? Да, не думал... Ты просто поцеловал меня на алтаре, хотя кровь и соединила нас.

Отоми взглянула на багряное пятно, выступившее сквозь ее одежды в том месте, где была рана, и продолжала:

— А теперь, теуль, я покину тебя. Нужно найти Куаутемока, если он еще жив, и других близких мне людей; теперь, когда власть жрецов пала, они сумеют тебя защитить и возвысить. Подумай пока о моих словах и не торопись решать. Или, может быть, ты хочешь сразу покончить с этим делом и бежать к белым людям? Я постараюсь тебе помочь!

— Мне надоело убегать,— ответил я.— К тому же не забывай: среди испанцев мой враг, которого я поклялся убить. Его друзья — мои враги, а враги моих врагов — мои друзья. Я никуда не побегу, Отоми.

— Вот теперь ты говоришь мудро,— отозвалась она.— Если бы ты вернулся к теулям, этот человек убил бы тебя. Он убил бы тебя, открыто или исподтишка, но убил — это я поняла по его глазам. А теперь отдохни, пока я позабочусь о твоей безопасности, если только еще можно говорить о безопасности в этой залитой кровью стране.

Глава XXIII

ТОМАС ЖЕНАТ

Отоми повернулась и вышла. Златотканый занавес опустился за ней. Я откинулся на свое ложе и мгновенно уснул.

В тот день я был так слаб и чувствовал себя настолько измученным и больным, что почти ничего не видел и не понимал. Лишь позднее мне удалось вспомнить все, о чем рассказано выше.

Должно быть, я проспал много часов подряд, потому что снова открыл глаза уже глубокой ночью. Настала ночь, но в комнате по-прежнему было светло. Сквозь зарешеченные оконные проемы снаружи проникали кровавые отблески пожарищ и беспорядочный гул сражения.

Одно из окон находилось как раз над моим ложем. Встав на него ногами, я ухватился за деревянные прутья и с большим трудом, преодолевая боль от резаной раны в боку, подтянулся на руках. Сквозь решетку я увидел, что испанцы не удовлетворились захватом большого теокалли и предприняли ночную вылазку. Они подожгли сотни домов. Зарево полыхало над городом, словно зарницы. При свете его я увидел, как белые люди отходят к своим укреплениям,

теснимые со всех сторон тысячами ацтеков, осыпающих врага стрелами и камнями.

Оторвавшись от окна, я опустился на ложе и принялся размышлять. Мной снова овладели сомнения. Что делать? Покинуть Отоми и при первой возможности бежать к испанцам? Но там меня ждет верная смерть от руки де Гарсиа. Остаться среди ацтеков, если они дадут мне убежище? Но тогда придется стать мужем Отоми. Был еще третий выход — остаться с ацтеками и не жениться, пожертвовав всем, даже честью. Одно было ясно: если я возьму Отоми в жены, мне придется самому превратиться в индейца и позабыть об Англии и о своей невесте. Надежды на возвращение на родину у меня почти не оставалось, но, пока я жив и свободен, еще можно на что-то рассчитывать. Другое дело, если мои руки будут связаны женитьбой. Тогда, пока Отоми жива, я ни о чем не смогу даже думать, а что касается Лили Бозард, то для нее я умру навсегда. Я ведь и так уже изменил ее памяти и своему слову! Но мог ли я оттолкнуть Отоми, которая отдала мне все, и по совести говоря, стала мне почти так же дорога? Ангел или герой нашли бы выход из этого положения, но — увы! — я не был ни ангелом, ни героем, а самым обыкновенным человеком со всеми человеческими слабостями. Отоми казалась мне самой прекрасной и самой нежной, и она была со мной рядом.

И тем не менее я решил воспользоваться ее благородством. Я решил взять свои слова обратно, попросить ее оставить меня и никогда со мной не встречаться, чтобы я не нарушил своего обещания, данного на дитчингемском берегу, потому что иначе мне пришлось бы поклясться Отоми в верности до гроба, а этой клятвы я страшился больше всего.

Так я раздумывал, находясь в самом жалком состоянии духа и даже не подозревая, что выбора у меня уже нет, что для меня открыт лишь один путь и мне остается только вступить на него или умереть. Но пусть эти размышления послужат доказательством моей честности. Если бы я хотел скрыть правду, я бы не стал писать о своих колебаниях, о своей слабости и об угрызениях совести. Достаточно было сказать, что независимо от Отоми мне предоставили на выбор либо жениться на ней, либо погибнуть, и никто не стал бы меня хулить за то, что я избрал первое, а не второе.

На самом деле так оно и случилось. Должен признаться, что, хотя я и женился на Отоми, в этом деле я был только игрушкой судьбы, не оставившей мне иного выхода. Однако сказать только это, значит сказать половину правды. Душа моя разрывалась на части, и если бы все не было ре-

шено за меня, не знаю, чем закончилась бы моя внутренняя борьба.

Сегодня, оглядываясь на далекое прошлое, оценивая, как беспристрастный судья, свой характер и свои поступки, я могу сказать, что, будь у меня больше времени на размышления, я нашел бы еще один довод в пользу Отоми. Де Гарсиа находился среди испанцев, а ненависть к нему определяла тогда всю мою жизнь. Она была даже сильнее любви к обеим женщинам, составлявшим мое счастье. По сей день, несмотря на то, что после смерти де Гарсиа прошло уже много лет, я по-прежнему его ненавижу, и каким бы греховным ни казалось это желание, я до сих пор даже в мои годы сожалею, что больше ничем не могу ему отомстить. А тогда... В те дни, оставаясь среди ацтеков, врагов испанцев и де Гарсиа, я мог встретиться с ним в бою и убить его. И, наоборот, в испанском лагере, если бы мне даже удалось до него добраться, меня самого ждала верная и скорая смерть. Де Гарсиа, конечно, уже сплел обо мне такую историю, что меня бы там сразу повесили как английского шпиона или прикончили каким-нибудь иным способом.

Но довольно этих бесполезных рассуждений! Единственная их цель — показать, как мучительно долго я не мог сделать выбор между далекой и близкой любовью. Пора вернуться к событиям, которые сразу положили конец всем моим колебаниям.

Так я сидел на своем ложе и размышлял, когда занавес на двери раздвинулся и в комнату вошел мужчина с факелом в руках. Это был Куаутемок. Ночная схватка закончилась, оставив после себя только пылающие руины, и он пришел ко мне прямо с поля боя. Перья с его шлема были сорваны, золотой панцирь изрублен испанскими мечами, стреляная рана на шее кровоточила.

— Привет тебе, теуль,— проговорил он.— Вот уж не думал увидеть тебя этой ночью живым! Я сам едва уцелел. Впрочем, настали странные времена, и сейчас во всем Теночтитлане творится такое, о чем раньше никто даже не помышлял. Но не будем терять времени. Я пришел, чтобы отвести тебя на совет.

— Что со мной сделают? — спросил я.— Неужели снова потащат на жертвенный камень?

— Нет, этого не бойся. А что там решат, я и сам не знаю. Через час ты либо умрешь, либо возвысишься, если только еще можно возвыситься в эти дни унижения и позора. Отоми хорошо поработала. Она говорит, что уже замол-

вила за тебя словечко вождям и советникам. Если у тебя есть сердце, ты должен быть ей благодарен. Редкие женщины умеют так любить! Что до меня, то я был занят другим делом,— принц покосился на свои помятые доспехи,— но и я скажу свое слово. А теперь идем, друг, факел уже догорает! Мы с тобой сегодня пережили десять смертей: одной меньше, одной больше — какая разница?

Я встал и последовал за Куаутемоком в тот самый большой зал, обшитый кедровыми панелями, где еще утром все поклонялись мне, как богу. Сейчас я уже был не богом, а просто пленником, участь которого пока что не решена.

На возвышении, где я недавно стоял в своем божественном обличии, собрались полукругом вожди и советники, еще оставшиеся в живых. Некоторые, подобно Куаутемоку, были в доспехах и окровавленных панцирях, другие в своих обычных одеждах, а одни — в облачении жреца. Но всех объединяли две общих черты — знатный род и угрюмые лица. Они собрались этой ночью вовсе не для того, чтобы решить мою судьбу,— для них это было третьестепенное дело,— а для того, чтобы держать совет, как изгнать испанцев, пока они полностью не разрушили Теночтитлан.

На возвышении в центре полукруга сидел человек в доспехах. Я узнал Куитлауака, который после смерти Монтесумы должен был стать императором. Когда я вошел, он коротко взглянул на меня и проговорил:

— Кого это ты привел, Куаутемок? А, вспомнил: это теуль, который был богом Тескатлипокой и сегодня спасся от жертвоприношения. Слушайте, вожди! Что делать с этим человеком? Законно ли будет снова положить его на алтарь?

— Нет,— отозвался жрец.— К сожалению, это против обычая, высокородный принц! Он уже лежал на жертвенном камне, он даже был ранен священным ножом, но бог отверг его в роковой час, Убейте его, если хотите, но только не на алтаре.

— Как мы решим? — снова спросил Куитлауак.— Он теуль по крови, а значит — наш враг! Главное, чтобы он не мог пробраться к этим белым дьяволам и рассказать им о наших потерях. Не лучше ли покончить с ним разом?

Многие закивали головами, но другие члены совета остались безмолвными и недвижимыми.

— Решайте! — проговорил Куитлауак.— У нас нет времени для этого человека, когда речь идет о тысячах жизней. Я спрашиваю еще раз: должен ли он умереть?

Тогда поднялся Куаутемок и заговорил:

— Прости меня, благородный отец, но я думаю, что полезнее будет сохранить жизнь этому пленнику. Я его хорошо знаю. Он храбр и честен, а кроме того, он теуль только наполовину. В нем течет кровь другого белого племени, которое ненавидит теулей так же, как и мы. Наконец, он знает их обычаи, знает, как они сражаются, а нам этих знаний не хватает, и я уверен, он сможет добрым советом помочь нам в беде.

— Советовал волк оленю — остались одни рога,— холодно отозвался Куитлауак.— Его советы заведут нас прямо в пасть теулей! Кто поручится, что этот чужестранец не предаст нас, если мы ему доверимся?

— Я поручусь своей жизнью,— ответил Куаутемок.

— Твоя жизнь, племянник, слишком большой заклад по такой игре. Все люди белого племени лжецы. Даже если он сам даст слово, оно немного будет стоить. Я думаю, лучше его прикончить и сразу разделаться со всеми сомнениями.

— Этот человек,— снова заговорил Куаутемок,— муж Отоми, принцессы народа отоми, дочери Монтесумы и твоей племянницы. Она любит его так сильно, что решилась умереть вместе с ним на жертвенном камне. И я уверен, она тоже поручится за него. Дозволь ее позвать, пусть скажет сама.

— Как хочешь, племянник. Влюбленная женщина слепа, и он, конечно, уже успел ее обмануть. Кроме того, она стала его женой только для священного обряда. Но пусть решает совет. Будем ли мы слушать принцессу Отоми?

Теперь кое-кто сказал «нет», но большинство,— это были те, кого Отоми успела склонить на свою сторону,— ответило утвердительно, и один из членов совета отправился за Отоми.

Она вошла в зал в своем царственном наряде, очень бледная, но внешне спокойная, и склонилась перед советом.

— Мы хотим спросить тебя, принцесса,— обратился к ней Куитлауак,— что делать с этим теулем? Убить его или сделать одним из наших, если только он принесет клятву? Здесь принц Куаутемок ручался за него и говорил, что ты тоже поручишься. Но женщина может это сделать лишь одним способом — если возьмет в мужья того, за кого ручается. Ты уже связана с этим чужестранцем священным обрядом. Согласна ли ты стать его женой по обычаю нашей страны и связать свою жизнь с его жизнью?

— Согласна,— спокойно ответила Отоми,— если он согласится.

— Не велика ли честь для этой белой собаки? — вспы-

лил Куитлауак.— Одумайся, племянница! Ты принцесса народа отоми и одна из дочерей нашего императора. Мы надеялись, что ты приведешь к нам горные племена отоми, связанные сейчас союзом с проклятыми тласкаланцами, рабами теулей. Твоя жизнь слишком драгоценна, чтобы доверять ее чужеземцу. Ибо знай, Отоми, если он нас предаст, даже твой знатный род не спасет тебя от смерти!

— Я это знаю,— все так же спокойно проговорила Отоми.— Чужеземец он или нет, я люблю этого человека и отвечаю за него своей кровью. Вместе с ним я хотела отправиться к своему племени и напомнить народу отоми о его истинном долге. Но пусть он скажет сам за себя. Может быть, он не захочет взять меня в жены.

Куитлауак мрачно усмехнулся и проговорил:

— Когда приходится выбирать между объятиями смерти и объятиями твоих прекрасных рук, племянница, ответ угадать нетрудно. Ну что ж, говори, теуль, только быстрее!

— Я не задержу тебя, господин,— ответил я.— Если принцесса согласна быть моей женой, я согласен стать ее мужем.

Так сразу разрешились все мои сомнения и тревоги. Как справедливо заметил Куитлауак, сделать выбор между Отоми и смертью было нетрудно.

Услышав мой ответ, Отоми пристально посмотрела на меня и тихо спросила:

— Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили, теуль? Этой женитьбой ты отрекаешься от своего прошлого и вручаешь мне свое будущее.

— Помню,— ответил я, и в это мгновение передо мной возникло лицо Лили, каким я видел его в последний раз, в день разлуки. Так я нарушил свое обещание.

Куитлауак посмотрел на меня, словно пытаясь заглянуть в мою душу, и сказал:

— Я тебя выслушал, теуль. Ты, белый пришелец, милостиво согласился взять в жены принцессу Отоми и благодаря ей сделаться одним из знатнейших вождей нашей страны. Но скажи, можно ли тебе верить? Если ты нас обманешь — твоя жена умрет! Или это для тебя тоже ничего не значит?

— Я готов поклясться в верности,— ответил я.— Испанцев я ненавижу, и б о с ними мой злейший враг — вчера он пытался меня заколоть. Чтобы убить его, я переплыл океан. Больше мне сказать нечего, и если вы мне не верите, лучше покончим сразу. Я уже столько натерпелся от вашего народа, что теперь мне все равно — жить или умереть.

— Смело сказано, теуль! А теперь, вожди, решайте: отдать его в мужья Отоми, чтобы он принес клятву и стал одним из наших, или убить на месте? Вы знаете все. Если ему можно довериться, как говорят Куаутемок и Отоми, он один будет стоить целого войска, потому что знает язык, обычаи, оружие и военные хитрости этих белых дьяволов, которых боги наслали на нас. Но если нет — а доверять людям этого племени трудно,— он сможет принести нам неисчислимые беды! Рано или поздно он сбежит к теулям и выдаст им все — тайны наших советов, наши силы и наши слабости. Решайте, вожди, его участь!

Члены совета начали спорить и переговариваться. Одни думали одно, другие — другое, и по всему было видно, что между ними нет единодушия. Наконец, наскучив ожиданием, Куитлауак призвал их решить дело большинством голосов. Сначала подняли руки те, кто осуждал меня на смерть, потом те, кто считал, что лучше оставить меня в живых. Всего их было двадцать шесть человек, не считая Куитлауака, и голоса разделились поровну — тринадцать за казнь и тринадцать против.

— Видно, мой голос будет решающим,— сказал Куитлауак, когда все стало ясно. Кровь застыла у меня в жилах при этих словах: я знал, что Куитлауак меня не пощадит. Но тут снова заговорила Отоми:

— Прости меня, дядя,— сказала она.— Прежде чем выносить решение, выслушай меня! Я вам нужна, не правда ли? Народ отоми поверит только мне, и только я смогу привлечь его на нашу сторону. Моя мать была последней из древнего рода вождей отоми, я — ее единственная дочь, а мой отец — император. Пусть моя жизнь ничего не значит, зато мое имя кое-чего да стоит в эти смутные времена, ибо только я могу привести под ваши знамена тридцать тысяч воинов. Жрецы на большом теокалли тоже знали об этом. Больше всего на свете они жаждали царственной крови, но когда я захотела по данному мне праву лечь рядом с теулем на жертвенный камень, они противились до тех пор, пока я не призвала на них проклятие богов. А теперь слушай меня, повелитель! Слушайте и вы, вожди! Если хотите, убейте этого человека, но тогда я завершу начатое вчера и последую за ним в могилу, а вам придется поискать кого-нибудь другого, чтобы привести мятежные племена отоми к верности.

Отоми умолкла. Собравшиеся в зале удивленно перешептывались: никто из них не подозревал, что в женском

сердце может быть столько любви и мужества. Только Куитлауак пришел в ярость.

— Изменница! — вскричал он.— Ты предпочла любовника своей родине! Как ты осмелилась? Позор тебе, бесстыдная дочь императора! Видно, это у вас в крови — каков отец, такова и дочка! Разве Монтесума не бросил свой народ и не предпочел остаться среди теулей, ложных детей Кецалькоатля? А теперь и дочь идет по той же дорожке. Признайся, женщина, как тебе с любовником удалось спастись от смерти на теокалли, когда все остальные погибли? Может быть, ты уже в заговоре с теулями? Если бы дела шли по-другому, клянусь тебе, племянница, ты умерла бы рядом с этим человеком. Ты ведь этого хочешь? Этого?..

Куитлауак задохнулся от гнева, и только глаза его продолжали метать молнии. Но Отоми не дрогнула. Бледная и спокойная, она стояла перед ним, крепко сжав руки и не поднимая глаз.

— Не упрекай меня за силу моей любви,— ответила она.— Впрочем, упрекай, если хочешь, я сказала свое последнее слово. Можешь осудить этого человека на смерть, но тогда, повелитель, ищи другого посла, чтобы заставить отоми сражаться за Анауак.

Куитлауак задумался, тяжело глядя в пространство перед собой и пощипывая бородку. Воцарилась мертвая тишина. Никто не знал, каким будет его решение.

Но вот он заговорил:

— Да будет так! Нам нужна моя племянница Отоми. Бороться с женской любовью неразумно. Теуль, мы дарим тебе жизнь, а вместе с ней богатство, честь, знатнейшую женщину нашей земли и место на нашем совете. Прими все это, но подумайте — я говорю вам обоим! — подумайте, как этим воспользоваться. Если ты нас предашь, если ты только задумаешь нам изменить, клянусь, ты умрешь самой медленной и такой страшной смертью, что при одной лишь мысли о ней сердце твое оледенеет! И с тобой умрут все — жена, дети, слуги. Ты понял? Покончим на этом. Пусть он принесет клятву.

Я слушал его, а сердце мое едва билось, и глаза застилало туманом. Еще раз мне удалось спастись от неминуемой гибели!

Но вот туман рассеялся, и мои глаза встретились с глазами женщины, которая меня спасла. Отоми, жена моя, смотрела на меня с грустной улыбкой.

Ко мне приблизился жрец. В руках у него была деревянная чаша, покрытая причудливой резьбой, и кремневый

нож. Он заставил меня обнажить руку, сделал на ней надрез, так что кровь брызнула в чашу, затем вылил из нее несколько капель на землю, бормоча какие-то заклинания. После этого жрец вопросительно посмотрел на Куитлауака, и тот, горько усмехнувшись, ответил ему:

— Освяти его кровью принцессы Отоми. Ведь она за него ручалась!

— Нет, повелитель! — возразил Куаутемок.— Они уже смешали свою кровь на жертвенном камне, а кроме того, они муж и жена. Но я тоже за него поручился, и я дам свою кровь, как залог моей жизни.

— У этого теуля хорошие друзья,— сказал Куитлауак.— Ты ему оказываешь слишком много чести, принц. Но пусть будет по-твоему.

Куаутемок вышел вперед. Жрец хотел надрезать ему руку ножом, но принц удержал его и со смехом проговорил, показывая на стреляную рану у себя на шее:

— Убери нож! Вот рана, нанесенная теулями. Словно нарочно для такого случая!

Сдвинув повязку, жрец собрал немного крови Куаутемока в другую маленькую чашу, затем обмакнул в нее палец и начертил у меня на лбу крест, словно христианский священник на лбу новорожденного.

— Перед ликом нашего бога,— медленно заговорил жрец,— именем бога всевидящего и вездесущего отмечаю тебя этой кровью и да будет она твоей! Перед ликом нашего бога, именем бога всевидящего и вездесущего проливаю твою кровь на землю!

Тут он пролил часть моей крови и продолжал:

— Как эта кровь исчезла в земле, пусть исчезнет и будет забыта твоя прошлая жизнь, ибо ты вновь родился среди народа Анауака. Перед ликом нашего бога, именем бога всевидящего и вездесущего я смешиваю кровь с кровью,— жрец смешал кровь из обеих чаш,— и касаюсь этой кровью твоего языка,— обмакнув палец в чашу, он коснулся им кончика моего языка,— дабы ты мог повторить слова клятвы:

— Пусть все страдания и болезни поразят меня, пусть проживу я всю жизнь в нищете и умру в мучениях страшной смертью, пусть душа моя будет изгнана из Обители Солнца, пусть она странствует вечно во мраке, лежащем за звездами, если преступлю эту клятву:

«Я, теуль, клянусь в верности народу Анауака и его законным правителям. Клянусь сражаться со всеми его врагами, вплоть до их истребления, а особенно с теулями, поку-

да не будут они сброшены в море. Клянусь не гневить богов Анауака. Клянусь быть верным супругом Отоми, принцессы народа отоми, дочери Монтесумы, до конца ее дней. Клянусь не пытаться бежать из этой страны. Клянусь позабыть об отце и матери и о земле, на которой родился, ради этой земли, что стала мне новой родиной. И да будет клятва моя нерушима, пока из жерла Попокатепетля извергается дым и пламя, пока наши вожди царствуют в Теночтитлане, пока наши жрецы приносят жертвы на алтарях богов и пока существует народ Анауака».

— Клянешься ли ты во всем этом? — возгласил жрец.

И мне пришлось ответить:

— Клянусь во всем.

Многое в этой клятве мне совсем не нравилось, однако делать было нечего. Но вот что примечательно! С той ночи не прошло и пятнадцати лет, как Попокатепетль перестал извергать дым и пламя, в Теночтитлане не осталось ни одного ацтекского вождя, жрецы перестали приносить жертвы на алтарях богов, народ Анауака перестал быть народом и, следовательно, клятва моя утратила всякую силу и смысл. А ведь жрец перечислял все это как нечто самое незыблемое, нерушимое!

Когда я принес клятву, Куаутемок приблизился и обнял меня:

— Приветствую тебя, теуль, брат мой по крови и духу! — сказал он.— Теперь ты один из наших, и мы ждем от тебя совета и помощи. Садись со мной рядом.

Я недоверчиво взглянул на Куитлауака, но тот ответил мне с ласковой улыбкой:

— Теуль, судьба твоя решена. Мы тебя приняли, и ты принес великую клятву братства и верности. Нарушить ее — значит умереть страшной смертью и обречь себя на мучения на том свете. Забудь же обо всем, что было сказано, когда весы колебались, ибо чаша склонилась на твою сторону. Пока ты не дашь нам повода усомниться в тебе, в нас ты можешь не сомневаться. Отныне как муж Отоми — ты вождь среди вождей, наделенный богатством и властью, и можешь по праву сидеть на нашем совете рядом со своим братом Куаутемоком.

Я занял указанное мне место, и Отоми удалилась. Со мной было все решено. Куитлауак вернулся к насущным государственным делам.

Он говорил медленно, с трудом, и голос его не раз прерывался от горя. Он говорил о страшных бедствиях, обрушившихся на страну, о гибели сотен храбрейших ацтеков,

об избиении жрецов и воинов на большом теокалли, о надругательстве над богами Анауака. Положение было отчаянное.

— Что делать? — спрашивал Куитлауак.— Монтесума умирает пленником в лагере теулей, а тем временем огонь, который он сам раздул, пожирает страну. Все усилия наши разбиваются о железную мощь этих белых дьяволов, вооруженных непонятным и страшным оружием. Каждый день приносит новые поражения. На что надеяться, когда боги свергнуты, когда их алтари залиты кровью жрецов, когда оракулы безмолвствуют или пророчат гибель?

Один за другим поднимались вожди и военачальники, высказывая свое мнение. Наконец Куитлауак проговорил, глядя на меня:

— Среди нас находится новый член совета, опытный в военных делах и обычаях белых людей. Час назад он сам был одним из них. Может быть, он скажет что-нибудь утешительное? Говори, брат мой!

И тогда я заговорил:

— Высокородный Куитлауак, вожди и принцы! Вы оказали мне честь, спрашивая у меня совета. Я отвечу вам коротко. Вы зря тратите силы, бросая свои отряды против каменных стен и оружия теулей. Так вы их не одолеете. Чтобы добиться победы, нужно действовать по-другому. Испанцы не боги, как думают невежды, они обыкновенные люди и ездят не на демонах, а на обыкновенных вьючных животных. В стране, где я родился, эти животные служат для всевозможных целей. Испанцы, как я сказал, обыкновенные люди. А разве люди не испытывают жажды и голода? Разве они могут обходиться без сна? Разве их нельзя убить сотнями способов? И разве вы сами не видите, что они уже смертельно измучены? Пусть это будет моим словом утешения. Прекратите атаки и окружите лагерь теулей так плотно, чтобы ни к ним, ни к их союзникам тласкаланцам не проникало ни крошки пищи. Не пройдет и десяти дней, как они либо сдадутся, либо попытаются прорваться к побережью. Но для этого им придется сначала выйти из города. Если мы пересечем все дамбы рвами, теулям придется нелегко! И вот тогда, когда они попытаются вырваться, нагруженные золотом, которого они жаждали и ради которого сюда явились, тогда, повторяю, настанет час обрушиться на них и уничтожить всех до единого!

Ропот одобрения встретил мои слова.

— Похоже, что мы не ошиблись, сохранив жизнь этому человеку,— сказал Куитлауак.— Он говорит мудро, и я

жалею только о том, что мы не действовали так с самого начала. Я готов последовать его совету. А что скажете вы, вожди?

— Мы скажем вместе с тобой: его слова мудры! — ответил Куаутемок.— Надо, чтобы они стали делом.

Вскоре после этого совет закончился, и на исходе ночи я отправился в свою комнату, полуживой от усталости и волнения, пережитого за эти сутки, полные всевозможных событий. На востоке уже разгоралась заря. Сумеречный свет ее помог мне отыскать дорогу среди безлюдных переходов дворца, и, наконец, я добрел до знакомого занавеса. Я откинул его и вошел. Там в дальнем конце комнаты стояла женщина. Призрачный свет мерцал на ее белоснежном одеянии, на ее распущенных иссиня-черных волосах и золотых украшениях. Это была Отоми, моя жена.

Я приблизился к ней. Она скользнула мне навстречу с простертыми вперед руками. Они обвились вокруг моей шеи, и губы ее запечатлели поцелуй на моем лбу.

— Свершилось,— прошептала она.— О любовь моя, господин мой! К добру или к худу, но теперь мы одно до самой смерти, ибо наши клятвы нельзя нарушить.

— Поистине свершилось, Отоми,— ответил я,— и клятвы наши нерушимы на всю жизнь, хотя ради них я нарушил другую клятву.

Так я, Томас Вингфилд, стал супругом Отоми, принцессы народа отоми, дочери Монтесумы.

Глава XXIV

«НОЧЬ ПЕЧАЛИ»

Наутро, когда я проснулся, решение совета уже было исполнено: все мосты, соединявшие дамбы, разрушены, а сами дамбы, пересекающие озеро, подобно широким приподнятым над водой дорогам, перекопаны глубокими рвами.

К вечеру, облаченный в наряд индейского воина, я вместе с Куаутемоком и военачальниками отправился на переговоры с Кортесом. Кортес говорил с той самой башни, на которой стрела Куаутемока поразила Монтесуму. Переговоры ничего не дали, и я вспоминаю о них лишь потому, что впервые после того, как оставил Табаско, увидел вблизи Марину и услышал ее певучий и нежный голос. Она стояла, как обычно, рядом с Кортесом и переводила ацтекам его условия перемирия. Одно из них показало мне, что де Гарсиа не потратил времени зря. Кортес обе-

щал отпустить несколько знатных ацтеков в обмен на белого человека, сбежавшего с жертвенного алтаря, которого испанцы хотели повесить как шпиона и дезертира, изменившего королю Испании.

«Интересно,— подумал я,— знает ли Марина, что «белый человек», это ее старый друг из Табаско?»

— Как видишь, тебе повезло, теуль,— со смехом обратился ко мне Куаутемок.— Если бы ты не стал одним из наших, твои собратья встретили бы тебя веревочной петлей!

Затем он ответил Кортесу, ни словом не упоминая обо мне. Он советовал испанцам готовиться к смерти.

— Многие из нас погибли,— говорил Куаутемок,— но и вы погибните тоже. Теули, вы умрете с голода и жажды или на алтарях наших богов. Вам нет спасения, теули, ибо мосты разрушены!

И вся многотысячная толпа подхватила его слова:

— Вам не спастись, теули! Мосты разрушены!

Затем засвистели стрелы, и я вернулся во дворец, чтобы рассказать Отоми все, что мне удалось узнать о ее двух сестрах-заложницах и о ее отце. По словам испанцев, Монтесума лежал при смерти.

Я также поведал Отоми о происках своего врага. Она поцеловала меня и, улыбаясь, сказала, что, хотя отныне моя жизнь и связана с ней, это все-таки лучше, чем если бы я попал в руки испанцев.

Два дня спустя по городу разнесся слух о смерти Монтесумы, а вскоре после этого испанцы передали ацтекам для погребения его труп, облаченный в великолепные царственные одежды. Монтесуму перенесли в приемный зал дворца, а оттуда ночью переправили в Чапультепек и похоронили без всяких церемоний, опасаясь, как бы разъяренная толпа не растерзала на клочки даже его останки.

Стоя рядом с плачущей Отоми, я в последний раз видел лицо этого несчастнейшего из монархов, чье царствование началось так блистательно и кончилось так плачевно.

«Чьи горести могут сравниться с его страданиями? — думал я, глядя на мертвого императора.— Он умирал, лишенный власти и окруженный ненавистью своего народа, которому сам изменил. Он умирал пленником чужеземных хищников, терзающих сердце его родины. Понятно, почему Монтесума срывал повязки со своих ран и не давал себя перевязывать. Самая глубокая рана была у него в душе, и исцелить ее могло только одно лекарство — смерть. А ведь он был не так уж виноват! Трусливым и суеверным его сдела-

ли идолы, почитаемые им за богов, идолы, ныне низвергнутые вместе со своими жрецами. Если бы они не внушили Монтесуме тот непреодолимый ужас, который заставил его впустить испанцев в Теночтитлан, ацтеки оставались бы свободными еще долгие годы. Но, видно, судьба решила иначе: обесчещенный и ныне мертвый император был только ее орудием!»

Так размышлял я над телом великого Монтесумы, когда Отоми, сдерживая слезы, поцеловала покойного и воскликнула:

— Хорошо, что ты умер, отец мой, ибо все, кто тебя любил, не хотели тебя видеть в рабстве и унижении! Да пошлют мне твои боги силу отомстить за тебя! А если они не боги — я найду эту силу в себе. Клянусь тебе, отец, пока у меня останется хоть один воин, я буду мстить!

Не прибавив больше ни слова, Отоми взяла меня за руку, и мы удалились.

Этой своей клятве она была верна до конца.

В тот день и на следующий испанцы предприняли несколько вылазок, чтобы завалить сделанные нами разрывы в дамбах. Им удалось это сделать, правда, не без потерь, но едва они отступили, мы снова перекопали дамбы еще более глубокими рвами, так что усилия противника не привели ни к чему.

В эти дни я впервые принял участие в схватках. Мой английский лук сослужил мне добрую службу, и случилось так, что первая выпущенная из него стрела полетела в моего заклятого врага де Гарсиа. Но мне снова не повезло, хотя цель была превосходной. То ли от чрезмерного волнения, то ли с отвычки я взял слишком высоко, и наконечник стрелы пронзил самую верхушку его железного шлема, не причинив испанцу никакого вреда: он только покачнулся в седле — и все. Но и этот весьма скромный успех необычайно возвысил меня в глазах ацтеков. Лучники они были прескверные, и к тому же ни разу не видели, чтобы стрела пробивала испанские доспехи. Я бы тоже не смог этого сделать, если бы не подобрал тяжелые стрелы от испанских арбалетов и не приделал их железные наконечники к своим стрелам. Когда расстояние не слишком велико и цель хорошо видна, против такой стрелы не мог защитить ни один панцирь.

После первого боевого дня меня назначили военачальником отряда в три тысячи лучников. Теперь впереди меня носили мой боевой значок, сам я ходил в пышном облачении военного вождя. Но мне лично гораздо больше при-

шлась по душе кольчуга, снятая с убитого испанского всадника. В течение многих лет я всегда носил ее под стеганым хлопковым панцирем, и это не раз спасало мне жизнь, потому что даже пули не пробивали такую двойную броню.

Мне довелось командовать своими лучниками всего двое суток — срок слишком ничтожный, чтобы научить их дисциплине, о которой они имели весьма слабое представление, хотя каждый из них в отдельности был достаточно храбр. А затем пришло время бросить их в бой. Это случилось в ту самую роковую ночь, которую испанцы до сих пор называют «noche triste» — «Ночь печали»*.

Вечером накануне во дворце собрался совет. Я выступил на нем и сказал, что теули наверняка попытаются вырваться из города и сделают это скорее всего под покровом темноты, потому что иначе они не пытались бы засыпать рвы в дамбах. Куитлауак, ставший после смерти Монтесумы императором, хотя еще и не коронованным, ответил мне, что теули, конечно, помышляют о бегстве, но никогда не осмелятся выступить ночью, ибо тогда они запутаются в лабиринте улиц и дамб.

Я возразил ему:

— Ацтеки не привыкли к ночным сражениям и переходам, но для белых людей это обычное дело. Вы уже могли в этом убедиться. Испанцы знают, что ночью ацтеки не воюют, и именно потому скорее всего постараются ускользнуть под прикрытием темноты, надеясь, что их враги будут в это время спать. Я советую поставить часовых в начале каждой дамбы.

Куитлауак согласился. Охрану дамбы, ведущей на Тлакопан, он поручил Куаутемоку и мне.

Ночью мы с Куаутемоком и несколькими воинами отправились в обход постов, установленных нами на дамбе. Время приближалось к полуночи. В кромешном мраке моросил мелкий дождь, и вокруг ничего не было видно, словно у нас в Норфолке осенью, когда землю по ночам окутывает туманная мгла. С трудом отыскали мы и сменили часовых, которые сказали, что все было спокойно. Лишь на обратном пути к большой площади я вдруг услышал неясный шум, похожий на звук сотен шагающих ног.

— Слушай! — проговорил я.

— Это теули,— шепотом ответил Куаутемок.— Они уходят!

---

* «Ночь печали» — с 29 на 30 июня 1520 года — ночь жестокого разгрома испанцев и их союзников при отступлении из Теночтитлана.— *Прим. перев.*

Мы бросились бегом к улице, выходившей с большой площади на дамбу, и здесь даже сквозь темноту и дождь увидели тусклый блеск панцирей.

— К оружию! — закричал я страшным голосом.— К оружию! Теули уходят по дамбе на Тлакопан!

Часовые мгновенно подхватили мой призыв и, переходя от поста к посту, он вскоре зазвучал по всему городу. Его выкрикивали на улицах и на каналах, он гремел с кровель домов и верхних площадок сотен храмов. Город с ропотом пробуждался. Воды озера забурлили под ударом десятков тысяч весел, словно бесчисленные стаи водяных птиц разом сорвались со своих тростниковых гнездовий. Повсюду то здесь, то там падающими звездами вспыхивали и угасали факелы, со все сторон слышался дикий вой труб и хриплые звуки раковин, а над всем этим, надрываясь, гудел на теокалли барабан из змеиной кожи, в который неистово колотили жрецы. Скоро глухой ропот превратился в рев, и многочисленные отряды вооруженных ацтеков устремились к тлакопанской дамбе. Некоторые бежали по суше, однако большинство прибывало на челнах, сплошь покрывших все озеро, насколько хватал глаз.

Но вот появились испанцы. Их было тысячи полторы, да еще тысяч шесть-восемь тласкаланцев. Они вступили на дамбу, вытягиваясь в тонкую линию.

Куаутемок и я, собирая по пути воинов, бросились навстречу врагу, к первому каналу, пересекающему дамбу, где уже теснились десятки наших челнов. Авангард испанской колонны достиг тем временем противоположного берега канала, и сражение закипело.

Ацтеки дрались беспорядочно, без всякого плана. Военачальники в темноте не видели своих воинов, а те не слышали их приказов. Но ацтеков было бесчисленное множество, и в груди у каждого горело только одно желание — уничтожить теулей!

Загрохотала пушка, осыпав нас градом картечи, и при вспышке выстрела мы увидели, что испанцы перекидывают через канал заранее приготовленный переносной мост. Мы бросились на врага. Все смешалось. Каждый сражался теперь сам за себя.

Первый натиск испанцев расшвырял нас с Куаутемоком, как вихрь осенние листья, и хотя оба мы уцелели, в эту ночь нам больше не удалось встретиться. Вместе с нами и следом за нами по дамбе катился растянувшийся поток испанцев и тласкаланцев, в то время как ацтеки вгрызались

во фланги продвигающейся с боем колонны, словно муравьи в раненого червя.

Как рассказать обо всем, что произошло в ту ночь? Я этого сделать не могу, потому что сам видел немного. Знаю только, что в течение двух часов я дрался как одержимый.

Врагам удалось пройти через первый канал, но переносной мост под их тяжестью осел и так увяз в грязи, что его уже невозможно было сдвинуть с места. А впереди через шестьсот ярдов дамбу пересекал второй канал, еще шире и глубже первого. Перебраться через него испанцы смогли бы, только завалив его трупами.

Казалось, все дьяволы сорвались с цепи и разбушевались на этой узенькой полоске земли. Гром пушек, мушкетов и аркебуз, предсмертные стоны и вопли ужаса, призывы испанских солдат и боевые кличи ацтеков, ржание раненых лошадей, плач женщин, свист дротиков, жужжание стрел и глухой шум ударов — все смешалось в дикую, отвратительную, потрясающую небеса какофонию. Словно обезумевшее стадо, длинная колонна испанцев с ревом металась из стороны в сторону. Многие скатывались с дамбы в озеро, и здесь в воде их либо убивали, либо втаскивали в челны и увозили, чтобы принести в жертву, другие тонули сами, но больше всего испанцев было затоптано в грязь и погибло при переходе каналов.

Сотни ацтеков тоже пали в этом бою, и большей частью от руки своих соплеменников, которые рассыпали в темноте удары, не зная, кому они достанутся, и стреляли из луков, не ведая, в чью грудь вонзятся их стрелы.

Я сражался вместе с небольшим отрядом собравшихся вокруг меня воинов до самого рассвета, когда первые лучи, наконец, озарили ужасающую картину боя. Оставшиеся в живых испанцы и их союзники перебрались через второй канал, заваленный трупами их соратников, пушками, остатками снаряжения и грузом сокровищ Теперь сражение на дамбе кипело уже по ту сторону канала. Но часть испанцев и тласкаланцев еще пробивалась тесной толпой через второй страшный мост; на них-то я и напал со всеми своими воинами.

Я устремился прямо в гущу врагов. Внезапно передо мной мелькнуло лицо де Гарсиа. Закричав, я бросился на него, и он узнал меня, оглянувшись на мой голос. С проклятием обрушил он свой тяжелый меч мне на голову, но клинок отколол только часть моего деревянного раскрашенного шлема и лишь ранил меня. Но, падая, я нанес де Гарсиа удар прямо в грудь своей боевой палицей и тоже сбил

его с ног. Наполовину оглушенный и ослепленный ударом, я ползком пробирался к нему сквозь давку. Я ничего не видел, кроме его сверкающего в грязи панциря. Вцепившись в горло испанца, я потащил его к краю дамбы, и мы вместе скатились в озеро. Здесь у самой дамбы было неглубоко. Оседлав своего врага, я с жестокой радостью отер кровь с лица, чтобы теперь-то разделаться с ним наверняка.

Все тело его было под водой, но голова лежала на выступе дамбы. Палицу свою я потерял, и единственное, что мне оставалось, это окунуть его с головой и держать в воде, пока он не захлебнулся.

— Попался, де Гарсиа! — крикнул я по-испански, стискивая пальцы на его шее.

— Отпусти меня ради бога! — прохрипел снизу грубый голос.— Болван, ты принял меня за индейского пса!

С удивлением уставился я на своего врага. Я схватил де Гарсиа, но голос был не его и лицо не его. Передо мной был обыкновенный огрубевший в походах испанский солдат.

— Кто ты? — спросил я, ослабляя хватку.— Куда делся де Гарсиа,— вы его называете Сарседой?

— Сарседа? Откуда я знаю! Минуту назад он валялся носом вверх на дамбе. Этот дурак подкатился мне под ноги, и я упал. Отпусти, говорят тебе! Я не Сарседа, но даже будь я им, разве сейчас время сводить личные счеты? Я твой товарищ Берналь Диас. Матерь божья! А ты кто? Ацтек, говорящий по-испански?

— Я не ацтек,— ответил я.— Я англичанин и сражаюсь за ацтеков только для того, чтобы убить этого Сарседу, как вы его зовете. Но к тебе у меня нет вражды. Вставай, Берналь Диас, и спасайся, если можешь. Нет, твой меч я оставлю себе.

— Англичанин, испанец, ацтек или сам черт,— проворчал Диас, выбираясь из тины,— кто бы ты ни был, ты добрый малый, и клянусь, если я сегодня уцелею и когда-нибудь потом случайно схвачу за глотку тебя, я вспомню о твоей услуге. Прощай!

Не прибавив больше ни слова, он вскарабкался по откосу дамбы и нырнул в поток отступающих, оставив свой добрый меч у меня в руках. Я хотел последовать за ним, чтобы отыскать де Гарсиа, который снова ушел от расплаты, но силы меня оставили. Рана была слишком глубока. Истекая кровью, я сидел в воде до тех пор, пока не подошел челн и меня не отвезли к Отоми. Ей пришлось ухаживать

за мной целых десять дней, прежде чем я снова смог встать на ноги.

Таково было мое участие в «Ночи печали». Увы, наша победа ничего не дала, несмотря на то, что в ту ночь пало более пятисот испанцев и тысячи их союзников. Ацтеки не имели никакого понятия ни о военном искусстве, ни о дисциплине и не сумели воспользоваться своим преимуществом. Вместо того чтобы преследовать испанцев и уничтожить их всех до последнего, они бросились грабить мертвых и вылавливать из озера живых для своих жертвоприношений.

Отоми эта ночь отмщения тоже принесла много горя. Два ее брата, сыновья Монтесумы, которых испанцы захватили в качестве заложников, погибли во время отступления.

Что касается де Гарсиа, то я так и не узнал, уцелел он тогда или нет.

Глава XXV

СОКРОВИЩА МОНТЕСУМЫ

Тока я лежал не поднимаясь, Куитлауак был коронован императором вместо своего умершего брата Монтесумы. Меня приковали к ложу две раны: одна от меча де Гарсиа, а вторая от жертвенного ножа жреца. Эта рана не успела зажить; во время яростного боя в «Ночь печали» она снова открылась и начала сильно кровоточить. Долгие годы она доставляла мне немало беспокойства, и даже сейчас я ее чувствую с приближением осени.

Отоми заботливо ухаживала за мной. Странная вещь — сердце женщины! Из-за того, что я не погиб и даже прославился в бою, она словно позабыла о постигшем ее горе, о смерти отца и братьев, и с увлечением рассказывала мне о пышной церемонии коронации.

Ацтеки поистине обезумели от радости. Наконец-то теули ушли! Все забыли или делали вид, что забыли о гибели тысяч воинов и знатнейших людей, цвета нации, и, казалось, совсем не думали о будущем. От дома к дому, из улицы в улицу носились группы юношей и девушек в венках из цветов, громко выкрикивая:

— Теулей нет! Радуйтесь вместе с нами! Теули бежали, веселитесь!

И горе тем, кто не смеялся вместе с ними, несмотря на то, что многие семьи посетила смерть.

На большой пирамиде снова отстроили храмы и поставили изваяния богов, а с воздвигнутым испанцами распятием ацтеки поступили так же, как в свое время испанцы с идолами Уицилопочтли и Тескатлипоки, то есть сбросили его вниз с теокалли, предварительно принеся перед ним в жертву несколько испанских пленников. Об этом святотатстве мне рассказал Куаутемок, впрочем, без особого восторга. Я ему уже кое-что говорил о нашей вере, и хотя Куаутемок был слишком закоренелым язычником, чтобы отречься от своих идолов, в глубине души он считал, что бог христиан — это бог истинный и всемогущий. К тому же Куаутемок, как и Отоми, никогда не был сторонником человеческих жертвоприношений, однако ему приходилось это скрывать, опасаясь жрецов, ибо власть их была велика.

Выслушав его рассказ, я пришел в такую ярость, что утратил всякую осторожность и воскликнул:

— Слушай, Куаутемок, брат мой! Я поклялся в верности вашему делу и породнился с вашим народом. Но сегодня я говорю тебе: дело ваше отныне проклято! Ваши кровавые идолы и жрецы сами обрекли его на погибель. Те, кто поклоняется истинному богу, скоро вернутся с новыми силами. Поруганный крест будет снова стоять на месте ваших идолов, и уже никто его никогда не свергнет!

Так я сказал ему, и мои слова, хотя никто мне их не внушал и я говорил просто в порыве гнева, оказались пророческими. На месте жертвенников в Мехико сегодня возвышается церковь.

— Ты слишком неосторожен, брат мой,— проговорил в ответ Куаутемок. Он казался довольно спокойным, но было видно, что мое мрачное пророчество его встревожило.— Повторяю, ты слишком неосторожен. Если кто-нибудь услышит твои слова, ты снова встретишься со жрецами, которых поносишь, и тогда ничто тебя не спасет — ни твое положение, ни твои заслуги в бою и перед советом, ни твое бегство с жертвенного алтаря. И потом, что мы такого сделали христианскому богу? Ведь твои белые единоверцы точно так же осквернили и оскверняют наших богов! Но не будем об этом говорить! И прошу тебя, брат, если ты дорожишь моей любовью, больше не повторяй таких пророчеств, чтобы не накликать беду. Скажи лучше, ты вправду думаешь, что теули вернутся?

— Ах, Куаутемок, это так же ясно, как солнце светит. Вы держали Кортеса в своих руках и упустили его. После

этого он ухитрился выиграть битву при Отумбе*. Неужели ты думаешь, что такой человек сложит оружие и безропотно канет во мрак бесчестья и неизвестности? Не пройдет и года, как испанцы снова будут стоять у ворот Теночтитлана.

— Видно, сегодня ночью ты меня вряд ли чем-нибудь утешишь,— проговорил Куаутемок.— Но боюсь, что ты прав. Ладно, если придется сражаться, постараемся победить. По крайней мере у нас теперь нет Монтесумы, и никто не станет согревать змею у себя на груди и ждать, пока она укусит.

Куаутемок поднялся и вышел, не проронив больше ни слова. Я видел, что на сердце у него было тяжело.

На следующее утро после этого разговора я смог покинуть свое ложе, а еще через неделю я был уже совершенно здоров. Куаутемок снова навестил меня и сказал, что император Куитлауак повелел ему и мне завершить одно важное дело, требующее абсолютной тайны. Только узнав, о чем идет речь, я понял, насколько мне доверяют вожди ацтеков, ибо дело это касалось ценностей, отнятых у испанцев в «Ночь печали», и прочих неисчислимых богатств, извлеченных из тайных хранилищ империи. Мне и Куаутемоку было поручено надежно спрятать все эти сокровища.

С наступлением темноты мы с Куаутемоком и другими знатнейшими ацтеками отправились к пристани, где нас ожидало десять больших лодок, тяжело нагруженных какими-то предметами, укрытыми хлопковыми тканями. Всего под предводительством Куаутемока было тридцать человек. Надеясь, что нас никто не видел, мы сели в лодки — по трое в каждую — и два с лишним часа гребли поперек озера Тескоко, пока не пристали к противоположному берегу в том месте, где у Куаутемока были обширные владения. Здесь мы сошли на землю и сняли покровы с нашего таинственного груза.

В лодках оказались большие глиняные вазы и мешки с золотом, драгоценными камнями и ювелирными украшениями, а кроме того, всевозможные ценные предметы и среди них — отлитая из массивного золота голова Монтесумы, настолько тяжелая, что мы с Куаутемоком едва-едва ее подняли. Что же касается глиняных ваз — насколько по-

---

* Речь идет о так называемом «чуде при Отумбе», когда обескровленная армия испанцев и тласкаланцев с помощью смелого маневра двадцати всадников близ селения Отумба разгромила 14 июля 1520 года многочисленное войско ацтеков и их союзников.— *Прим. перев.*

мню, их было семнадцать штук,— то каждую с трудом перетаскивали на носилках из весел шесть человек.

Весь этот бесценный груз мы постепенно перенесли на вершину холма, расположенного футах в шестистах от озера, и уложили возле входа в отвесную шахту на куче выброшенной земли. Когда в лодках ничего не осталось, Куаутемок тронул за плечо меня и еще одного высокородного ацтека, чья мать была тласкаланкой. Он спросил, не хотим ли мы спуститься вместе с ним в шахту, чтобы помочь ему уложить сокровища.

— Охотно,— ответил я, потому что мне хотелось увидеть подземелье. Однако ацтек замешкался и, только преодолев нерешительность, согласился пойти вместе с нами себе на горе.

Куаутемок взял факелы, и его спустили вниз. Затем настала моя очередь. Словно паук на паутине, висел я на веревке, опускаясь все ниже: шахта оказалась очень глубокой. Наконец я достиг дна и очутился рядом с Куаутемоком. При свете факела, который он держал в руке, я увидел выложенный по стенам шахты на высоту человеческого роста карниз из сухих глиняных кирпичей. На нем стояла прислоненная к стене огромная каменная плита с высеченными ацтекскими письмами-рисунками, которые теперь я разбирал без труда. В надписи говорилось о том, что в первый год правления Куитлауака, императора Анауака, здесь погребены сокровища его страны; далее следовало ужасающее проклятие, грозившее тому, кто на них посягнет. Позади нас в правом углу шахты открывался горизонтальный ход длиной шагов в десять и довольно высокий — по нему можно было идти, не сгибаясь. Он оканчивался пещерой примерно такой же величины, как эта комната, где я сегодня пишу. У самого входа в пещеру был приготовлен известковый раствор и штабеля адобов, напомнившие мне штабеля обтесанных камней в севильском подземелье, где была замурована заживо Изабелла де Сигуенса.

— Кто вырыл эту пещеру? — спросил я.

— Те, кто не знали, что они роют,— ответил Куаутемок.— А, вот и наш помощник! Прошу тебя, брат, ничему не удивляйся и помни,— если я так поступаю, значит, у меня есть на то причины.

Прежде чем я успел что-либо спросить, знатный ацтек оказался рядом с нами. Затем оставшиеся наверху начали спускать вниз мешки и глиняные сосуды. Куаутемок отвязывал веревки, а мы с ацтеком перекатывали груз по проходу в пещеру точно так же, как у нас в Англии пе-

рекатывают бочки с элем. Так мы трудились часа два с лишним, пока не разместили все сокровища. Последний мешок разорвался, когда его спускали, и на нас хлынул целый дождь драгоценных камней. Большое ожерелье из поразительных по красоте и величине изумрудов упало мне прямо на голову и повисло, зацепившись за мое плечо.

— Возьми его себе, брат, на память об этой ночи! — рассмеялся Куаутемок, и я с радостью спрятал бесценный дар на груди. Это ожерелье до сих пор у меня. С него-то я и снял тот изумруд, один из самых маленьких, который подарил нашей милостивой королеве Елизавете. Долгие годы его носила Отоми, и потому я хочу, чтобы ожерелье похоронили вместе со мной. Знающие люди говорили, что ему нет цены, но какое мне до этого дело! Сколько бы оно ни стоило, ожерелье будет погребено в моей могиле на дитчингемском кладбище, и горе тому, кто задумает отнять у мертвеца эту драгоценность! Пусть поразит его проклятие, начертанное на камне, скрывающем под собой сокровища ацтеков.

Закончив работу, мы вышли из пещеры в подземный ход и начали закладывать пещеру стеной из адобов. Когда кладка достигла высоты двух-трех футов, Куаутемок разогнулся и попросил меня поднять факел повыше. Я повиновался, недоумевая, что он еще хочет тут разглядеть. Тогда принц отступил шага на три по проходу и окликнул нашего спутника-ацтека.

— Знаешь ли ты, друг, какая судьба ожидает разоблаченного предателя? — заговорил Куаутемок, высвобождая из ременной петли свою боевую палицу, усаженную обсидиановыми остриями. Голос его звучал очень спокойно, и от этого казался еще страшнее.

Ацтек посерел, несмотря на смуглую кожу, и задрожал от страха.

— Что ты хочешь сказать, господин? — прохрипел он.

— Ты сам знаешь, что,— ответил Куаутемок тем же ужасающе спокойным тоном и поднял палицу.

Обреченный рухнул на колени, моля о пощаде. Вопль его прозвучал так жутко в глубине безмолвного подземелья, что я от страха едва не выронил факел.

— Врага я мог бы еще пощадить, но предателя никогда! — ответил Куаутемок и, бросившись на ацтека, сразил его одним ударом палицы. Затем от поднял труп могучими руками и швырнул в пещеру с сокровищами. Там он и лежит до сих пор среди золота и драгоценных камней, жут-

кий страж, раскинувший руки, словно пытаясь прижать к себе два больших глиняных сосуда.

Я взглянул на Куаутемока, полагая, что теперь настал мой черед. Когда принцы тайно прячут свои сокровища, они стараются избавиться от лишних свидетелей, это я знал достаточно хорошо. Но Куаутемок сказал:

— Не бойся, брат. Этот человек был изменником, трусом и вором. Мы узнали, что он дважды пытался предать нас теулям. Мало того! Он хотел найти этот тайник, чтобы рассказать о нем нашим врагам, если они вернутся, и поживиться добычей вместе с ними. Все это мы узнали от одной женщины, которую он считал своей возлюбленной, но в действительности она была нашей шпионкой, подосланной, чтобы проникнуть в тайные замыслы его черной души. Вот он и получил свою долю сокровищ! Смотри, как он их обнимает! Даже белый человек не смог бы крепче вцепиться в золото. Ах, теуль, если бы земля Анауака не приносила ничего, кроме маиса для еды, да кремней и меди для стрел, никто бы не посягал на нашу свободу. Будь прокляты все эти сокровища! Ведь из-за них заморские акулы хотят перегрызть нам горло. Проклятие на них, говорю я! Пусть они никогда больше не засверкают при свете солнца, пусть исчезнут навечно!

И Куаутемок снова яростно принялся за работу, стремясь поскорее замуровать пещеру.

Скоро стена была почти готова. Когда осталось положить всего несколько квадратных адобов, похожих на те кирпичи, какие у нас в Норфолке идут на постройку амбаров и батрацких хижин, я просунул в отверстие факел и в последний раз заглянул в сокровищницу, ставшую одновременно могильным склепом. Она была вся завалена мерцающими драгоценностями. Поверх одного из сосудов лежала, сверкая, золотая голова Монтесумы с инкрустированными изумрудными глазами. Казалось, они смотрели прямо на меня. А внизу, привалившись спиной к этому же сосуду и обнимая руками два других, полулежал сраженный предатель. Но, казалось, он не был мертв. Может быть, это мне почудилось, только я увидел, как его глаза открылись и уставились на меня так же, как изумрудные глаза золотого изваяния, только взгляд их был еще ужаснее.

Я поспешно выдернул факел из отверстия, и мы в полном молчании продолжали работу. Когда все было кончено, мы вернулись по ходу к шахте. Здесь я с облегчением снова увидел высоко над головой сияющие звезды.

Сделав на конце веревки двойную петлю, мы дали сиг-

нал, и нас подняли на высоту верхнего края черной мраморной глыбы, которой суждено было стать надгробной плитой над сокровищами Монтесумы и над тем, кто с ними остался.

Огромный камень едва держался. Мы начали его раскачивать руками и ногами, пока он не обрушился вниз прямо на специально приготовленный кирпичный уступ, наглухо закрыв отверстие шахты; теперь проникнуть внутрь можно было, только взорвав каменную плиту порохом.

Веревку снова потянули, и скоро мы благополучно достигли поверхности.

Кто-то спросил, что случилось со знатным ацтеком, который спустился вниз вместе с нами и не вернулся.

— Как достойный и преданный слуга, он предпочел остаться, чтобы охранять сокровища, пока они не понадобятся его повелителю,— мрачно ответил Куаутемок.

Объяснений не потребовалось; все понимающе склонили головы. Затем ацтеки начали заваливать узкую шахту лежавшей тут же землей. Они работали без передышки и закончили свое дело с первыми лучами рассвета. Когда от шахты не осталось никаких следов, один из ацтеков взял мешочек с семенами и засеял взрыхленную землю. Кроме того, он посадил над шахтой два привезенных с собой молодых деревца, очевидно, для того, чтобы отметить это место. Наконец, собрав веревки и лопаты, все сели в лодки и к утру вернулись в Теночтитлан. Оставив челны у верхних причалов, мы пробирались в город поодиночке или по двое, надеясь, что нас никто не заметит.

Так мне довелось похоронить в тайнике сокровища Монтесумы, из-за которых позднее меня подвергли жестоким пыткам. Вряд ли кто-нибудь сможет их теперь отыскать! К тому времени, когда я покидал землю Анауака, никому еще не удалось проникнуть в тайник, я думаю, что из всех принимавших участие в том деле уже тогда не оставалось в живых никого, кроме меня. Я видел то самое место, когда в последний раз ехал в Мехико в сопровождении испанских солдат. Саженцы превратились в высокие могучие деревья. Я узнал их и поклялся в душе, что с моей помощью испанцы никогда не получат зарытых под ними сокровищ. Я и сейчас не указываю точно места, где они покоятся вместе с прахом изменника, опасаясь, как бы эти строки не попались на глаза кому-нибудь из испанцев.

А теперь, прежде чем говорить об осаде Теночтитлана, я должен рассказать о том, как мы с моей женой Отоми от-

правились к народу отоми и многих из них снова привели к верности и союзу с ацтеками.

Следует сказать, если только я не говорил этого раньше, что держава ацтеков объединяла самые разные народы. Кругом обитало множество племен. Одни были подданными ацтеков, другие — их союзниками, а третьи — их смертельными врагами. К числу последних относились, например, тласкаланцы, с помощью которых Кортес одолел Монтесуму и Куаутемока, небольшое, но воинственное племя, жившее между Теночтитланом и морским побережьем. К западу от тласкаланцев в горах жил, а может быть, и сейчас живет, многочисленный народ отоми, разделенный на несколько племен. Горцы-отоми гораздо мужественнее ацтеков и отличаются от них по языку и происхождению. Временами они входили в могучую державу ацтеков, временами были их союзниками, но иногда вступали с ними в открытую борьбу на стороне тласкаланцев. В общем для обитателей Анауака племена отоми были примерно тем же, что для нас, англичан, шотландские кланы.

Для того чтобы укрепить связи между ацтеками и отоми, Монтесума женился на единственной законной наследнице их великих вождей. Она умерла во время родов, а ее дочь Отоми, наследственная принцесса народа отоми, стала моей женой. Несмотря на свое высокое положение среди соплеменников, Отоми до сих пор только два раза посещала свой народ, да и то в детстве. Однако язык отоми и их обычаи она знала превосходно — всему этому ее научили кормилицы и наставники из племени отоми. От своих подданных, которые подчинялись ей гораздо охотнее, чем самому Монтесуме, Отоми получала огромную дань и пользовалась среди них большой властью.

Как уже было сказано, некоторые мятежные племена отоми соединились с тласкаланцами и вместе с ними принимали участие в войне на стороне испанцев. Поэтому большой совет решил направить Отоми и меня, ее мужа, в Город Сосен, служивший столицей для всего народа отоми. Нам было поручено важное дело: вернуть горцев под знамена ацтеков.

По обычаю, первыми отправились гонцы, а затем и мы двинулись в путь, который мог для нас окончиться чем угодно. Путешествовали мы с большой пышностью. С каждым днем наш почетный эскорт увеличивался, потому что едва племена отоми узнавали о приближении их принцессы и ее мужа-теуля, принявшего сторону ацтеков, толпы народа спешили присоединиться к ее свите, и когда на восьмой

день мы достигли, наконец, Города Сосен, за нами двигалась, оглушая нас дикой музыкой, целая армия — по крайней мере тысяч десять рослых свирепых горцев. Однако по дороге Отоми не вступала в разговоры ни с воинами, ни с их вождями, ограничиваясь обычными приветствиями, хотя горцы каждое утро, когда мы отправлялись в путь — я верхом на отбитом у испанцев коне, а моя жена в паланкине,— встречали нас громкими криками и невероятным шумом.

По мере нашего продвижения страна, как и ее обитатели, становилась все более дикой и прекрасной. Теперь мы двигались сквозь сосновые леса с островками дубовых рощ, зарослей красивого кустарника и папоротника. То и дело нам приходилось пересекать полноводные бурные реки или пробираться по ущельям и горным проходам, с каждым часом поднимаясь все выше и выше. Здесь в горах природа напоминала мне Англию, только солнца было гораздо больше.

Наконец, на восьмой день пути, мы углубились в ущелье среди красных скал. Оно тянулось на протяжении почти мили и было местами таким узким, что по нему не смогли бы проехать рядом три всадника. Отвесные утесы вздымались по обеим его сторонам на высоту до двух тысяч футов. Это была единственная дорога, ведущая к Городу Сосен, если не считать нескольких тайных горных троп.

— Смотри,— сказал я Отоми,— здесь одна сотня воинов сможет задержать целую армию!

Тогда я даже не думал, что в будущем мне придется это сделать самому.

Но вот ущелье повернуло, и я от удивления остановил коня: передо мной во всей своей красе раскинулся Город Сосен. Он лежал в круглой долине диаметром миль в двенадцать, окруженный кольцом гор, склоны которых были сплошь покрыты дубовыми и кедровыми лесами. Только одна вершина позади города в самом центре этого горного кольца была не зеленой, а черной от лавы. Над ее снежной шапкой днем вздымался столб дыма, озаряемый ночью бушующим пламенем. Это был вулкан Хака, или «Королева». Он не так высок, как его собратья, вулканы Орисаба, Попокатепетль и Истаксиуатль, но мне кажется, Хака превосходит их всех совершенством формы и красотой то синего, то пурпурного огня, который вздымается над ним по ночам или когда его недра потревожены. Племена отоми поклоняются вулкану, как богу, принося ему человеческие жертвы, и в этом нет ничего удивительного, ибо однажды потоки

лавы вырвались из кратера и проложили себе дорогу через весь Город Сосен. Они считают, что на священной вершине живут духи, а потому никто не осмеливается переступить границу снегов. И тем не менее мне суждено было это сделать — мне и еще одному человеку.

В самом центре горного кольца у подножия могучего вулкана Хака с его снежной вершиной, увенчанной дымным султаном, лежит Город Сосен. Вернее — не лежит, а лежал, потому что, когда я его покинул, там остались одни развалины. Но в те времена это был настоящий город, хотя и не столь обширный, как другие города Анауака, которые мне довелось повидать. В нем жило всего тысяч тридцать пять человек, ибо горцы-отоми не любят селиться в городах. Но хотя Город Сосен и невелик, зато он был красивее всех других индейских городов. Прямые улицы сходились к центральной площади. Вдоль них стояли утопающие в зелени садов дома из лавы с кровлями, выбеленными известкой. Посреди площади возвышался теокалли, священная пирамида, с храмами, украшенными рядами черепов, а напротив стоял дворец предков Отоми — длинное, низкое и очень старое здание со множеством дворов и бесчисленными изваяниями змей и ухмыляющихся богов. Дворец и теокалли были облицованы великолепным белым камнем, сверкавшим при солнечном свете, как серебро, благодаря чему оба здания резко выделялись на фоне темных домов, выстроенных из лавы.

Таким я увидел Город Сосен впервые. Когда я его видел в последний раз, он представлял собой груду дымящихся развалин, а сегодня его руины, наверное, служат убежищем лишь для летучих мышей да шакалов, сегодня там «царство сов», сегодня «хаос простерся над городом сим и камни пустоты заполнили его улицы».

Выбравшись из ущелья, мы ехали еще около мили по долине, где каждый клочок был возделан и засажен маисом, агавой и другими растениями, пока не очутились перед одними из четырех ворот города. На улице я увидел, что все кровли домов по обеим сторонам заполнены сотнями детей и женщин. Они осыпали нас цветами и кричали:

— Привет тебе, Отоми, принцесса отоми!

Наконец мы достигли центральной площади. Казалось, здесь собралось все мужское население гор. Воины встретили Отоми такими оглушительными криками, что, казалось, от них обрушатся скалы. Меня тоже приветствовали, прикасаясь правой рукой к земле, а затем поднимая ее ко лбу, но я полагаю, что эти почести относились не столько ко

мне, сколько к моему коню. Почти никто из отоми никогда не видал лошадей, которых они принимали за каких-то чудовищ или дьяволов.

Так мы продвигались сквозь кричащую толпу, окруженные сотнями воинов. Многие из них были разодеты в сверкающие наряды из перьев и несли расшитые боевые значки. Воины расчищали нам путь и следовали за нами, пока мы не пересекли всю площадь и, пройдя перед теокалли, где жрецы совершали свое кровавое дело, не очутились во дворце. Только здесь в странной комнате с высеченными на стенах изображениями смеющихся демонов мы смогли, наконец, отдохнуть.

На следующий день в большой зал дворца на совет вождей и старейшин племен отоми сошлось человек сто с лишним. Когда все были в сборе, я появился перед ними в одеянии знатного ацтека из самого высокого рода. Вместе со мной вошла Отоми. В своем царственном платье она была в тот день особенно хороша.

Члены совета поднялись, приветствуя нас. Отоми попросила всех сесть и заговорила:

— Слушайте меня, вожди и военачальники народа моей матери! С вами говорю я, ваша принцесса по праву рождения, последняя из рода ваших великих правителей, дочь Монтесумы, императора Анауака, ныне мертвого, но вечно живого в Обиталище Солнца. Вот мой муж, теуль! Я была дана ему в жены, когда в нем обитал дух бога Тескатлипоки, и снова вышла за него замуж по нашим земным обычаям, когда он невредимым сошел с алтаря и присоединился к нашему народу, чтобы помогать нам в битвах с врагом. Такова была воля небес и моих царственных братьев. Узнайте, вожди и военачальники,— муж мой не из наших людей и не совсем из племени теулей, с которыми мы воюем. Он из рода настоящих детей Кецалькоатля, обитающих на берегах северных морей. Дети Кецалькоатля — враги теулей, а потому и мой повелитель враждует с ними. Вы уже, конечно, слышали, что он первый узнал о бегстве незваных пришельцев и был первым воином в ночь отмщения.

Вожди и военачальники великого и древнего народа отоми! Я, ваша принцесса, прибыла к вам вместе с моим супругом по воле Куитлауака, моего и вашего императора. Он поручил мне говорить с вами о деле. Наш император слышал, и я тоже со стыдом узнала, что многие воины нашего племени примкнули к тласкаланцам, связанным подлым сговором с теулями, врагами ацтеков. Сейчас белые люди разбиты и изгнаны, но они уже почувствовали вкус золота,

они снова вернутся, как возвращаются пчелы к недопитому цветку. Одним теулям никогда не одолеть могущественный Теночтитлан. Но что будет, если вместе с ними пойдут тысячи и десятки тысяч воинов нашей земли? Я знаю, в это смутное время, когда государства колеблются, когда небо полно знамениями и сами боги кажутся бессильными, многие хотят воспользоваться смутой для своей выгоды. Многие люди и целые племена вспоминают старые войны и обиды и начинают кричать: «Пришел час отмщения! Теперь мы припомним ацтекам все — слезы вдов, пленников, принесенных в жертву, дань, собранную с бедняков!»

Разве это не так? Это так, я знаю и не удивляюсь. Но прошу вас подумать о другом. Если вы поможете теулям надеть ярмо на шею Теночтитлана, владыки всех городов, это же ярмо ляжет и на вашу шею. Безумцы! Неужели вы думаете, что если теули разрушат Теночтитлан и уничтожат ацтеков, то вас они пощадят? Нет, не пощадят! Это говорю вам я. Они сломают по одной те самые стрелы, которые направляли в грудь Теночтитлана, и обломки сожгут на своих кострах. Если падут ацтеки, все племена на нашей земле рано или поздно падут одно за другим. Жители Анауака будут перебиты, города сравнены с землей, богатства разграблены, а дети их будут есть хлеб рабства и пить воду унижения. Выбирай же, народ отоми! За кого ты будешь стоять: за своих бывших врагов, но людей близких тебе по крови и по обычаям, или за проклятых чужеземцев? Выбирайте, люди отоми, но помните: от вашего выбора и от выбора других племен Анауака зависит судьба всей нашей земли. Я ваша принцесса, и вы должны мне повиноваться, однако сегодня я не хочу приказывать. Я даю вам право выбрать между союзом с ацтеками и рабством у теулей. Выбирайте сами, говорю вам, и пусть бог богов, всемогущий незримый владыка поможет вам решить правильно!

Отоми умолкла. Одобрительный шепот пробежал по залу. Увы, я бессилен передать весь пыл ее речи и тем более не могу описать ее благородство и красоту. Скажу только, что слова Отоми проникли в суровые души вождей. Многие из них презирали ацтеков, считая их торгашами и бабами, способными лишь копаться в тине своих озер; многие в течение поколений сводили с ними счеты кровавой мести, но все они понимали, что их принцесса была права. Победа теулей над Теночтитланом означала бы победу над всеми городами Анауака. И, зная это, они не стали колебаться в выборе, хотя потом многие и отступились от своего слова в дни поражения, как это свойственно делать людям.

— Отоми! — воскликнул глашатай совета, когда все высказали свое решение.— Отоми, мы выбрали! Твои слова убедили нас, принцесса! Мы пойдем против теулей вместе с ацтеками и будем сражаться до последнего за нашу свободу!

— Теперь я вижу, что вы воистину мой народ, и я воистину ваша правительница,— ответила Отоми.— Так сказали бы вам великие вожди былых времен, мои предки, ваши правители. Так говорю вам я! Надеюсь, вы никогда не раскаетесь в своем выборе, братья мои, люди отоми!

Таким образом, мы увезли из Города Сосен обещание выставить по первому слову Киутлауака армию в двадцать тысяч воинов, готовых в борьбе с испанцами стоять за него насмерть.

Глава XXVI

ИМПЕРАТОР КУАУТЕМОК

Окончив переговоры с народом отоми, мы двинулись в обратный путь и благополучно прибыли в Теночтитлан. Это дело заняло у нас всего один месяц, однако даже такого короткого промежутка оказалось достаточно, чтобы на многострадальный город в дополнение к прежним бедам обрушилось новое несчастье. Если раньше здесь сеяли гибель мечи белых людей, то теперь сюда явилась сама смерть. Испанцы привезли из Европы страшные неведомые болезни. Страну опустошала оспа.

Изо дня в день гибли тысячи людей. Незнакомые с ужасной болезнью, индейцы лечили ее, поливая тела больных холодной водой, но этим они только загоняли заразу внутрь к важным жизненным центрам, а на второй день почти все несчастные умирали*. Жутко было смотреть, как обезумевшие от страданий больные мечутся по улицам, разнося заразу повсюду. Ацтеки умирали в каждом доме, сотни трупов лежали на торговых площадях, ожидая погребения, смерть собирала жатву во всех семьях. Даже в храмах жрецы падали перед алтарями, на которых приносили в жертвы детей, пытаясь умилостивить богов. Однако самое страшное заключалось в том, что оспа поразила императора Куитлауака. Когда мы прибыли в город, он умирал, но, уз-

---

* Такое же лечение применяется индейцами Мексики и по сей день, но если верить тому, что мне рассказывали в этой стране, оно довольно часто приводит к выздоровлению больного.— *Прим. авт.*

нав о нашем приезде, пожелал нас видеть. Тщетно я умолял Отоми не ходить к больному; она не знала страха.

— Что ты говоришь, муж мой? — со смехом воскликнула она.— Неужели я должна бояться того, чего ты не боишься? Пойдем вместе и дадим отчет о нашей поездке. Если я заболею и умру, значит, просто пришел мой час.

И мы отправились вдвоем.

Нас впустили в комнату, где лежал Куитлауак, уже покрытый погребальной пеленой, словно покойник. Вокруг него в золотых чашах курились благовония. Когда мы вошли, больной находился в забытьи, но скоро очнулся и ему о нас доложили.

— Здравствуй, племянница,— хрипло проговорил Куитлауак из-под покрова.— Видишь, дело плохо. Дни мои сочтены. Зараза теулей добивает тех, кого пощадил их меч. Скоро мое место займет другой владыка, так же, как я занял место твоего отца, но я об этом не жалею, ибо ему придется вынести всю славу и всю тяжесть последней битвы ацтеков. Говори, племянница! Не трать времени. Что тебе ответили твои отоми?

— Повелитель,— скромно сказала Отоми, не поднимая головы,— да пощадит тебя эта болезнь, чтобы ты правил нами долгие годы! Мы с моим мужем теулем привлекли на нашу сторону и вернули под твои знамена большую часть племен отоми. Армия из двадцати тысяч горцев ожидает твоего приказа, и если они падут, на их место встанут другие.

— Добрую весть принесла ты, дочь Монтесумы, и ты, белый человек! — прохрипел умирающий властелин.— Боги мудры, они не приняли вас в жертву, когда вы лежали на алтаре, а я был глупцом, когда хотел убить тебя, теуль. Но говорю вам всем: укрепите ваши сердца и, если придется умереть, умрите с честью. Битва надвигается... Мне уже не придется в ней сразиться... Кто знает, чем она кончится?..

Некоторое время Куитлауак лежал молча, потом вдруг сел на ложе, отбросил смертную пелену, и заговорил, словно на него снизошел пророческий дар. На императора страшно было смотреть: так изуродовала его болезнь.

— Увы, я вижу улицы Теночтитлана в огне и в крови! — стонал Куитлауак.— Я вижу, как лошади теулей ступают по сотням трупов! Я вижу душу моего народа: голос ее прерывается, и на шее у нее цепи. Дети расплачиваются за грехи отцов. Народ мой, который я вскармливал, как орел своего птенца, обречен на гибель. Земля разверз-

нется под ним, и бездна поглотит его за все наши злодеяния, а те, кто останутся, будут рабами из поколения в поколение, пока возмездие не свершится!

Прокричав последние слова, Куитлауак упал на подушки, и прежде чем испуганный знахарь, ухаживавший за ним, успел приподнять его голову, император Анауака уже избавился от всех земных страданий. Но последние его слова глубоко запали в сердца тех, кто их слышал. Впрочем, помимо нас, о них узнал только один человек — Куаутемок.

Так на наших с Отоми глазах умер император Куитлауак, правивший ацтеками всего четыре месяца*. Народ снова оплакивал своего вождя, духовного отца многих тысяч детей, которого мор унес в Обиталище Солнца, а может быть, и в Зазвездный Мрак.

Но траур не мог длиться долго. Время не ждало. Необходимо было как можно скорее избрать нового императора, чтобы он встал во главе армии и всего народа. Поэтому на другой же день после похорон Куитлауака четыре главных выборщика созвали большой совет принцев и прочих знатных людей общим числом более трехсот.

Я тоже принял в нем участие как военачальник и как муж принцессы Отоми.

Собственно говоря, спорить нам было не о чем. Сколько бы ни называлось разных имен, все знали, что трон императора Анауака по праву рождения, по праву благородного ума и мужественного сердца мог занять только один человек, способный справиться со всеми трудностями. И этим человеком был мой друг и кровный брат Куаутемок, племянник двух последних императоров, муж Течуишпо, дочери Монтесумы, сестры Отоми. Повторяю: все это прекрасно знали — все, кроме самого Куаутемока. Когда мы шли на совет, он назвал двух других принцев и сказал, что выбор, несомненно, падет на одного из них.

Этот совет был торжественным и великолепным зрелищем. Четыре великих вождя собрались в центре зала, а вокруг них на некотором отдалении, но так, чтобы все слышать и видеть, расположились триста вождей и принцев, которые должны были подтвердить решение выборщиков. Верховный жрец, чьи мрачные одеяния выделялись, как кусок угля среди россыпи золота, вознес торжественную молитву.

— О божество, всевидящее и вездесущее! — взывал

---

* С начала июля и до конца октября 1520 г.— *Прим. перев.*

он.— Наш повелитель Куитлауак отошел к тебе. Ныне он прах у подножия твоего трона, и да покоится он там с миром. Он прошел тот путь, который нам всем предстоит пройти, он достиг царства мертвых, обители бессмертных теней. Он погрузился в сон, который никто уже не потревожит. Недолгий труд его завершен, и ныне он отошел к тебе со всеми своими страданиями и грехами. Ты дал ему вкусить радость, но не дал испить ее до конца; величие власти мелькнуло перед его глазами, как видение бреда. С мольбой, обращенной к тебе, и со слезами поднял он это бремя и с радостью и надеждой сбросил его с себя. Он ушел к своим предкам и уже не вернется. Пламя стало золой, светоч стал мраком. Те, кто носил до него пурпурную мантию, вместе с ней передали ему всю тяжесть власти, и сейчас он оставил ее другому. Воистину он должен благодарить тебя, вождя над вождями, владыку звезд, стоящего выше всех, ибо ты снял с его плеч непосильное бремя, ты избавил его от венца забот, ты дал ему вместо войны мир, а вместо трудов — отдохновение.

О бог, с надеждой молим тебя! Избери того, кто заменит ушедшего! Избери его по воле своей, чтобы он не ведал ни страха, ни колебаний, чтобы он трудился и не уставал, чтобы он вел за собой народ наш, как ведет своих детей мать. О вождь вождей! Будь милостив к сыну своему Куаутемоку, нашему избраннику. Благослови его на этот подвиг и дозволь ему по нашей мольбе оставаться на троне земном до конца его дней. Пусть враги станут прахом у него под ногами, да возвысится его слава, да укрепит он веру в богов и могущество своего царства! Молю тебя об этом от лица всего нашего народа. Да свершится твоя божественная воля!

Когда верховный жрец закончил молитву, поднялся один из четырех великих выборщиков и сказал:

— Именем бога и волей народа Анауака, мы возводим тебя, Куаутемок, на трон Анауака. Живи долго, правь справедливо, и пусть тебе достанется слава победы над врагами, которые хотели нас уничтожить. Сбрось их в море, Куаутемок! Слава тебе, Куаутемок, император ацтеков и всех других подвластных ацтекам племен!

И все триста человек большого совета откликнулись громовым раскатом, подтверждая избрание:

— Слава тебе, император Куаутемок!

Тогда принц выступил вперед и заговорил:

— Слушайте меня, великие выборщики, и вы, принцы, военачальники, вожди и командиры, члены большого сове-

та! Видят боги, по пути сюда я не думал и не знал, что вы облечете меня столь высоким доверием. И видят боги, если бы моя жизнь принадлежала только мне, а не всему народу, я бы ответил вам: «Найдите кого-нибудь более достойного для трона!» Но я над собой не властен. Анауак призывает своего сына, и я повинуюсь. Родине угрожает война не на жизнь, а на смерть. Неужели же я отступлю, когда моя рука полна силы для удара, а разум полон замыслами сражений? Нет, ни за что! Отныне и навечно я отдаю себя служению родине и борьбе с теулями. Я не примирюсь с ними и не успокоюсь до тех пор, пока не сброшу их в море, из-за которого они явились, или сам не паду от вражеского меча. Никто не знает, что готовят нам боги — победу или разгром. Но что бы нас ни ожидало, смерть или слава, поклянемся великой клятвой! Братья мои, народ мой! Поклянемся сражаться с теулями и примкнувшими к ним изменниками, за наши города, за наши очаги и алтари до тех пор, пока сердца наши не остановит смерть, пока города не превратятся в дымящиеся руины и пока алтари не обагрятся кровью тех, кто им поклоняется. Если нам суждено победить, мы победим, а если нам суждено погибнуть, о нас сохранится память! Клянетесь ли вы, народ мой и братья мои?

— Клянемся! — ответили все как один.

— Хорошо,— проговорил Куаутемок.— Пусть вечный позор падет на того, кто нарушит эту великую клятву!

Так Куаутемок, последний и величайший из императоров Анауака, был возведен на трон своих предков. К счастью для себя, он не мог знать, какой постыдной смертью ему придется умереть в один страшный день от рук этих самых теулей. Но отныне участь его была связана с участью обреченной страны. Чем выше стоял человек, тем неизбежнее была его гибель.

Когда церемония окончилась, я поспешил во дворец, чтобы рассказать обо всем Отоми. Я нашел ее в комнате, где мы обычно спали. Она не поднималась с ложа.

— Что с тобой, Отоми? — спросил я.

— Увы, муж мой,— ответила она,— болезнь поразила меня. Не подходи близко. Прошу тебя, не подходи! Пусть за мной ухаживают женщины. Ты не должен из-за меня рисковать жизнью, любимый.

— Успокойся,— печально сказал я, приближаясь к ней. Да, к несчастью, она не ошиблась. Как врач, я сразу распознал знакомые симптомы.

Чтобы спасти Отоми, мне пришлось собрать все свои

знания. Три бесконечных недели я не отходил от ее ложа, сражаясь со смертью, пока, наконец, не победил. Жар спал, и благодаря моим заботам на прекрасном лице Отоми не осталось следов оспы. Восемь дней она беспрестанно бредила. За эти дни я узнал, как глубока и возвышенна была ее любовь. Все время она говорила только обо мне, высказывая в забытьи свои тайные страхи и опасения. Отоми боялась, что наскучит мне, что ее красота и любовь утомят меня и я брошу ее, что заморская «девушка-цветок» — так она называла Лили — увлечет меня колдовскими чарами. Вот что заполняло помутившийся разум моей жены.

Наконец Отоми пришла в себя и заговорила со мной.

— Я долго была больна? — спросила она.

Я ответил.

— И ты не отходил от меня все это время?

— Да, Отоми, я лечил тебя.

— За что ты так добр ко мне? — прошептала Отоми.

Затем у нее мелькнула какая-то ужасная мысль. Она мучительно застонала и воскликнула:

— Зеркало! Скорей дай мне зеркало!

Я принес ей зеркало. Выхватив его из моих рук, Отоми впилась взглядом в отражение своего лица, стараясь получше его разглядеть в полумраке затененной комнаты. Потом, выронив полированную золотую пластинку, она откинулась на ложе со счастливым возгласом:

— Ах, я так боялась, так боялась стать такой же уродливой, как все другие, кого поразила эта зараза! Я боялась, что ты разлюбишь меня. Тогда лучше бы мне умереть!

— Стыдись! — упрекнул я Отоми.— Неужели ты думаешь, что какие-то оспины убили бы мою любовь?

— Да,— ответила Отоми.— Такова любовь мужчин. Я люблю тебя по-другому, муж мой, но если бы со мной случилось такое — о, я дрожу при одной этой мысли! — ты бы через год возненавидел меня. Не знаю, переменился бы ты к другой, к той, далекой девушке, но меня бы ты возненавидел. Да, да, я знаю это так же верно, как то, что я бы не пережила твоей ненависти. О, как я тебе благодарна!

Я оставил ее на некоторое время одну, удивляясь в глубине души силе ее любви. «Неужели она права и сердце мужчины настолько подло и неблагодарно? — думал я.— Что если бы Отоми действительно превратилась в одну из тех несчастных женщин, которые бродят сейчас по улицам Теночтитлана, покрытые страшными язвами, лысые, слепые, с бельмами на глазах? Неужели я отвернулся бы от нее?»

На этот вопрос я не могу ответить и благодарю бога, что мне не пришлось на него отвечать, ибо я знаю наверное, что Отоми не оставила бы меня, будь я хоть прокаженным.

Вскоре Отоми совершенно оправилась от тяжкой болезни, а еще через некоторое время оспа покинула Теночтитлан.

Теперь у меня было много дел. Избрание моего друга и кровного брата Куаутемока императором сразу возвысило меня. Я стал одним из высших военачальников, главным его советником, и не щадил себя, стараясь всемерно помочь Куаутемоку в подготовке города к обороне. Работа шла день и ночь. Я обучал войска, особенно отряды отоми, которые, как было обещано, явились в количестве двадцати тысяч воинов. Это был поистине адский труд! Горцы не имели ни малейшего понятия о дисциплине и духе единства, без чего все их многотысячные толпы немного стоили в войне с белыми людьми. Соперничество и зависть разъединяли вождей разных племен, и мне приходилось с этим ежечасно бороться, не говоря уже о зависти, которую они все питали ко мне. Кроме того, многие союзные или подвластные ацтекам племена, пользуясь смутой, изменили нам и либо перекинулись к испанцам, либо решили остаться в стороне, выжидая исхода борьбы.

Несмотря на все это, мы продолжали делать свое дело. Войска были разделены на полки по европейскому образцу и каждому отведен свой лагерь. Мы заставили воинов упражняться в обращении с оружием, мы завозили в город запасы продовольствия на случай осады и старались по возможности сократить число бесполезных едоков. Только один человек во всем Теночтитлане трудился больше меня, и это был император Куаутемок, не знавший отдыха ни днем, ни ночью. Я даже попытался изготовить порох, использовав для этого серу, которую мне принесли из кратера вулкана Попокатепетль, но, не зная его состава, потерпел неудачу. К тому же порох немногим бы нам помог, потому что у нас не было ни пушек, ни аркебуз, ни умения их делать. Мы могли бы использовать порох только для закладки мин на дорогах и дамбах, да еще, может быть, в виде ручных гранат с фитилем.

Так проходил месяц за месяцем. Но вот, наконец, лазутчики донесли нам о приближении большой армии испанцев, с которыми шли бесчисленные отряды их союзников.

Я хотел отослать жену к ее народу, где она была бы в безопасности, но Отоми только презрительно рассмеялась и сказала:

— Я буду там, где будешь ты, мой муж. Ты встретишься со смертью и, может быть, погибнешь. Я должна быть рядом, чтобы умереть с тобой вместе. Если белые женщины поступают иначе, это их дело, а я останусь с моим любимым.

Глава XXVII

ПАДЕНИЕ ТЕНОЧТИТЛАНА

скоре после рождества Кортес с большой армией расположился лагерем у города Тескоко в долине Мехико. Многие авантюристы, приплывшие из-за океана, встали под его знамена, а кроме того, к нему присоединились десятки тысяч союзников-туземцев.

Город Тескоко лежит недалеко от берега одноименного озера милях в двадцати к северо-востоку от Теночтитлана. Расположенный на земле тласкаланцев, он был особенно удобен для Кортеса как опорная база. Отсюда и началась самая ужасная из всех войн, какую только видел свет. Она продолжалась восемь месяцев, и к концу ее от Теночтитлана и других цветущих многолюдных городов остались одни почерневшие развалины. Большинство ацтеков погибло от меча или голода, и как народ они перестали существовать.

Я не собираюсь описывать все подробности этой войны, ибо тогда не успею довести мою книгу до конца, а мне еще нужно рассказать свою собственную повесть. К тому же дело это не мое, и я всецело предоставляю его историкам. Скажу только, что план Кортеса заключался в том, чтобы сначала уничтожить один за другим все союзные и подвластные ацтекам города, а уж потом обрушиться на Теночтитлан, жемчужину долины. И он выполнял свой план с настойчивостью и решительностью, проявляя такое искусство, каким со времен Цезаря могли похвастаться лишь немногие полководцы.

Первым пал город Истапалапан. Десять тысяч его жителей, мужчин, женщин и детей, погибли от меча или были сожжены заживо. Затем наступил черед других городов. Кортес захватывал их один за другим, пока все они не оказались у него в руках. Теперь оставался свободным один Теночтитлан. Многие города сдались без боя, ибо империя ацтеков, состоявшая из различных племен, скорее напоминала сноп, а не единое дерево; когда испанцы, ослабив власть императора, разрубили перевязь, все колосья рассыпались в разные стороны. Таким образом, по мере того как

убывали силы Куаутемока, могущество Кортеса возрастало, ибо рассыпавшиеся колосья он собирал в свою корзину. Едва другие племена увидели, что Теночтитлан в беде, сразу возгорелась старая ненависть, всплыли на поверхность скрытая зависть и соперничество, и они бросились на своего властелина, чтобы растерзать его на куски точно так же, как наполовину прирученные волки бросаются на укротителя, сломавшего свой бич. Это и привело к гибели Анауака. Если бы все племена сохранили единство и, забыв о старой вражде и соперничестве, дружно обрушились на испанцев, Теночтитлан никогда бы не пал, а Кортес вместе со своими теулями очутился бы на жертвенном алтаре.

В самом начале моей книги я написал, что зло не остается неотомщенным, кто бы его ни творил, один человек или целый народ. Так оно и случилось тогда. Теночтитлан был разрушен из-за страшных жертвоприношений своим богам. Отвратительный обычай приносить людей в жертву породил ненависть между племенами. Совсем недавно ацтеки везли пленников из всех покоренных городов, чтобы возложить их на алтари Теночтитлана, убить во славу своих богов, а трупы отдать на растерзание фанатикам-людоедам. Теперь все эти зверства припомнились. Теперь, когда мощь владыки городов ослабла, дети тех, кого он приносил в жертву, ринулись на него, чтобы стереть Теночтитлан с лица земли и возложить его детей на свои алтари.

В мае, несмотря на все усилия и чудеса храбрости, последние наши союзники были разгромлены или изменили, и осада города началась.

Она началась одновременно с суши и с озера, ибо неистощимый в своей изобретательности Кортес ухитрился построить в Тласкале тринадцать боевых бригантин*. Их доставили по частям за двадцать лиг** через горы, собрали его в лагере и спустили на воду по каналу, вырытому в течение двух месяцев десятками тысяч индейцев. Во время переноски бригантины охраняла целая армия из двадцати тысяч тласкаланцев. Если бы мне дали волю, я бы напал на них в горных проходах. Такого же мнения держался и Куаутемок, однако в нашем распоряжении было тогда мало войск — большую часть своих сил мы были вынуждены

---

* Бригантина — легкое, обычно двухмачтовое парусно-гребное судно, близкое по типу к галере.

** Лига — старая мера длины, равная 4,83 км. Таким образом, согласно расчетам автора, расстояние от Тласкалы до Тескоко составляет почти 100 км.— *Прим. перев.*

бросить против города Чалько, жители которого позорно изменили нам, хотя и принадлежали к родственному ацтекам племени. Несмотря на это, я предложил повести против тласкаланцев двадцать тысяч моих горцев-отоми. В военном совете разгорелись жаркие споры, но в конце концов большинство высказалось против, опасаясь вступать в бой с испанцами или их союзниками на таком большом расстоянии от города. Так была упущена неповторимая возможность, и это стало одной из многих причин падения Теночтитлана, потому что впоследствии бригантины сыграли роковую роль: с их помощью испанцы лишили нас подвоза продовольствия, которое доставлялось по озеру на челнах. Увы, даже самые храбрые люди отступают перед голодом! Как говорят индейцы, голод — большой человек!

Итак, ацтеки остались один на один со своими врагами, и битва началась. Прежде всего испанцы разрушили акведук, по которому в город шла вода из источников того самого императорского парка в Чапультепеке, куда меня привели, когда я впервые попал в Теночтитлан. С этого дня и до конца осады нам приходилось довольствоваться солоноватой грязной водой из озера и вырытых наспех колодцев. Ее можно было пить, предварительно перекипятив, чтобы избавиться от соли, однако она оставалась нездоровой, отвратительной на вкус и вызывала мучительные расстройства и лихорадку.

В тот день, когда акведук был перерезан, Отоми родила нашего первенца. Тяготы осады были уже так велики, а пища так скудна, что будь она послабее или окажись я менее опытным врачом, вряд ли она пережила бы эти роды. Однако, к моему великому облегчению и радости, Отоми поправилась, и я сам окрестил новорожденного по правилам нашей христианской церкви, хотя я вовсе не священник. Я дал ему свою имя — Томас.

Ожесточенная битва не прекращалась изо дня в день, из недели в неделю и с переменным успехом кипела то на подступах к городу, то на озере, а то и прямо на улицах. Иногда испанцы откатывались с большими потерями, но затем снова бросались на штурм со всех сторон. Однажды мы захватили в плен шестьдесят испанских солдат и тысячу с лишним их союзников. Все они были принесены в жертву на алтаре Уицилопочтли, а тела их отданы на растерзание фанатикам. Ацтеки придерживались этого зверского обычая и пожирали тела принесенных в жертву богам вовсе не потому, что им нравилось человеческое мясо, а по-

тому, что так предписывал какой-то тайный религиозный обряд*.

Тщетно я умолял Куаутемока прекратить эти ужасы.

— Сейчас не время церемониться! — злобно ответил он.— Я не могу их спасти от алтаря и не стал бы спасать, даже если бы мог. Пусть эти псы умирают по обычаям нашей страны. А тебе, теуль, брат мой, я советую — не заходи слишком далеко!

Увы, сердце Куаутемока ожесточалось с каждым днем сражения, и удивляться тут было нечему.

Кортес выработал страшный план полного разрушения города по мере продвижения к центру и выполнял его беспощадно. Как только испанцы захватывали какой-нибудь квартал, тысячи тласкаланцев принимались за работу, сжигая подряд все дома вместе с их обитателями. Прежде чем осада закончилась, Теночтитлан, жемчужина всех городов, был превращен в груду почерневших развалин, и Кортес мог только оплакивать его руины, подобно пророку Исайе:

«В преисподнюю низвержены гордыня твоя со всем многозвучием лютен твоих; ныне черви — ложе твое, черви — покров твой.

Как упал ты с неба, денница, сын зари? Как разбился о землю, попиравший народы?»

Я принимал участие во всех схватках, хотя гордиться тут, собственно, нечем. Во всяком случае, испанцы меня знали, и не без основания. Едва завидев меня, они начинали выкрикивать проклятия, называя меня «предателем», «изменником», «белой собакой Куаутемока» и прочими именами. Узнав через своих шпионов, что многие наиболее удачные атаки и передвижения Куаутемок производил по моему совету, Кортес даже назначил награду за мою голову. Я старался не обращать на это внимания, хотя оскорбления врагов ранили меня, точно стрелы. Несмотря на всю мою ненависть к испанцам, несмотря на то, что среди ацтеков у меня было много друзей, мне, христианину, все-таки было зазорно сражаться на стороне язычников, приносивших человеческие жертвы.

Я не прятался еще и потому, что хотел отыскать де Гарсиа, своего врага. Мне было известно, что он здесь, я видел его несколько раз, но никак не мог до него добраться. Если я выслеживал его, он тоже следил за мной, только с иной целью — чтобы вовремя скрыться, ибо теперь де Гарсиа

---

* Людоедство действительно существовало у многих племен Америки, в том числе и у ацтеков, но у них оно носило главным образом ритуальный характер.— *Прим. перев.*

страшился меня, как прежде. Он верил, что встреча со мной будет для него роковой.

Согласно обычаю, воины обеих армий посылали друг другу вызовы на единоборство. Подобные дуэли не раз происходили на виду у всех, причем обе стороны не нападали на сражающихся и тех, кто был с ними в роли секундантов. Однажды, отчаявшись встретиться с де Гарсиа в бою, я послал к испанцам глашатая, вызывая на единоборство того, кто носил ложное имя Сарседа. Через час глашатай вернулся с запиской на испанском языке, и я прочел:

«Христианин не станет сражаться на дуэли с презренным изменником, белым идолопоклонником и людоедом. Для таких уготовано лишь одно оружие — веревка. Она давно по тебе плачет, Томас Вингфилд!»

В бешенстве я изорвал записку на клочки и затоптал их ногами. Отныне ко всем совершенным против меня злодеяниям де Гарсиа прибавил еще гнусную клевету. Но ярость моя была бессильна, потому что мне ни разу не удалось к нему приблизиться. Однажды с десятью воинами отоми я устремился за ним в самую гущу испанцев. Мне удалось вырваться живым, но десять отоми погибли из-за моей ненависти к негодяю.

Как описать все новые ужасы, которые каждый день обрушивались на обреченный город? Кончилось продовольствие, и теперь не только мужчинам, но даже слабым женщинам и детям приходилось, чтобы протянуть хоть еще немного, пить солоноватую озерную воду и есть то, от чего отказалась бы и свинья. Самой желанной пищей для них стала трава, древесная кора, улитки и насекомые, да еще мясо пленников, принесенных в жертву.

Люди гибли сотнями и тысячами. Мертвецов было столько, что их не успевали хоронить. Они валялись всюду, где их настигла смерть, разлагаясь и распространяя страшную болезнь, черную смертоносную горячку, от которой гибли новые тысячи ацтеков, становясь в свою очередь источником заразы. На каждого убитого испанцами или их союзниками приходилось два защитника города, умерших от голода или мора. Попробуйте теперь представить, сколько всего погибло ацтеков, если испанцы уничтожили не менее семидесяти тысяч только огнем и мечом! Говорят, что за одну лишь ночь они перебили сорок тысяч человек. Это было в ночь накануне падения Теночтитлана.

Как-то на закате я вернулся в жилище, где теперь ютилась Отоми со своей царственной сестрой Течуишпо, женой Куаутемока,— все дворцы были уже сожжены.Я умирал от

голода, потому что не ел почти сорок часов. Отоми дала мне три маленьких тортильи, три лепешки из маиса с толченой корой — это было все, что она могла найти. Она поцеловала меня и попросила их съесть, но, узнав, что она сама ничего не ела в тот день, я заставил ее разделить со мной скудную пищу. Отоми с трудом глотала горькие кусочки лепешки и старалась скрыть слезы, которые лились по ее лицу.

— Что случилось, жена?— спросил я.

Отоми безудержно разрыдалась.

— Любимый,— проговорила она,— вот уже два дня, как в моей груди нет ни капли молока. Голод иссушил меня... и наш сынок умер! Взгляни, он умер!

И, откинув в сторону покрывало, она показала мне крохотное тельце.

— Не плачь,— сказал я,— он свое отстрадал. Неужели ты хотела, чтобы он вырос и дожил до таких дней, как сейчас?

— Но ведь это был наш сын, наш первенец!— рыдала Отоми.— О, за что нам такие муки?

— Мы должны терпеть, ибо рождены для страданий. Будь счастлива тем, что мы еще не сошли с ума, и не требуй большего. Не спрашивай меня ни о чем — я не могу тебе ответить. На такое не найти ответа ни у моего бога, ни у твоего.

И, взглянув на мертвого младенца, я сам разрыдался.

На протяжении всех этих страшных месяцев мне ежечасно приходилось видеть тысячи самых ужасных вещей, но вид маленького жалкого трупика потряс меня больше всего. Это был мой ребенок, мой сын, мой первенец! Его мать плакала рядом со мной, и мне казалось, что окоченевшие тоненькие пальчики младенца разрывают мое сердце. Один бог всеведущий знает, откуда берутся у людей силы пережить подобную муку и за что она нам ниспослана, но деяния его выше нашего разумения!

Я взял мотыгу и начал рыть возле дома яму, пока не дошел до воды; в Теночтитлане она стоит в каких-нибудь двух футах от поверхности. Прошептав молитву над телом нашего ребенка, я опустил его прямо в воду и забросал землей. По крайней мере он не достанется коршунам, как другие.

Вернувшись в дом, мы плакали друг у друга в объятиях, пока не заснули, но даже сквозь сон Отоми шептала:

— О муж мой, хорошо бы вот так уснуть и не просыпаться, уснуть навсегда вместе с нашим малюткой...

— Подожди немного,— ответил я,— смерть уже недалеко.

Наступило утро, а вместе с ним началась смертельная схватка, еще более жестокая, чем раньше. За этим днем пришел второй, третий, четвертый. Ежедневно смерть собирала богатую жатву, но мы все еще были живы, потому что Куаутемок делился с нами своей пищей. Кортес послал глашатаев, требуя, чтобы мы сдались. Три четверти города уже были превращены в развалины, а три четверти его защитников — в трупы. Мертвецы громоздились во всех домах, как пчелы, убитые в своих ульях; на улицах тела лежали так густо, что нам приходилось шагать прямо по ним.

Чтобы обсудить предложение Кортеса, собрался совет — кучка ожесточенных людей, измученных голодом и ранами. Все молчали.

— Что скажешь ты, Куаутемок?— спросил наконец один из них.

— Разве я Монтесума, что ты меня спрашиваешь?— гневно ответил император.— Я поклялся защищать город до конца, и я буду его защищать! Лучше всем умереть, чем попасть живьем в руки теулей!

— Мы согласны,— проговорили советники, и битва возобновилась.

Но вот наступил день, когда испанцы снова пошли на приступ и захватили еще одну часть города. Теперь люди теснились в последних кварталах, как овцы в загоне. Мы старались их защитить, но руки наши ослабели от голода. Испанцы расстреливали ацтеков в упор, и те валились, как трава под косой. Потом на нас выпустили тласкаланцев, словно разъяренных псов на беззащитного оленя. Именно тогда, как говорят, и было убито сорок тысяч человек, ибо тласкаланцы не щадили никого.

Следующий день был последним днем осады Теночтитлана*. От Кортеса прибыло новое посольство: он хотел встретиться с Куаутемоком. Но ответ был прежним: ничто не могло сломить это благородное сердце.

— Передайте ему,— сказал Куаутемок,— я умру там, где стою, но не стану с ним разговаривать. Мы беззащитны. Пусть Кортес делает с нами что хочет.

Весь город был уже разрушен, и те, кто еще оставался в живых, собрались на дамбе или под прикрытием обвалившихся стен все вместе — мужчины, дети и женщины. Здесь нас атаковали снова.

---

* 13 августа 1521 года.— *Прим. перев.*

В последний раз загрохотал большой барабан на теокалли, в последний раз дикие крики ацтекских воинов понеслись к небесам. Мы защищались как могли. Я поразил четырех врагов своими стрелами; мне подавала их Отоми, не отходившая от меня ни на шаг. Но остальные в большинстве своем были слабы, как малые дети. Что могли мы сделать? Испанцы носились среди беспомощных людей, словно зверобои среди тюленей, избивая ацтеков сотнями. Нас загнали в воду и начали топить, пока не завалили все канавы мертвыми телами. Как мы уцелели, я до сих пор не знаю.

Наконец небольшая группа, в которой вместе с нами был Куаутемок и его жена Течуишпо, очутилась на берегу озера, где стояли челны. Мы сели в них, еще не зная, куда плыть. Весь город был захвачен, и мы надеялись только спастись бегством. Однако испанцы заметили челны с бригантин и пустились в погоню. Ветер был попутный — в этой битве даже ветер помогал нашим врагам! Как мы ни налегали на весла, вскоре одна из бригантин поравнялась с нами и открыла огонь. Тогда Куаутемок поднялся в челне во весь рост.

— Я Куаутемок!— крикнул он.— Ведите меня к Малинцину. Пощадите только моих людей, еще оставшихся в живых.

— Ну вот, жена, мой час пробил,— обратился я к Отоми, которая сидела со мной рядом.— Испанцы меня наверняка повесят. Лучше умереть самому, чтобы избежать этой позорной смерти.

— Нет, муж мой,— печально ответила она.— Я уже говорила тебе однажды: пока ты жив, остается надежда, только мертвым надеяться не на что. Может быть, нам еще удастся спастись! Но, если ты думаешь иначе, я готова умереть.

— Ты должна жить, Отоми!

— Тогда не убивай себя. Я последую за тобой всюду, куда бы ты не пошел.

— Слушай, Отоми!— прошептал я.— Не говори никому, что ты моя жена. Выдай себя за одну из приближенных своей сестры Течуишпо. Если нас разлучат и если мне удастся бежать, я проберусь в Город Сосен. Там, среди твоего народа, мы найдем убежище.

— Хорошо,любимый,— проговорила она, печально улыбаясь.— Только не знаю, как встретят меня отоми после гибели двадцати тысяч своих лучших воинов.

В этот момент мы уже поднялись на палубу бригантины, и ответить я не успел.

Испанцы о чем-то поспорили, но потом высадили нас на берег и повели к чудом уцелевшему дому, где Кортес поспешно готовился к приему своего царственного пленника.

Окруженный свитой, испанский военачальник встретил нас, держа шляпу в руке. Рядом с ним стояла Марина. С тех пор, как я видел ее в Тобаско, она стала еще прелестнее. Наши глаза встретились, и она вздрогнула, узнав меня, хотя распознать старого друга теуля в измученном, забрызганном кровью оборванце, у которого едва хватило сил взойти на плоскую кровлю дома, было далеко не просто. Но мы не обменялись ни словом. Все взоры в этот миг были устремлены на Кортеса и Куаутемока, на победителя и побежденного.

Куаутемок, похожий на живой скелет, но по-прежнему преисполненный гордости и благородства, приблизился к испанцу и заговорил. Марина переводила его слова:

— Я император Куаутемок, Малинцин. Все, что может сделать человек для защиты своего народа, я сделал. Взгляни, что тебе досталось!

И Куаутемок указал на черные руины Теночтитлана, вздымавшиеся повсюду, насколько хватал глаз.

— Но ты взял верх,— продолжал он,— ибо сами боги были против меня. Делай со мной что хочешь, но лучше всего — убей! Вот это,— Куаутемок прикоснулся к кинжалу Кортеса,— сразу избавит меня от всех страданий.

— Не бойся, Куаутемок,— ответил Кортес.— Ты сражался, как подобает сражаться храброму воину. Таких людей я уважаю. Со мной ты в безопасности, потому что испанцы ценят честных противников. Вот поешь!

Кортес указал на стол, где лежало мясо, которого мы не видели уже много недель, и продолжал:

— Пусть твои товарищи тоже подкрепятся,— вам это необходимо. А потом поговорим.

Мы с жадностью набросились на еду. Про себя я подумал, что совсем не худо будет умереть с полным желудком после того, как я столько раз смотрел в лицо смерти натощак. Пока мы расправлялись с едой, испанцы стояли напротив и смотрели на нас почти с жалостью.

Затем к Кортесу подвели Течуишпо, а с нею Отоми и еще шестерых знатных женщин. Кортес вежливо приветствовал их и приказал тоже накормить.

Но вот один из испанцев, присмотревшись ко мне, что-то шепнул Кортесу. Тот сразу помрачнел.

— Скажи-ка,— обратился он ко мне по-испански,— ты

и есть тот самый изменник и предатель, что помогал ацтекам воевать против нас?

— Я не изменник и не предатель, генерал,— смело ответил я; вино и пища вдохнули в меня силы.— Я англичанин, и я сражался вместе с ацтеками потому, что у меня есть немало причин ненавидеть вас, испанцев.

— Сейчас у тебя их будет еще больше, предатель!— в бешенстве прохрипел Кортес.— Эй, вздернуть его на мачте вон той бригантины!

Я понял, что все кончено, и приготовился к смерти, как вдруг Марина что-то сказала на ухо Кортесу. Всего я не смог разобрать и расслышал только два слова: «спрятанное золото». Мгновение Кортес поколебался, затем громко приказал:

— Подождите! Повесить его мы всегда успеем. Стерегите этого человека хорошенько! Завтра я с ним сам разберусь.

Глава XXVIII

ТОМАС ОБРЕЧЕН

По приказу Кортеса два испанца приблизились ко мне, схватили меня за руки и так повели к лестнице, спускавшейся с кровли дома.

Отоми все слышала. Испанского языка она не знала, но ей достаточно было взглянуть на лицо Кортеса, чтобы понять, что он приказал увести меня в темницу или на казнь. Когда я поравнялся с ней, она сделала шаг вперед. Страх за меня светился в ее глазах. Я увидел, что Отоми готова броситься мне на шею, и, боясь, что этим она выдаст себя и подвергнется той же участи, остановил ее предостерегающим взглядом. Затем, сделав вид, что споткнулся от страха и истощения, я упал прямо к ее ногам.

Солдаты, которые вели меня, грубо расхохотались, и один из них пнул меня своим сапожищем. Но тут Отоми наклонилась и протянула руку, чтобы помочь мне подняться. Пока я вставал, мы успели обменяться несколькими быстрыми чуть слышными словами.

— Прощай, жена!— шепнул я.— Что бы ни случилось, молчи!

— Прощай,— отозвалась Отоми.— Если тебе придется умереть, жди меня у врат смерти — я приду к тебе.

— Нет, ты должна жить. Время залечит раны.

— Любимый, моя жизнь — это ты! Без тебя жить незачем.

В это время я уже поднялся на ноги. По-видимому, никто не приметил нашего тихого разговора, потому что все смотрели на Кортеса и слушали, как он разносит ударившего меня солдата.

— Что я тебе приказал?— шипел Кортес.— Я приказал стеречь пленника, а не пинать его сапогами! Ты что меня перед дикарями позоришь? Если что-нибудь похожее повторится, ты мне за это дорого заплатишь! Поучись вежливости хотя бы у этой женщины. Смотри, она сама умирает от голода, а все-таки бросила еду, чтобы помочь ему встать. А ты?.. Ведите его в лагерь, да смотрите, чтобы с ним ничего не случилось! Он мне еще понадобится.

Недовольно ворча, солдаты повели меня вниз, и последнее, что я увидел, оглянувшись, было лицо моей жены Отоми, полное затаенной муки.

Когда я уже начал спускаться, стоявший возле самой лестницы Куаутемок поймал мою руку и пожал.

— Прощай, брат,— проговорил он, скорбно улыбаясь.— Мы сыграли нашу игру до конца, теперь можно и отдохнуть. Благодарю тебя за помощь и за твое мужество.

— Прощай, Куаутемок,— ответил я.— Ты проиграл, но утешься! Это поражение сделает твое имя бессмертным навеки.

— Ступай, ступай!— подгоняли меня солдаты, и я расстался с Куаутемоком, даже не подозревая, при каких обстоятельствах нам вскоре придется встретиться.

Солдаты посадили меня в лодку, тласкаланцы взялись за весла и переправили нас через озеро в испанский лагерь. Страшась гнева Кортеса, мои стражи больше не давали воли рукам, но зато издевались и насмехались надо мной всю дорогу. Они спрашивали, хорошо ли быть идолопоклонником, как я ел человечье мясо, сырым или жареным, и тому подобное. В своих грубых шутках они были неистощимы. Сначала я все переносил молча, потому что индейцы научили меня терпению, и лишь под конец дал им короткий, но достойный ответ.

— Молчите, трусы!— сказал я.— Если бы я был силен и вооружен, как раньше, мне бы не пришлось слушать, а вам повторять подобные слова — кто-нибудь из нас уже был бы мертв! А сейчас вы пользуетесь моей беспомощностью.

После этого я умолк, и солдаты тоже замолчали.

Когда мы достигли лагеря, мне пришлось пройти сквозь толпу разъяренных тласкаланцев, которые разорвали бы

меня на куски, если бы их не удерживал страх. Нам навстречу попалось также несколько испанцев, Но те ничего и никого не замечали — настолько все были пьяны от мескаля и от радости, что наконец-то Теночтитлан взят и сражение кончилось! Я еще никогда не видел людей в таком состоянии. Ими овладело настоящее безумие. Несчастные воображали, что отныне будут есть свою солдатскую похлебку на золотых блюдах! Ради золота они последовали за Кортесом, ради золота они участвовали в сотнях схваток, рискуя попасть на жертвенный алтарь, и вот теперь это золото, как они полагали, было у них в руках.

Меня заперли в одной из комнат каменного дома, окна которого были забраны деревянной решеткой. Пока продолжалось мое заключение, сквозь эту решетку я видел и слышал все, что делали солдаты. Целыми днями и большую часть ночей, если только они не были заняты службой, испанцы пьянствовали и играли, ставя за раз по нескольку десятков песо, которые проигравший обязывался уплатить из своей доли неисчислимых ацтекских сокровищ. Они были настолько уверены в своей добыче, что никакие проигрыши их не огорчали. Игра прекращалась лишь тогда, когда опьянение брало верх и все игроки либо валились без чувств на землю, либо вскакивали из-за стола и пускались в дикую пляску под палящим солнцем, выкрикивая, как одержимые:

— Золото! Золото! Золото!

Иногда мне удавалось услышать через свое окно лагерные новости. Так я узнал, что Кортес вернулся в лагерь, а вместе с ним — Куаутемок и еще несколько знатных индейцев и индианок. Я сам видел и слышал, как солдаты, которым надоело играть на деньги, начали разыгрывать этих женщин в карты, записав их приметы на отдельных листках бумаги. Одна из женщин, судя по этим приметам, весьма походила на мою жену Отоми. Ее выиграл какой-то мерзавец и тут же продал другому солдату за сто песо. Эти люди не сомневались, что теперь им достанется все — и золото, и женщины.

Так я сидел в своей тюрьме в течение многих дней, и никто меня не беспокоил, за исключением индианки, прибиравшей комнату и приносившей пищу. В эти дни я только и делал, что ел за троих да спал, потому что никакие несчастья не могли у меня отбить аппетит или сон. Мне самому не верилось, но к концу недели я поправился ровно вдвое, от слабости моей не осталось и следа, и я снова стал силен, как прежде.

В перерывах между сном и едой я не отходил от окна, надеясь хотя бы издали увидеть Отоми или Куаутемока. Но все было тщетно. Зато вместо своих друзей я увидел, наконец, своего врага. Однажды вечером перед моей тюрьмой остановился де Гарсиа. Меня он не мог разглядеть, но мне-то хорошо была видна на его лице дьявольская, волчья усмешка, от которой мороз продирал по коже. Де Гарсиа простоял так минут десять, поглядывая на мое окно, словно голодный кот на клетку с птицей. Я почувствовал, что он ждет, когда перед ним откроется дверь, и понял, что она откроется скоро.

Это случилось под вечер того самого дня, когда меня подвергли пытке.

Между тем я подмечал, что настроение солдат постепенно меняется. Они перестали ставить на кон неисчислимые сокровища, перестали даже напиваться до умопомрачения, и буйное веселье прекратилось. Вместо этого испанцы все время сходились теперь небольшими кучками, яростно о чем-то споря. В тот день, когда де Гарсиа пришел взглянуть на мою тюрьму, на большой площади напротив моего окна собралась целая толпа солдат. Сам Кортес, облаченный в парадное платье, выехал к ним на белом коне. Площадь была слишком далеко, чтобы слышать, что там говорилось, но я видел, как некоторые офицеры злобно упрекали своего начальника и солдаты поддерживали их дружными криками. Кортес что-то долго говорил им в ответ, и, наконец, все молча разошлись.

На следующее утро едва я успел закусить, как в мою тюрьму вошли четыре солдата и приказали мне следовать за ними.

— Куда?— спросил я.

— К нашему капитану, предатель!— ответил старший из них.

«Вот оно!» — подумал я, но вслух сказал:

— Ладно. Любая перемена лучше сидения в этой дыре.

— Охотно верю!— отозвался солдат.— Только для тебя это последняя перемена.

Я понял: испанец думает, что ведет меня на казнь.

Через пять минут я уже стоял перед Кортесом в его доме. Рядом с ним сидела Марина, а вокруг — несколько ближайших соратников. Предводитель испанцев некоторое время смотрел на меня молча, потом заговорил:

— Твое имя Вингфилд; ты полукровка, наполовину испанец, наполовину англичанин. Ты высадился в устье реки Табаско, а оттуда попал в Мехико. Здесь тебя заставили

изображать ацтекского бога Тескатлипоку. Тебе удалось спастись от смерти, когда мы захватили большой теокалли. Затем ты примкнул к ацтекам и принял участие в нападении и кровопролитии «Ночи печали». Впоследствии ты стал другом и советником Куаутемока, которому помогал защищать город. Отвечай, пленник, это правда?

— Правда, генерал,— ответил я.

— Хорошо. Теперь ты попал к нам в плен и, будь у тебя хоть тысяча жизней, тебе не спастись, потому что ты предал свою веру и свою расу. Я не желаю рассматривать причины, побудившие тебя совершить это предательство. Мне важны факты! Ты убил многих испанцев и наших союзников, Вингфилд, убил подло, изменническим путем, и для меня ты — просто убийца! Тебя ждет смерть. Как изменника и святотатца я приговариваю тебя к повешению.

— Если так, говорить больше не о чем,— спокойно ответил я, хотя кровь застывала в моих жилах.

— Нет, есть,— возразил Кортес.— Несмотря на все твои преступления, я готов подарить тебе жизнь и свободу. Я готов сделать больше — при первой же возможности отправить тебя в Европу, а там, если бог дозволит, ты, может быть, сумеешь скрыть совершенные тобой злодеяния. Но для этого ты должен выполнить одно условие. У нас есть основания полагать, что ты принимал участие в сокрытии золота Монтесумы, незаконно украденного у нас в «Ночь печали». Не отрицай, мы знаем, что это так, потому что тебя видели, когда ты садился в лодку с сокровищами. А теперь выбирай — либо ты умрешь позорной смертью, как предатель, либо откроешь нам тайну сокровищ.

Мгновение я колебался. Поступившись честью, я сохранял жизнь, свободу и надежду вернуться на родину, в противном же случае меня ждала ужасная смерть. Но тут же я вспомнил свою клятву, я подумал о том, что будут говорить обо мне, живом или мертвом, Отоми, если я ее нарушу, и мои колебания кончились.

— Я ничего не знаю об этих сокровищах, генерал,— холодно проговорил я.— Можете меня убить.

— То есть ты ничего не хочешь нам говорить, предатель? Подумай! Если ты дал какую-нибудь клятву, бог освобождает тебя от нее. Царства ацтеков больше нет, их император мой пленник, их столица — куча развалин. Истинный бог дал мне победу над проклятыми идолами! Золото врага — моя законная добыча, и я должен ее получить, чтобы расплатиться с моими доблестными товарищами, которым нечем поживиться среди руин. Подумай еще раз!

— Я ничего не знаю об этих сокровищах, генерал.

— Память иногда изменяет людям. Если она изменит тебе, ты умрешь, предатель, можешь в этом не сомневаться. Но смерть не всегда приходит быстро. Есть много способов, о которых ты, конечно, слышал, поскольку жил в Испании...

Кортес поднял брови, многозначительно посмотрел на меня и продолжал:

— Человек умирает, и все-таки продолжает жить в течение долгих недель. Как это ни печально, мне придется прибегнуть к таким способам, чтобы пробудить твою память — если она еще спит,— прежде, чем ты умрешь.

— Я в вашей власти, генерал,— ответил я.— Вы все время называете меня предателем, но я не предатель. Я подданный английского короля, а не короля Испании. Сюда я прибыл вслед за одним негодяем, который по отношению ко мне и моей семье совершил страшное злодеяние,— это один из ваших соратников, некий де Гарсиа, или, как вы его называете, Сарседа. К ацтекам я присоединился, чтобы найти его, и еще по некоторым причинам. Ацтеки потерпели поражение, и теперь я ваш пленник. Но по крайней мере обходитесь со мной, как честные воины обходятся с побежденным противником. Я ничего не знаю о сокровищах. Убейте меня, и покончим на этом.

— Как человек, я, может быть, так и сделал бы, но я не просто человек. Здесь в Анауаке я представляю церковь! Ты примкнул к идолопоклонникам, ты спокойно смотрел, как твои дикие друзья приносят в жертву и пожирают христиан, твоих братьев. За одно это тебя надо обречь на вечные пытки, и так оно, несомненно, и будет, когда мы с тобой разделаемся. Что касается идальго дона Сарседы, я его знаю только как храброго товарища по оружию и не стану слушать про него всякие россказни, выдуманные подлым вероотступником. Но если между вами и вправду была какая-то старая вражда, я тебе не завидую,— тут в глазах Кортеса мелькнул злобный огонек,— потому что я намереваюсь поручить тебя его заботам. В последний раз повторяю: выбирай! Либо ты укажешь, где спрятаны сокровища, и получишь свободу, либо будешь передан дону Сарседе. А уж он-то найдет способ развязать тебе язык!

Странная слабость овладела мной, когда я понял, что обречен на пытки и что пытать меня будет де Гарсиа. Зная его жестокое сердце, мог ли я рассчитывать на снисхождение. Еще бы! Наконец-то смертельный враг попал к нему в

руки и теперь он натешится вволю! Но все же чувство чести и воля заглушили мой страх, и я ответил:

— Генерал, я уже сказал, что ничего не знаю об этих сокровищах. Теперь можете меня замучить, и да простит господь вашу жестокость!

— Ах ты святотатец! Как смеешь ты произносить имя божье, несчастный идолопоклонник и людоед? Позвать сюда Сарседу!

Когда посланный ушел, воцарилось молчание. Я встретился взглядом с Мариной и увидел жалость в ее добрых глазах. Но она ничем не могла мне помочь. Кортес был разъярен. До сих пор золото не удалось найти, солдаты требовали вознаграждения, и страх перед бунтом заставил его прибегнуть к столь постыдному средству, хотя по натуре он не отличался жестокостью.

Несмотря на это, Марина попыталась вступиться за меня. Некоторое время Кортес прислушивался к ее горячему шепоту, но затем грубо оттолкнул индианку.

— Молчи, Марина!— сказал он.— Неужели ты думаешь, я пощажу эту английскую собаку, когда моя власть, а может быть, и сама жизнь зависят от того, найдут сокровища или нет? Он знает, где они спрятаны! Ты сама это сказала, когда я хотел его сразу повесить за измену. Да и шпион, конечно, не ошибся. Ведь он его видел тогда на озере! С ними был еще один наш друг, но он не вернулся: должно быть, они его убили. Наконец, какое тебе дело до этого человека? Почему ты за него заступаешься? Оставь меня в покое, Марина, у меня и без того хватает забот.

Кортес закрыл лицо руками и погрузился в безрадостные размышления. Марина печально посмотрела на меня, словно говоря: «Я сделала, что могла». Я поблагодарил ее взглядом.

Но вот послышались шаги, и когда я снова поднял глаза, передо мной стоял де Гарсиа. Время и лишения почти не изменили его; серебряные нити в остроконечной бородке и вьющихся волосах только придали достоинства гордому облику моего недруга. Когда этот смуглый испанский красавец в пышном одеянии, украшенном золотыми цепочками, обнажив голову, поклонился Кортесу, я вынужден был признаться, что еще ни разу не встречал столь блестящего кавалера, чья привлекательная внешность так ловко скрывала самое черное сердце. Но я-то знал, что он собой представляет, и при виде его вся кровь закипела во мне от ярости. А когда я подумал о своем бессилии и о том, какое поручение он сейчас получит, я заскрежетал зубами и проклял

день своего рождения. Что касается де Гарсиа, то он приветствовал меня быстрой жестокой улыбкой и обратился к Кортесу:

— Вы меня звали, генерал?

— Здравствуйте, друг,— откликнулся Кортес.— Вы знаете этого изменника?

— Даже слишком хорошо, генерал. Он трижды пытался меня убить.

— Ну что ж, это ему не удалось, а теперь пришел ваш час, Сарседа. Кстати, он говорит, что у вас с ним вражда. В чем дело?

Де Гарсиа заколебался, теребя свою остроконечную бородку, потом ответил:

— Мне не хотелось говорить, потому что эта история вызывает во мне боль и раскаяние, но все-таки я ее расскажу, чтобы вы не думали обо мне хуже, чем я того заслуживаю. У этого человека есть причины относиться ко мне с недоброжелательством. Буду откровенен. Когда я был много моложе и предавался всем безумствам юности, я встретился в Англии с его матерью, красавицей-испанкой, по несчастной случайности вышедшей замуж за отца этого человека, деревенского дурня, злого шута, который ее истязал. Короче говоря, дама полюбила меня, и я убил ее мужа на дуэли. Вот почему этот предатель меня так ненавидит.

Пока он говорил, я думал, мое сердце испепелится от ярости. Ко всем своим злодеяниям и оскорблениям де Гарсиа прибавил еще одно: он запятнал честь моей покойной матери!

— Ты лжешь, убийца!— крикнул я, тщетно пытаясь разорвать веревки, которыми был связан.— Ты лжешь!

— Генерал, прошу защитить меня от подобных оскорблений,— спокойно проговорил де Гарсиа.— Будь пленник достоин дуэли, я попросил бы вас развязать его на некоторое время, но о таких, как он, я не желаю пачкать свой меч. Мне дорога моя честь.

— Если ты посмеешь еще раз оскорбить испанского дворянина,— холодно сказал Кортес,— у тебя вырвут раскаленными клещами твой подлый язык, проклятый еретик! А вас, Сарседа, я благодарю за откровенность. Если у вас на душе нет иных грехов, кроме этой любовной истории, я думаю, наш добрый капеллан Ольмедо избавит вас от пламени чистилища. Но мы зря тратим слова и время. Этот человек знает тайну сокровищ Куаутемока и Монтесумы. Если Куаутемок и его приближенные ничего не скажут, то этого белого язычника можно заставить заговорить. Только ин-

дейцы способны перенести все пытки без единого слова, а ему они быстро развяжут язык! Займитесь им, Сарседа. Поручаю его вашим особым заботам. Сначала пусть помучается вместе с другими, а если он окажется несговорчивым, отделите упрямца от остальных. Выбор способов предоставляю вам. Когда он признается, сообщите.

— Извините меня, генерал, но это занятие не для испанского дворянина. Я привык пронзать своих врагов мечом, а не рвать их клещами,— возразил де Гарсиа, но я заметил, как торжествующе блеснули его черные глаза, и уловил в деланно оскорбленном голосе испанца злорадную нотку.

— Знаю, друг,— ответил Кортес.— Но что делать? Мне самому это не нравится, однако иного выхода нет. Золото! Золото! Матерь божья, солдаты уже кричат, что я его украл. Проклятые индейцы вряд ли проронят хоть слово даже под пыткой. А этот человек знает все, и я нарочно отдаю его вам, потому что вы знаете, какие злодеяния он совершил, и это избавит вас от ложной жалости. Не давайте ему пощады! Помните — он должен заговорить!

— Вы приказываете, Кортес, и, хотя это дело не по мне, я подчиняюсь. Но с одним условием: отдайте приказ в письменном виде.

— Приказ вам вручат немедленно,— ответил Кортес.— А пока отправьте пленника!

— Куда?

— В тюрьму, где он сидел. Все уже готово. Там он встретит своих друзей...

Появились солдаты и повели меня обратно в мою темницу. Когда мы выходили из комнаты, де Гарсиа крикнул, что сейчас нас догонит.

Глава XXIX

ДЕ ГАРСИА ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ НАЧИСТОТУ

Меня поместили не в мою комнату, а в расположенную при входе в дом маленькую караульню, где отдыхала стража. Здесь, задыхаясь от страха и ярости, я лежал некоторое время, связанный по рукам и ногам. Два солдата с обнаженными мечами не спускали с меня глаз. Из-за стены доносились глухие звуки ударов, сопровождаемые стонами.

Но вот дверь распахнулась, в караульню вошли два тласкаланца свирепого вида и, схватив меня за волосы и за

уши, грубо поволокли в комнату. Я услышал, как один испанец сказал, обращаясь к другому:

— Бедняга! Святотатец он или нет, мне его жаль. Проклятая служба!

Затем дверь за нами закрылась, и я очутился в камере пыток. Комната была затемнена; на оконной решетке висел какой-то лоскут, и только огонь жаровен освещал стены призрачными отблесками. При свете этих отблесков я старался разглядеть обстановку.

Посреди комнаты стояло три грубо сколоченных деревянных кресла. Одно было пусто, а в двух других сидели император ацтеков Куаутемок и мой старый знакомый, касик Такубы. Они были привязаны к креслам, а под ногами у них стояли жаровни с пылающими углями. Позади кресел примостился писец с бумагой и чернильницей. Вокруг пленников суетились занятые своим страшным делом тласкаланцы, которыми руководили два испанских солдата.

Перед третьим пустым креслом стоял еще один испанец, казалось, не принимавший участия во всем происходящем. Это был де Гарсиа.

Но вот один из тласкаланцев схватил босую ногу правителя Такубы и прижал ее к пылающим угольям жаровни. Несколько мгновений стояла мертвая тишина, затем касик Такубы глухо застонал. Куаутемок повернулся к нему — только тогда я заметил, что его нога тоже стоит на горящих угольях.

— На что ты жалуешься, друг?— заговорил он твердым голосом.— Я тоже не отдыхаю на своем ложе, однако молчу! Смотри на меня, друг, и не выдавай своих страданий.

Я услышал, как заскрипело перо по бумаге: писец записал его слова. В этот миг Куаутемок повернул голову и увидел меня. Его лицо было свинцовым от боли, но когда он обратился ко мне, я услышал все тот же неторопливый, ясный голос, который столько раз звучал на большом совете.

— Увы, ты тоже здесь, друг мой теуль?— сказал Куаутемок.— Я надеялся, что тебя они пощадят. Теперь ты видишь, что значит верить испанцам. Малинцин поклялся обходиться со мной с уважением, вот он и воздает мне честь горящими углями и раскаленными клещами. Они думают, что мы спрятали сокровища, и пытаются вырвать у нас эту тайну. Но ведь ты знаешь, теуль, что это неправда. Если бы у нас были сокровища, разве бы мы не отдали их сами нашим победителям, божественным сыновьям Кецалькоатля? Ты знаешь, что у нас не осталось ничего, кроме развалин наших городов и праха наших близких.

— Молчи, собака!— оборвал его один из палачей и ударил по лицу. Но я уже понял и в глубине души поклялся, что скорее умру, чем выдам тайну своего собрата. Скрыв от алчных испанцев сокровища, Куаутемок хоть в этом мог одержать над ними победу. Нет я не предам его в последнем бою!

Так я дал клятву, которой тут же было суждено подвергнуться испытанию. По знаку де Гарсиа тласкаланцы схватили меня и привязали к третьему креслу. Затем он склонился к моему уху и заговорил по-испански:

— Пути господни неисповедимы, кузен Вингфилд. Ты охотился за мной по всему свету, мы не раз встречались, и каждый раз это было тебе на горе. Я думал, что разделаюсь с тобой на рабском корабле, я надеялся, что акулы прикончат тебя в море, но ты каким-то образом всегда ускользал от меня, мой преследователь, и я каждый раз сожалел об этом, узнавая правду. Но теперь я ни о чем не жалею. Теперь я знаю, что тебе был уготован сегодняшний день. На сей раз ты от меня не уйдешь, кузен Вингфилд, и я надеюсь, что мы проведем с тобой несколько приятных дней, прежде чем расстаться навсегда. Я буду с тобой обходителен. Выбирай сам, с чего нам начать. К сожалению, выбор не так богат, как бы мне хотелось; святая инквизиция еще не прибыла сюда со своими милосердными орудиями, но я собрал все, что мог. Эти дикари ничего не понимают в своем деле: у них хватило воображения только на горящие угли. У меня, как видишь, больше фантазии,— де Гарсиа показал на различные орудия пыток.— Итак, что тебе больше нравится?

Я не ответил, решив не издавать ни звука, что бы со мной ни делали.

— Сейчас подумаем, подумаем,— продолжал де Гарсиа, теребя свою бородку.— Ага, есть! Эй, рабы, сюда!

Я не хочу описывать пережитые мной страдания, чтобы не возбудить ужас в душе того, кому доведется прочесть мою историю. Достаточно будет сказать, что этот дьявол с помощью тласкаланцев истязал меня в течение двух с лишним часов, подвергая самым ужасным мучениям. Он перепробовал на мне все пытки, какие только мог придумать, проявив в этом деле незаурядные способности и неистощимую изобретательность. Когда я временами терял сознание, меня тотчас приводили в себя ведрами холодной воды и водкой, которую вливали мне в рот. Но, несмотря на все это, я с гордостью могу сказать, что

за два с лишним часа невыносимых страданий не издал ни единого стона и не произнес ни слова.

А ведь я испытывал не только телесные муки. Мой враг, не переставая, осыпал меня издевками и насмешками, терзавшими мою душу сильнее, чем орудия пыток и горящие угли терзали мою плоть. Наконец де Гарсиа выбился из сил, и, обозвав меня упрямой английской свиньей, приостановил пытку. В этот момент в залитую кровью комнату вошел Кортес, а за ним — Марина.

— Как дела?— спокойно спросил Кортес, хотя лицо его побелело при виде всех ужасов.

— Касик Такубы признался, что золото спрятано у него в саду,— ответил писец, заглянув в свои бумаги.— Двое других молчат, генерал.

Я услышал, как Кортес пробормотал про себя:

— Какие люди! Поистине железные...

Затем громко приказал:

— Завтра отнесите касика в сад, о котором он говорил; пусть покажет, где лежит золото. А этих двух оставьте на сегодня в покое. Может быть, за ночь они образумятся. Надеюсь на это, надеюсь ради их же блага!

Кортес отошел в дальний угол и начал совещаться с Сарседой и другими палачами. Передо мной и Куаутемоком осталась одна Марина. Некоторое время она смотрела на принца почти с ужасом, затем странный огонь промелькнул в ее прекрасных глазах и она тихо обратилась к нему по-ацтекски:

— Помнишь, Куаутемок, как ты однажды оттолкнул меня там, в Табаско, и что я тебе тогда сказала? Я говорила, что возвышусь без твоей помощи и вопреки тебе. Видишь, все сбылось, и даже больше того, ибо смотри, до чего ты дошел! Скажи, ты не жалеешь о том далеком дне, Куаутемок? Я жалею, хотя многие женщины на моем месте только радовались бы, увидев тебя в беде.

— Женщина,— ответил принц хриплым голосом,— ты предала свою родину, унизила меня и довела до пыток. Да, если бы не ты, пожалуй, все было бы по-другому. Да, я сожалею — сожалею о том, что не убил тебя сразу. Но да будет впредь имя твое постыдной бранью в устах каждого честного человека, да будет душа твоя проклята навеки, и да испытаешь ты еще при жизни самую страшную измену и унижение! Твое предсказание сбылось, женщина. Но и мое исполнится!

Марина, трепеща, отвернулась и некоторое время не

могла произнести ни слова. Но вот взгляд индианки упал на меня, и слезы полились из ее глаз.

— Увы, друг мой,— пробормотала она,— бедный, бедный...

— Не плачь надо мной, Марина,— отозвался я по-ацтекски.— Какой толк от твоих слез? Лучше помоги мне, если можешь!

— О, если бы я могла!— воскликнула она,рыдая, повернулась и выбежала из комнаты пыток. Кортес последовал за ней.

К нам снова приблизились испанцы. Они подняли Куаутемока и касика Такубы и понесли на руках, потому что те не могли идти, а касик вообще был без сознания.

— Прощай, теуль!— сказал мне Куаутемок, когда его проносили мимо.— Ты поистине благородный человек, настоящий сын Кецалькоатля. Да вознаградят тебя боги за все, что ты выстрадал ради меня и моего народа, ибо я наградить тебя не могу.

Это были последние слова Куаутемока, которые мне довелось услышать, ибо в следующее мгновение его вынесли из комнаты.

Я остался один лицом к лицу с тласкаланцами и де Гарсиа. Он не переставал надо мной насмехаться:

— Что, друг мой Вингфилд, устал немножко? Ничего, все дело в привычке! Игра трудна только поначалу. За ночь сон освежит тебя, а утром ты проснешься новым человеком. Ты, наверное, думаешь, что худшее уже позади, что на большее я не способен? Глупец, это только цветики. Ты, конечно, воображаешь, что твое упрямство злит меня? Опять ошибка! Я молюсь о том, чтобы ты не вздумал заговорить, дружок! Я готов отказаться от своей доли спрятанного золота, лишь бы провести с тобой еще пару подобных деньков! Я могу расплатиться с тобой сполна — мне посчастливилось найти такой способ. Ведь можно терзать не только плоть, не правда ли? Когда я хотел отомстить твоему отцу, я поразил ту, которую он любил. А теперь я добрался и до тебя. Ты, конечно, не понимаешь, о чем идет речь? Хорошо, я скажу. Может быть, ты знаешь некую знатную индианку царского рода по имени Отоми?

— Отоми? Что с ней?— воскликнул я, впервые разжав уста, ибо страх за нее поразил меня сильнее, чем перенесенные пытки.

— О, какая удача! Наконец-таки я нашел способ заставить тебя говорить. Завтра ты у меня будешь соловьем разливаться! А способ простой: Отоми, дочь Монтесумы, и,

кстати, весьма приятная дама, согласно обычаям индейцев, стала твоей женой, кузен Вингфилд. Я знаю всю вашу историю. Так вот, твоя жена в моей власти, и я тебе это докажу. Сейчас ее приведут сюда; можете утешить друг друга. Но завтра она сядет на твое место и на твоих глазах ей придется испытать все, что испытал здесь ты. Слышишь, собака? О, тогда ты заговоришь! Ты скажешь все, только боюсь, будет слишком поздно!

Первый раз за все время я почувствовал, что силы мои сломлены, и начал молить своего злейшего врага о милосердии.

— Пощади ее!— стонал я.— Делай со мной что хочешь, но ее пощади! Ведь есть же у тебя сердце, даже у тебя, ибо и ты человек. Ты никогда этого не сделаешь, и Кортес этого не допустит.

— Кортес?— рассмеялся де Гарсиа.— Кортес ничего не узнает, пока все не будет кончено. У меня есть его письменный приказ — использовать все способы, чтобы вырвать у тебя признание. Пытки не помогли — значит, остается только этот способ. А что касается остального, то, по-видимому, ты меня плохо знаешь. Тебе известно, что такое ненависть, потому что ты меня ненавидишь. Так вот, увеличь это чувство в десять раз и тогда ты поймешь, как я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя за твою семью, за то, что у тебя глаза твоей матери, но больше всего — за тебя самого! Меня, испанского дворянина, ты избил палкой, как собаку! Разве может хоть что-нибудь остановить меня теперь, когда я могу, наконец, удовлетворить свою ненависть? Ты смелый человек, но сейчас ты дрожишь, сейчас и ты узнал муки ужаса. Какое счастье! Теперь я могу сказать все начистоту: я боюсь тебя, Томас Вингфилд. Я испугался, когда встретился с тобой впервые — у меня были на то причины,— и только поэтому пытался тебя убить.По временам я не мог спать от неизъяснимого ужаса, который ты мне внушал. Из-за тебя я бежал из Испании, из-за тебя я вел себя, как трус, во многих схватках. В этой странной дуэли мне всегда везло, но все равно я боялся тебя по-прежнему. Я боюсь тебя и сейчас. Если бы мог, я бы убил тебя сразу, но тогда твой призрак начал бы преследовать меня вместе с призраком твоей матери, а главное — мне пришлось бы ответить за тебя Кортесу. Страх, кузен Вингфилд,— отец жестокости. Страх перед тобой заставляет меня быть беспощадным. Я знаю, что в конечном счете ты меня победишь, живой или мертвый, но сейчас моя очередь торжествовать.Пока в тебе или в тех, кто тебе дорог, теплится жизнь,

я буду делать все, чтобы довести тебя или твоих близких до позора, унижения и гибели. А почему бы и нет? Ведь я уже погубил твою мать, кузен, хотя мне и пришлось это сделать, чтобы спасти свою жизнь. Мне все равно нет прощения — сделанного не переделать! Ты гнался за мной, чтобы отомстить, и рано или поздно твоей рукой или с твоей помощью эта месть свершится. Но сегодня мой час, и я им воспользуюсь, хотя бы для этого мне пришлось превратиться в мясника!

Внезапно де Гарсиа повернулся и вышел из комнаты, а я от слабости и боли потерял сознание.

Очнулся я на чем-то вроде ложа и почувствовал, что путы мои сняты. Надо мной склонилась какая-то женщина. Шепча слова жалости и любви, она перевязывала мои раны.

Была уже ночь, но в комнате горел светильник, и в его мерцании я разглядел, что женщина эта была не кто иная, как Отоми, но уже не измученная и истощенная, а почти столь же прекрасная, как задолго до дней голодной осады.

— Отоми, ты здесь!— прошептал я израненными губами и застонал, потому что вместе с сознанием в моей памяти всплыли угрозы де Гарсиа.

— Да, любимый, это я,— тихо отозвалась Отоми.— Мне позволили ухаживать за тобой. Проклятые, что они с тобой сделали? Если бы я могла отомстить!..

Отоми разрыдалась.

— Тш-ш-ш!— проговорил я.— Тише. У нас есть еда?

— Сколько угодно. Принесла женщина от Марины.

— Дай мне поесть, Отоми.

Она принялась меня кормить, и постепенно смертельная слабость прошла. Осталась только боль, раздиравшая на части мое бедное тело.

— Слушай, Отоми, ты видела де Гарсиа?

— Нет, муж мой. Два дня назад меня разлучили с моей сестрой Течуишпо и другими женщинами, но обращались со мной хорошо, и я не видела ни одного испанца, если не считать солдат, с которыми сюда пришла. Они сказали, что ты болен. О, теперь-то я знаю, что это за болезнь!..

И она снова заплакала.

— Однако кто-то тебя увидел и донес, что ты моя жена.

— Это понятно,— ответила Отоми.— Все ацтеки знали о нашей женитьбе, сохранить подобную тайну невозможно. Но за что они тебя так мучили? За то, что ты сражался против них?

— Мы одни?— спросил я.

— Снаружи стоит стража, но в комнате мы одни.

— Тогда наклонись поближе, и я тебе скажу.

Когда я объяснил Отоми все, она вскочила на ноги с горящими глазами и заговорила, прижимая руки к сердцу:

— О, я любила тебя и раньше, но теперь люблю еще сильнее, если только это возможно! Кто вынес бы подобные страдания, сохранив верность клятве и побежденным друзьям? Да будет благословен день, когда я впервые увидела твое лицо, о муж мой, самый верный из всех людей! Но те, кто посмел это сделать с тобой, где они? Теперь они не придут, правда? Теперь все кончено, и я буду ухаживать за тобой, пока ты не поправишься. Ведь иначе они не пустили бы меня к тебе!

— Увы, Отоми, я должен сказать тебе правду: ничто еще не кончено!

И прерывающимся голосом я рассказал ей все, да, все, потому что не имел права ничего скрывать. Я объяснил ей, для чего ее привели сюда. Она выслушала меня молча, и только губы ее побелели.

— Поистине теули превзошли наших жрецов,— заговорила она, когда я кончил.— Жрецы нашего народа пытают и приносят жертвы во славу богов, а не во имя золота и тайной злобы. Но что нам теперь делать? Скажи мне, муж мой, ты должен сказать!

— Я не смею,— простонал я.

— Ты словно девочка, которая не решается признаться в сжигающей ее любви,— проговорила Отоми с печальной и гордой усмешкой.— Хорошо, я скажу за тебя. Ты думал о том, что этой ночью мы должны умереть.

— Да,— ответил я.— Умереть сейчас или умереть завтра, испытав все муки и унижения,— иного выбора у нас нет. Если бог нам не поможет, мы должны помочь себе сами, а способ у нас один.

— Бог? Нет никакого бога! Было время, когда я усомнилась в богах своего народа и обратилась к твоему божеству. Но сейчас я отвергаю и проклинаю его! Если бы был милосердный бог, о котором ты говорил мне, разве бы он допустил подобное? Ты единственный мой бог, и только тебе я поклоняюсь. Нечего взывать к тому, чего нет! А если что-то и есть, то все равно никто не услышит наши жалобы и не увидит наши страдания. Поэтому будем надеяться только на себя. Вот лежат веревки. На окне есть решетка. Одно мгновение — и мы улетим за пределы солнца прочь от жестокости теулей или просто уснем навеки. Но пока у нас еще есть время. Давай поговорим немного! Вряд ли они

приступят к пыткам до рассвета, а к рассвету мы будем уже далеко.

И мы повели беседу, насколько мне позволяла боль. Мы вспоминали о нашей первой встрече, о том, как Отоми была отдана мне, богу Тескатлипоке, Душе Мира, о дне, когда мы лежали бок о бок на жертвенном алтаре, о нашей настоящей свадьбе, об осаде Теночтитлана и смерти нашего первенца. Так мы проговорили далеко за полночь и умолкли лишь часа в два утра. Гнетущая тишина воцарилась в темнице. Наконец Отоми обратилась ко мне, и голос ее звучал торжественно и глухо:

— Муж мой, ты измучен болью, а я усталостью. Время совершить неизбежное. Печальна наша судьба, но впереди нас ждет, наконец, покой. Благодарю тебя, муж мой, за твою доброту, но еще больше благодарю тебя за верность моей семье и моему народу. Прикажи приготовить все для нашего последнего странствия.

— Приготовь все,— ответил я.

Отоми встала и занялась веревками. Вскоре все было сделано. Час смерти пробил.

— Помоги мне, Отоми,— попросил я.— Я сам не могу ходить.

Она подняла меня своими сильными, нежными руками, и поставила на табурет под зарешеченным окном. Потом она накинула мне на шею петлю, встала со мной рядом и затянула вторую петлю у себя на горле. В торжественной тишине мы обменялись последним поцелуем. Все уже было сказано.

Но вдруг Отоми спросила меня:

— О чем ты думаешь в этот миг, муж мой? Обо мне и нашем мертвом ребенке или о той девушке, что живет далеко за морем? Нет, не отвечай! Я была счастлива в моей любви — этого достаточно. Сейчас любовь моя оборвется вместе с жизнью. Я ни о чем не жалею; мне жалко тебя. Прикажи, я оттолкну табурет. Скажи — да!

— Да, Отоми. Нам не на что надеяться, кроме смерти. Я не могу изменить Куаутемоку, и я не вынесу твоего позора и мучений.

— Тогда поцелуй меня в последний раз!

Я снова поцеловал ее, и Отоми толкнула табурет, пытаясь его опрокинуть. В тот же миг двери распахнулись и снова быстро захлопнулись. Перед нами стояла закутанная женщина с факелом в одной руке и каким-то узлом в другой. Увидев эту ужасную сцену, она бросилась к нам с криком:

— Что вы делаете? Ты сошел с ума, теуль!

Я сразу узнал голос Марины.

— Кто эта женщина, муж мой?— спросила Отоми.— Откуда она тебя знает и почему она мешает нам умереть спокойно?

— Я Марина,— ответила закутанная гостья.— Я пришла вас спасти, если только смогу.

Глава XXX

ПОБЕГ

Отоми сбросила петлю с шеи и, спустившись на пол, встала перед Мариной.

— Так это ты, Марина?— заговорила она гордо и холодно.— И ты пришла нас спасти, ты, погубившая свою родину, отдавшая тысячи ее детей на поругание, смерть и пытки? Если бы я была одна, я предпочла бы обойтись без твоей помощи и умереть, как я этого хотела.

Никогда еще Отоми не выглядела так царственно, как в тот миг, когда отказалась от последней возможности на спасение ради того, чтобы высказать все свое презрение той, кого она называла предательницей. Впрочем, Марина и была предательницей. Если бы не она, Кортес вряд ли покорил бы Анауак.

Я задрожал, услышав гневные слова Отоми. Несмотря на все перенесенные страдания, жизнь все еще была мне дорога, хотя десять секунд назад я был готов переступить порог смерти. Неужели Марина сейчас уйдет и мы погибнем? Но этого не случилось. Марина только отпрянула и задрожала под взглядом Отоми.

Удивительный контраст являла столь несхожая красота этих двух женщин, стоявших лицом к лицу в камере пыток, но еще разительнее было превосходство царственного духа обреченной на позорную смерть или на еще более постыдную жизнь принцессы над этой индианкой, которую судьба на миг вознесла до звезд.

— Скажи, принцесса,— заговорила Марина своим нежным голосом,— если мне не солгали, ты сама легла на жертвенный камень рядом с этим человеком? Почему ты это сделала?

— Потому что я его люблю.

— По той же причине и я, Марина, бросила свою честь на другой алтарь, по той же причине я пошла против детей своего народа — я люблю другого человека. Только из люб-

ви к Кортесу я помогла ему, поэтому не презирай меня. Твоя любовь поможет тебе оправдать мою, ибо для нас, женщин, любовь — это все. Если я виновата, за эту вину я готова нести самое тяжкое наказание.

— Поистине ты его заслужила,— подхватила Отоми.— Моя любовь никому не причинила зла, а что сделала твоя? Смотри — вот лишь одно зерно твоего посева! На этом кресле твой хозяин Кортес пытал императора Куаутемока, нарушив все свои клятвы! А на этом рядом с ним сидел мой муж и твой друг теуль, которого Кортес отдал в руки его злейшему врагу де Гарсиа, или Сарседе. Смотри, что он с ним сделал! О нет, не отворачивайся, добрая женщина, смотри на его раны! Подумай, до какого ужаса нас довели, если мы оба готовы умереть здесь, как собаки: мой муж — потому, что он не может пережить, чтобы меня тоже пытали, я — потому, что дочь Монтесумы, принцесса народа отоми, не дойдет до подобного позора. Лучше смерть! А ведь это только один колосок твоей жатвы, отверженная изменница! На развалинах Теночтитлана ты соберешь богатый урожай позора и смерти. Если бы на то была моя воля, я бы скорей умерла десять раз, чем приняла спасение из рук, залитых кровью моего народа! Когда-то он был и твоим...

— О, замолчи, замолчи, умоляю!— простонала Марина, закрывая лицо руками, словно устрашенная видом Отоми.— Что сделано, то сделано — зачем ты меня терзаешь? Но неужели тебя, принцессу Отоми, привели сюда, чтобы пытать?

— Да, пытать, и на глазах моего мужа! А чем дочь Монтесумы, принцесса народа отоми, лучше императора Анауака? Если их не останавливает то, что я женщина, разве их удержит мой недавно еще высокий сан?

— Кортес ничего об этом не знает, клянусь!— воскликнула Марина.— А все остальное его заставили сделать солдаты. Они бунтуют и кричат, что он украл сокровища, которых Кортес сам никогда не видел. Но в этом злодеянии он не повинен! Он не знает...

— Тогда пусть спросит у Сарседы, своего подручного.

— Обещаю, я сделаю все, что могу, чтобы отплатить за это Сарседе. Но время идет, принцесса. Я пришла сюда с ведома Кортеса, чтобы попытаться выведать у твоего мужа теуля тайну сокровищ Монтесумы. Но ради нашей с ним дружбы я готова обмануть Кортеса и помочь вам обоим бежать. Ты отказываешься от моей помощи?

Отоми промолчала. Тогда впервые заговорил я:

— Нет, Марина, мне вовсе не хочется умереть в петле, как какому-нибудь вору. Но как этого избежать?

— Надежды, по правде говоря, мало, но я подумала, что, если вы выберетесь из тюрьмы переодетыми, может быть, вам удастся скрыться. До рассвета в лагере вряд ли кто проснется, а если и найдутся такие, то лишь немногие из них сумеют отличить человека от дерева. Все перепились. Смотри, теуль, я принесла тебе одежду испанского солдата. Кожа у тебя смуглая, и в полумраке ты сойдешь за испанца. Для принцессы, твоей жены, я достала другое платье. Мне стыдно его предлагать, но это единственное, в чем женщина может свободно ходить по лагерю ночью. Кроме того, я принесла тебе меч, который у тебя отобрали, хотя и знаю, что когда-то им владел другой человек.

Не переставая говорить, Марина развязала свой узел и вынула из него одежду и меч, тот самый, что я отнял у испанца Диаса в кровавую «Ночь печали». Но сначала Марина вытащила женское платье и подала его Отоми. Я увидел желто-красный наряд, какой у индейцев носят только определенные женщины, сопровождающие войска. Отоми тоже увидела его и отпрянула.

— Женщина, ты принесла мне свое собственное платье,— проговорила она спокойно, но с таким презрением, с такой дикарской гордостью, что даже я, привыкший к людям ее племени, был поражен.— Наверное, ты ошиблась. Во всяком случае, я его не надену.

— О, это уже слишком!— пробормотала Марина, теряя терпение и тщетно пытаясь скрыть злые слезы, выступившие у нее на глазах.— Я не могу больше этого выносить. Прощайте, я ухожу.

Марина начала завязывать узел, но я поспешил вмешаться:

— Прости ее, Марина! Это горе заставило Отоми так говорить!

Желание бежать росло во мне с каждой минутой. Повернувшись к Отоми, я сказал:

— Прошу тебя, будь добрее, жена, хотя бы ради меня. Марина — наша последняя надежда.

— Лучше бы она дала нам умереть спокойно, муж мой! Хорошо, ради тебя я надену наряд шлюхи. Но как мы выберемся отсюда, а потом из лагеря? Кто откроет нам дверь, кто удалит стражу? И даже если нас не заметят, сможешь ли ты идти?

— Дверь не откроется, принцесса,— ответила Марина,— тот, кто меня впустил, ждет снаружи, чтобы запереть

ее, когда я выйду. Но стражи нечего опасаться, верьте мне. Смотри, теуль, решетка на окне деревянная, твой меч быстро с ней справится. А если вас потом заметят, притворись пьяным солдатом, которого женщина ведет к его отряду. Что будет после — я сама не знаю. Знаю только, что ради вас обоих я рискую жизнью. Если откроется, что я вам помогла бежать, мне будет нелегко смягчить гнев Кортеса. Война кончилась, слава богу, но — увы!— теперь я ему уже не так нужна, как раньше.

— Я кое-как могу прыгать на правой ноге,— сказал я.— В остальном придется положиться на волю случая. Хуже, чем сейчас, нам все равно не будет.

— Прощай, теуль, больше мне нельзя задерживаться. Я сделала все, что могла. Пусть твоя счастливая звезда поможет тебе уйти невредимым. Если мы никогда больше не встретимся, прошу тебя, теуль, не думай хоть ты обо мне плохо, потому что в мире и без того найдется много людей, которые будут меня проклинать.

— Прощай, Марина,— ответил я, и она ушла.

Мы слышали, как дверь закрылась за ней, и голоса людей, уносивших ее паланкин, постепенно замерли в отдалении. Потом все стихло. Отоми еще некоторое время прислушивалась, стоя у окна, но, казалось, вся стража ушла, почему и куда — я до сих пор не знаю. Издалека доносились только хмельные голоса солдат.

— Теперь за дело!— сказал я Отоми.

— Как хочешь, муж мой, но, боюсь, все это бессмысленно. Я не верю этой женщине. Изменница предаст и нас. На худой конец теперь у тебя есть меч, и ты сумеешь им воспользоваться.

— О чем тут говорить?— возразил я.— В жизни нет ничего страшней пыток и смерти, а нас ждет и то и другое. Чего же нам еще опасаться?

Я сел на табурет и, пользуясь тем, что руки мои остались сильны и невредимы, принялся вырубать острым мечом деревянные прутья решетки один за другим, пока не проделал отверстие, через которое можно было протиснуться. За все это время никто поблизости не появлялся. Затем Отоми помогла мне одеться в принесенный Мариной костюм испанского солдата — сам я не смог бы с ним справиться. Трудно представить, какие муки испытал я, надевая проклятое платье, а особенно натягивая длинные испанские сапоги на свои обожженные ноги. Несколько раз я останавливался и спрашивал себя: не лучше ли просто умереть, чем терпеть такую ужасную боль? Наконец с этим

было покончено, и теперь пришла очередь Отоми облачиться в позорный наряд, который для большинства индианок был страшнее смерти. Мне кажется, что, надевая его, она испытывала еще большие страдания, чем я, хотя и другого рода, ибо для гордой Отоми это платье было ужаснее тернового венца.

Но вот переодевание закончилось. Отоми жеманно прошлась передо мной и спросила с дикой насмешливой улыбкой:

— Ну как, солдатик, хороша ли я? Ах, душка!..

— Перестань дурачиться!— оборвал я ее.— Какая разница, во что мы переодеты, если речь идет о жизни?

— Большая, муж мой. Но тебе, мужчине и чужестранцу, этого не понять! Я пролезу в окно первой и буду ждать тебя. Если ты не сможешь последовать за мной, я вернусь, и мы покончим с этим маскарадом. Отоми быстро проскользнула в отверстие — она была сильна и гибка, словно оцелот*. Поднявшись на табурет, я постарался сделать то же самое, насколько позволяли мои раны. Мне удалось наполовину высунуться из окна, но тут я застрял и повис, как дохлая кошка. Наконец Отоми буквально выдернула меня наружу, и мы оба свалились на землю. Я не смог удержать стона.

Отоми поставила меня на ноги, вернее на ногу, потому что я мог ступать только на одну из них, и мы огляделись. Вокруг не было ни души; даже пьяные вопли в лагере стихли. Вершина Попокатепетля уже розовела под первыми лучами солнца. В долину спускался рассвет.

Хорошо еще, что Отоми с ее сестрой, женой Куаутемока, и другим женщинам разрешили свободно ходить по лагерю, и она, подобно большинству индейцев, прекрасно запоминала дорогу, по которой прошла хоть раз, так что теперь Отоми могла вести меня хоть в кромешной тьме.

— Пойдем к южным воротам,— прошептала она,— может быть, теперь, когда бои кончились, их не охраняют. По крайней мере, эту дорогу я знаю.

Мы двинулись вперед. Я прыгал на одной ноге, опираясь на плечо Отоми. С большим трудом мы одолели ярдов триста, никого не встретив, но счастье нам изменило. Завернув за угол какого-то дома, мы лицом к лицу столкнулись с тремя солдатами, возвращавшимися к себе в сопровождении нескольких слуг после ночной попойки.

---

* Оцелот — крупное хищное животное из семейства кошачьих, распространенное в тропической Америке.— *Прим. перев.*

— Это еще кто здесь?— заорал один из них.— Как тебя зовут, друг?

— Доброй ночи, братец, бай-бай!— ответил я по-испански хриплым голосом пьяницы.

— Ты хочешь сказать, доброе утро?— рассмеялся солдат, потому что уже светало.— Но как твое имя? Я что-то тебя не знаю, хотя рожа твоя мне знакома. Уж не встречались ли мы в бою?

— Не имеешь права спрашивать мое имя!— важно ответил я, раскачиваясь взад и вперед.— Не дай бог, узнает мой капитан,— тогда всем не поздоровится. Он у нас не пьющий. Дай руку, девка, пора спать, бай-бай. Видишь, солнце уже садится!

Солдаты расхохотались. Один из них обратился к Отоми:

— Брось этого пьяного дурня, красотка, пойдем с нами!

Он потянул ее за руку, но тут Отоми повернулась к нему с таким свирепым видом, что испанец от удивления отступил, и мы, шатаясь побрели дальше.

Когда угол дома скрыл нас от солдат, силы меня оставили, и я рухнул на землю от невыносимой боли: пока солдаты могли нас увидеть, мне приходилось ступать на раненую ногу, чтобы не возбудить их подозрения. Отоми попыталась меня поднять.

— Вставай, любимый!— умоляла она.— Надо идти, или мы погибнем.

С мучительным стоном я поднялся на ноги. Ценой каких страданий добрались мы до южных ворот — невозможно сказать. Мне казалось, я десять раз умру, прежде чем их достигну. Ну вот, наконец, ворота, и возле них, по счастью, ни одного солдата: все испанцы спали в караульне. Только три тласкаланца дремали у маленького костра, завернувшись с головой в свои плащи-одеяла. На рассвете посвежело.

— Открывайте ворота, собаки!— гордо потребовал я.

Увидев перед собой испанского солдата, один из тласкаланцев встал на ноги, затем, помедлив, спросил:

— Зачем? Кто приказал?

Я не видел его лица, скрытого одеялом, но голос показался мне знакомым, и страх охватил меня. Однако нужно было отвечать.

— Зачем? А затем, что я пьян и хочу проспаться на травке, пока протрезвлюсь. Кто приказал? Я приказал, дежурный офицер! Живей, не то я прикажу тебя сечь до тех пор, пока ты не отучишься навсегда задавать дурацкие вопросы. Слышишь?

Тласкаланец заколебался.

— Может, разбудить теулей?— обратился он к своему товарищу.

— Не надо,— ответил тот.— Господин Сарседа устал и приказал его зря не беспокоить. Пропусти их или не выпускай, только его не буди.

Я задрожал с головы до ног: в караульне был де Гарсиа! Что, если он уже проснулся? Что, если он сейчас выйдет и увидит меня? И в довершение всего я узнал, наконец, голос тласкаланца,— это был один из пытавших меня мучителей. Только бы он не увидел моего лица! Палач наверняка узнает свою жертву.

Оцепенев от ужаса, я не мог произнести ни слова, и если бы не Отоми, моя история на этом бы окончилась. Но тут она вступила в свою роль превосходно. Солеными солдатскими шуточками Отоми заставила тласкаланца рассмеяться, и он открыл перед нами ворота. Мы уже миновали их, когда от внезапного приступа слабости я споткнулся, упал и покатился по земле.

— Вставай, дружок, вставай!— тянула меня Отоми с грубым смехом,— Если хочешь спать, подожди, пока мы доберемся до какого-нибудь укромного местечка под кустом!

Она нагнулась, чтобы поднять меня. Тласкаланец со смехом поспешил ей на помощь, и, опираясь на них, мне удалось встать на ноги. Но когда я встал, шляпа, и без того едва прикрывавшая мое лицо, упала на землю. Тласкаланец подобрал ее, протянул мне и в этот миг наши глаза встретились. Хорошо еще, что свет падал сзади, так что мое лицо оказалось в тени.

В следующее мгновение я, подпрыгивая, двинулся дальше, но, оглянувшись, увидел, что тласкаланец с растерянным видом смотрит нам вслед, словно не веря своим глазам.

— Он узнал меня,— шепнул я Отоми.— Сейчас он опомнится и побежит за нами.

— Скорей, скорей,— умоляла она.— Вон за тем поворотом заросли агав. Там и спрячемся.

— Не могу! Сил нет,— прохрипел я и начал снова валиться.

Отоми едва успела меня подхватить. И вдруг, напрягая все силы, она подняла меня на руки и понесла, словно мать ребенка, прижимая к своей груди. Любовь и отчаяние помогли ей пронести меня так шагов пятьдесят до края насаждений агавы, но здесь мы оба рухнули наземь.

Я скосил глаза на тропинку, по которой мы шли. Там из-за угла появился тласкаланец с утыканной обсидиановыми остриями палицей. Как видно, он решил избавиться от всех сомнений.

— Конец,— прохрипел я.— Он идет сюда.

Вместо ответа Отоми выхватила мой меч из ножен и сунула его рядом в траву.

— А теперь закрой глаза,— шепнула она.— Сделай вид, что спишь. Это наша последняя надежда.

Я закрыл лицо локтем и притворился спящим. Мне было слышно, как тласкаланец шел через заросли. Еще мгновение — и он уже стоял надо мной.

— Чего тебе надо?— спросила Отоми.— Ты что, не видишь — он спит? Не буди его!

— Сначала я должен взглянуть на этого человека, женщина,— ответил тласкаланец, отстраняя мою руку.— О, боги, я так и думал! Это тот самый теуль, с которым мы вчера возились. Он сбежал!

— Ты с ума сошел!— рассмеялась Отоми.— Если он и сбежал, то только от пьяной драки и выпивки.

— Ты лжешь, женщина, или просто ничего не слышала. Этот человек знает тайну сокровищ Монтесумы. За него дадут царскую награду!

И тласкаланец взмахнул палицей.

— Стой, зачем же тогда его убивать? Я, конечно, ничего не знаю. Бери его, если хочешь. Мне этот пьяный дурень давно надоел.

— А ведь верно! Убивать его глупо. Лучше я приведу его живым к господину Сарседе, за это он меня и похвалит и наградит. Эй, помоги мне!

— Управляйся сам,— сердито ответила Отоми.— Только сначала пошарь у него в карманах: может, там найдется чем поживиться нам обоим?

— Тоже верно,— проговорил тласкаланец, опустился передо мной на колени и начал выворачивать мои карманы.

Отоми стояла над ним. Внезапно я увидел, как исказилось ее лицо и в глазах сверкнуло жуткое пламя, такое же, как в глазах жрецов, приносящих жертву. Быстрее мысли она схватила меч из травы и со всего размаху обрушила его на затылок тласкаланца.

Он упал, не издав ни звука. Отоми тоже упала, но уже через мгновение она снова стояла на ногах, сжимая обнаженный меч и не сводя с убитого страшного взгляда.

— Вставай, пока другие его не хватились! Ты должен встать!

И вот мы снова двинулись вперед, продираясь сквозь заросли. Сознание мое мутилось, проваливаясь в черную бездну. Иногда мне чудилось, что все это страшный сон, и во сне я шел по раскаленному докрасна железу. Как сквозь туман, увидел я каких-то людей с поднятыми копьями, Отоми, бегующую им навстречу с простертыми руками, и больше я ничего не помню.

Глава XXXI

ОТОМИ ГОВОРИТ СО СВОИМ НАРОДОМ

Я очнулся в тускло освещенной пещере. Надо мной склонилась Отоми, а чуть поодаль — какой-то человек подбрасывал сухие стебли агавы в огонь под кипящим горшком.

— Где мы?— спросил я.— Что произошло?

— Мы спасены, любимый,— ответила Отоми.— Во всяком случае, на время ты в безопасности. Поешь, потом я все расскажу.

Она принесла мне похлебки, лепешек, и я с жадностью набросился на еду. Когда голод был утолен, Отоми заговорила:

— Ты помнишь, как тласкаланец бросился за нами и как я... от него избавилась?

— Помню, хотя и не понимаю, откуда у тебя взялись силы убить его.

— Мне дали их любовь и отчаяние, но не хотела бы я это повторять. Не вспоминай, муж мой. Страшно подумать... Я только тем и утешаюсь, что, наверное, не убила его: меч повернулся у меня в руке и, пожалуй, только оглушил тласкаланца. Потом мы бросились бежать. Через некоторое время я оглянулась и увидела его двух товарищей: они шли по нашим следам. Около бесчувственного тласкаланца они остановились, а затем со всех ног бросились за нами в погоню. Ты едва двигался, твой разум мутился, а у меня уже не было сил нести тебя. Они нас настигали, но мы все шли вперед, пока между нами не осталось всего шагов пятьдесят. И тут я увидела, как из зарослей на нас бросилось человек восемь вооруженных воинов. Это были люди моего племени, отоми, твои солдаты. Они следили за испанским лагерем и, увидев испанца, хотели его убить. И они едва не убили тебя, потому что я так задыхалась, что не могла говорить. Наконец мне удалось в двух словах сказать им, кто я, и объяснить, в каком ты положении. И тут подоспели тласкаланцы. Я позвала своих отоми на помощь,

и они бросились на врагов, прежде чем те успели опомниться. Одного убили на месте, другого взяли в плен. Потом воины сделали носилки и без отдыха несли тебя двадцать лиг, все дальше в горы, пока мы не добрались до этого тайного убежища. Здесь ты пролежал три дня и три ночи. Теули искали тебя везде и всюду, но не нашли. Только вчера двое из них с десятком тласкаланцев прошли в ста шагах от пещеры, и мне стоило немалого труда удержать моих воинов: они хотели на них напасть. Сейчас все ушли, и я думаю, мы на время в безопасности. Когда тебе станет лучше, тронемся отсюда.

— Но куда идти? Мы теперь как птицы без гнезда, Отоми.

— Нам остается только просить убежища в Городе Сосен или бежать за море. Выбор невелик, муж мой.

— О море нечего и думать; сюда приходят только испанские корабли. А как нас встретят в Городе Сосен — не знаю. Ведь мы разгромлены, и тысячи воинов отоми погибли.

— Придется рискнуть, муж мой. В Анауаке есть еще верные сердца, которые сумеют постоять за себя и за нас в эту годину скорби. Мы ведь с тобой пережили и не такие опасности! А теперь дай я перевяжу твои раны. Отдохни.

В этой горной пещере я пролежал еще три дня. Отоми ухаживала за мной. На четвертую ночь, когда меня уже можно было нести на носилках — ходить самостоятельно я начал только через несколько недель,— мы тронулись в путь. Воины донесли меня на своих плечах до самого ущелья, за которым лежал Город Сосен.

Здесь нас остановили часовые. Отоми рассказала им нашу историю и попросила кого-нибудь отправиться вперед и предупредить старейшин города. Следом за вестниками двинулись и мы. Утомленные дальней дорогой воины шли медленно, и к воротам прекрасного города мы подошли как раз в тот миг, когда вечерняя заря осветила возвышающуюся над ним снежную вершину вулкана Хака, окрасив его дымный султан в багровые цвета расплавленного железа.

Слух о нашем прибытии разнесся по всему городу. Всюду собирались кучки народа, молча провожая нас взглядами, и лишь изредка какая-нибудь женщина, чей муж или сын погибли во время осады, посылала нам вслед проклятия.

Увы, нас встречали совсем иначе, чем год назад, когда мы прибыли в Город Сосен впервые. Тогда за нами следовала целая армия, верных десять тысяч воинов, музыканты, певцы, и путь наш был усыпан цветами, а теперь? Теперь мы были двумя жалкими беглецами, спасающимися от

мести теулей. Четыре воина несли меня на носилках, Отоми шла рядом, потому что ее нести было некому, и женщины насмехались над ее нарядом продажной девки,— иного достать она не смогла. Жители города проклинали нас, как виновников своих бед, и хорошо еще, что они ограничились только проклятиями.

Наконец мы пересекли площадь, на которую уже пала тень от теокалли, а когда приблизились к древнему, украшенному изваяниями дворцу, сразу наступили сумерки, и столб дыма над священной горой Хака осветил все изнутри, словно раскаленный пламенем.

Во дворце почти ничего не было приготовлено, и в тот день мы поужинали при свете факела сухими тортильями, или пресными лепешками, запивая их водой, как самые последние из бедняков. Потом мы легли. Боль от ран мешала мне уснуть, и вскоре я услышал рядом плач Отоми. Думая, что я сплю, она тихо рыдала. Даже ее гордый дух был сломлен. До сих пор она так горько не плакала никогда, разве что над телом нашего первенца, умершего во время осады.

— О чем ты скорбишь, Отоми?— спросил я наконец.

— Я думала, ты спишь,— проговорила она в ответ прерывающимся голосом.— Иначе я бы не выдала своей боли. О муж мой, я скорблю обо всем, что выпало на долю нам и моему народу, но больше всего о тебе. До чего тебя довели! На тебя смотрят, как на последнего человека! А как нас встретили?!.

— Ты ведь знаешь причину, жена,— ответил я.— Скажи лучше, что с нами сделают твои отоми? Убьют? Выдадут теулям?

— Завтра мы все узнаем. Но живой они меня не возьмут.

— И меня тоже. Лучше смерть, чем великодушные милости Кортеса и его подручного де Гарсиа. Но есть ли хотя бы надежда?

— Да, любимый, надежда есть. Сейчас отоми удручены и помнят только о том, что мы увели на смерть их лучших воинов. Однако у них добрые мужественные сердца, и если я сумею их тронуть, все может обойтись к лучшему. Мы с тобой ослабели от лишений, усталости и перенесенных страданий, а нам, пережившим столько опасностей, нужно быть сильными и смелыми. Спи, муж мой, дай мне подумать! Все будет хорошо. Ведь должны же наши несчастья когда-нибудь кончиться?

Я уснул и наутро проснулся с новыми силами — телес-

ными и душевными, как всякий человек, освеженный отдыхом и ободренный сиянием дня.

Я открыл глаза, когда солнце уже стояло высоко, но Отоми встала на рассвете и не потратила эти три часа даром. Прежде всего она добилась, чтобы нам доставили приличную пищу и другую одежду, более подобающую нашему достоинству, чем старые лохмотья. Затем она созвала немногих знатных людей, которые даже в беде остались ей верными, и разослала их по городу, чтобы они известили всех о том, что в полдень принцесса Отоми будет говорить с народом со ступеней дворца. Она прекрасно знала, что душу толпы растрогать гораздо легче, чем холодные сердца старейшин.

— Ты думаешь народ соберется?— спросил я.

— Не бойся,— ответила Отоми.— Их приведет желание увидеть тех, кто пережил осаду, и узнать от них правду. Конечно, придут и те, кто жаждет нам отомстить.

Отоми оказалась права. Ближе к полудню жители Города Сосен начали тысячами собираться на площади, и вскоре все пространство между ступенями дворца и подножием теокалли было черно от несметных толп.

Отоми расчесала свои волнистые волосы, украсив их цветами, накинула поверх белого одеяния с золотым поясом сверкающий плащ из перьев, а шею украсила великолепным изумрудным ожерельем, тем самым, что мне дал в сокровищнице Куаутемок; моя жена пронесла его через все опасности. Из украшений и символов власти, хранившихся во дворце, Отоми выбрала маленький жезл из черного дерева с золотым орнаментом. Несмотря на усталость и пережитые страдания, сейчас она выглядела самой царственной женщиной, какую я когда-либо видел.

Затем Отоми помогла мне лечь на мои грубые носилки и, когда настал полдень, приказала воинам, которые доставили меня через горы, нести носилки рядом с ней. Так мы появились в дверях дворца и заняли свое место на верхней площадке широкой лестницы.

Многотысячная толпа встретила нас громкими криками, подобными реву диких зверей, почуявших добычу. Этот рев, способный вселить ужас в любого храбреца, становился все громче и громче, и вскоре для меня не осталось сомнений, что он означает.

— Смерть им!— вопила толпа.— Выдать этих трусов теулям!

Отоми вышла вперед к краю площадки и молча подняла вверх свой черный скипетр. Солнце озаряло ее прекрасное

лицо и величественную фигуру. Люди внизу бесновались. Тысячи голосов ревели и вопили, волнение все возрастало, и вот толпа ринулась к Отоми, чтобы растерзать ее на куски, но на самой последней ступени замерла и отхлынула, как волна от утеса. Потом снизу взвилось чье-то копье и просвистело мимо шеи Отоми над самым плечом.

Видя, что нам грозит верная смерть, и не желая погибать вместе с нами, воины поставили мои носилки на каменную площадку и укрылись во дворце. Но Отоми не дрогнула даже тогда, когда копье едва ее не пронзило. Презрительно и непоколебимо стояла она перед беснующейся толпой, как истинная королева среди сварливых женщин, и мало-помалу ее величие и мужество заставили всех умолкнуть. Когда, наконец, воцарилась тишина, Отоми заговорила звонким голосом, слышным всем собравшимся. Горькими были ее слова:

— Где я? Неужели это мой народ отоми? Может быть, мы сбились с дороги и попали к диким тласкаланцам? Слушай, народ отоми! Я одна, и голос у меня один — я не могу говорить с толпой. Изберите того, кто будет вашими устами, и пусть он выскажет все, что у вас на сердце.

Люди снова заволновались. Одни выкрикивали одно имя, другие — другое; в конце концов из толпы вышел жрец и знатный старейшина по имени Махтла. Этот Махтла пользовался среди отоми большой властью. В свое время он склонял соплеменников к союзу с испанцами и всеми силами противился посылке армии Куитлауаку для защиты Теночтитлана.

Махтла был не один. Вместе с ним из толпы вышли еще четыре вождя. Взглянув на их одеяния, я узнал тласкаланцев, посланников Кортеса, и сердце мое упало. Догадаться о цели их появления было нетрудно.

— Говори, Махтла!— сказала Отоми.— Говори, мы дадим ответ. А вы, люди отоми, храните молчание и слушайте, чтобы рассудить нас, когда все будет сказано.

Воцарилась мертвая тишина. Все сгрудились поближе, как овцы в загоне, и затаили дыхание, чтобы не проронить ни единого слова.

— С тобой, принцесса, и с твоим незаконным мужем теулем разговор будет коротким,— нагло заговорил Махтла.— Совсем недавно ты явилась сюда за войском для Куитлауака, императора ацтеков, чтобы помочь ему в войне против теулей, детей бога Кецалькоатля. Тебе дали это войско против желания многих, ты убедила совет своими медовыми речами, и никто не стал слушать нас, стоявших

за дружбу и союз с белыми людьми, сыновьями бога. Ты удалилась — и двадцать тысяч воинов, цвет нашего народа, последовали за тобой в Теночтитлан. Где теперь эти люди? Я скажу вам. Сотни две из них притащились домой, а все остальные носятся сейчас в воздухе в зобах у коршунов или ползают по земле в животах у шакалов. Ты увела их на смерть, и они все погибли. Две ваши жизни за жизнь двадцати тысяч наших отцов, сыновей и братьев — недорогая плата! Но мы не требуем даже этого. Здесь рядом со мной стоят посланцы Малинцина, вождя теулей, прибывшие к нам час назад. Вот что говорит Малинцин, слушайте его слова:

«Выдайте мне Отоми, дочь Монтесумы, вместе с ее любовником, предателем теулем, сбежавшим от справедливой кары за свои преступления, и я буду великодушен к вам, люди отоми. Но если вы спрячете их или откажетесь выдать, Город Сосен постигнет судьба Теночтитлана, владыки всех городов. Выбирайте между моей милостью и моим гневом, люди отоми! Если вы подчинитесь, прошлое будет забыто и моя власть будет для вас легка. Если же вы отвергнете мою милость, я разрушу ваш город и даже имя ваше сотру со скрижалей земли».

— Скажите, посланники Малинцина,— обратился Махтла к тласкаланцам,— так ли сказал Малинцин?

— Это его слова, Махтла,— ответил глашатай послов.

Снова в толпе началось волнение. Послышались возгласы:

— Выдать их! Выдайте их Малинцину, как залог мира!

Отоми шагнула вперед, и снова воцарилась тишина. Все хотели услышать ее ответ.

— Народ отоми!— заговорила она.— Я вижу, что мои подданные сегодня судят меня и моего мужа. Хорошо, я женщина, но я буду говорить в свою защиту, как умею, и вы, народ мой, рассудите нас с Махтлой и его друзьями, Малинцином и тласкаланцами.

Чем мы вас обидели? Да, мы приходили к вам по приказу Куитлауака просить у вас помощи в войне с теулями. Но что я тогда говорила? Я говорила, что, если народы Анауака не выступят все вместе против белых людей, их сломают поодиночке, как стрелы, выдернутые из общей связки, и бросят в огонь. Разве я вам солгала? Нет, я сказала правду, потому что из-за предательства отдельных племен, а главное — из-за предательства тласкаланцев Анауак пал и Теночтитлан обратился в руины, усеянные мертвецами, как поле маисом.

— Верно! Это правда!— послышались крики.

— Да, люди отоми, это правда. Но если бы воины всех племен Анауака сражались так же, как сражались сыны моего народа, все было бы иначе. Но они погибли, и теперь вы хотите из-за этого выдать нас нашим врагам, которые их убили. Я не оплакиваю павших, хотя среди них немало людей моей крови. Сдержите свой гнев и слушайте! Я не оплакиваю их потому, что лучше со славою пасть в бою и обрести бессмертие в Обиталище Солнца, чем жить рабами, как вы этого, кажется, хотите, люди отоми. Я не сказала вам ни слова неправды. Малинцин уже сломал те стрелы, которые направлял в грудь Куаутемока, бросил их в огонь и теперь теули варят на них похлебку. Изменники, друзья теулей, уже превратились в их рабов. Разве вы не слышали приказа Малинцина? Он повелел всем союзным племенам работать в каменоломнях и на улицах Теночтитлана, пока разрушенный им город снова не поднимется над водой во всем своем великолепии. Может быть, вы, люди отоми, тоже хотите там проливать пот, не зная отдыха и получая в награду только плети надсмотрщиков и проклятия теулей? Тогда торопитесь, храбрые горцы! Конечно! Ведь ваши руки привыкли к заступам и лопатам, а не к лукам и копьям. Вам, видно, милее исполнять все желания и повеления Малинцина, умножая его богатства, под палящим солнцем долин или в сырости каменоломен, чем свободно жить среди этих гор, где до сих пор еще не ступала вражеская нога.

Отоми на мгновение умолкла. Ропот смущения и беспокойства пробежал по многотысячной толпе. Махтла вышел вперед и хотел что-то сказать, но его не стали слушать. Народ кричал:

— Отоми! Отоми! Пусть говорит Отоми!

— Благодарю тебя, мой народ!— продолжала она.— Мне еще многое надо сказать. Итак, наше преступление заключается в том, что мы повели за собой войско на бой с теулями. Но как мы это сделали? Разве я приказала вам встать в строй и идти? Нет, я объяснила вам все и сказала: «Решайте сами!» Вы сами сделали выбор и сами послали отряды этих славных воинов, которые погибли. Значит, мое преступление состоит в том, что вы сделали неверный выбор, хотя я думаю, что он был правильным. Значит, за это вы хотите сейчас выдать меня и моего мужа как залог миролюбия теулям? Слушайте! Прежде чем вы нас предадите и наши уста умолкнут навеки, я хочу рассказать вам правду об этой войне. С чего начать? Я не знаю. Я родила сына,— если бы он остался жив, он стал бы вашим принцем.

Мой мальчик умер в дни осады, он умирал у меня на глазах от голода день за днем, час за часом... Но кто я такая, чтобы жаловаться, чтобы оплакивать своего сына, когда тысячи ваших сыновей погибли и вы кричите, что мои руки запятнаны их кровью? Я расскажу вам о другом. Слушайте!..

И Отоми продолжала свой страшный рассказ. Жгучими словами описывала она ужасы осады, зверства испанцев и славные подвиги воинов отоми, которыми я командовал. Она говорила целый час, и вся огромная толпа жадно ловила каждое ее слово. Отоми рассказала также о моем участии в схватках, и то один, то другой из воинов, сражавшийся вместе со мной и чудом избежавший смерти от голода или в бою, выкрикивал из толпы:

— Правда, все правда! Я это видел сам!

— И, наконец,— продолжала Отоми,— все было кончено: Теночтитлан обращен в развалины, мой брат император, славный Куаутемок стал пленником Малинцина, а вместе с ним мой муж теуль, моя сестра, я сама и еще многие другие. Малинцин поклялся обходиться с Куаутемоком и всеми его ближними как подобает их высокому званию. Знаете, как он сдержал свою клятву? Через несколько дней нашего императора Куаутемока посадили на кресло пыток. Рабы жгли его горящими углями, чтобы он сказал, где спрятаны сокровища Монтесумы! О, вы можете сколько угодно кричать теперь: «Позор! Позор!» Вы закричите еще громче, когда узнаете, что пытали не только Куаутемока. Здесь перед вами лежит один из тех, кто страдал рядом с ним и тоже не проронил ни слова. Даже я, женщина и ваша принцесса, была приговорена к пыткам! Но узнайте все до конца. Мы бежали, когда смерть уже стояла на пороге, ибо я сказала моему мужу, что у людей отоми верные сердца и они не предадут нас в беде. Я верила! Только потому я, Отоми, переоделась в наряд продажной девки и бежала вместе с ним. Но если бы я знала, что мне доведется увидеть здесь и услышать, если бы я только думала, как вы нас встретите, я бы скорей умерла сто раз, только бы не стоять вот так перед вами и не молить вас о жалости!

О народ мой, народ мой, взываю к тебе! Отвергни лживых теулей! Оставайся всегда свободным и гордым! Твои плечи не для рабского ярма, твои сыновья и дочери слишком благородны, чтобы сделаться слугами и забавой для чужестранцев. Бойтесь Малинцина! Не верьте ему! Многие ваши воины погибли, но тысячи и тысячи живы. Здесь, в вашем горном гнезде, вы можете разгромить всех теулей

Анауака, как в прошлом лживые тласкаланцы громили здесь ацтеков. Но тогда тласкаланцы были свободны, а теперь это племя рабов. Может быть, вы завидуете их рабской доле? О народ мой, народ мой! Не думайте, что я защищаю себя или своего мужа, который мне дороже всего, кроме чести. Неужели вы надеялись, что сможете отдать нас живыми этим псам-тласкаланцам, которых Малинцин послал к вам, чтобы вас унизить? Смотрите!

Отоми подобрала с каменной платформы брошенное в нее копье и подняла его высоко над головой.

— Вот оружие, которое нам послал какой-то милосердный друг, если вы откажете нам в защите, мы умрем у вас на глазах. Тогда отошлите, если желаете, наши тела Малинцину как залог своего миролюбия. Но ради вашего блага заклинаю, послушайте меня! Не верьте Малинцину, и если даже вам придется потом умереть, умрите свободными людьми, а не рабами теулей. Взгляните на его милосердные дела — такая же награда ждет и вас, если вы послушаетесь Махтлу!

Приблизившись к моим носилкам, Отоми быстро сдернула с меня одежду, сняла повязки и полуобнаженного поставила на здоровую ногу.

— Смотрите!— закричала она исступленно, указывая на мои шрамы и открытые раны на лице и ногах.— Смотрите, вот что делают теули и тласкаланцы! Вот что ожидает того, кто сдается им на милость. Покоряйтесь, если хотите, выдавайте нас, если хотите, но говорю вам: тогда ваши тела будут истерзаны точно так же! Тогда ненасытные праздные теули будут пытать вас, пока не отнимут последнюю крупицу золота и не обратят в рабство последнего мужчину и последнюю женщину.

Умолкнув, Отоми осторожно опустила меня на землю, потому что сам я не держался на ногах, и встала надо мной с копьем в руке, готовая вонзить его в мое сердце, если народ все же решит выдать нас посланцам Кортеса.

Мгновение стояла тишина, затем вся площадь сразу огласилась воплями и криками, в десять раз более громкими, чем прежде. Но теперь в них не было угрозы для нас. Отоми победила. Ее благородные слова, ее красота, рассказ о наших злоключениях и вид моих ран сделали свое дело. Теперь народ был полон ярости к теулям и их помощникам тласкаланцам, в борьбе с которыми погибли воины отоми. Никогда еще разум и красноречие женщины не производили столь разительной перемены. Люди стонали, раздирали на себе одежды и потрясали оружием. Махтла несколько

раз пытался заговорить, но его стащили вниз, и он бросился бежать, спасая свою жизнь. Теперь гнев толпы обрушился на послов-тласкаланцев.

— Вот вам наш ответ Малинцину!— кричали отоми, избивая их палками.— Вон отсюда, собаки! Бегите к своему хозяину!

Так их выгнали из Города Сосен, и толпа на площади постепенно успокоилась. Тогда один из знатнейших вождей приблизился к Отоми, поцеловал ей руку и проговорил:

— Принцесса, мы твои дети, и мы будем стоять за тебя насмерть, ибо ты вдохнула в наши тела новую душу. Ты справедливо сказала: лучше умереть свободными, чем жить рабами!

— Вот видишь, муж мой,— обратилась ко мне Отоми,— я не ошиблась, когда говорила тебе, что мой народ верен и справедлив. Но теперь нам придется готовиться к войне. Дело зашло слишком далеко, отступать уже поздно. Когда весть обо всем этом дойдет до ушей Малинцина, он разъярится, как пума, у которой отняли детеныша. А сейчас пойдем отдохнем, я очень устала.

— Отоми,— сказал я,— ты самая великая женщина, какая когда-либо жила на свете.

— Не знаю, муж мой, не знаю,— ответила она, улыбаясь,— но раз мне удалось спасти твою жизнь и заслужить твою похвалу,— я довольна.

Глава XXXII

ГИБЕЛЬ КУАУТЕМОКА

Некоторое время мы жили в Городе Сосен спокойно. Раны, нанесенные мне жестокой рукой де Гарсиа, заживали медленно, причиняя немало страданий, но в конце концов я поправился. Однако мы с Отоми и все наши подданные понимали, что мир продлится недолго: ведь мы выгнали за городские ворота послов Малинцина! Многие горцы сейчас жалели об этом, но дело было сделано: что посеешь, то и пожнешь!

Итак, мы начали готовиться к войне. Отоми возглавила совет племен, в котором я тоже участвовал. А вскоре пришли вести о том, что пятьдесят испанцев и пять тысяч их союзников-тласкаланцев приближаются к городу, намереваясь стереть нас с лица земли. Я встал во главе воинов отоми — их было десять с лишним тысяч, и по-своему все они были неплохо вооружены. Покинув город, мы двинулись

навстречу врагу по ущелью, но, пройдя две трети его, я остановил свою армию. Однако оставаться здесь я не собирался — в ущелье было слишком тесно, и все воины не смогли бы тут развернуться для боя. У меня был другой план. Семь тысяч воинов я послал в обход через горы по известным только отоми тайным тропинкам, приказав им укрыться на гребнях скал, возвышавшихся более чем на тысячу футов по обеим сторонам ущелья, и заготовить побольше камней.

Остальных воинов, вооруженных луками и дротиками, за исключением отряда в пятьсот человек, который остался со мной, я расположил в засаде в тех местах, где нависшие над ущельем скалы могли прикрыть от падающих сверху глыб. Затем я отправил самых надежных людей на разведку: одни должны были следить за продвижением испанцев, а другим было поручено сделаться их проводниками.

Мне казалось, что план мой безупречен. Все шло превосходно. И тем не менее мы едва избежали разгрома.

В лагере вместе с нами был Махтла. Я нарочно взял его с собой, чтобы присматривать за ним, но и он, как оказалось, тоже не дремал.

Когда испанцам оставалось всего полдня пути до входа в ущелье, ко мне явился один из разведчиков, которому я приказал следить за их продвижением. Он признался, что Махтла подкупил его и уговорил предупредить командира испанского отряда о засаде. Разведчик согласился, взял то, что ему предложили за измену, и отправился в путь, но тут совесть заговорила в нем, и он поспешил вернуться, чтобы все рассказать мне. Я приказал тотчас схватить Махтлу, и еще до наступления вечера он понес заслуженную кару за свое предательство: изменника казнили.

На следующее утро строй испанцев углубился в ущелье. Я встретил их на полпути от лагеря со своими пятьюстами воинами. Мы вступили в бой, но вскоре начали отступать, неся незначительные потери. Испанцы становились все напористее, а мы отходили все быстрее, пока не обратились в бегство, спасаясь от преследующих нас всадников.

Примерно в полумиле от конца прохода, за которым лежит Город Сосен, ущелье делает крутой поворот и резко сужается. Здесь скалы так высоки и отвесны, что у подножия их царит вечный полумрак. К этому повороту мы и бежали, делая вид, что охвачены неудержимой паникой, а испанцы, воодушевленные победой, гнались за нами, выкрикивая имена своих святых. Но, едва завернув за угол, они сразу запели другую песню. Те, кто следил за ними с

высоты тысячи футов, подали знак, и на врага обрушился такой ливень глыб и камней, что небо потемнело, и большая часть испанцев была раздавлена на месте. Остальные бросились вперед, туда, где проход в скалах расширялся. Многим удалось пробиться, но здесь их встретили мои лучники, и теперь вместо камней на испанцев посыпались стрелы. Наконец противник в полном беспорядке обратился в бегство, не помышляя даже о сопротивлении.

На этом и закончился бой. В ущелье мы напали на врага со всех сторон, сверху снова обрушился град камней, и лишь немногим испанцам и их союзникам удалось выбраться живьем обратно на равнину за грядой скал, защищающих Город Сосен.

После этой битвы испанцы не беспокоили нас в течение многих лет, ограничиваясь угрозами, а мое имя прославилось среди всех племен отоми.

Одного захваченного испанца я спас от смерти и позднее отпустил на свободу. От него я узнал кое-что о де Гарсиа, или Сарседе. Он все еще служил у Кортеса. Марина сдержала свое слово и навлекла на него немилость за то, что он хотел пытать Отоми, а кроме того, Кортес был зол на де Гарсиа еще и потому, что Марина свалила на него всю вину за наш побег. Она сказала, что де Гарсиа, наверное, выпустил нас из ворот лагеря не иначе как за хорошую взятку.

О четырнадцати годах моей жизни, последовавших за разгромом испанцев, я расскажу коротко, потому что, по сравнению с предыдущими, то были мирные годы. За это время у нас с Отоми родилось трое сыновей, ставших утехой моей жизни. Я любил их, и дети тоже были привязаны ко мне всем сердцем. Если бы не примесь материнской крови, они были бы настоящими маленькими англичанами, ибо я окрестил их, научил своему языку и своей вере; у них были мои глаза, и всем своим видом, если не считать слишком смуглой кожи, они куда больше походили на англичан, чем на индейцев.

Но этих дорогих моему сердцу детей постигла горькая участь: смерть взяла их так же, как несчастного младенца, родившегося много лет спустя от Лили. Двое из них умерли — один от лихорадки, которую не могло излечить все мое искусство, а второй разбился, упав с высокого кедра, куда влез, разыскивая гнездо коршуна.

Из трех сыновей,— я уже не говорю о нашем первенце, погибшем во время осады,— остался в живых только старший, мой любимец, но о нем речь еще впереди.

Что сказать об остальном? После победы над испанцами

и их союзниками я был избран на большом совете правителем Города Сосен наравне с Отоми, и, таким образом, мы получили огромную, хотя и не абсолютную, власть. Пользуясь ею, мне в конце концов удалось уничтожить страшный обряд человеческих жертвоприношений, хотя это и вызвало лютую ненависть жрецов и привело к отпадению от нашего союза многих горных племен. Последнее жертвоприношение, если не считать еще одного и самого ужасного, о котором мне придется рассказать ниже, было отпраздновано на теокалли перед дворцом после разгрома испанцев в ущелье.

На третий год пребывания в Городе Сосен — к тому времени Отоми уже родила двух сыновей — ко мне тайно прибыли вестники от друзей Куаутемока. Он пережил все пытки и по-прежнему был пленником Кортеса. Вестники рассказали, что Кортес скоро выступит в поход к Гондурасскому заливу через страну, которую сейчас называют Юкатаном, и что он решил взять с собой Куаутемока и других знатных ацтеков, опасаясь оставлять их без присмотра. От них же мы узнали о растущем среди покоренных племен Анауака недовольстве, вызванном жестокостью и поборами испанцев. Многие считали, что близится час всеобщего восстания и что это восстание может увенчаться успехом.

Те, кто послал ко мне вестников, просили собрать отряд отоми и выступить с ними в Юкатан. Там меня будут ждать. Когда все отряды соединятся, мы окружим испанцев среди лесов и болот, нападем на них в подходящий момент и, уничтожив всех, освободим Куаутемока. Это должно было стать только первым шагом в борьбе против испанцев; об остальных я не стану говорить, потому что им не суждено было осуществиться.

Выслушав вестников, я печально покачал головой, потому что их план казался мне безнадежным. Но тогда встал старший из вестников и отвел меня в сторону, чтобы передать мне слова, предназначенные только для моих ушей.

— Куаутемок просил сказать тебе,— заговорил вестник,— «Я слышал, что ты, мой брат, вместе с моей сестрой Отоми живешь на свободе в горах отоми. А я — увы!— погибаю в темнице теулей, как израненный орел в клетке. Брат мой, заклинаю тебя, если это в твоей власти, помоги мне во имя нашей старой дружбы и всего, что мы выстрадали вместе. Может быть, придет время, когда я снова буду править Анауаком, и тогда ты займешь место рядом со мной».

Я слушал, и сердце мое обливалось кровью, потому что

я любил своего брата Куаутемока так же, как люблю его до сих пор.

— Возвращайся и постарайся передать Куаутемоку мой ответ,— сказал я вестнику.— Надежды мало, но я сделаю все, что смогу. Пусть ждет меня в лесах Юкатана.

Узнав о моем обещании, Отоми очень огорчилась: она считала это дело безумным и говорила, что оно приведет лишь к моей гибели. Но, поскольку обещание было уже дано, его нужно было исполнить, и Отоми не стала меня удерживать. Я собрал отряд из пятисот воинов, и мы двинулись в дальний, трудный путь, рассчитав его так, чтобы встретиться с испанцами в теснинах Юкатана. В последний момент Отоми хотела последовать за мной, однако я запретил ей это делать, потому что она не имела права оставлять свой народ и своих детей, и мы расстались, впервые ощутив горечь разлуки.

Я не стану описывать все тяготы нашего пути. Два с половиной месяца пробирались мы через горы и реки, через леса и болота, пока, наконец, не достигли огромного мертвого города, покинутого его обитателями много поколений тому назад. Местные индейцы называли его Паленке*. Этот город — одно из самых удивительных мест, какое мне довелось посетить за время своих странствований. Он наполовину зарос кустарником, среди которого всюду, куда ни взглянешь, возвышаются полуразрушенные мраморные дворцы, покрытые резьбой внутри и снаружи, теокалли, украшенные скульптурными изображениями, и уродливые изваяния ухмыляющихся богов. Я часто спрашивал себя: какой народ сумел воздвигнуть эту столицу, какие цари здесь правили? Но прошлое ревниво хранит свои тайны. Ответить на эти вопросы, может быть, удастся лишь тогда, когда какой-нибудь ученый человек разгадает смысл каменных символов и надписей, покрывающих здесь сверху донизу стены многих зданий.

Мы укрылись в этом мертвом городе, хотя мне стоило немало труда убедить своих людей последовать за мной.

---

* Паленке — один из древних городов народов майя с великолепными циклопическими зданиями, покинутый населением задолго до прихода испанцев. Расположен у основания полуострова Юкатан, между реками Грихальва и Усумасинта. Таких мертвых городов в Центральной Америке несколько: Чечен-Ица на севере Юкатана, Теотиуакан в долине Мехико и т.п. Существуют предположения, согласно которым огромные цветущие города, где обитали предки народов майя и других, опустели в результате войн и восстаний, но тайна эта до сих пор до конца не раскрыта.— *Прим. перев.*

Они боялись потревожить души бесчисленных горожан, некогда обитавших в этих жилищах, боялись пагубной лихорадки, не говоря уже о змеях и хищниках, бродивших среди развалин. Однако я получил сведения, что испанцы должны пройти через болота между рекой и мертвым городом, и решил устроить засаду именно здесь.

На восьмой день разведчики донесли мне, что Кортес пересек большую реку выше по течению и теперь пробивается через леса — болотами он был сыт по горло. Мы спешно двинулись к реке, чтобы переправиться за ним следом, но тут хлынул такой ливень, каких не бывает больше нигде на земле. Он продолжался без перерыва целый день и всю ночь, так что под конец нам пришлось брести по колени в воде, а когда мы достигли реки, то увидели перед собой безбрежный ревущий поток. Для переправы через него потребовалось бы по крайней мере добрая ярмутская рыбацкая барка.

Три дня пришлось прождать на берегу, страдая от лихорадки, отсутствия пищи и чрезмерного изобилия воды, пока река, наконец, не вернулась в свои берега. Наутро четвертого дня нам удалось ее пересечь, потеряв на переправе четырех воинов.

Очутившись на другом берегу, я приказал своим людям укрыться в зарослях кустарника и тростника, а сам с шестью воинами двинулся вперед, чтобы попытаться найти следы испанцев. Примерно через час мы наткнулись на прорубленный ими сквозь чащу проход и осторожно пошли по нему. Вскоре лес поредел, и мы очутились на поляне, где, по-видимому, совсем недавно стоял лагерь Кортеса. Тут лежал труп индейца, погибшего от болезни. Угли на кострищах еще не успели остыть.

Ярдах в пятидесяти от лагеря стояло могучее дерево сейба, похожее на наш английский дуб, только с более мягкой древесиной и белой корой. Сейба достигает в обхвате размеров столетнего дуба всего за двадцать лет, а таких деревьев, как это, я, по совести, вообще никогда не видел: с ней мог бы сравниться по высоте и толщине только «Дуб Керби» да еще, может быть, «Король Шотландии», который растет в Бруме, ближайшем от Дитчингема приходе графства Норфолк.

На сейбе сидело множество коршунов, и, подойдя поближе, я понял, что их сюда привлекло. На нижних ветвях, покачиваясь от легкого ветра, висели тела трех мужчин.

— Вот они, следы испанцев!— проговорил я.— Посмотрим, кто это.

И мы вошли под сень огромного дерева.

Потревоженный нами коршун взлетел с головы ближайшего к нам мертвеца. То ли от толчка, то ли от взмаха его крыльев повешенный повернулся на веревке ко мне лицом. Я взглянул на него, отшатнулся, снова взглянул и со стоном упал на землю. Это был тот, кого я искал и хотел спасти, мой друг и брат, последний император Анауака Куаутемок. Он был повешен, как вор, в безлюдном мрачном лесу, и только коршуны кричали здесь над его головой. Оцепенев от страха и неожиданности, я смотрел на него с земли, и невольно на память мне пришел гордый символ державной власти ацтеков — хищная птица, сжимающая в когтях змею. Передо мной раскачивался последний ацтекский император, и — о ужас!— на моих глазах коршун вдруг впился когтями в его волосы, как жуткая аллегория падения Анауака и его царственных владык.

С проклятием вскочил я на ноги и, схватив лук, пронзил коршуна стрелой. С резким криком он упал, трепеща, к моим ногам. Затем я приказал перерезать веревки. Мы опустили на землю тела Куаутемока, касика Такубы и третьего знатного ацтека, выкопали под деревом глубокую могилу и положили в нее всех троих. В последний раз я простился с Куаутемоком под сенью печальной сейбы; там он и покоится вечным сном. Я прошел долгий путь, чтобы спасти моего брата, но, когда мы встретились, испанцы уже сделали свое дело, и мне осталось только его похоронить.

Анауак потерял своего вождя, спасать было некого и нужно было возвращаться. Но, прежде чем тронуться в обратный путь, нам удалось случайно захватить одного тласкаланца, который говорил по-испански. Он сбежал из отряда Кортеса, измученный лишениями и трудностями похода. Этот тласкаланец видел позорное убийство Куаутемока и его товарищей и слышал последние слова императора Анауака.

По-видимому, какой-то негодяй донес Кортесу о том, что готовится попытка спасти Куаутемока. Тогда Кортес приказал повесить пленников. Куаутемок встретил смерть гордо и мужественно, так же, как встречал все прочие испытания своей трагической жизни. Перед смертью он сказал:

— Я жалею, Малинцын, что не убил себя, прежде чем сдаться тебе на милость. Сердце говорило мне, что все твои клятвы лживы, и оно меня не обмануло. Смерть для меня желанна, ибо я испытал поражение, позор и пытки и дожил до того, что мой народ на моих глазах превратился в рабов

теулей. Но говорю тебе: за все совершенное тебя ждет отмщение!

После этого его казнили в мертвой тишине.

Прощай, Куаутемок, самый храбрый, мудрый и благородный из всех индейцев! Пусть черная тень твоей мучительной постыдной смерти неизгладимым пятном лежит на славе Кортеса до тех пор, пока люди не позабудут ваши имена!

Обратный путь отнял у нас еще два месяца, но наконец совершенно измученные мы достигли Города Сосен, потеряв в различных дорожных превратностях только сорок человек. Отоми была здорова и обрадовалась необычайно, потому что уже не чаяла увидеть меня в живых. Но, когда я рассказал ей о гибели Куаутемока, она долго не могла успокоиться, скорбя о своем брате и о том, что вместе с ним погибла последняя надежда ацтеков.

Глава XXXIII

ИЗАБЕЛЛА ДЕ СИГУЕНСА ОТОМЩЕНА

После смерти Куаутемока мы с Отоми мирно жили в Городе Сосен еще много лет. Страна наша была суровой и бедной, и несмотря на то, что мы не подчинялись испанцам и не платили им дани, они после возвращения Кортеса в Испанию не пытались нас покорить. Под их властью был уже весь Анауак, за исключением немногих племен, живших в таких же труднодоступных местах, как наше, и, поскольку покорение остатков народа отоми не сулило испанцам ничего, кроме жестоких схваток, они оставили нас в покое до лучших времен.

Я сказал «остатков народа отоми» потому, что постепенно многие племена отоми сами склонились перед испанцами, и под конец у нас остался только Город Сосен да его окрестности на протяжении нескольких десятков миль в окружности. По правде говоря, только любовь к Отоми, уважение к ее древнему роду и имени, да еще, может быть, слава непобедимого белого вождя и мое воинское искусство удерживали вокруг нас немногочисленных подданных.

Меня могут спросить: был ли я счастлив? Для счастья мне было дано многое, и вряд ли небо благословило когонибудь более красивой и любящей женой, столько раз подтверждавшей свое чувство подвигами самопожертвования. Эта женщина по доброй воле легла со мной рядом на алтарь смерти; ради меня она обагрила свои руки кровью; ее мудрость помогла мне во многих затруднениях, а ее любовь

утешала меня во всех печалях. Если бы благодарность могла покорять сердца мужчин, я бы навеки положил свое к ногам Отоми; в какой-то мере так оно и было и так остается до сих пор. Но разве может благодарность, любое другое чувство или даже сама любовь, поработившая душу, заставить человека забыть родной дом? Я, вождь индейцев, сражающийся вместе с обреченным народом против неотвратимой судьбы, разве мог я забыть свою юность со всеми ее надеждами и страхами, забыть долину Уэйвни, цветок, который там цвел, и свою клятву, пусть даже нарушенную? Ведь все было против меня, обстоятельства оказались сильнее, и тот, кто прочтет эту историю, вряд ли осудит мои поступки. Поистине немного найдется людей, кто на моем месте, осаждаемый со всех сторон сомнениями, трудностями и опасностями, поступил бы иначе.

Но память не давала мне покоя. Сколько раз я пробуждался среди ночи и даже рядом с Отоми лежал, томимый воспоминаниями и раскаянием, если только человек вообще может раскаиваться в том, что от него не зависит. Ибо я оставался чужеземцем в чужой стране, и, хотя мой дом был здесь и мои дети — рядом со мной, я не мог позабыть о другом своем доме и о Лили, которую потерял. По-прежнему я носил ее кольцо на руке, но это было единственное, что у меня от нее осталось. Я не знал, замужем Лили или нет, жива она или умерла. С каждым годом пропасть между нами становилась все глубже, но мысли о ней преследовали меня неотступно, как тень; они пробивались даже сквозь бурную любовь Отоми, я чувствовал их даже в поцелуях моих детей. Страшнее всего было то, что я сам презирал себя за подобные сожаления. Однако еще больше я боялся, что Отоми, которая никогда со мной об этом не говорила, читает в моей душе:

Пускай мы врозь,
Зато душою вместе.

Так было написано на колечке Лили, и так оно было в действительности. Да мы были врозь, так далеко друг от друга, что невозможно даже представить мост, который бы нас соединил, но все равно душой я оставался вместе с нею. Может быть, в ее душе все уже охладело, но моя по-прежнему стремилась к ней через горы, через моря, через бездну смерти,— если она умерла и смерть разделила нас. Я по-прежнему втайне мечтал о любви, которой сам изменил.

Тот, кто прочел историю моих юных лет, наверное, помнит рассказ о смерти некой Изабеллы де Сигуенса, о том,

как в последний час она прокляла священника, прибавившего оскорбления и брань к ее мукам, и пожелала ему умереть еще более ужасной смертью от рук таких же фанатиков. Если память мне не изменяет, я уже говорил, что все это исполнилось, причем самым удивительным образом.

После того, как Кортес завоевал Анауак, этот ретивый священник в числе прочих приплыл из Испании, чтобы пытками и мечом внушить индейцам любовь к истинному богу. Среди своих собратьев, занятых тем же милосердным делом, он был самым рьяным.

Индейские жрецы творили немало жестокостей, вырывая сердца своих жертв и принося их в дар Уицилопочтли или Кецалькоатлю, но они по крайней мере отправляли души несчастных в Обиталище Солнца. Христианские же священники не только заменили жертвенный камень изощренными орудиями пытки и кострами, на которых сжигали людей живьем, но в довершение всего души, освобождаемые таким образом от земных уз, они отсылали теперь в Обиталище Сатаны.

Так вот, среди всех изуверов самым дерзким и самым жестоким был наш отец Педро. Он появлялся то тут, то там, отмечая свой путь трупами идолопоклонников, и в конце концов заслужил прозвище «Дьявола Христова». Но однажды он в своем святом рвении забрался слишком далеко и был захвачен одним из племен отоми. Это племя откололось от нас из-за своей приверженности к человеческим жертвоприношениям, но испанцам тоже еще не подчинилось. И вот как-то раз мне донесли, что жрецы племени хотят принести в жертву Тескатлипоке захваченного в плен христианского миссионера. Это произошло на четырнадцатом году нашего правления в Городе Сосен.

Я тотчас собрался и с небольшим отрядом направился к касику племени, надеясь, что мне удастся убедить его отпустить священника. Хотя племя и вышло из нашего союза, мы с касиком сохраняли видимость дружбы.

Однако как я ни торопился, месть жрецов опередила меня. Когда мы прибыли в деревню, «Дьявола Христова» уже вели к жертвенному камню перед установленным на столбе отвратительным идолом, вокруг которого торчали колья с черепами. Обнаженный до пояса, со связанными за спиной руками и свисающими на грудь полуседыми космами отец Педро шел к месту казни, яростно мотая время от времени головой, чтобы избавиться от укусов жужжавших над ним москитов. Тонкие губы его бормотали слова молитв, а пронзительные глазки впивались в лица

его заклятых врагов скорее с угрозой, чем с мольбой о пощаде.

Я взглянул на него и удивился. Я вгляделся пристальнее и только тогда узнал этого человека. Внезапно в памяти у меня возникло мрачное подземелье в Севилье, прелестная молодая женщина в саване и тонколицый, облаченный в черное, священник, который разбивает ей губы распятием слоновой кости и проклинает за богохульство. Этот самый священник был сейчас передо мной! Изабелла де Сигуенса пожелала ему такой же участи, как ее собственная. Желание ее сбылось. Теперь я не остановил бы руку судьбы, даже если бы это было в моей власти. Я остался в стороне, но когда «Дьявол Христов» проходил мимо, заговорил с ним по-испански:

— Вспомни, святой отец, может быть, ты уже позабыл, но вспомни сейчас предсмертную мольбу Изабеллы де Сигуенса, которую ты обрек на смерть в Севилье много лет назад!

Священник услышал меня и, побледнев, как смерть, несмотря на загар, так затрясся, что я думал, он вот-вот свалится. С ужасом уставился он на меня, но увидел перед собой только обыкновенного индейского вождя, радующегося гибели одного из своих угнетателей.

— Сатана!— прохрипел он.— Ты пришел из ада терзать меня в мой последний час?

— Вспомни предсмертную мольбу Изабеллы де Сигуенса, которую ты ударил и проклял,— ответил я насмешливо.— Не пытайся узнать, кто я, вспомни только ее слова и не забывай их до конца!

Мгновение он стоял, оцепенев и не обращая внимания на толчки своих мучителей, но затем смелость вернулась к нему, и он завопил пронзительным голосом:

— Прочь от меня, сатана, не боюсь тебя! Я помню эту погибшую грешницу, да успокоится ее душа! Ее проклятие настигло меня, но я радуюсь, да, радуюсь этому, ибо по ту сторону жертвенного камня передо мной отверзнутся небесные врата. Прочь, сатана, не боюсь тебя, не боюсь!

Его потащили дальше, а он продолжал вопить:

— О господи, прими мою душу! Прими!

Да успокоится и его душа! Он был жесток, но по крайней мере не труслив и, как подобает, принял все муки, на которые сам обрекал стольких людей.

Случай этот, сам по себе незначительный, привел к неожиданно важным последствиям. Если бы я вырвал тогда отца Педро из рук жрецов, мне бы, наверное, не пришлось

сейчас дописывать эту историю в своем доме в долине Уэйвни. Не знаю, сумел бы я его спасти или нет, знаю только, что даже не пытался это сделать и что смерть отца Педро навлекла на меня большое несчастье. Может быть, я был прав, а может быть, виноват — кому об этом судить? Тот, кто лишь прочитает мою историю, наверное, скажет, что я виноват, как и во многих других случаях, но тот, кто увидел бы сам Изабеллу де Сигуенса, заживо замурованную в могилу, сказал бы наверняка, что я прав. Однако — к добру или к худу — все произошло именно так, как я это описал.

К тому времени из Испании прибыл новый вице-король. Узнав об убийстве миссионера, он пришел в ярость и решил отомстить непокорным язычникам отоми.

Вскоре до меня дошли слухи, что против нас, намереваясь уничтожить поголовно всех отоми, выступило большое войско тласкаланцев и других индейских племен. Вместе с ними в поход отправилось более сотни испанских солдат. Возглавлял экспедицию не кто иной, как капитан Берналь Диас, тот самый солдат, которого я пощадил во время резни в «Ночь печали» и чей меч все еще висел тогда у меня на поясе.

Нужно было подготовиться к обороне заранее, потому что единственная наша надежда заключалась во внезапности отпора. Однажды испанцы уже пытались на нас напасть с тысячами своих союзников, но из них лишь немногие добрались живыми до лагеря Кортеса. То, что сделано один раз, можно повторить,— так говорила Отоми с гордой уверенностью непокорной души. Но увы! За четырнадцать лет многое изменилось.

Четырнадцать лет назад мы властвовали над всей обширной горной страной. Суровые племена по первому зову посылали нам сотни воинов. Теперь же эти племена не подчинялись нам, и мы могли рассчитывать только на жителей Города Сосен, да еще нескольких окрестных селений. Когда испанцы шли на нас первый раз, я мог выставить против них армию в десять тысяч воинов. Теперь же с большим трудом мне удалось собрать всего тысячи две-три, да и то, когда опасность приблизилась, часть из них разбежалась.

Несмотря на трудности, мне нельзя было падать духом. Я должен был как можно лучше использовать все силы, оставшиеся в моем распоряжении, но, честно говоря, весьма опасался за исход сражения. Однако свои опасения я тщательно скрывал от Отоми, и она в свою очередь, если и бес-

покоилась, то прятала тревогу в глубине души. Впрочем, ее вера в меня была слишком велика: Отоми не сомневалась, что одной моей мудрости вполне достаточно для разгрома всех испанских армий.

Но вот враг приблизился, и мы приготовились к бою. План мой остался точно таким же, как четырнадцать лет назад. С небольшим отрядом я должен был выступить навстречу противнику по ущелью — единственной дороге к Городу Сосен; основные силы, разделенные на две равные части, располагались на вершинах скал по обеим сторонам этого прохода, чтобы забросать испанцев сверху камнями, когда я обращусь перед ними в бегство,— это должно было послужить условным сигналом.

Кроме того, я принял дополнительные меры. Несмотря ни на что, нас могли оттеснить к городу, поэтому я приказал укрепить его ворота и стены и оставил там гарнизон. На крайний случай на вершину теокалли, где, после того, как жертвоприношения прекратились, находился наш арсенал, были перенесены большие запасы воды и продовольствия. Склоны пирамиды мы укрепили стенами, утыканными осколками вулканического стекла, и другими сооружениями, превратив ее в неприступную крепость, захватить которую теперь не смог бы никто, пока в ней останется хотя бы десяток живых защитников.

Наконец в одну из ночей в самом начале лета я простился с Отоми и, приказав основным силам укрыться в засаде на скалах над ущельем, сам двинулся с несколькими сотнями воинов по темному проходу. Со мной был мой сын. Он уже достиг того возраста, когда, по обычаям индейцев, юноша должен испытать все опасности сражения.

Разведчики донесли мне, что испанцы расположились лагерем по ту сторону ущелья и собираются пройти через него за час до рассвета, надеясь захватить нас врасплох. Сведения оказались точными. Наутро, едва первые лучи зари окрасили заоблачные снега вулкана Хака, возвышавшегося за нашей спиной, глухой шум, усиленный горным эхом, известил нас о том, что враг двинулся вперед. Я повел воинов по ущелью ему навстречу. Мы скользили неслышно: здесь нам был знаком каждый камень. Зато испанцам приходилось туго. Многие из них ехали верхом, а кроме того, у них были с собой две пушки. Время от времени тяжелые орудия застревали среди камней, потому что рабы, которые их тащили не видели в темноте дорогу. Наконец командир отряда, не желая вступать в бой в таких невыгодных для него условиях, приказал остановиться и ждать дня.

Но вот занялось утро, и тусклый свет проник на дно глубокого ущелья. Из темноты показалась длинная колонна испанцев, закованных в блестящие латы, а за ними — тысячные толпы их союзников индейцев в еще более пышных нарядах, в раскрашенных шлемах и разноцветных накидках из перьев.

Противники заметили нас тоже и начали насмехаться над бедностью нашего убранства. Извиваясь среди скал, словно какая-то чудовищная змея, вражеская колонна поползла вперед по ущелью. Когда между нами осталось не более сотни шагов, испанцы с боевым кличем опустили пики и, призывая на помощь святого Петра, бросились в конную атаку.

Мы встретили врагов ливнем стрел. Это остановило их, но ненадолго. Вскоре испанцы приблизились и начали нас теснить остриями своих длинных пик. Многие мои воины были убиты, потому что мы с нашим индейским оружием почти ничего не могли поделать против закованных в броню коней и всадников. Нам пришлось обратиться в бегство, но это как раз и входило в мой план. Я рассчитывал увлечь за собой врагов к тому месту, где ущелье сужалось, а утесы над ним были особенно круты, чтобы там мои воины сразу раздавили их каменными глыбами.

Все шло хорошо. Мы бежали, испанцы, воодушевленные победой, сами мчались за нами прямо в ловушку. Вот уже первый камень обрушился с высоты, убил одного коня и, отскочив, сбил с ног и ранил другого. За первым последовал второй, третий; и я уже торжествовал в душе, думая, что опасность миновала и мой план еще раз принес нам победу.

Но вдруг сверху послышался шум, совсем не похожий на шум скатывающихся камней. Это были звуки сражения, которые все нарастали и нарастали, пока не слились в сплошной рев. Потом в воздухе снова что-то мелькнуло. Я увидел, что это не камень, а человек, один из моих отоми. Но он был только первой каплей последовавшего затем ливня.

Увы, все сразу стало понятно: нас обошли! Испанцы были слишком опытными солдатами, чтобы дважды попасться в одну и ту же ловушку. Они двинулись с пушками через ущелье, потому что иначе орудия немыслимо было протащить, но сначала под прикрытием темноты послали большую часть своих войск в горы. По тайным тропам, которые им показали предатели, испанцы поднялись на плато и теперь расправлялись с теми, кто должен

был защитить проход, обрушивая сверху камни на врагов.

Поистине это был не бой, а расправа! Затаившись на краю пропасти среди агав и колючего кустарника, мои отоми следили за продвижением врага по ущелью, даже не подозревая, что он может быть у них за спиной. Их захватили врасплох. Многие даже не успели взяться за оружие, отложенное в сторону, чтобы удобнее было скатывать вниз тяжелые глыбы, когда намного превосходивший их числом противник с дикими воплями ринулся в атаку. Схватка была решительной и короткой. Все это я понял слишком поздно и проклял себя за то, что не предусмотрел такой возможности. По правде говоря, я никогда не думал, что испанцы сумеют отыскать тайные тропы, по которым можно подняться на гору с той стороны. Глупец! Я забыл, что предательство делает возможным все.

Глава XXXIV

ОСАДА ГОРОДА СОСЕН

Бой был проигран. С высоты тысячи футов над нами слышались победные крики врагов. Бой был проигран, но я должен был сражаться до конца.

Как можно быстрее я отвел своих воинов к самому узкому повороту ущелья, где горсточка отчаявшихся людей могла задержать на время продвижение целого войска. Здесь я вызвал желающих остаться со мной, и почти все откликнулись на призыв. Я отобрал человек пятьдесят с небольшим, а остальным приказал бежать со всех ног в Город Сосен и предупредить оставленный там гарнизон об опасности. В случае моей гибели я просил мою жену Отоми воспользоваться всей своей властью и стойко защищать город, стараясь, если это будет возможно, выговорить у испанцев жизнь себе, своему сыну и своему народу. Сам я решил держаться в ущелье до тех пор, пока в городе не запрут все ворота и защитники его не выйдут на стены.

Вместе с воинами я отослал своего сына. Он умолял меня позволить ему остаться, но зная, что здесь нас ждет только смерть, я отправил его в город.

Наконец мы остались одни. Опасаясь засады, испанцы продвигались медленно и осторожно. Увидев за поворотом жалкую горсточку людей, преградивших им путь, они окончательно остановились. Теперь испанцы были уверены,

что их ждет еще какая-то ловушка. Никому даже в голову не приходило, что такой маленький отряд осмелится вступить в бой с целой армией!

В этом месте ущелье суживалось настолько, что одновременно против нас могло двинуться лишь несколько человек. Установить здесь пушки тоже было невозможно, и даже мушкеты почти ничем не помогали испанцам. К тому же крайняя неровность почвы заставила их слезть с коней — здесь можно было атаковать только в пешем строю.

В конце концов испанцы так и сделали. Схватка была кровопролитной для обеих сторон, и, хотя сам я остался невредим, мы отступили. Дюйм за дюймом враги заставляли нас пятиться — вернее тех из нас, кто был еще жив. Остриями своих длинных пик они постепенно вытеснили моих воинов из ущелья, за которым в каких-нибудь трех четвертях мили возвышались стены Города Сосен.

Продолжать бой на открытом месте было бессмысленно. Мы могли выбирать только между гибелью и бегством и ради спасения наших детей и жен выбрали последнее.

Как затравленные олени, мчались мы через долину, а испанцы и их союзники гнались за нами, словно свора собак. К счастью, дорога была неровная и кони испанцев не могли скакать во весь опор, поэтому человек двадцать успели благополучно добежать до городских ворот. Из всей моей армии после боя вернулось человек пятьсот, и еще примерно столько же воинов оставалось в самом городе.

Тяжелые ворота захлопнулись вовремя: едва мы успели их заложить массивными дубовыми брусьями, как к ним приблизились испанцы. Мой лук все еще был со мной, в колчане у меня оставалась одна стрела. Я наложил ее на тетиву и, натянув до предела, выпустил стрелу сквозь брусья ворот в молодого красивого всадника, который мчался впереди всех. Стрела попала точно в шею между шлемом и панцирем. Испанец широко взмахнул руками, откинулся на круп своего коня и остался недвижим.

Это заставило всадников отступить, но затем один из них снова подскакал к воротам, размахивая белым лоскутом. Он выглядел настоящим рыцарем в своих блестящих доспехах. Что-то знакомое мелькнуло в его облике и в той небрежной ловкости, с какой он правил конем. Остановившись перед воротами, испанец поднял забрало и заговорил.

Я узнал его сразу! Передо мной был мой старый враг де Гарсиа, о котором я ничего не слышал целых двенадцать лет. Время изменило его, и в этом не было ничего удивительного, ибо теперь ему должно было быть лет шестьдесят,

если не больше. В остроконечной каштановой бородке обильно проглядывала седина, щеки ввалились, а губы на расстоянии казались двумя тонкими красными нитками; только глаза остались такими же блестящими и проницательными, да рот кривила все та же холодная усмешка. Это был де Гарсиа собственной персоной. Как всегда, он появился на моем пути в один из самых критических моментов, и снова угроза мучительной смерти нависла надо мной. Глядя на него, я почувствовал, что это наша последняя и решающая встреча. Пройдет несколько дней, и тогда накопленная годами ненависть одного или обоих из нас канет навсегда в безмолвие смерти. И, как прежде, судьба была против меня. Всего несколько минут назад, наложив последнюю стрелу на тетиву, я на мгновение заколебался, не зная, в кого стрелять — в юношу или в ехавшего за ним рыцаря? И вот человек, который не причинил мне зла, лежал мертвым, а мой заклятый враг стоял передо мной живой и невредимый.

— Эй вы!— закричал де Гарсиа по-испански.— Я хочу говорить с вождем мятежников отоми от имени капитана Берналя Диаса, нашего военачальника!

Я поднялся на стену по ближайшей лестнице и ответил:

— Говори, я тот, кто тебе нужен.

— Ты неплохо говоришь по-испански, друг,— заметил де Гарсиа, подъезжая и вглядываясь в меня из-под насупленных бровей.— Скажи, где ты выучил этот язык? Откуда ты родом и как твое имя?

— Я научился ему от некой доньи Луисы, которую ты знавал в юности, Хуан де Гарсиа. А мое имя — Томас Вингфилд.

Дс Гарсиа пошатнулся в седле. Страшное проклятие сорвалось с его уст.

— Матерь божья!— воскликнул он.— Я слышал, что ты спрятался у какого-то дикого племени, но я был далеко отсюда, в Испании, а когда вернулся, то решил, что ты уже сдох, Томас Вингфилд. Ведь прошло столько лет! Но поистине мне везет! До сих пор ты всегда убегал от меня, предатель, и это было самым большим огорчением моей жизни. Зато на сей раз тебе не уйти, можешь быть в этом уверен.

— Знаю, Хуан де Гарсиа, на сей раз одному из нас не уйти,— ответил я.— Осталось сыграть последний кон. Однако не хвались заранее, потому что еще неизвестно, кто из нас выиграет. Тебе долго везло, но может быть, уже близок день, когда твое везение кончится, а вместе с

ним — твоя жизнь. Говори, что тебе поручено, Хуан де Гарсиа!

Мгновение он медлил, теребя свою остроконечную бородку, и мне показалось, что тень полузабытого ужаса снова мелькнула в его глазах. Но, если это и было так, де Гарсиа быстро с собой справился. Подняв голову, он заговорил смело и ясно:

— Слушай, Томас Вингфилд! Мне поручено передать тебе и твоим недобитым собакам-отоми предложение нашего капитана Берналя Диаса, который обращается к вам от имени его величества вице-короля.

— Что за предложение?— спросил я.

— Достаточно великодушное для таких поганых язычников и мятежников, как вы,— ответил он, ухмыляясь.— Сдавайтесь без всяких условий, и вице-король в своем милосердии будет к вам справедлив. Однако, чтобы вы потом не говорили, будто мы нарушили свое слово, знайте заранее, что вам придется ответить за совершенные вами преступления. Наказание будет милостивым. Все те, кто прямо или косвенно принимал участие в гнусном убийстве блаженной памяти святого отца Педро, будут сожжены живьем на костре, а те, кто смотрел, как его убивают, будут ослеплены. В назидание другим по выбору судей будет публично повешено несколько вождей отоми, среди коих будешь и ты, кузен Вингфилд, но главное — женщина по имени Отоми, дочь покойного императора Монтесумы. Что касается остальных жителей Города Сосен, то они должны передать без остатка все свои богатства в казну вице-короля. Затем их всех, мужчин, детей и женщин, уведут из города, расселят, согласно воле вице-короля, по владениям испанских поселенцев, дабы они научились полезному искусству ведения хозяйства и работе на рудниках. Таковы условия сдачи. Мне приказано передать, что по истечении часа вы должны принять их или отклонить.

— А если мы не примем ваших условий?

— На этот случай капитан Берналь Диас получил приказ разграбить и разрушить весь город, отдав его на двенадцать часов тласкаланцам и другим своим верным индейским союзникам, а затем собрать всех, кто останется в живых, и продать их в рабство в городе Мехико.

— Хорошо.— сказал я.— Ответ будет через час.

Установив у ворот охрану, я приказал гонцам немедленно созвать оставшихся в живых членов совета Города Сосен, а сам поспешил во дворец. Отоми встретила меня на пороге. Зная о постигшем нас несчастье, она уже не

надеялась меня увидеть, и сейчас несказанно обрадовалась.

— Пойдем в Зал Собрания,— сказал я.— Я буду говорить.

Мы вошли в зал, где собралось большинство советников (к тому времени в живых осталось всего восемь старейшин), и я без всяких комментариев передал им слова де Гарсиа. Затем, как самая первая в совете, заговорила Отоми.

Я уже дважды слышал, как она обращалась к народу, призывая его на борьбу с испанцами. Первый раз это было, когда преемник Монтесумы император Куитлауак послал нас просить у горцев помощи против Кортеса и теулей. Второй раз это случилось четырнадцать лет назад, когда мы вернулись в Город Сосен после падения Теночтитлана, и народ, разъяренный гибелью двадцати тысяч своих воинов, хотел передать нас, как залог своего миролюбия, в руки испанцев. И оба раза Отоми одерживала победу благодаря своему славному имени, величественному благородству и красноречию.

Теперь дело обстояло по-другому. Даже если бы Отоми сейчас воспользовалась всем своим искусством, это ничего бы нам не дало. От былого ее величия осталась только тень, одна из многих теней поверженной империи, слава которой ушла навсегда, так же, как юность Отоми и первый расцвет ее красоты. Теперь она уже не взывала к великим традициям и гордости обреченного народа. И, несмотря на все, когда она встала рядом со своим сыном и обратилась к растерянным, потерявшим всякую надежду и обезумевшим от страха советникам, которые склонились перед ней, закрыв лица руками, я подумал, что никогда еще Отоми не была так прекрасна и никогда еще ее простые слова не были столь красноречивы.

— Друзья мои!— сказала она.— Вы знаете о постигшем нас несчастье: мой муж рассказал вам о послании теулей. Надеяться не на что. Для защиты города, священного дома наших предков, осталось самое большее тысяча человек, и мы единственный народ Анауака, который еще осмеливается с оружием в руках бороться против белых людей. Много лет назад я сказала вам: выбирайте между почетной смертью и бесславной жизнью! Сегодня я снова говорю: выбирайте! Для меня и моих близких выбора нет, ибо, как бы вы ни решили, нас ждет только смерть. Вы — другое дело. Вы можете умереть, сражаясь, или дожить остаток дней вместе с вашими детьми в рабстве. Выбирайте!

Семь старейшин посоветовались между собой, затем один из них ответил:

— Отоми, и ты, теуль, мы следовали вашим советам много лет, но это не принесло нам счастья. Мы вас не виним, ибо сами боги Анауака отвернулись от нас, когда мы отвернулись от них, а участь людей — в руках богов. Долгие годы вы делили с нами радость и горе, и сейчас, когда близок конец, мы хотим разделить вашу участь. В последний час народ отоми не отступится от своего слова. Мы сделали выбор: с вами мы жили свободными и с вами умрем свободными. Ибо так же, как вы, мы считаем, что лучше нам всем погибнуть вольными людьми, чем прозябать всю жизнь под игом теулей.

— Хорошо!— сказала Отоми.— Нам осталось только умереть такой смертью, о которой люди будут слагать песни в веках. Муж мой, ты слышал ответ совета? Передай его испанцам.

Я вернулся на городскую стену с белым флагом в руках. Один из испанцев, но уже не де Гарсиа, прискакал за ответом, и я в немногих словах передал ему, что оставшиеся в живых отоми будут сражаться до тех пор, пока у них останется хоть одно копье и хоть одна рука, способная его метнуть, и что мы скорее погибнем все под развалинами своего города, как погибли жители Теночтитлана, но не сдадимся на милость испанцев, великодушие которых известно нам слишком хорошо.

Всадник вернулся в испанский лагерь, и не прошло и часа, как сражение началось. Подкатив осадные пушки, испанцы установили их в ста с небольшим шагах — на таком расстоянии наши дротики и стрелы не могли причинить им почти никакого вреда — и начали беспрепятственно бомбардировать ворота железными ядрами. Однако мы тоже не сидели сложа руки. Видя, что деревянные створки скоро рухнут, мы разломали прилегающие дома и заполнили весь проход ворот камнями и щебнем. Позади насыпанного нами вала я приказал вырыть глубокий ров, через который не смогли бы перебраться кони, ни тем более пушки. Подобные баррикады, защищенные рвами спереди и с тыла, мы воздвигли поперек всей главной улицы, ведущей к большой, или торговой, площади, где возвышался теокалли, а на тот случай, если испанцы попытаются обойти нас с флангов по узким извилистым проходам между домами, я приказал также забаррикадировать все четыре выхода на эту площадь.

Испанцы до самого вечера продолжали обстреливать ос-

татки разбитых ворот и воздвигнутую за ними насыпь, не причиняя нам, впрочем, особого вреда: за весь день пушечными ядрами и мушкетными пулями было убито не более десяти человек. Но пойти на приступ в тот день они так и не решились.

С наступлением темноты обстрел прекратился, однако в городе никто не спал. Большинство мужчин охраняло ворота и наиболее уязвимые места на городских стенах, а постройкой баррикад теперь занялись главным образом женщины. Я и мои военачальники руководили ими. Пример подала Отоми, за ней на работу вышли другие знатные женщины и, наконец, все простые жительницы города, а их было немало. У отоми женщин вообще больше, чем мужчин, а после утреннего сражения, оставившего многих жен вдовами, эта разница стала еще заметнее.

Странно было видеть, как при свете сотен факелов из смолистой сосны, от которой произошло название города, женщины вереницами двигались по улицам, сгибаясь под грузом тяжелых камней и корзин с землей, долбили деревянными заступами жесткую почву или разрушали стены домов. Ни на что не жалуясь, они работали угрюмо и ожесточенно, без стонов и без слез. Крепились даже те, чьи мужья и сыновья были утром сброшены со скал в пропасть. Они знали, что сопротивление безнадежно, что все мы обречены, но ни одна из них даже не заговаривала о сдаче. Если об этом и заходила речь, они только повторяли вслед за Отоми, что лучше умереть свободными, чем жить рабынями, но большинство просто молчало. Старые и молодые, матери и жены, девушки и вдовы работали, стиснув зубы, и рядом с ними трудились их дети.

Глядя на них, я подумал, что всех этих безмолвных женщин воодушевляет какое-то общее страшное решение, о котором все они знают, но предпочитают не говорить.

— Вы и для теулей будете также стараться?— крикнул с горькой усмешкой один из воинов, когда мимо него проходила вереница женщин, сгибаясь под бременем камней.— Ведь они ваши будущие хозяева!

— Глупец, разве мертвые стараются?— ответила ему возглавлявшая эту группу молодая красивая женщина из знатного рода.

— Мертвые нет,— отозвался несчастный шутник,— но таких красавиц, как ты, теули не убивают. Ты молода, и проживешь в рабстве еще много лет. Как же ты этого избежишь?

— Глупец!— повторила женщина.— Неужели ты думаешь, что огонь угасает только от недостатка масла в светильнике и человек умирает только от старости? Огонь можно погасить и вот так!

С этими словами она бросила на землю факел, который держала в руке, затоптала его сандалией и пошла со своим грузом дальше.

Теперь я был уверен, что женщины приняли какое-то отчаянное решение, но тогда я даже не представлял себе, насколько оно было ужасно, и Отоми ни словом не обмолвилась об этой женской тайне.

Когда мы случайно встретились в эту ночь, я сказал ей:

— Отоми, у меня скверная новость.

— Если ты так говоришь даже в этот час, она должна быть поистине страшной.

— Среди наших врагов де Гарсиа.

— Это я знаю, муж мой!

— Откуда?

— По твоим глазам,— ответила она.— В них — ненависть.

— Похоже, что час его торжества близок,— сказал я.

— Не его, а твоего торжества, любимый. Ты расплатишься с ним за все, но победа достанется тебе дорогой ценой. Не спрашивай ни о чем, я чувствую это сердцем. Смотри!— она указала на снежную вершину вулкана Хака, розовеющую в лучах рассвета.— Смотри, «Королева» уже надевает свою корону. Тебе надо идти к воротам — испанцы скоро пойду на штурм.

Отоми еще не успела договорить, когда я услышал за городскими стенами зов боевой трубы и бросился к воротам.

В предрассветной мгле я различал со стены испанское войско, построенное для приступа. Но испанцы не торопились. Штурм начался только с восходом солнца.

Сначала испанцы открыли бешеную канонаду, которая разнесла в щепки брусья ворот и сбила верхушку сооруженной за ними насыпи. Внезапно обстрел прекратился. Снова прозвучала труба, и ударная колонна из тысячи с лишним тласкаланцев, за которыми следовали испанские солдаты, пошла на приступ. С тремя сотнями воинов отоми я ждал их, затаившись за насыпью. Не прошло и двух минут, как головы тласкаланцев появились над гребнем, и сражение началось.

Мы трижды отбрасывали врага нашими копьями и стрелами, но четвертая волна наступающих перехлестнула через насыпь и хлынула в ров. Сражаться с таким множест-

вом врагов на открытой улице было безнадежно, и мы поспешили отступить к следующему валу.

Здесь битва возобновилась. Вторая баррикада была построена на совесть, и за ней нам удалось продержаться около двух часов, нанося испанцам жестокие удары. Но потери отоми были тоже велики, и нам опять пришлось отступить. Последовал новый штурм, новая отчаянная схватка, ожесточенное сопротивление и новый отход. Так продолжалось без передышки весь день! С каждым часом нас становилось все меньше, руки от усталости уже не держали оружия, но мы продолжали сражаться, как исступленные. На двух последних баррикадах бок о бок со своими мужьями и братьями дрались сотни женщин отоми.

Испанцам удалось ворваться на последнюю насыпь лишь на заходе солнца. Под покровом быстро надвигавшейся темноты немногие уцелевшие воины успели добежать до храмового двора теокалли и укрыться под защитой его стен.

Ночь прошла спокойно.

Глава XXXV

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН ОТОМИ

При свете пожарищ, зажженных испанцами во время штурма по всему городу, я произвел на огороженном стеной дворе перед теокалли смотр своих сил. Здесь собрались тысячи две женщин, множество детей, но боеспособных воинов у меня осталось не более четырехсот.

Наша пирамида была ниже большого теокалли Теночтитлана, зато ее склоны, облицованные полированным камнем, были круче, а верхняя, вымощенная мраморными плитами площадка почти так же обширна — каждая сторона имела в длину более ста шагов. В середине площадки стоял жертвенный камень, алтарь для священного огня, дом жрецов и храм бога войны, где все еще находилось его изваяние, хотя никто ему не поклонялся уже много лет. Между храмом и жертвенным камнем в площадке была сделана глубокая зацементированная выемка величиной с большую комнату, некогда служившая для хранения зерна в голодные годы. Перед осадой я приказал наполнить этот бассейн водой, которую с немалым трудом доставили сюда, на вершину теокалли, а в самом храме устроил большой склад продовольствия, так что в ближайшее время смерть от голода или жажды нам не грозила.

Но теперь мы столкнулись с новой трудностью. Как ни велика площадка пирамиды, на ней могло укрыться менее половины собравшихся перед теокалли людей. Для того чтобы продолжать борьбу, остальные должны были найти себе убежище в другом месте. Созвав старейшин племени, я коротко объяснил им положение и спросил, как быть дальше. Посовещавшись, они решили, что все раненые и престарелые вместе с большей частью детей, а также те, кто захочет к ним присоединиться, этой же ночью постараются выбраться из города, а если их остановят, отдадутся на милость испанцев. Я не стал возражать. Смерть грозила несчастным всюду, и где они ее встретят — это уже не имело значения.

Из толпы было отобрано полторы с лишним тысячи человек. В полночь мы открыли перед ними ворота храмового двора. Какое это было ужасное расставание! Здесь дочь обнимала престарелого отца, там муж навсегда прощался с женой, тут мать в последний раз целовала свое дитя, и отовсюду слышались полные страданий прощальные слова тех, кто разлучался навеки. Закрыв руками лицо, я спрашивал себя, как вопрошал уже не раз: «Если бог милосерд, почему же он терпит злодеяния, при виде которых разрывается даже сердце грешного человека? Почему?»

Затем, обратившись к Отоми, стоявшей со мной рядом, я спросил ее, не отослать ли вместе с другими и нашего сына, выдав его за ребенка из простой семьи.

— Нет,— ответила она.— Пусть лучше умрет вместе с нами, но не будет рабом испанцев.

Наконец все ушли и ворота закрылись. Вскоре мы услышали тревогу, поднятую испанскими часовыми, затем до нас донеслись звуки нескольких выстрелов и крики.

— Тласкаланцы наверняка убьют их,— сказал я.

Однако я ошибся. Перебив несколько человек, командиры испанцев наконец разобрали, что сражаются с безоружной толпой женщин, детей и стариков. Их военачальник Берналь Диас, человек хоть и грубый, но милосердный, приказал немедленно прекратить побоище. Отобрав для продажи в рабство более или менее трудоспособных мужчин, а также детей, которые могли перенести тяготы дальнего пути, он отпустил остальных на все четыре стороны. Куда разбрелись эти убитые горем люди и что с ними стало дальше — я не знаю.

Эту ночь мы провели на храмовом дворе, но перед рассветом, опасаясь, что испанцы с зарею пойдут на приступ, я приказал всем подросткам и женщинам подняться на тео-

калли. Всего их осталось с нами около шестисот. Почти все девушки и замужние женщины, которые были еще молоды и красивы, отказались покинуть наше убежище. Зато вместе с беженцами ушло сто с лишним мужчин, решивших сдаться на милость испанцев.

С тремя сотнями оставшихся воинов я укрылся за стенами храмового двора, ожидая нападения испанцев. Оно началось с рассветом. К полудню, несмотря на все наши усилия, враг взял стену приступом. Потеряв почти сто человек убитыми и ранеными, мы были вынуждены отступить на дорогу, которая, огибая спиралями всю пирамиду, вела к верхней площадке.

Враги снова бросились в атаку, но здесь, на узкой крутой дороге, численное превосходство не давало им почти никакого преимущества. В конце концов мы сбросили их вниз, нанеся потери, и больше они в этот день уже не нападали.

На ночь мы укрепились на вершине теокалли. Я так измучился, что уснул беспробудным сном, едва успев перекусить. А наутро снова начался штурм, на сей раз более успешный для испанцев. Под прикрытием смертоносного огня из мушкетов они теснили нас шаг за шагом, заставляя пятиться назад и вверх, к вершине теокалли. Весь день продолжалось это сражение на узких крутых подъемах с одной ступени пирамиды на другую. Наконец, уже на закате, передовой отряд врагов с победоносными криками ворвался на верхнюю площадку и устремился к храму, стоявшему в середине.

До сих пор женщины только наблюдали за боем, но в этот миг одна из них вдруг вскочила на ноги и громко закричала:

— Хватайте проклятых! Их совсем мало!

С ужасающим яростным визгом толпа женщин бросилась на усталых испанцев и тласкаланцев и захлестнула их. Многие женщины были убиты, но победа осталась за ними. Они хватали врагов, связывали веревками и тут же прикручивали к медным кольцам, оставшимся в мраморных плитах еще с тех времен, когда жрецы привязывали к ним свои многочисленные жертвы, чтобы те не сбежали.

Несколько мгновений мы стояли в стороне, пораженные этим зрелищем, но потом я крикнул своим воинам: — Неужели женщины отоми смелее мужчин? Вперед!

И, не прибавив больше ни слова, я вместе с сотней моих людей ринулся вниз по узкому, крутому спуску.

За первым же поворотом мы столкнулись с основным от-

рядом испанцев и их союзников; уверенные в своей победе, они поднимались не торопясь. Наш удар был настолько силен и внезапен, что многие из них были мгновенно сбиты с ног и полетели вниз по крутым склонам пирамиды. Устрашенные участью своих товарищей, враги остановились, затем стали пятиться. Под нашим натиском они валились друг на друга, сбивая тех, кто шел позади, и вскоре паника распространилась по всей длинной колонне, спиралью поднимавшейся к вершине теокалли. С воплем ужаса противник обратился в бегство, но многим так и не удалось уйти. Волна падающих людей нарастала, подобно лавине, опрокидывая все новых и новых врагов и сталкивая их с дороги в пропасть. Достаточно было человеку оступиться, и уже ничто не могло задержать его падения: он летел вниз, ударяясь о крутой склон пирамиды, и расшибался у ее подножия насмерть.

За какие-нибудь пятнадцать минут испанцы потеряли все, что с огромным трудом захватили за день. На теокалли не осталось ни одного живого врага, если не считать пленных на верхней площадке. Охваченные неудержимым ужасом, испанцы покинули даже храмовый двор и вернулись в свой лагерь в городе, унося с собой убитых и раненых.

Усталые, но торжествующие, мы уже возвращались на вершину теокалли, когда на втором повороте, расположенном примерно футов на сто выше уровня почвы, мне в голову внезапно пришла одна мысль. С помощью тех, кто был со мной, я тут же принялся за ее осуществление. Расшатав камни, из которых было сложено основание дороги, мы начали скатывать их вниз по склону пирамиды. Снимая слой за слоем каменную облицовку и выкидывая землю, на которой она лежала, мы трудились так до тех пор, пока под нами вместо спирального спуска не зазиял обрыв высотой в тридцать с лишним футов. Дорога была разрушена.

— Теперь,— сказал я с удовлетворением, взирая при свете луны на дело своих рук,— для того, чтобы захватить наше гнездо, испанцам понадобятся крылья.

— Ах, теуль!— возразил мне один из воинов,— а на каких крыльях мы улетим отсюда?

— На крыльях смерти,— мрачно ответил я, и мы начали подниматься наверх.

Разрушение дороги отняло немало часов, еду нам приносили сверху, так что я вернулся на площадку теокалли лишь около полуночи. Приблизившись к храму, я с удивлением услышал доносившееся оттуда торжественное песнопение, но я удивился еще больше, когда увидел, что двери

храма Уицилопочтли открыты, а перед ним на алтаре снова яростно пылает священный огонь, который не зажигали уже долгие годы. Я прислушался. Что это, обман слуха или я действительно слышу страшную песнь жертвоприношения? Нет, не обман. Дикий припев опять зазвучал в тишине:

Тебе мы приносим жертву!
Спаси нас, Уицилопочтли,
Уицилопочтли, великий бог!

Я бросился вперед и, завернув за угол, лицом к лицу столкнулся с далеким прошлым. Как в давно забытые времена, здесь снова толпились жрецы в черных одеяниях, с распущенными по плечам волосами и ужасными ножами из обсидиана на поясе. Справа от жертвенного камня лежали в ряд связанные пленники, посвященные богу, и люди в одеждах жрецов уже держали за руки первую жертву — тласкаланца. Над ним в багряном жертвенном облачении склонился один из моих военачальников,— я вспомнил, что когда-то, пока я не запретил идолопоклонство в Городе Сосен, он был жрецом бога Тескатлипоки,— а вокруг, глядя на него, стояли широким кольцом женщины и пели свой жуткий гимн.

Я понял все. В час безысходного отчаяния, перед лицом неизбежной смерти огонь древней веры снова вспыхнул в диких сердцах этих обезумевших от горя женщин, потерявших своих отцов, мужей и детей. Здесь был жертвенный камень, здесь был храм, где сохранилось все необходимое для ритуала, и под рукой оказались пленники, захваченные в бою. Они хотели насладиться последней местью, они хотели совершить последнее жертвоприношение богам своих предков, как это делали их отцы, и в жертву они избрали своих победоносных врагов. Пусть они сами умрут, но зато их души отправятся в Обиталище Солнца, умилостивленное кровью проклятых теулей!

Я сказал, что гимн пели женщины, глядя на своих пленников свирепыми глазами, но не сказал самого страшного. Как раз напротив меня, в середине круга, отмечая такт зловещего гимна взмахами маленького жезла, стояла принцесса Отоми, дочь Монтесумы, моя жена.

В белом одеянии, со сверкающим изумрудным ожерельем на шее и царственными зелеными перьями в волосах, впервые была она так прекрасна, и так страшна. Такой я ее никогда еще не видел. Куда делись нежная улыбка и добрые глаза? Передо мной в образе женщины явилось живое воплощение Мести. Этот миг объяснил мне многое, хотя и

не все. Отоми, которая всегда склонялась к нашей вере, не будучи сама христианкой, Отоми, которая все эти годы с отвращением вспоминала ужасные обряды, Отоми каждое слово, каждое дело которой было преисполнено милосердия и доброты, моя Отоми в глубине души по-прежнему оставалась язычницей и дикаркой. Она тщательно скрывала от меня эту сторону своего существа и едва ли сама знала все потаенные уголки своего сердца. За все время я лишь дважды видел, как яростное пламя ее дикой крови прорывалось наружу: когда Отоми отказалась надеть платье гулящей девки, принесенное Мариной в день побега из лагеря Кортеса, и когда в тот же день Отоми своими руками поразила склонившегося надо мной тласкаланца.

Все это пронеслось у меня в голове мгновенно, пока жрецы тащили тласкаланца к алтарю, а Отоми управляла хором, распевавшим песнь смерти.

В следующее мгновение я уже был рядом с нею.

— Что здесь происходит?— спросил я сурово.

Отоми с холодным недоумением подняла на меня пустые глаза, словно не узнавая.

— Уходи отсюда, белый человек,— проговорила она.— Чужеземцам не дозволено вмешиваться в наши обряды.

Пораженный, я стоял, не зная, что делать, в оцепенении глядя на пламя, пылавшее перед изваянием грозного бога Уицилопочтли, пробудившегося после долгих лет сна.

Снова и снова звучал торжественный гимн; Отоми отмечала такт маленьким жезлом из черного дерева. Снова и снова торжествующие вопли взлетали к безмолвным звездам. Мне казалось, что я вижу страшный сон.

Но вот я очнулся от этого кошмара и, выхватив меч, бросился на жреца, чтобы зарубить его тут же перед алтарем. Никто из мужчин не успел опомниться, однако женщины оказались вдвое быстрее меня. Прежде чем я успел взмахнуть мечом, прежде чем я смог произнести хоть слово, они вцепились в меня, точно пумы из их диких лесов, шипя и визжа, как настоящие пумы.

— Уходи, теуль!— вопили они мне прямо в уши.— Уходи, не то мы заколем тебя на алтаре вместе с твоими братьями!

И все с тем же визгом они вытолкали меня из круга.

Я отошел в сторону и укрылся в тени храма, стараясь что-нибудь придумать. Мой взгляд упал на длинный ряд связанных между собой жертв, ожидающих своей очереди. Тридцать один человек еще был жив, и среди них — пять испанцев. Я отметил про себя, что испанцы лежали самыми

последними. Похоже было, что их приберегли для завершения торжества, и в действительности, как я узнал позднее, жрецы решили принести теулей в жертву на восходе солнца. Я ломал себе голову — как их спасти? Моя власть уже ничего не значила. Удержать женщин от мести невозможно: они обезумели от страданий. Легче было отнять у пумы детенышей, чем вырвать пленников из их рук. Мужчины вели себя иначе. Правда, некоторые присоединились к оргии, однако большинство с боязливым торжеством наблюдали за этим зрелищем со стороны, не принимая в нем участия.

Неподалеку от меня стоял один из вождей отоми, мой сверстник. Он всегда был моим другом и первым после меня военачальником племени. Я подошел к нему и сказал:

— Послушай, друг, во имя чести нашего народа помоги мне прекратить все это!

— Не могу,— ответил он.— И не вздумай сам вмешиваться, иначе тебя ничто не спасет. Теперь власть у женщин, и ты видишь, как они ей воспользовались. Мы все скоро погибнем, но перед смертью они хотят совершить то, что делали их отцы, и они это совершат, ибо им терять нечего. Старые обычаи, как их не изгоняй, забываются нелегко.

— Но, может быть, нам удастся спасти хотя бы теулей?— спросил я

— А для чего? Разве они спасут нас через несколько дней, когда мы окажемся в их руках?

— Может быть, и не спасут,— ответил я,— но, если нам суждено умереть, лучше умереть с чистой совестью.

— Чего ты от меня хочешь, теуль?

— Вот что: найди трех-четырех воинов, которые еще не поддались этому сумасшествию, и помоги мне вместе с ними освободить теулей, раз уж мы не можем спасти остальных. Если нам удастся, мы спустим их на веревках с того места, где дорога обрывается, а дальше они сами доберутся до своих.

— Попробую,— ответил вождь, пожимая плечами.— Но я это сделаю только потому, что ты меня просишь и ради нашей старой дружбы, а вовсе не из любви к проклятым теулям. По мне было бы неплохо, если бы их всех положили на жертвенный камень!

Он отошел, и вскоре я увидел, как возле пленников начали собираться воины. Словно случайно, они останавливались как раз там, где за последним индейцем были привязаны испанцы, закрывая их от обезумевших женщин, увлеченных своей оргией.

Я осторожно подполз к испанцам. Привязанные за руки и за ноги к медным кольцам в мраморных плитах, они лежали молча в ожидании своего смертного часа, с посеревшими лицами и выпученными от страха глазами.

— Тш-ш-ш! Тихо!— прошептал я на ухо крайнему испанцу, старому солдату, которого я узнал,— он служил еще у Кортеса.— Хочешь спастись?

— Кто тут болтает о спасении?— прохрипел он, быстро оглянувшись.— Разве кто-нибудь может нас спасти от этих ведьм?

— Я теуль, белый человек и христианин, но в то же время я вождь этого народа. У меня еще осталось несколько преданных людей. Мы перережем ваши путы, а потом будет видно. Знай, испанец, я иду на большой риск, потому что, если мы попадемся, мне, пожалуй придется разделить с вами участь, от которой я хочу спасти вас.

— Если мы отсюда выберемся,— ответил испанец,— мы не забудем твою услугу, можешь не сомневаться. Спаси нам жизнь, и, когда придет время, мы тебе отплатим тем же. Но даже если вы нас отпустите, как мы пересечем открытую площадку при такой луне на глазах этих фурий?

— Все равно надо попробовать,— ответил я.— Другого выхода нет.

По счастью, случай пришел нам на помощь. Пока мы говорили, в лагере испанцев наконец заметили, что происходит на вершине теокалли. Снизу послышались крики ужаса, а затем началась бешеная пальба из пушек и мушкетов, которая, впрочем, не причиняла нам почти никаких потерь, потому что весь ливень свинца, направленный вверх от подножия пирамиды, проносился над нашими головами. Одновременно большой отряд испанцев двинулся через храмовый двор на приступ — они еще не знали, что дорога наверх разрушена.

Но все это даже не приостановило ритуала жертвоприношения. Грохот пушек, испуганные и яростные крики испанских солдат, свист мушкетных пуль, треск пламени новых пожарищ, зажженных противником, чтобы осветить поле боя, смешались теперь с диким гимном смерти, усиливая всеобщее смятение и беспорядок и облегчая тем самым мою задачу.

Мой друг военачальник отоми с наиболее верными людьми уже были рядом со мной. Пригнувшись, я несколькими быстрыми ударами ножа перерезал веревки испанцев. Мы сбились в кучу из двенадцати с лишним человек, поме-

стив пятерых испанцев в середине, затем я выхватил меч и закричал:

— Теули штурмуют теокали! Теули пошли на приступ! Мы их отбросим!

Я не солгал, потому что длинная колонна испанцев уже начала подниматься по спиральной дороге. Воспользовавшись этим, мы перебежали открытое пространство и начали спускаться вниз. Нас. никто не заметил и не задержал — все были поглощены жертвоприношением. К тому же наверху царила такая сумятица, что, как я узнал позднее, ни один человек даже не обратил на нас внимания.

Уже на спуске я вздохнул спокойнее: теперь мы по крайней мере скрылись от глаз женщин. Однако нужно было спешить. Мы бежали вниз по спиральному пути так быстро, как только испанцев несли затекшие ноги, пока, наконец, не достигли поворота, за которым начинался обрыв.

Отряд противника подошел к этому же повороту одновременно с нами. Испанские солдаты беспомощно толпились у подножия обрыва, вопя от бешенства и отчаяния, потому что теперь они были бессильны чем-либо помочь своим товарищам. Мы их не видели, зато слышали очень хорошо.

— Мы погибли,— пробормотал старый испанец, с которым я говорил.— Дорога разрушена, а спускаться по склону пирамиды — верная смерть.

— Вовсе вы не погибли,— ответил я.— Футах в пятидесяти внизу дорога сохранилась. Мы вас спустим на нее по одному на веревке.

Не теряя времени, мои воины принялись за дело. Обвязав первого солдата веревкой поперек тела под мышками, мы осторожно спустили его вниз прямо на руки испанцам, которые встретили своего товарища, словно воскресшего из мертвых. Последним оказался старый испанец.

— Прощай,— сказал он мне.— Хоть ты и предатель, бог не забудет твоего милосердия. Может быть, ты последуешь за мной? Тебя не тронут, ручаюсь своей жизнью и честью. Ты говорил, что остался христианином. Разве это место для христиан?— и он показал рукой наверх.

— Конечно, не место,— ответил я.— Но уйти с тобой я не могу. Здесь моя жена и мой сын, и когда понадобится, я умру вместе с ними. Если хочешь меня отблагодарить, постарайся лучше спасти их жизнь — о своей я не забочусь.

— Постараюсь,— сказал испанец, и мы благополучно спустили его вниз.

Возвратившись к храму, я объяснил, что испанцы не смогли преодолеть обрыв и отошли.

А в храме продолжалась страшная оргия. В живых осталось только два индейца. Жрецы изнемогали от усталости.

— Где теули?— пронзительно кричал кто-то.— Быстрее! Тащите их на алтарь!

Но теули исчезли: их искали повсюду, однако найти не могли.

Укрывшись в тени, я громко проговорил измененным голосом:

— Бог теулей взял их под свое крыло! Уицилопочтли не может одолеть бога теулей!

Затем я сразу отошел в сторону, чтобы никто не догадался, что это был я. Мои слова тут же подхватили и начали повторять на все лады.

— Бог креста укрыл теулей своими крылами!— кричали женщины.— Принесем же на алтарь тех, кого он отверг, и возрадуемся!

Вскоре последние пленники были зарезаны на жертвенном камне. Я думал, что этим все кончится, но я ошибался. Еще когда женщины возводили баррикады, в их глазах светилась какая-то затаенная решимость, и вскоре мне довелось увидеть, что она означала. Огонь безумия горел в сердцах этих несчастных. Жертвоприношение было завершено, однако настоящее празднество только еще начиналось.

Женщины собрались на краю верхней площадки и некоторое время к чему-то готовились там, хотя пули испанцев поражали то одну, то другую из них. Вместе с ними были только жрецы; остальные мужчины по-прежнему стояли кучками в стороне, угрюмо наблюдая за приготовлениями женщин. Никто не пытался остановить их или отговорить.

В храме возле жертвенного камня осталась только одна женщина — Отоми, моя жена.

Это было горестное зрелище. Возбуждение или, вернее, безумие покинуло ее, и она стала прежней Отоми, такой, как была всегда. Расширенными от ужаса глазами смотрела она то на останки растерзанных жертв, то на свои руки, словно они были залиты кровью, и содрогалась от одной этой мысли.

Я подошел к ней, тронул ее за плечо. Она обернулась, как от толчка.

— О муж мой, муж мой!— только и смогла она выговорить, задыхаясь.

— Да, это я,— ответил я,— но больше не называй меня своим мужем.

— Что я наделала!— простонала Отоми и упала без чувств мне на руки.

Здесь я должен рассказать о том, что узнал лишь многие годы спустя от настоятеля нашего прихода, человека хоть и недалекого, но весьма ученого. Если бы я знал это раньше, я бы, конечно, не стал так говорить со своей женой даже в тот страшный час и не думал бы о ней так плохо, ибо, как уверял мой друг настоятель, с древнейших времен язычницы, поклоняющиеся своим демонам, таким же, как боги Анауака, становятся иногда одержимыми. Злой дух входит даже в тех, кто отрекся от идолопоклонства. В беспамятстве они могут тогда совершить самое ужасное преступление.

Среди прочих примеров настоятель привел мне идиллию некоего греческого поэта Феокрита*. В ней рассказывается о том, как одна женщина по имени Агава во время тайного празднества в честь языческого бога Диониса заметила, что ее сын подглядывает за участницами мистерии. Злой дух бога Диониса вошел в нее, и тогда она вместе с другими женщинами набросилась на своего сына и растерзала его на куски. Поэт Феокрит,будучи сам почитателем Диониса, не осуждает ее за это, а восхваляет, ибо деяние то было совершено по внушению бога. «Богов же никто да не судит!»

Эта история меня совершенно не касается, и я привожу ее здесь лишь потому, что Отоми, наверное, была одержима духом Уицилопочтли точно так же, как Агава, совершившая противоестественное убийство, была одержима духом Диониса. Так мне говорила потом и сама Отоми. Чему же тут удивляться? Если демоны греков обладали подобной властью, то как же сильны были боги Анауака, самые ужасные среди демонов? Поэтому я полагаю теперь, что видел у алтаря не Отоми, а самого дьявола Уицилопочтли; прежде она ему поклонялась, и в ту ночь он сумел войти в нее, подавив ее настоящую душу.

---

* Феокрит — древнегреческий поэт III века до нашей эры, представитель так называемой Александрийской школы, создатель жанра буколик, или идиллий. Здесь дается краткий пересказ идиллии Феокрита «Вакханки».— *Прим. перев.*

Глава XXXVI

НА МИЛОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ

Я поднял Отоми на руки и отнес в одно из помещений, прилегающих к храму. Здесь были укрыты дети и среди них мой сын.

— Отец, что с нашей мамой?— спросил мальчик.— Почему она заперла меня с этими детьми, когда снаружи идет бой?

— У твоей мамы обморок,— ответил я.— А сюда она заперла потому, что здесь безопасно. Поухаживай за ней, пока я вернусь.

— Хорошо,— проговорил мальчик.— Только я думаю, что мое место рядом с тобой,— ведь я почти взрослый! Я хочу драться с испанцами, а не нянчиться здесь с больными женщинами.

— Об этом и не думай!— сказал я.— Прошу тебя, сынок, сиди здесь, пока я за тобой не приду.

Я вышел из помещения, притворив за собой дверь. Но через минуту я уже пожалел, что сам не остался там, ибо зрелище, представшее перед моими глазами, было ужаснее всего, что я видел в жизни.

Женщины разделились на четыре большие группы и двинулись в нашу сторону, распевая и приплясывая на ходу. Многие несли на руках своих детей, и почти все были полуобнажены. Те, кто руководил ими, вместе со жрецами бежали впереди. Они метались из стороны в сторону, скакали, прыгали, голосили, выкрикивали имена своих дьявольских богов, прославляя жестокость своих предков, а за ними, завывая, бежали толпы женщин.

Как фурии, носились они взад и вперед по теокалли, то простираясь перед Уицилопочтли и его отвратительной сестрой, богиней смерти, сидевшей рядом с ним в скульптурном ожерелье из черепов и человеческих рук, то склоняясь перед жертвенным камнем и протягивая ладони прямо над священным огнем. Час с лишним продолжался этот адский карнавал, смысл которого не мог понять даже я, несмотря на все мое знание индейских обычаев. Затем, словно по команде, все женщины собрались на открытом пространстве площадки, образовав два кольца. В центре этого двойного круга встали жрецы. Мгновение — и хор затянул песню, такую дикую и жуткую, что у меня кровь застыла в жилах.

До сих пор это зрелище и эта песня иногда возникают передо мной в ночных кошмарах, и поэтому я не хочу ее здесь приводить. Но попробуйте представить себе самое

страшное, что таится в глубинах человеческого сердца, самую изощренную жестокость, на какую только способно человеческое воображение, прибавьте к этому все ужасы кровавых сказок о привидениях, убийствах и страшной мести, и, если вам удастся передать все это словами, может быть, они отразят, как в черном зеркале, дух той древней песни женщин отоми со всеми их воплями, рыданиями, победными криками и стонами, полными предсмертной тоски.

Все громче звучал хор. Не сводя глаз со своих богов, женщины начали пятиться. Жрецы бесновались перед ними. Женщины отступали медленно и торжественно, расходясь во все стороны от храма. Вот внешнее кольцо разорвалось на части, но женщины из внутреннего круга тотчас заполнили промежутки, и теперь все они стояли сплошной подковой на самом краю площадки — лицом к храму, спиной к бездне. Их предводительницы и жрецы стали с ними в ряд, и на мгновение воцарилась тишина. Вдруг по какому-то знаку все разом отклонились назад, подняв лица к небу. Ветер развевал их длинные волосы, зарево пожарищ освещало обнаженные груди, отражаясь в обезумевших глазах.

Жутко прозвучал протяжный вопль:

— Спаси нас, Уицилопочтли! Прими нас в свое обиталище, бог богов!

Вопль повторился трижды с каждым разом все исступленнее, и внезапно оборвался. Женщины отоми исчезли! Вершина теокалли была пуста.

Так завершилось последнее жертвоприношение в Городе Сосен. Дьявольские боги погибли, но в своем падении они увлекли за собой и тех, кто им поклонялся.

Тихий ропот пронесся среди мужчин. Затем один из них заговорил, и голос его странно прозвучал во внезапно наступившей тишине.

— Пусть наши жены покоятся с миром в Обиталище Солнца!— взывал он.— Женщины показали нам, как нужно умирать!

— Нет, только не так!— возразил я.— Пусть женщины кончают самоубийством, а для нас у врагов найдутся мечи.

Я обернулся и увидел перед собой Отоми.

— Что случилось?— спросила она.— Где мои сестры? О, наверное, я видела страшный сон! Мне снилось, что наши боги снова обрели могущество и снова пьют человеческую кровь...

— Да, страшный сон,— ответил я,— но пробуждение страшнее. Потому что дьявольские боги и вправду еще

сильны в этой проклятой стране; они взяли к себе твоих сестер.

— Не знаю, сильны ли они,— печально возразила Отоми.— Во сне мне казалось, что это было последнее усилие наших богов, за которыми уже не осталось ничего, лишь бесконечность смерти. Взгляни!

И она показала на снежную вершину вулкана Хака.

По совести не могу сказать, действительно я это видел или зрелище, представшее передо мной, было порождено кошмарами ужасной ночи. Но скорее всего, я его видел, потому что некоторые испанцы клялись, что видели то же самое.

Над вершиной Хаки, как всегда, стоял столб озаренного пламенем дыма, но в этот миг дым на моих глазах отделился от огня. Сверкающий, как молния, огненный крест вырос из пламени на вершине горы и раскинулся по всему небу. Дым заклубился у его подножия, принимая расплывчатую форму идолов, сидевших в храме за моей спиной. Увеличенные в сотни раз, они казались еще более ужасными и грозными в своем призрачном великолепии.

— Смотри!— проговорила Отоми.— Твой крест сияет над моими погибшими богами, которым я поклонялась этой ночью, хоть и не по своей воле.

С этими словами она повернулась и ушла.

Несколько мгновений я с ужасом смотрел на снега Хаки, затем внезапно их озарил первый луч восходящего солнца, и все исчезло.

Мы держались против испанцев еще три дня. Они не могли до нас добраться, а их пули пролетали над нашими головами, не причиняя никакого вреда. Все эти дни я не разговаривал с Отоми: мы избегали друг друга. Как живое воплощение скорби, она часами просиживала одна в хранилище возле храма. В глазах ее застыла неизъяснимая мука. Дважды я пытался с ней заговорить, побуждаемый жалостью, но она отворачивалась от меня и не отвечала.

Вскоре испанцы узнали, что на теокалли есть вода и значительные запасы продовольствия, с которыми мы сможем продержаться больше месяца, и, не надеясь одолеть нас силой оружия, вступили в переговоры.

Я спустился к обрыву, где кончалась дорога; посол испанцев разговаривал со мной, стоя внизу. Сначала он предложил нам безоговорочную капитуляцию. На это я ответил, что мы лучше умрем, где стоим. Затем испанцы сказали, что, если мы выдадим всех, кто принимал участие в жертвоприношении, остальные смогут уйти свободно. Я

объяснил, что жертвы приносили одни женщины и жрецы и что все они сами покончили с собой.Испанцы спросили, умерла ли с ними Отоми. «Нет,— ответил я,— но вы должны поклясться, что не причините ни ей, ни ее сыну никакого вреда, иначе я не сдамся». Кроме того, я потребовал письменного подтверждения, что оба они могут идти со мной куда захотят. В этом мне было отказано, однако в конце концов я своего добился, и на следующий день мне забросили на конце копья пергамент, подписанный капитаном Берналем Диасом. В нем говорилось, что, принимая во внимание ту роль, которую я вместе с некоторыми другими воинами сыграл в спасении испанцев от жертвоприношения, мне, моей жене, моему сыну, а также всем прочим отоми, оставшимся на теокалли, дается полное помилование, и разрешается свободно уйти куда нам заблагорассудится, однако все наше достояние и наши земли переходят в казну вице-короля.

Лучших условий я и не мог ожидать. Честно говоря, я даже не надеялся, что нам всем сохранят жизнь и свободу.

Но что касается меня, то я бы предпочел умереть. Отоми воздвигла между нами непреодолимую стену. Я был связан с женщиной, которая вольно или невольно запятнала свои руки человеческой кровью. Хорошо еще, что у меня был сын, моя последняя утеха. К счастью, он ничего не знал о позоре своей матери. «Если бы я мог,— думал я, поднимаясь на теокалли,— о, если бы я мог бежать из этой проклятой страны и взять его с собой в Англию, его и Отоми! Может быть, там она позабудет о том, что когда-то была дикаркой!»

Увы, этому не суждено было сбыться.

Когда все, кто были со мной, добрались до храма, мы поспешили сообщить добрую весть нашим товарищам. Нас выслушали молча. Люди белой расы были бы на седьмом небе от счастья, потому что, когда грозит смерть, все другие потери кажутся нам ничтожными. Другое дело — индейцы. Когда удача отворачивается от них, они перестают дорожить жизнью. Эти воины отоми потеряли свою родину, свои дома, своих жен, своих братьев и все свое достояние. Что им осталось? Жизнь да право идти на все четыре стороны. Зачем им теперь жизнь? Вот почему отоми встретили милость врагов точно так же, как встретили бы их немилость,— угрюмо молчанием.

Я подошел к Отоми и поделился с ней новостью.

— Я надеялась умереть здесь,— ответила она.— Но пусть будет так; смерть можно встретить в любом месте.

Только мой сын обрадовался, когда узнал, что нам не грозит больше смерть от голода или от меча.

— Отец,— сказал он,— испанцы подарили нам жизнь, но они заберут себе всю нашу страну и прогонят нас прочь. Куда мы пойдем?

— Не знаю, сынок,— ответил я.

— Отец,— продолжал он,— давай уйдем из Анауака. Здесь ничего не осталось, кроме испанцев и горя. Давай найдем корабль и поплывем через море в нашу страну, в Англию!

Мальчик высказал мои сокровенные мысли, и сердце мое замерло при этих словах. Но как осуществить этот план? И как отнесется к нему Отоми? Я взглянул на нее в нерешительности.

— Он придумал неплохо, теуль,— ответила она на мой невысказанный вопрос.— Для тебя и для нашего сына это будет, пожалуй, самое лучшее. Что же до меня, то я отвечу тебе пословицей моего народа: «Только в родной земле мягко спится».

С этими словами она отвернулась и начала собираться, готовясь покинуть хранилище, где провела все дни осады. Больше мы об этом не говорили.

Вечером усталая вереница мужчин с несколькими женщинами и детьми преодолела обрыв по лестнице, сколоченной из бревен разрушенного храма, и начала спускаться по спиральной дороге с пирамиды. Перед закатом мы ступили на двор у ее подножия. Испанцы ожидали нас возле ворот.

Одни встретили нас проклятиями, другие — насмешками, но те, в ком была хоть капля благородства, молчали из сострадания к нашему горю и уважения к нашему мужеству, которое мы проявили в последней битве. Тут же, рыча, как голодные пумы, толпились их союзники индейцы. Они вопили и требовали нашей смерти до тех пор, пока испанцы не заставили их замолчать. Последний акт падения Анауака был подобен первому: собаки грызлись между собой, а львиная доля доставалась льву.

У ворот нас разделили: простых людей сразу же вывели под охраной из разрушенного города и отпустили в горы, а остальных отправили в испанский лагерь, чтобы предварительно допросить. Меня, мою жену и сына повели во дворец, в наше прежнее жилище, чтобы там объявить волю капитана Диаса.

Нам нужно было пройти совсем немного, и все же на этом коротком пути меня подстерегала неожиданность. Я случайно поднял глаза: в стороне от всех, скрестив на гру-

ди руки, стоял Хуан де Гарсиа. За эти дни я успел о нем позабыть, потому что голова моя была занята другими вещами, но, едва увидев его лицо, я сразу вспомнил, что, пока этот человек жив, опасность и горе будут моими неизменными спутниками.

Де Гарсиа наблюдал за нами, подмечая все. Я шел последним. Когда мы поравнялись, он проговорил:

— До свидания, кузен Вингфилд! Ты уцелел и на сей раз и даже получил полное прощение вместе со своей женой и своим ублюдком. Однако если бы эта старая боевая кляча, которая нами командует, послушалась меня, вас сожгли бы живьем на костре всех троих! Но делать нечего. До скорого свидания, любезный! Я еду в Мехико сообщить обо всем вице-королю. Надеюсь, он это так не оставит.

Я не ответил и, только пройдя несколько шагов, спросил нашего провожатого, того самого испанца, которого спас от жертвоприношения:

— Что означают слова этого сеньора?

— А то, что дон Сарседа поругался из-за тебя с нашим капитаном. Не обещай им, говорит, ничего или, наоборот, обещай, что хочешь, а когда они вылезут из своей крепости, мы их всех перебьем. С неверными, мол, клятву держать не обязательно. Только наш капитан рассудил по-другому. Даже с язычниками, говорит, нужно быть честным. Но тут и мы все, кого ты спас, начали кричать Сарседе: «Позор! Позор!» Дальше — больше, чуть не до драки. Сарседа у нас третий по званию. Заявил, что не станет участвовать в мирных переговорах, а поедет со своими слугами в Мехико жаловаться вице-королю. Тогда капитан Диас говорит ему: «Поезжай хоть к дьяволу, если хочешь, и жалуйся хоть сатане! Я всегда знал, что тебе только в аду и место!» Так и разошлись. Они еще с «Ночи печали» не в ладах. Сарседа через час уезжает в Мехико и уже там при дворе вице-короля постарается напакостить тебе, как только сможет. Но все равно хорошо, что ты от него избавился.

— Отец,— обратился ко мне мой сын,— почему тот испанец смотрел на нас так злобно?

— Об этом человеке я тебе рассказывал, сынок. Это де Гарсиа. Два поколения он был проклятием нашего рода. Он предал твоего деда инквизиции, он убил твою бабушку, он пытал меня, и неизвестно, сколько еще зла он нам причинит. Бойся его, сынок, не доверяй ему, заклинаю тебя!

Тем временем мы дошли до дворца, чуть ли не единственного строения, уцелевшего от всего Города Сосен. Нам

отвели комнату в самом конце длинного здания, но вскоре капитан Диас пожелал видеть меня и мою жену.

Отоми хотела остаться с сыном в той комнате, куда ему принесли еду, но ей пришлось пойти вместе со мной. Помню, что перед уходом я поцеловал сына, хотя сделал это, наверное, только потому, что думал по возвращении застать его спящим.

Капитан Диас расположился на противоположном конце дворца, шагах в двухстах от нашей комнаты. Через несколько минут мы уже стояли перед ним. Он оказался суровым на вид, довольно пожилым человеком с ясными глазами на некрасивом, но честном лице крестьянина, привыкшего трудиться на своем поле в любую погоду. Только поле капитана Диаса было полем боя, и собирал он на нем жатву смерти.

Когда мы вошли, капитан обменивался с простыми солдатами такими шуточками, которые вряд ли предназначались для женских ушей. Поэтому, увидев нас, он сразу умолк и вышел вперед. Я приветствовал его по индейскому обычаю, коснувшись правой рукой земли. Ведь я был просто пленный индеец!

— Сними меч,— коротко приказал он, ощупывая меня своими быстрыми глазами.

Я отстегнул меч и протянул ему, проговорив по испански:

— Возьмите его, капитан, потому что вы победили и потому что он возвращается наконец к своему хозяину.

Это был тот самый меч, который я отнял у Берналя Диаса во время схватки в «Ночь печали».

Взглянув на него, Диас громко выругался и воскликнул:

— Проклятие! Я так и знал, что это мог быть только ты! Наконец-то мы встретились после стольких лет. Ну что ж, однажды ты спас мне жизнь, и я рад, что могу сейчас отплатить тебе тем же. Не будь я уверен, что это ты, мой друг, я бы не пошел на твои условия. Кстати, как тебя зовут? Нет, скажи мне свое настоящее имя,— как тебя называют индейцы, я знаю.

— Меня зовут Вингфилд.

— Значит, друг Вингфилд? Хорошо. Но, повторяю, если бы на твоем месте был кто-нибудь другой, я сидел бы у этого дома сатаны,— тут он показал на теокалли,— пока вы все не передохли бы с голоду на его верхушке. Нет, возьми этот меч себе, друг Вингфилд. За столько лет я уже приспособился к другому, а ты им владеешь на славу: я еще никогда не видел, чтобы индейцы так рубились. А это

Отоми, дочь Монтесумы, твоя жена? Я вижу, она по-прежнему царственна и прекрасна. О господи, господи! Сколько лет прошло, а кажется, я только вчера видел, как умер ее отец. Христианской души был человек, хоть и не христианин. Худо мы с ним обошлись, да простятся наши грехи! Но вот про вас, сеньора, если только мне говорили правду о том, что произошло три ночи назад, не скажешь, что у вас христианская душа. Однако довольно об этом — во всем виновата дикая кровь. Вы прощены ради вашего мужа, который спас моих товарищей от смерти на алтаре.

Отоми не ответила ни словом. Безмолвная и неподвижная, она стояла, как изваяние. С той ужасной ночи своего постыдного падения она вообще говорила очень редко.

— Что же ты будешь делать дальше, друг Вингфилд? — обратился ко мне капитан Диас.— Ты можешь идти куда хочешь. Ты свободен. Но куда ты пойдешь?

— Пока не знаю,— ответил я.— Много лет назад, когда император ацтеков подарил мне жизнь и дал в жены принцессу Отоми, я поклялся стоять за него и за его дело до тех пор, пока вулкан Попокатепетль не перестанет куриться, пока в Теночтитлане не останется больше владык и пока народ Анауака не перестанет быть народом.

— В таком случае, друг, ты свободен от своей клятвы, потому что ничего этого уже нет, и даже над Попокатепетлем вот уже два года не видно ни дымка. Если хочешь, я дам тебе добрый совет: возвращайся к христианам и поступай на службу к королю Испании. Но давай сначала поужинаем — обо всем этом мы еще успеем поговорить.

При свете факелов мы сели вместе с Берналем Диасом и еще несколькими испанцами за стол, накрытый в парадной зале дворца. Отоми не захотела остаться. Капитан упрашивал ее поужинать с нами, но она ничего не стала есть и вскоре ушла в свою комнату.

Глава XXXVII

ВОЗМЕЗДИЕ

За ужином Берналь Диас вспоминал о нашей первой встрече на дамбе и о том, как я по ошибке едва не убил его, приняв за Сарседу. Кстати, он спросил, что мы не поделили с доном Сарседой.

Как можно короче я поведал ему историю своей жизни. Узнав о том, что сделал Сарседа, или де Гар-

сиа, мне и моей семье и как я из-за него очутился в этой стране, Диас был поражен.

— Святая Мадонна! — воскликнул он наконец.— Я всегда считал его подлецом, но, если ты рассказал мне правду, я просто не знаю, что он за человек. Даю тебе слово, друг Вингфилд, услышь я об этом час назад, Сарседа не ушел бы отсюда, пока не ответил за все или не оправдался в бою с тобой. Но сейчас, боюсь, уже поздно: он собирался выехать в Мехико, как только взойдет луна. Торопится на меня нажаловаться за то, что я принял твои условия. Пусть жалуется — ему там не очень-то верят!

— Я рассказал только правду,— ответил я.— Многое я могу, если потребуется, доказать. Но, говоря начистоту, я отдал бы полжизни, чтобы встретиться с ним лицом к лицу в открытом бою. У нас с ним старые счеты, только он всегда от меня ускользал.

Вдруг мне показалось, что какое-то холодное страшное дуновение коснулось моего лица и рук. Тревожное чувство непоправимого несчастья сжало мне сердце, и я замер, не в силах ни шевельнуться, ни заговорить.

— Пойдем посмотрим, может быть он еще не уехал,— сказал капитан Диас и, крикнув стражу, направился к выходу из комнаты. Я поднялся за ним, и в это мгновение увидел в дверях женщину. Она стояла, вцепившись руками в косяки, запрокинув назад голову с распущенными длинными волосами, и лицо ее было искажено такой мукой, что я не сразу узнал Отоми. Но, когда узнал, я понял все: только одно могло наполнить такой болью и ужасом ее бездонные глаза.

— Что с нашим сыном? — спросил я.

— Умер, умер! — ответила она леденящим кровь шепотом.

Больше я не стал спрашивать: сердце досказало мне остальное. Но Диас не понял:

— Умер? Отчего он умер? Что его убило?

— Де Гарсиа! Я видела, как он выходил,— проговорила Отоми и, вскинув к небесам руки, беззвучно рухнула навзничь у порога. Я знаю: в тот миг сердце мое разбилось навеки. С тех пор ничто уже не в силах по-настоящему его взволновать, и только это воспоминание терзает меня день за днем, час за часом, и так будет до последнего моего вздоха, пока я не уйду туда, где меня ждет мой сын.

— Ну что, Берналь Диас? — воскликнул я с хриплым хохотом.— Правду ли я тебе говорил о твоем товарище?

И, перепрыгнув через тело Отоми, я выскочил из комна-

ты. Капитан Диас с остальными испанцами бросились за мной.

Выбежав из дворца, я повернул налево к испанскому лагерю, но не успел сделать и ста шагов, как увидел при лунном свете небольшой отряд всадников, ехавших мне навстречу. Это был де Гарсиа со своими слугами; они спешили к ущелью, через которое лежал путь на Мехико. Я подоспел вовремя.

— Стой! — крикнул Берналь Диас.

— Кто смеет мне приказывать? — раздался голос де Гарсиа.

— Я, твой капитан! — загремел Диас.— Стой, сатана, убийца, или я тебя зарублю!

Я увидел, как де Гарсиа вздрогнул и побелел.

— У вас странные манеры выражаться, сеньор,— проговорил он.— Если вы соблаговолите...

Но в этот миг де Гарсиа, наконец, заметил меня. Я вырвался из рук Диаса, который меня удерживал, и пошел на де Гарсиа. Я не произнес ни слова, но по моему лицу он, наверное, понял, что я знаю все и что ему нет спасения.

Де Гарсиа посмотрел вперед через мою голову — узкий проход за моей спиной был прегражден солдатами. Я подходил все ближе, однако он не стал меня ждать. Было мгновение, когда рука его потянулась к мечу, но вдруг он круто повернул коня и поскакал назад по улице, ведущей к вулкану Хака.

Де Гарсиа спасался бегством, а я его преследовал неторопливо и неотступно, как охотничий пес. Сначала он намного опередил меня, но вскоре дорога пошла хуже, и здесь он уже не мог мчаться галопом. Город или, вернее, его развалины остались далеко позади. Мы двигались теперь по узкой тропе, по которой отоми приносили с вулкана снег в жаркое время года. Миль через пять у границы снегов тропа обрывалась: выше лежала священная земля, куда не осмеливался заходить ни один индеец.

Мы поднимались по этой тропе, и в сердце моем была злая радость, ибо я знал, что свернуть с нее некуда — по обеим сторонам чернели пропасти или отвесные скалы. С каждой пройденной милей де Гарсиа все чаще поглядывал то направо, то налево, то вперед, на возвышающийся перед ним снежный купол, увенчанный пламенем. И только назад он не оглянулся ни разу: он знал, что за ним по пятам идет в образе человека смерть.

Я преследовал его настойчиво и угрюмо, сберегая силы. Я был уверен, что рано или поздно настигну его, и не спешил.

Наконец де Гарсиа очутился у границы снегов, где тропа исчезала, и в первый раз оглянулся. Я был от него шагах в двухстах. Я, его смерть, приближался к нему сзади, а впереди перед ним сиял снег. Он колебался одно мгновение; в величественной тишине я слышал тяжелое дыхание его коня. Затем он вонзил шпоры в бока животного и погнал его вверх.

Снег затвердел от мороза, и некоторое время лошадь поднималась по нему даже быстрее, чем по тропинке, несмотря на крутизну. Но дорога по-прежнему была только одна — по самому гребню горного отрога, снежные склоны которого были так круты, что на них не удержался бы ни конь, ни человек. Часа два с лишним мы карабкались по этому гребню, затерянные среди безмолвия вечных снегов зачарованного вулкана. Порой мне казалось, что мой взор проникает в душу моего врага и я вижу все, что в ней происходит. Пусть я не прав, пусть это было только игрой воображения, но эта мысль была мне приятна, ибо там, в его сердце, я видел такое черное отчаяние, такие муки, таких жутких призраков прошлого и такой ужас перед надвигающейся смертью и тем, что за ней последует, что никакие ухищрения человеческой мести не смогли бы превзойти эту пытку. Так оно и было на самом деле, я знаю, ибо если в душе де Гарсиа не осталось совести, то остался страх и живое воображение, чтобы обострить его и усилить стократно.

Снежный гребень становился все круче, а конь уже выбился из сил. На такой высоте ему было трудно дышать. Напрасно да Гарсиа терзал шпорами бока благородного животного — оно не могло больше сделать ни шагу.

Внезапно конь повалился на снег. Я думал, что теперь-то де Гарсиа остановится, но даже я не представлял себе всей глубины его ужаса. Выбравшись из-под павшего коня, де Гарсиа оглянулся и, сбрасывая на ходу тяжелые латы, заковылял вперед.

К этому времени мы достигли того места, где снега кончались, переходя в ледяное поле. Очевидно, снег наверху подтаивал от внутреннего тепла вулкана или от лучей солнца в жаркое время года, а по холодным ночам и в зимние месяцы замерзал, превращаясь в лед. Так или иначе, вершина Хаки была окружена ледяной пелериной, достигавшей почти мили в ширину. Ниже ее лежали снега, а над ней выступали черные зубцы кратера.

Де Гарсиа карабкался по льду. Даже для совершенно спокойного человека это дело не из легких, потому что здесь приходится перепрыгивать от трещины к трещине,

цепляясь за иглообразные выступы шершавого льда, торчащие над поверхностью, как щетина на спине у борова. Горе путнику, если такая игла обломится под ним или если он поскользнется! Тогда ничто не задержит его падения, и, прежде чем он докатится до рыхлого снега, тысячи острых, как ножи, выступов обдерут с него мясо до костей. Больше всего я боялся, что это случится с де Гарсиа: тогда месть ускользнула бы от меня, а я был от него всего в двадцати шагах. Поэтому, замечая опасность, я кричал ему снизу, подсказывая, куда нужно ставить ногу, и он — самое удивительное! — беспрекословно повиновался мне, позабыв от ужаса обо всем на свете. О себе я не думал. Я знал, что не упаду, хотя в другое время ничто не заставило бы меня совершить подобный подъем.

Все это время мы карабкались к огненной вершине Хаки при ярком лунном свете, но внезапно первый луч солнца коснулся горы — и пламя, освещавшее изнутри гигантский столб дыма над кратером, сразу померкло. Зато вся ледяная шапка засияла и заискрилась в алых лучах; мы ползли по ней, как две черные мухи, а внизу под нами еще клубилась ночная мгла. Это было чудесное и жуткое зрелище.

— Эй, приятель! — окликнул я де Гарсиа.— При таком свете подниматься легче. Смотри, не оступись!

Странно прозвучали мои слова среди ледяных утесов, где еще никогда не раздавался человеческий голос. И в тот же миг гора под нами зашаталась и задрожала, как дерево, сотрясаемое ураганом, словно разгневанная нашим святотатством, нарушившим ее священное безмолвие. Вслед за толчком на нас опустилось облако серного пепла, на мгновение скрывшее от меня де Гарсиа. Я только слышал, как он закричал от страха, и сам испугался, думая, что он упал. Но, когда пепел рассеялся, де Гарсиа невредимый стоял уже на лаве у подошвы кратера.

«Ну, теперь-то он наверняка остановится,— подумал я.— У него есть меч, и ему нетрудно будет убить меня, когда я буду переползать со льда на горячую лаву»

Очевидно, де Гарсиа тоже подумал об этом, потому что он повернулся ко мне с сатанинской гримасой, но тут же снова начал карабкаться вверх. Я ничего не мог понять. Где же он надеется от меня укрыться? Шагах в трехстах от нас клокотал кратер, выбрасывая в небо клубы пара и дыма, а между его гребнем и кромкой льда громоздились застывшие потоки лавы, местами такой горячей, что по ней трудно было ступать. Де Гарсиа устал. Теперь уже медлен-

но брел он по лаве, вздрагивающей под ногами, а я неторопливо шел за ним, переводя дыхание.

Но вот он приблизился к краю кратера, подался вперед и заглянул вниз. Я подумал, что сейчас де Гарсиа бросится в него и так покончит с собой. Но, если у него и была подобная мысль, он сразу же позабыл о ней, когда увидел, какое уютное ложе его ожидает. Круто повернувшись, де Гарсиа выхватил меч и пошел на меня. В дюжине шагов от кратера мы встретились.

Я сказал «мы встретились», но в действительности это было не совсем так, потому что в четырех шагах от меня, там, где я не мог достать его мечом, де Гарсиа снова остановился. Не сводя с него глаз, я сел на обломок лавы. Казалось, я никогда не смогу наглядеться на его лицо. Но что это было за лицо! Лицо убийцы перед расплатой. Жаль, что я не художник, потому что словами невозможно описать эти полные ужаса, запавшие красные глаза, скрежет зубов и дрожащие губы. Я думаю, когда сам дьявол, враг рода человеческого, выкинет свой последний козырь и погубит последнюю душу, он перед смертью будет выглядеть точно так же.

— Ну вот мы и свиделись, де Гарсиа,— сказал я.

— Чего ты ждешь? — прохрипел он.— Убей меня, и покончим с этим!

— Куда ты торопишься, кузен? Я искал тебя целых двадцать лет,— зачем же нам сразу расставаться? Поболтаем немного! Прежде чем мы расстанемся навсегда, я надеюсь, ты будешь настолько любезен, что ответишь на мой вопрос. Меня мучит любопытство. За что ты причинил столько горя мне и моим родным? Ведь должно же быть какое-то объяснение даже твоей бессмысленной тупой жестокости!

Я говорил с ним спокойно и равнодушно, не испытывая ни малейшего волнения, не чувствуя н и ч е г о. В тот странный час я был не Томасом Вингфилдом, я был не человеком, а бездушным орудием, слепой силой. Я мог просто без печали думать о моем убитом сыне; для меня он не был мертвым, ибо я сам был всего лишь частицей всеобъемлющей природы, куда входила и смерть. Даже о де Гарсиа я думал без ненависти, словно и он был пешкой в чьей-то руке. Но в то же время я знал, что он теперь целиком в моей власти, что он мне ответит и скажет правду, и что это так же истинно, как то, что он умрет, когда я того захочу.

Де Гарсиа пытался сжать губы — они разомкнулись са-

ми собой, и он заговорил. Слово за словом он раскрывал передо мной всю глубину своего черного сердца, как будто уже стоял перед высшим судьей.

— С ранней юности я полюбил твою мать, кузен,— начал он медленно, с трудом выговаривая каждое слово.— Ее одну я любил всю жизнь, как люблю до сих пор, но она ненавидела меня за мои пороки и боялась за мою жестокость. Потом она встретила и полюбила твоего отца. Я донес на него инквизиции, надеясь, что его замучают там и сожгут, но она освободила его и бежала с ним в Англию. Меня мучила ревность, я мечтал о мести, однако твоя мать была далеко. Почти двадцать лет я жил своей темной жизнью, пока однажды не оказался в Англии по торговым делам. Здесь я случайно узнал, что твоя мать и отец живут близ Ярмута, и решил повидаться с ней, просто повидаться — убивать ее я не думал. Мне посчастливилось. Мы встретились в лесу, я увидел, что она по-прежнему прекрасна, и понял, что люблю ее больше, чем раньше. Я предложил ей на выбор: бежать со мной или умереть, и вот она умерла. Я настиг ее на лесистом склоне, уже поднял меч, но вдруг она остановилась и сказала:

«Сначала выслушай меня, Хуан! Мне открылось предсмертное видение. Так же, как я убегала от тебя, ты побежишь от одного из моих сыновей, и так же, как ты отправляешь меня на небо, он ввергнет тебя в бездну ада среди огня, скал и снега».

— Это место здесь, кузен,— сказал я.

— Это место здесь,— озираясь, прошептал де Гарсиа.

— Продолжай!

Он снова сделал попытку промолчать, но снова моя воля сломила его, и он продолжал:

— Отступать было поздно. Чтобы спастись самому, я убил ее и бежал. Но с того часа ужас вселился в мое сердце, ужас, который не покидает меня до сих пор. Всегда и всюду меня преследовало видение сына твоей матери, от которого я должен бежать, бежать всю жизнь, пока он не настигнет меня и не ввергнет в бездну ада.

— Это должно быть там, кузен,— проговорил я, показывая мечом на жерло кратера.

— Да, там, я видел.

— Но туда полетит только тело, кузен, а не душа.

— Только тело, а не душа,— повторил он за мной.

— Продолжай! — приказал я.

— Затем в тот же день я встретил тебя, Томас Вингфилд. Страх перед пророчеством твоей матери уже овладел

мной, и, когда я увидел одного из ее сыновей, я решил убить его, чтобы он не убил меня.

— Как он это сделает сейчас, кузен.

— Как он это сделает сейчас,— повторил де Гарсиа, словно попугай, и, помолчав, заговорил снова:

— О том, что случилось дальше и как мне удалось ускользнуть, ты знаешь. Я бежал в Испанию и постарался все забыть. Но я не мог. Однажды ночью в Севилье я увидел на улице человека, похожего на тебя. Я не думал, что это ты, но мой страх был так велик, что я решил бежать в далекую Индию. Ты встретил меня в ночь перед отплытием, когда я прощался с одной сеньорой.

— С Изабеллой де Сигуенса, кузен. Вскоре и я простился с ней навеки, чтобы передать тебе ее предсмертное слово. Сейчас она ждет тебя вместе со своим ребенком.

Де Гарсиа содрогнулся и продолжал:

— Мы снова встретились в океане. Ты появился из волн. Я не успел убить тебя сразу, на глазах у всех, чтобы меня потом не обвинили в твоей смерти. Я подумал, что ты все равно умрешь в трюме среди рабов. Но ты не умер, и даже океан был к тебе милосерд, хотя я решил, что избавился от тебя навсегда. Вместе с Кортесом я пришел в Анауак и здесь снова с тобой встретился; на этот раз ты едва меня не убил. Но затем пришел час расплаты, и я потешился над тобой вволю. На следующий день я решил убить тебя, но сначала продолжить пытку, ибо страх сделал меня жестоким. Однако ты сбежал. Прошло много лет. Я странствовал по свету, побывал в Испании, в других странах, потом опять вернулся в Мехико, но, где бы я ни был, все тот же страх, призраки мертвых и мои кошмары всюду преследовали меня, и не было мне ни удачи, ни счастья. Лишь недавно я присоединился к отряду Диаса. О тебе я не думал: мне говорили, что ты давно умер, и, лишь когда мы добрались до Города Сосен, я узнал, что вождь отоми — это ты. Остальное ты знаешь.

— За что ты убил моего сына, кузен?

— А разве он не потомок твоей матери? Разве я не мог пасть от его руки? Но главное — я хотел отомстить тебе за все эти годы ужаса. К тому же глупо оставлять в живых сына, когда стараешься убить отца. Он умер, и я рад, что убил его, хотя его призрак будет теперь преследовать меня вместе с другими тенями.

— Он будет преследовать тебя вечно. Но хватит, пора кончать. У тебя есть меч,— защищайся, если можешь. Умирать в бою легче.

— Не могу! — простонал де Гарсиа.— Я обречен...

— Как хочешь,— сказал я и поднял меч.

Де Гарсиа отшатнулся и начал пятиться, с ужасом глядя мне прямо в лицо, как крыса перед удавом, готовым ее проглотить. Так мы дошли до края кратера. Устрашающее зрелище открылось передо мной, когда я заглянул вниз. Там, на глубине тридцати с лишним футов, сквозь покров клубящегося дыма зловеще сияла докрасна раскаленная лава. Она переливалась и перекатывалась, как живое существо. Струи пара вырывались из нее с пронзительным шипением, ядовитые испарения разноцветными змейками поднимались над ее поверхностью, свиваясь и переплетаясь, и удушливое, жаркое зловоние отравляло нагретый воздух. Да, поистине для де Гарсиа это был самый подобающий вход в его последнее жилище! Лучшего даже я не смог бы придумать.

Я указал мечом вниз и расхохотался, но, когда де Гарсиа увидел дно кратера, его охватил такой непреодолимый страх перед смертью, что, утратив всякое человеческое подобие, он завыл, точно зверь. Да, да, этот гордый высокомерный испанец всхлипывал, визжал и молил меня о пощаде, он, совершивший столько злодеяний, которым нет прощения, умолял простить его и дать ему время хотя бы для покаяния. Я стоял, молча смотрел на него, и вид его был так ужасен, что даже в мое оледеневшее сердце начал закрадываться страх.

— Пора кончать,— проговорил я и снова поднял меч, но только для того, чтобы тут же его опустить. Внезапно разум покинул де Гарсиа, и он помешался у меня на глазах.

Мне не хочется описывать всего, что за этим последовало. Вместе с безумием к де Гарсиа вернулось мужество, и он начал сражаться. Н о н е с о м н о й.

Казалось, он меня больше не видел, однако дрался отчаянно, пронзая пустое пространство. Страшно было смотреть, как он рубится с невидимыми врагами, и слышать его вопли и проклятия. Дюйм за дюймом де Гарсиа отступал к краю кратера. Здесь он задержался и вступил в последний бой с могучим незримым противником. Яростные выпады и удары следовали один за другим, дважды он чуть не падал, словно от смертельных ран, но снова собирал все силы и продолжал сражаться с п у с т о т о й. Вдруг, испустив пронзительный вопль, как будто его поразили в сердце, де Гарсиа широко раскинул руки, выронил меч и навзничь рухнул в жерло вулкана.

Я отвел глаза, чтобы больше ничего не видеть. Но потом

я частенько спрашивал себя: что же это было и кто нанес де Гарсиа последний, смертельный удар?

Глава XXXVIII

ПРОЩАНИЕ С ОТОМИ

Так я исполнил обещание, данное мной отцу, и отомстил де Гарсиа. Правильнее было бы сказать, что я видел, как свершилось возмездие, ибо, как ни страшна его смерть, он умер не от моей руки. Де Гарсиа умер от страха. И я сразу же пожалел, что он погиб именно так, ибо, когда ледяное неестественное спокойствие покинуло мою душу, я возненавидел его еще сильнее, чем прежде. Я пожалел, что не убил его своей собственной рукой, и жалею об этом до сих пор. Конечно, многие станут меня порицать, ибо нам завещано прощать своих врагов, но такое всепрощение я оставляю господу богу. Как могу я простить того, кто предал моего отца в руки инквизиции, кто убил мою мать и моего сына, кто заковал меня в цепи на рабском судне, кто своими руками пытал меня в течение нескончаемых часов? Нет! С каждым годом я ненавижу его все больше.

Я пишу обо всем этом лишь потому, что долгое время не мог обрести покоя. Я не способен простить все ни мертвому, ни живому, и из-за этого несколько лет назад достопочтенный и многоученый священник нашего прихода даже не допустил меня в церковь. Тогда я отправился к епископу и рассказал ему свою историю. Епископ немало подивился, но, будучи человеком широких взглядов, призвал священника и отменил его решение, полагая, так же, как и я, что господь не осудит слабого человека, если тот не может простить злодея, причинившего ему столько зла.

Однако довольно распространяться об этих вопросах совести!

Когда де Гарсиа исчез в бездне, я повернулся и пошел к дому. Вернее, не к дому, которого у меня больше не было, а к разрушенному городу, лежавшему далеко внизу.

Мне предстояло спуститься по ледяному склону, и это оказалось гораздо труднее, чем подняться. Теперь, когда месть свершилась, я стал словно другим человеком, таким же, как все, измученным и угнетенным. Мне было так горько, что, право же, если бы я оступился на льду, я не стал бы об этом жалеть.

Но я не оступился и в конце концов достиг снежного по-

крова, где идти было много легче. Итак, я сдержал свою клятву и отомстил. Но какой ценой! Я потерял свою невесту, любовь моей юности; двадцать лет я был вождем индейцев; я перенес все мыслимые лишения и невзгоды; я женился на женщине, которой нельзя было отказать в благородстве и возвышенной силе любви, как она это не раз доказывала, но которая при всем этом в глубине души оставалась дикаркой и во всяком случае — идолопоклонницей. И вот племя мое побеждено, прекрасный мой город разрушен, я нищ и бездомен, и великим счастьем будет, если в конце концов мне удастся избежать смерти или рабства. Но все это я мог бы перенести, ибо видывал еще и не то. Лишь с ужасной смертью своего последнего сына, единственной отрады моей одинокой жизни, я примириться не мог.

Любовь к детям стала единственной страстью моих зрелых лет. Я любил их, и они любили меня. Я воспитывал их сам с младенческих лет, и они были в душе англичанами, а не индейцами. Я научил их своему языку и своей вере, так что они стали не просто моими любимыми детьми, а моими соплеменниками. И вот несчастный случай, болезнь и меч отняли у меня всех троих, и я остался один.

Мы слишком много говорим о горестях нашей юности. Если наша любимая покидает нас, мы оглашаем весь свет рыданиями и клянемся, что жизнь нам теперь не в жизнь. Но, только склоняясь в отчаянии над бездыханным телом своего ребенка, мы впервые познаем настоящее, страшное горе. Говорят, что время залечивает все раны. Это ложь. Т а к о е горе время не в силах изгладить. Я стар, и я это знаю.

И вот я упал на пустынный снежный склон вулкана, где до меня не ступала нога человеческая, и заплакал так, как мужчина плачет лишь однажды в жизни:

«Сын мой Авессалом! Сын мой, сын мой Авессалом! — взывал я вместе с библейским царем Давидом.— О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!»*

Но скорбь моя была сильнее скорби того царя, ибо в течение нескольких лет я потерял не одного, а трех сыновей. Единственным моим утешением служила мысль, что этот царь уже много столетий назад встретился со своим сыном, и я тоже когда-нибудь встречусь с моим. Слабое утешение, однако оно дало мне силы подняться и двинуться вниз к разоренному Городу Сосен.

---

* 2-я книга Царств, гл. 18, стих 33.

Мне удалось до него добраться лишь на закате, потому что путь был неблизким, а я от слабости едва брел. У дворца меня встретил капитан Диас со своими товарищами. Когда я поравнялся с ними, солдаты молча сняли шляпы из уважения к моему горю и только Диас спросил:

— Убийца умер?

Я кивнул и прошел мимо них в свою комнату, надеясь найти там Отоми.

Она сидела одна, холодная и прекрасная, словно статуя, высеченная из мрамора.

— Я похоронила сына рядом с прахом братьев и прадедов,— ответила Отоми на мой вопрошающий взгляд.— Твое сердце не выдержало бы, если бы ты его увидел.

— Да, да,— проговорил я,— но сердце мое уже разбито.

— Убийца умер? — спросила Отоми точно так же, как Диас.

— Умер.

— Как?

В нескольких словах я рассказал ей.

— Ты должен был убить его сам. Кровь нашего сына не отомщена.

— Да, я должен был убить его сам. Но в тот миг я не думал об отмщении, ибо видел, как оно поразило его свыше. Может это и к лучшему. Я слишком дорого заплатил за свою месть и слишком поздно понял, что не должен был брать ее на себя. Есть высший судья.

— Неправда! — проговорила Отоми, и лицо у нее было при этом такое же, как в тот миг, когда она убивала тласкаланца, или презрительно отвечала Марине, или плясала на теокалли во главе жертвенного хоровода.— Я этому не верю. На твоем месте я бы изрезала его на куски и только потом отдала в лапы дьяволам — не раньше! Но что говорить об этом? Все кончено, все мертвы, и мое сердце тоже. Ты устал, поешь.

Я утолил голод, опустился на ложе и заснул.

В темноте я услышал голос Отоми:

— Проснись, я хочу с тобой поговорить!

В нем было нечто такое, что сразу пробудило меня от тяжкого сна.

— Говори,— отозвался я.— Где ты, Отоми?

— Рядом с тобой. Я не могла уснуть и сидела здесь. Слушай. Мы встретились много-много лет назад, когда Куаутемок привел тебя из Табаско. Ах, как хорошо я помню тот день! Впервые я увидела тебя при дворе моего отца

Монтесумы в Чапультепеке, увидела и полюбила. Я любила тебя всегда. Меня-то не страшили чужие боги!

— Почему ты говоришь об этом, Отоми? — спросил я.

— Потому, что мне так хочется. Можешь ты подарить один час той, которая отдала тебе все? Тогда слушай. Помнишь, как ты оттолкнул меня? О, я думала, что умру от стыда, когда добилась, чтобы меня предназначили тебе в жены, в жены богу Тескатлипоке, а ты в ответ заговорил со мной о девушке за морем, об этой Лили, чье кольцо до сих пор у тебя на пальце. Но я это вынесла. Я полюбила тебя еще больше за твою честность, а остальное ты знаешь.

Ты стал моим, потому что я решилась лечь рядом с тобой на жертвенный камень. Тогда ты поцеловал меня и сказал, что любишь. Но ты никогда не любил меня до конца. Ты все время думал об этой Лили. Я знала это раньше, как знаю сейчас, хотя и старалась обмануть себя. В то время я была красива, а для мужчины это кое-что значит. Я была предана тебе, а это значит еще больше, и раз или два ты сам подумал, что любишь. Но сейчас я жалею, что теули подоспели вовремя и не дали нам умереть вместе на алтаре. Я жалею об этом только из-за себя. Мы спаслись, и для меня началась нескончаемая борьба.

Я уже сказала, что понимала и видела все. Ты поцеловал меня на жертвенном камне за какой-то миг до смерти. Но, когда ты вернулся к жизни, все снова изменилось. Лишь по воле судьбы ты женился на мне и принес клятву, которую сдержал до конца. Ты женился на мне, но ты не знал, кто твоя жена. Ты знал только, что я красива, нежна, верна тебе — все это так и было,— но ты не понимал, что я для тебя чужая, что я осталась такой же, какими были мои предки. Ты думал, я приняла твои обычаи, а может быть, даже и твою веру, потому что ради тебя я старалась это сделать. Но все это время я жила обычаями своего народа и никогда не могла позабыть своих богов. Они не дозволили мне, своей рабыне, уйти от них. Годами пыталась я их отринуть, но пришло время, и они отомстили мне. Сердце мое смирилось, вернее — боги смирили его, ибо я не помню и сама не знаю, что делала в ту ночь, когда ты увидел меня на теокалли во время жертвоприношения Уицилопочтли.

Все эти годы ты был верен мне, и я рожала тебе детей, которых ты любил. Но ты любил их только ради них самих, а не ради меня. В глубине души ты ненавидел мою кровь, которая смешалась с твоей в их жилах. Ведь ты и меня любил только наполовину. Эта жестокая половинча-

тая любовь едва не свела меня с ума. Но потом и она умерла, когда ты увидел, как я, охваченная безумием, свершала древний обряд моих предков на теокалли. Только тогда ты понял, кто я такая. Я дикарка!

И вот умерли наши дети, соединявшие нас. Они умерли по разному — один за другим, ибо над ними тяготело проклятие моего рода. И вместе с ними умерла твоя любовь. Я одна осталась — живое напоминание о прошлом. Но теперь и я умираю.

Я пытался заговорить, но Отоми поспешно прервала меня:

— Нет, молчи и слушай! У меня слишком мало времени. Когда ты запретил мне называть тебя мужем, я поняла, что все кончено. Я повиновалась тебе, теуль. Я оторвала тебя от своего сердца, ты уже не муж мне, и скоро я перестану быть твоей женой. Но все же прошу тебя: выслушай! Сейчас ты удручен горем. Тебе кажется, что жизнь твоя кончена и что счастье уже невозможно. Но это не так. Ты в расцвете зрелых лет, и ты еще полон сил. Может быть, тебе удастся покинуть нашу разоренную землю, и, когда ты отряхнешь ее прах со своих ног, проклятие перестанет тяготеть над тобой. Ты вернешься в свою страну и встретишь ту, что ожидала тебя столько лет. И тогда далекая женщина, принцесса угасшего рода, превратится в смутное видение, и все эти годы, полные странных событий, будут казаться тебе только сном. Останется лишь любовь к умершим детям. Ты будешь любить их всегда, и мысли о них, тоска по мертвым, страшнее которой нет ничего на свете, будет преследовать тебя днем и ночью до конца твоей жизни, и я этому рада, ибо я была их матерью, и, думая о них, ты будешь иногда вспоминать обо мне. Это все, что оставила мне твоя Лили, и в этом я выше ее. Знай, теуль, она не родит тебе никого, кто мог бы затмить в твоем сердце любовь к моим детям!

О, я следила за тобой дни и ночи! Я видела, видела, как тоскуют твои глаза по той, кого ты потерял, и по далекой земле твоей юности. Будь счастлив, ты увидишь родину и встретишь любимую! Борьба закончена: твоя Лили победила. Я слабею, мне трудно говорить, но осталось сказать немного. Мы расстаемся, наверное, навсегда. Что связывает нас, кроме душ наших мертвых сыновей? Ничто! Я не нужна тебе больше, и я довершу наш разрыв. В свой смертный час я отрекаюсь от твоего бога и возвращаюсь к богам моего народа, хоть и думала раньше, что ненавижу их. Мы расстаемся навеки, но, прошу тебя, не думай обо мне пло-

хо, ибо я любила тебя и люблю. Я была матерью твоих сыновей; их ты сделал христианами и с ними, может быть, встретишься. Я люблю тебя по-прежнему. Я счастлива, потому что ты поцеловал меня на жертвенном камне и потому что я родила тебе сыновей. Они твои, моего в них немного. Мне кажется, я и любила их только потому, что они твои, а они любили одного тебя. Возьми же их, возьми их души, как ты взял у меня все остальное. Ты поклялся, что лишь смерть разлучит нас, и ты сдержал свою клятву на деле и в мыслях. Но теперь я ухожу в Обиталище Солнца, к моим предкам. Теуль! Я прожила с тобой много лет и видела много горя; я не могу сейчас назвать тебя мужем, потому что ты запретил мне это, но я говорю тебе, теуль, не насмехайся надо мной с твоей Лили! Не говори ей обо мне ничего, если сможешь...будь счастлив... и прощай!

Последние слова Отоми звучали все слабее и слабее. Я слушал ее, застыв от удивления, а тем временем рассвет медленно разливался по комнате. Постепенно белая фигура Отоми выступила из темноты: она сидела в кресле, придвинутом вплотную к ложу, руки ее бессильно свисали, а голова была откинута на спинку кресла. Я вскочил на ноги и взглянул ей в лицо. Оно было холодным и бледным, и дыхание замерло у нее на устах. Я взял ее за руку — она была ледяной. Я громко окликнул Отоми, поцеловал ее в лоб, но она не шевельнулась и не ответила. Вскоре рассвело, и я увидел, что произошло. Отоми была мертва. Она ушла из жизни сама, приняв яд, тайна которого известна только индейцам. Он действует медленно и безболезненно, сохраняя до конца полную ясность мысли. Лишь когда жизнь уже покидала ее, Отоми заговорила со мной так печально и горько.

Я сел на ложе, не сводя с нее глаз. Плакать я не мог — у меня не осталось слез, и, как я уже говорил, ничто не могло нарушить моего странного спокойствия. Печаль и огромная нежность переполняли меня. В тот час я любил Отоми сильнее, чем когда бы то ни было, сильнее, чем живую, и этим уже сказано многое. Я словно вновь видел ее в расцвете юности, такой, какой она была при дворе своего царственного отца, я видел ее глаза, когда она встала рядом со мной на жертвенный камень, я вспоминал ее взгляд, который не дрогнул перед гневом императора Куитлауака, обрекавшего меня на смерть. Я снова слышал ее горестный вопль над телом нашего первенца, и я видел ее с мечом в руках над убитым тласкаланцем.

Многое воскресло в моей памяти в тот печальный рас-

светный час, когда я сидел и смотрел на мертвую Отоми. В ее словах была правда: я не мог забыть свою первую любовь и часто мечтал о том, чтобы увидеть Лилино лицо. Но Отоми была неправа, когда говорила, что я ее не любил. Я любил ее от души и был верен своей клятве. Но только тогда, когда она умерла, я понял по-настоящему, как она мне была дорога. Да, между нами лежала пропасть, становившаяся с годами все шире. Нас разделяли раса и религия, ибо я знал, что Отоми никогда не могла до конца отказаться от своих старых суеверий. Да, когда я увидел, как Отоми запевает песнь смерти, меня объял ужас и какое-то время она была мне отвратительна. Но я все простил бы ей, потому что это было у нее в крови; к тому же последний и самый худший проступок она совершила помимо своей воли. И если забыть все это, оставалась прекрасная, благородная женщина, достойная величайшей любви и уважения, женщина, которая долгие годы была моей верной женой.

Так размышлял я в тот час и так думаю сегодня. Отоми сказала, что мы расстаемся навсегда, но я верю и надеюсь, что это не так. Ибо знаю, что нам обоим простится многое, и те, кто были дороги и близки друг другу здесь, на земле, когда-нибудь встретятся в ином мире.

Наконец я поднялся, чтобы позвать на помощь, и только тогда почувствовал что-то тяжелое у себя на шее. Это было ожерелье из крупных изумрудов, которое Куаутемок дал мне, а я подарил Отоми. Она надела его на меня, пока я спал,— ожерелье и привязанную к нему прядь своих длинных волос. С этими двумя вещами я не расстанусь и в могиле.

Я схоронил Отоми в древней усыпальнице, рядом с прахом ее предков и телами наших детей. Через два дня после этого я выехал вместе с отрядом Берналя Диаса в Мехико. У входа в ущелье я оглянулся на развалины Города Сосен, где прожил столько лет и похоронил всех, кто был мне дорог. Я смотрел назад печально и долго, как смотрит умирающий, оглядываясь на свою прошедшую жизнь, пока наконец Диас не положил руку мне на плечо.

— Вы теперь одиноки, друг мой,— сказал он.— Что вы собираетесь делать?

— Ничего,— ответил я.— Мне остается лишь умереть.

— Никогда не говорите так!— возразил он.— Вам только сорок, а мне далеко за пятьдесят, и все-таки я не говорю о смерти. Послушайте, у вас есть друзья в Англии?

— Были.

— В мирных странах люди живут долго. Возвращайтесь к ним! Я постараюсь переправить вас в Испанию.

— Хорошо, подумаю,— ответил я.

В положенный срок мы добрались до Мехико, нового и чужого мне города, перестроенного Кортесом.

Там, где некогда возвышался теокалли, на котором меня должны были принести в жертву, возводили теперь собор, укладывая в его фундамент уродливых ацтекских идолов. Город был по-прежнему хорош, но уже не так прекрасен, как Теночтитлан Монтесумы, и таким он никогда не будет. Жители его тоже изменились: тогда это были свободные воины, а теперь — рабы.

В Мехико Диас нашел для меня пристанище. Уважая полученное мной помилование, никто меня не преследовал. Я был конченым человеком и никому не внушал опасений. О моем участии в «Ночи печали» и в защите города позабыли, а история пережитых мной злоключений вызывала сочувствие даже у испанцев. В Мехико я провел десять дней, грустно блуждая по улицам и по склонам холма Чапультепека, где прежде стоял загородный дворец Монтесумы, в котором я впервые встретил Отоми. От былого великолепия не осталось ничего, кроме нескольких древних кедров.

На восьмой день меня остановил на улице индеец. Он сказал, что со мной хочет повидаться один старый друг. Я последовал за ним, удивляясь про себя, кто бы это мог быть, потому что у меня друзей не осталось. Индеец привел меня в красивый каменный дом на одной из новых улиц. Здесь мне пришлось немного подождать, сидя в затемненной комнате. Неожиданно кто-то обратился ко мне на ацтекском языке:

— Здравствуй, теуль!

Голос, печальный и нежный, показался мне знакомым. Я поднял глаза. Передо мной стояла индианка в испанской одежде, еще красивая, но слабая и словно измученная какой-то болезнью или горем.

— Ты не узнаешь Марину, теуль? — спросила она, и я вспомнил ее, прежде чем она договорила.— А вот я тебя с трудом, но узнала. Да, теуль, горе и время изменили нас обоих.

Я взял ее руку и поцеловал.

— Где Кортес? — спросил я. Дрожь пронизала все ее тело.

— Кортес в Испании, ведет свою тяжбу. Он женился там на другой, теуль. Много лет назад он прогнал меня и отдал в жены дону Хуану Харамильо, который женился на

мне из-за денег. Кортес был щедр к своей оставленной любовнице!

И Марина заплакала.

Постепенно я узнал всю ее историю, но здесь я не стану о ней писать— она и так известна всему свету! Когда Марина сыграла свою роль и уже ничем не могла больше помочь конкистадору, он ее бросил. Марина рассказала мне, какие муки ей пришлось пережить, и о том, как она прокричала в лицо Кортесу, что отныне ему ни в чем не будет удачи. Пророчество ее сбылось.

Мы проговорили часа два с лишним. Выслушав ее повесть, я начал рассказывать о себе, и она плакала от жалости. Несмотря ни на что, у Марины было доброе сердце.

Затем мы расстались, чтобы уже никогда не встретиться. Но, прежде чем я ушел, Марина заставила меня взять в подарок немного денег, и я принял эту милостыню без стыда, ибо я был нищ и мне нечего было стыдиться.

Так сложилась судьба Марины. Ради любви она изменила родине, и что получила она в награду за свою любовь и измену? Но для меня ее память, память о добром друге, навсегда останется священной. Ведь Марина дважды спасла мне жизнь и не покинула меня даже тогда, когда Отоми оскорбила ее самыми жестокими словами.

Глава XXXIX

ТОМАС ВОСКРЕСАЕТ ИЗ МЕРТВЫХ

На следующий день после встречи с Мариной ко мне зашел капитан Диас. Он сказал, что один из его друзей командует каракой, которая через десять дней отплывает из Веракрус в Кадис, и что, если я хочу покинуть Мехико, этот друг охотно возьмет меня на свое судно. Немного подумав, я ответил, что отправлюсь в путь, и распрощался с капитаном Диасом — дай бог ему счастья! Он был одним из немногих хороших людей среди всех этих испанских мерзавцев.

В компании нескольких купцов я навсегда покинул Мехико и примерно через неделю благополучно добрался через горы до Веракрус. Это нездоровый город с жарким климатом и ненадежной гаванью, открытой всем яростным северным ветрам. Здесь я вручил свои рекомендательные письма капитану караки, и тот без дальнейших расспросов предоставил мне место. Не медля я переправил на корабль запас провизии на время всего плавания.

К концу третьего дня мы отплыли с попутным ветром, а на рассвете вдали виднелась только снежная вершина вулкана Орисаба — последнее видение Анауака. Но вот и оно исчезло за облаками, и я простился с далекой землей, на которой со мной произошло так много событий и которую, по моим подсчетам, я впервые увидел ровно восемнадцать лет назад, в этот же самый день.

За время нашего плавания до Испании ничего примечательного не случилось. Протекало оно гораздо благополучнее многих подобных путешествий. Подняв якорь в гавани Веракрус, мы через два месяца и десять дней бросили его в кадисском порту — вот и все.

В Кадисе я провел всего два дня. Мне повезло! В порту стоял английский корабль, направлявшийся в Лондон, и я купил на нем место пассажира, хотя мне пришлось для этого продать самый маленький изумруд из ожерелья, потому что все деньги, врученные мне Мариной, к тому времени уже вышли. Я продал изумруд за немалую сумму, приоделся, как подобает знатному человеку, а остаток золота взял с собой. По правде говоря, мне было жаль расставаться с этим камнем, хоть это и был всего-навсего подвесок к кулону ожерелья, но нужда заставила. Сам кулон, прекрасный изумруд с небольшим изъяном, я подарил много лет спустя ее величеству всемилостивейшей королеве Елизавете.

На английском судне все меня принимали за испанского авантюриста, разбогатевшего в Вест-Индии, и я не старался опровергнуть это мнение. По крайней мере меня оставили в покое, так что я мог внутренне подготовиться к встрече с давно забытыми обычаями и условностями. Так я и сидел в одиночестве, словно какой-нибудь гордый идальго, стараясь поменьше говорить и побольше слушать, чтобы узнать обо всем, что произошло в Англии за двадцать лет моего отсутствия.

Наконец и это плавание закончилось. Двенадцатого июня я высадился в славном городе Лондоне, где до этого дня еще не бывал, и, преклонив колени в комнате гостиницы, возблагодарив бога за то, что после бесчисленных превратностей и испытаний он дозволил мне вновь ступить на английскую землю. Поистине самым большим чудом мне казалось тогда мое слабое человеческое тело, пережившее столько боли, болезней, лишений и ран, столько смертоносных ударов и пыток и все-таки устоявшее перед яростью диких зверей и людской злобой, преследовавшей меня в течение долгих лет.

В Лондоне с помощью хозяина гостиницы я купил до-

брого коня и на рассвете следующего дня выехал из города. В то утро мне суждено было пережить последнее приключение. Когда я трусил по Ипсвичской дороге, любуясь английским пейзажем и жадно вдыхая сладкий воздух июня, какой-то трусливый грабитель, спрятавшийся за изгородью, выстрелил мне в спину из пистолета. Он надеялся убить меня и обобрать, но пуля пробила шляпу, лишь слегка оцарапав голову. Я не успел ничего сделать. Подлый вор, заметив, что он промахнулся, исчез, а я поехал дальше, раздумывая над тем, что поистине было бы удивительно, если бы после стольких страшных опасностей я погиб от руки презренного оборванца в пяти милях от Лондона.

Я ехал быстро весь этот день и следующий. Конь мне попался ходкий и сильный, так что в половине восьмого вечера он уже вынес меня на тот самый холм, с которого я последний раз оглянулся на Банги, когда уезжал в Ярмут вместе с отцом. Внизу раскинулись красные кровли городка, справа зеленели дитчингемские дубы и возвышалась красивая башенка церкви Святой Марии, вдалеке струился поток Уэйвни, а прямо передо мной простирались луга, покрытые золотисто-багряным ковром болотных цветов. Все осталось, как прежде, ничто не изменилось, кроме меня самого.

Я слез с седла, подошел к пруду у края дороги и склонился над ним, вглядываясь в отражение своего лица. Да, действительно, я изменился! Во мне почти ничего не сохранилось от того славного парня, что проехал по этой дороге двадцать лет назад. Глаза мои запали и погрустнели, черты лица заострились, а на голове и в бороде — увы! — черных волос осталось меньше, чем седых. Я и сам себя не узнал, так что вряд ли меня узнают другие. Да и есть ли кому меня узнавать? За двадцать лет одни, наверное, умерли, другие исчезли. Найду ли я вообще хоть одного живого друга? Ведь с тех пор, как я получил письма, доставленные капитаном «Авантюристки» Бэллом перед моим отплытием на Эспаньолу, я не имел из дома никаких вестей. Что меня ожидает? И главное, что с Лили? Может быть, она уже умерла, уехала или вышла замуж?

Я вскочил на коня и погнал его легким голопом мимо Вингфордских Мельниц. Проехав через броды, а затем по улицам Пирнхоу, я оставил Банги левее и через десять минут очутился перед воротами, за которыми начиналась пешеходная тропинка. Она вела от нориджской дороги к подножию холма, и там, на лесистом склоне, всего в полумиле от меня, виднелся мой дитчингемский дом.

У ворот парка, наслаждаясь последними лучами вечернего солнца, стоял какой-то человек. Вглядевшись попристальней, я узнал его. Это был Билли Миннс, тот самый дурачок, который выпустил де Гарсиа, когда я оставил его связанным, чтобы поспешить к своей возлюбленной. Теперь он был уже стариком с седыми космами, свисающими вокруг морщинистого лица. Но, несмотря на его грязь и подозрительные лохмотья, я так обрадовался, что едва не бросился к нему на шею, чтобы расцеловать,— ведь он был одним из тех, кого я знавал в юности!

Заметив меня, Билли Миннс заковылял со своей палочкой к воротам, открыл их передо мной и стал заунывным голосом выпрашивать милостыню.

—Здесь живет мистер Вингфилд? — спросил я, указывая вдаль на тропинку, и сердце мое учащенно забилось в ожидании ответа.

—Мистер Вингфилд, сэр? Какого вам надо Вингфилда? Старый господин преставился почитай лет двадцать назад. Я сам помогал рыть ему могилу, да, да! Там он и лежит рядом с женой, которую убили. Значит, вам надо мистера Джеффри?

—Он здесь? — спросил я.

—Он тоже умер уже лет двенадцать с лишком. Упился до смерти, да, да! И мистер Томас тоже помер, говорят, утоп где-то в море. Много зим прошло с той поры, да, да! Все они умерли, все! Ох и парень был этот мистер Томас! Как сейчас помню, отпустил я одного человека, не из здешних, а он...— и тут Билли пустился в воспоминания о том, как он посадил избитого мной де Гарсиа на лошадь. Остановить его было невозможно. Я бросил ему монету, пришпорил своего усталого коня и поскакал по узкой тропинке.

Глухой стук копыт отдавался в моих ушах, как отзвук слов старика: «Все умерли, все умерли!» И Лили, наверное, тоже умерла. А если не умерла, то, конечно, вышла за кого-нибудь замуж, когда услышала, что я утонул в море. На такую красавицу всегда найдутся охотники. Не губить же ей жизнь, оплакивая погибшую любовь своей юности!

Но вот передо мной наш старый дом. Он почти не изменился, только плющ и вьюнки на фасаде разрослись и дотянулись до самой крыши. Судя по дыму над трубами и отменному порядку во всем, в доме кто-то жил.

Ворота оказались на запоре, а за оградой не было видно ни души. Надвигалась ночь, и слуги, по-видимому, закончили уже свою работу.

Свернув налево, я подъехал к задней стороне дома, где под склоном холма стояли конюшни, но и здесь ворота были заперты. Не зная, что делать дальше, я слез с седла. Сомнения и страхи лишили меня последнего мужества. Я оставил коня пастись на траве у ворот, а сам побрел по тропинке к церкви, беспрестанно поглядывая на вершину холма впереди в надежде кого-нибудь встретить.

«Что, если умерли все? — думал я.— Что, если она умерла тоже?»

Я спрятал лицо в ладони и возвал к небесам, хранившим меня все эти годы, умоляя избавить меня от последнего горького разочарования. Я был подавлен скорбью и чувствовал, что больше не в силах вынести. Если Лили тоже для меня потеряна, мне остается только одно — умереть, потому что жить уже незачем.

Так я молился некоторое время, дрожа, словно лист на ветру. Потом я открыл лицо и повернул к дому, чтобы расспросить его обитателей и узнать правду, какой бы она ни была. В это время закат догорел, и в наступившей темноте повсюду защелкали соловьи. Я остановился. Соловьиные трели пробудили во мне какое-то смутное воспоминание, но о чем — я не мог понять. И вдруг я вспомнил.

Я вновь увидел Теночтитлан, великолепные покои во дворце Монтесумы и себя самого, спящего на золотом ложе. Я знал, что я бог Тескатлипока и наутро меня принесут в жертву. Я спал, измученный и удрученный, и видел сон. Я видел во сне, будто стою на том самом месте, где стоял сейчас, и запах наших цветов щекочет мне ноздри, как в эту ночь, и сладкие соловьиные песни звучат точно так же, как звучали они в моих ушах. Мне снилось, что, пока я стоял и слушал соловьев, над зелеными кронами дубов и ясеней взошла луна,— вот, вот она уже сияет в небесах! Мне снилось, что чей-то голос запел за холмом, но тут я пробудился от давно забытых видений прошлого.

Не во сне, а наяву услышал я на холме нежный женский голос. Нет, я не сошел с ума. Я слышал его ясно, и с каждой минутой он приближался, словно певица спускалась вниз по крутому склону. Скоро она была уже так близко, что я разобрал слова той самой грустной песенки, которую помню до сих пор.

При лунном свете я увидел фигуру высокой, статной женщины в белом платье. Она подняла голову, провожая глазами тень летучей мыши, и свет луны упал на ее лицо. Это было лицо моей утраченной любимой, лицо Лили Бозард. Прекрасное, как прежде, оно постарело совсем немно-

го, но глубокая грусть наложила на него свой отпечаток. При виде этого лица я был так потрясен, что едва удержался на ногах, вцепившись в низенький палисадник, а из груди моей вырвался глубокий стон.

Услышав мой стон, женщина оборвала песню и, разглядев мужскую фигуру, повернулась, собираясь бежать. Однако я не шевелился, и любопытство превозмогло ее страх. Она подошла поближе и негромким, нежным голосом, который я так хорошо знал, спросила:

— Кто это бродит здесь так поздно? Это ты, Джон?

При этих словах прежние опасения вновь проснулись во мне. Ну, конечно, она замужем и мужа ее зовут Джон! Я нашел ее только для того, чтобы потерять безвозвратно.

И тут мне пришла мысль в голову не открывать своего имени, пока не узнаю всю правду. Я шагнул вперед, стараясь оставаться в тени высоких кустов, и, держась спиной к лунному свету, отвесил низкий поклон на испанский манер. После этого я заговорил на ломаном английском языке с испанским акцентом, который здесь не стану воспроизводить.

— Сеньора! — сказал я.— Я имею честь говорить с той, кого некогда называли Лили Бозард, не правда ли?

— Да, меня так называли,— ответила она.—Что вам от меня угодно?

Я снова дрогнул, но справился с собой и смело продолжал:

— Прежде чем ответить, разрешите, сеньора, задать вам один вопрос. Вы все еще носите это имя?

— Да, я не замужем,— проговорила она, и на мгновение небо закружилось над моей головой, а земля под ногами заколебалась, словно покрытый лавой склон вулкана Хака. Но я решил не открывать своего имени, пока не узнаю, любит ли она меня по-прежнему.

— Сеньора,— сказал я.— Я испанец, один из тех, кто во время войны с индейцами служил у Кортеса, о котором вы, наверное, слышали.

Лили кивнула, и я продолжал:

— Во время этой войны я встретил одного человека, его называли «теуль». Но два года тому назад на смертном одре он сказал мне, что раньше у него было другое имя.

— Какое имя? — тихо спросила Лили.

— Томас Вингфилд.

Теперь она в свою очередь громко вскрикнула и уцепилась за палисадник, чтобы не упасть.

— Я считала его мертвым целых восемнадцать

лет,— проговорила Лили, задыхаясь.—Я думала, он утонул в море во время кораблекрушения...

— Да, я слышал, что он попал в кораблекрушение, сеньора, но он избежал смерти и очутился среди индейцев. Они сделали из него бога и дали ему в жены дочь своего императора.

Здесь я остановился. Лили вздрогнула и сказала ледяным тоном:

— Продолжайте, сэр, я вас слушаю.

— Мой друг теуль участвовал в индейской войне. Как муж одной из принцесс, он долгие годы честно и храбро сражался на стороне индейцев. Наконец город, который он защищал, был взят, его единственный оставшийся в живых сын убит, жена его, принцесса, покончила с собой от горя, а сам он попал в плен и через некоторое время тоже умер.

— Печальный рассказ, сэр,— проговорила Лили с коротким смешком, похожим на рыдание.

— Очень печальный, сеньора, но он еще не окончен. Перед смертью мой друг рассказал мне кое-что из своей прежней жизни. Он был обручен с одной англичанкой по имени...

— Я знаю это имя, продолжайте!

— Он сказал мне, что, хотя и был женат на другой и любил свою жену принцессу, поистине царственную женщину, которая не раз рисковала для него своей жизнью и даже по собственной воле легла рядом с ним на жертвенный камень, но, несмотря на все это, он никогда не забывал ту, с кем некогда был обручен. Память о ней он пронес через всю жизнь и с новой силой вспомнил о ней в смертный час. Поэтому во имя нашей дружбы он попросил меня, когда я вернусь в Европу, найти его невесту, если она жива, и передать ей его последние слова и его последнюю просьбу.

— Какие слова и какую просьбу? — прошептала Лили.

— Он просил сказать, что на закате жизни любил ее так же сильно, как в юности, и что он умоляет ее простить его за то, что он нарушил клятву, которую они оба дали под старым дитчингемским буком.

— Сэр! — вскричала Лили.— Что вы об этом знаете?

— Только то, что мне рассказал мой друг, сеньора.

— Должно быть, вы были близкими друзьями, — пробормотала она.— И, по-видимому, у вас хорошая память.

— Мой друг нарушил свою клятву при необычных обстоятельствах,— продолжал я,— настолько необычных, что он даже в лучшем мире не надеялся вновь связать расторг-

нутые узы. И еще он просил, чтобы невеста сказала мне, его посланнику, прощает ли она и любит ли по-прежнему, как он любил ее до самой смерти.

— А какой толк мертвецу от моего прощения или признания? — спросила Лили, стараясь разглядеть меня в полумраке.— Разве у мертвых есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтоб видеть?

— Откуда я знаю, сеньора? Я только выполняю поручение.

— А откуда я знаю, что вы действительно выполняете поручение? Может быть, мне раньше говорили правду, и Томас Вингфилд утонул много лет назад! Вся эта повесть об индейцах и принцессах слишком необычна. Она скорее похожа на те волшебные истории, которые случаются только в романах, а не в нашей скучной действительности. Чем вы докажете истинность ваших слов? Есть у вас такое доказательство?

— Да, сеньора. Но здесь слишком темно, и вы не сможете его разглядеть.

— В таком случае следуйте за мной, в доме найдется свет. Подождите только немного.

Она повернулась к воротам конюшни и еще раз позвала:

— Джон!Джо-о-он!

Ей ответил какой-то старик, и я узнал голос одного из слуг моего отца. Лили что-то сказала ему тихонько, а затем повела меня по садовой дорожке к парадному входу в дом. Отворив дверь своим ключом, она сделала мне знак пройти первым. Я повиновался. По привычке, не думая ни о чем, я свернул в знакомую мне с детства гостиную, перешагнул, не запнувшись, через высокий порог и, добравшись в темноте до большого камина, остановился перед ним. Лили внимательно наблюдала за мной. Затем, раздув угли, еще теплившиеся в камине, она зажгла маленькую свечку и поставила ее на стол у окна. Мне пришлось снять шляпу, но лицо мое все равно оставалось в тени.

— А теперь, сэр, прошу вас представить ваше доказательство.

Я снял с пальца заветное колечко и подал Лили. Она присела к столу, внимательно разглядывая его возле свечи. И, пока она сидела так, я увидел, что она все еще очень красива: время почти не тронуло ее, хотя ей шел уже тридцать восьмой год, и только лицо стало печальнее. Я заметил также, что хотя она и старалась не выдавать своих чувств, грудь ее при виде кольца задышала быстрее, а рука дрогнула.

— Я вам верю,— проговорила она наконец.— Мне знакомо это кольцо, его носила еще моя мать. Правда, когда я видела его в последний раз, оно не было таким стертым. Много лет назад я дала его как залог любви одному юноше. Я обещала стать его женой. Теперь я не сомневаюсь, сэр, в том, что вы мне рассказали. Благодарю вас за любезность — вам пришлось для этого проделать немалый путь. Да, печальная история, очень печальная! Но, прошу меня извинить , я не могу вас оставить в этом доме,— я живу здесь одна. Поблизости нет гостиниц, поэтому я прикажу отвести вас к моему брату. Это недалеко, в какой-нибудь миле отсюда. Вас проводят,— и, чуть помедлив, закончила,— если вы не знаете дороги. Там вас примут как следует, а кроме того, там вы увидите сестру своего покойного товарища, Мэри Бозард, которая, несомненно, захочет услышать рассказ о его странных приключениях из ваших уст.

Я склонил голову и сказал:

— Сначала, сеньора, я хотел бы услышать ответ на последние слова и последнюю просьбу моего покойного друга.

— Отвечать мертвым? Это ребячество, сэр!

— И все же, прошу вас ответить. Я только выполняю поручение.

— Что написано на этом кольце?

«Пускай мы врозь,
зато душою вместе», —

ответил я, не задумываясь, и тут же едва не прикусил себе язык за такую оплошность.

—О, вы знаете даже это! По-видимому, вы носили кольцо много месяцев и выучили надпись. Хорошо, сэр я отвечу. Мы были далеко друг от друга, однако память о том, кто носил это кольцо, я хранила в сердце и ради него осталась одинокой. Но он свое сердце отдал другой — какой-то дикарке, которая стала его женой и матерью его детей. Поэтому я отвечу так на просьбу вашего покойного друга: я прощаю его, но от клятвы, которую дала, отказываюсь отныне и навсегда, как это сделал он, а кроме того, постараюсь забыть свое чувство к нему, которое он отверг и унизил.

Лили поднялась, сделала руками движение, словно вырвала что-то из груди, и уронила кольцо на пол.

Сердце мое замерло. Вот, значит, чем все это кончилось! Конечно, она была права, но теперь я жалел о том, что сказал ей всю правду, ибо женщины зачастую охотнее прощают ложь, чем подобную искренность.

Я не мог говорить — язык у меня словно отнялся. Смертельная усталость овладела мной, усталость и горечь. Я нагнулся, отыскал кольцо и, надев его на палец, пошел к дверям, бросив последний взгляд на эту отвергнувшую меня женщину. У порога я на мгновение остановился, раздумывая, не сказать ли ей, кто я, но тут же решил, что если она не простила мертвого, то вряд ли она сжалится надо мной живым. Нет, для нее я мертвец, и я останусь мертвецом.

Я уже перешагнул порог, как вдруг позади послышался Лилин голос, нежный и добрый:

— Томас,— произнес этот голос,— может быть перед уходом ты примешь у меня отчет за те деньги, имущество и землю, которые ты мне доверил?

Пораженный, я обернулся и замер. Лили медленно шла ко мне, раскрыв объятия.

— О, глупый, глупый! — прошептала она.— Неужели ты думал обмануть женское сердце? Ведь ты говорил о буке в нашем саду, ты так легко нашел дорогу в этой темной комнате, ты прочел надпись голосом того, кто давно уже умер. Слушай: я прощаю твоему другу нарушенную клятву, потому что он честно признался во всем, потому что мужчине трудно прожить одному столько лет и потому, что в неведомых странах со всяким могут случиться необычайные дела. И еще скажу: я все еще люблю его так же, как он меня. Только я, пожалуй, стара для любви, которой ждала так долго и уже не надеялась дождаться на этом свете.

Так говорила Лили, всхлипывая у меня на груди, пока не затихла в моих объятиях. Наши губы встретились.

И в этот миг я увидел перед собой Отоми, вспомнил ее прощальные слова и то, как она покончила с собой ровно год назад в тот же самый день.

Хорошо, что мертвые не видят живых!

Глава XL

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осталось досказать немногое. Повесть моя подходит к концу, и я этому рад, ибо мне, дряхлому старику, писать очень трудно, так трудно, что прошлой зимой я думал не раз, что уже не сумею ее завершить.

Некоторое время мы с Лили сидели молча в той самой комнате, где я сейчас пишу. Огромная радость и другие нахлынувшие с нею чувства мешали нам говорить. А потом, словно движимые единым порывом,

мы упали на колени и возблагодарили судьбу за то, что она дозволила нам обоим дожить до этой необычайной встречи.

Едва мы поднялись, как снаружи послышался какой-то шум, и в комнату вошла полная дама в сопровождении представительного джентльмена и двух детей, мальчика и девочки. Это были моя сестра Мэри, ее муж Уилфрид Бозард и их дети — Роджер и Джоанн. Узнав меня, Лили сразу послала к ним старого Джона, шепнув ему, что приехал один человек, которого они все будут рады видеть, и они поспешили явиться, даже не подозревая, кто их ждет.

Сначала они ничего не могли понять и в недоумении стояли посреди комнаты, соображая, кем бы мог быть этот чужестранец. Я, действительно, сильно изменился, да и свет был тусклый.

— Мэри! — заговорил я наконец,— Мэри, сестра, ты не узнаешь меня?

Громко вскрикнув, она бросилась мне в объятия и разрыдалась, как сделала бы на ее месте каждая женщина, если бы ее любимый брат, которого все считали погибшим, вдруг вернулся целым и невредимым, а Уилфрид Бозард тем временем держал меня за руку и отчаянно чертыхался от избытка чувств, как это делают в подобных случаях все мужчины. Только дети стояли в стороне и смотрели на меня, ничего не понимая. Я подозвал к себе девочку. Сейчас она очень походила на ту Мэри, которую я знавал когда-то. Я поцеловал маленькую Джоанн и сказал, что я ее дядя, о котором ей, наверное, говорили, будто он умер много лет назад.

Но вот моего позабытого всеми коня поймали и завели в конюшню, а затем мы уселись за стол. Странным показался мне этот ужин — все было так непривычно! А когда он кончился, я приступил к расспросам.

Только сейчас я узнал, что все состояние, завещанное мне моим старым другом Фонсекой, прибыло в полной сохранности и неизмеримо умножилось благодаря заботам Лили. Она почти ничего не тратила на себя, считая, что эти деньги ей отданы на хранение и не являются ее собственностью. Когда слух о моей гибели, казалось бы, подтвердился, Мэри унаследовала свою долю и с помощью этих средств прикупила соседние земли в Иршеме и Хиденгеме, а также лес и поместье Тиндэйл-Холл в Дитчингеме и Бруме. Я поспешил сказать, что дарю ей эти земли, потому что и без них у меня всякого добра более чем до-

статочно. Эти слова особенно понравились ее мужу Уилфриду Бозарду. Легко ли расставаться с тем, что в течение многих лет привык считать своей собственностью!

Затем мне рассказали обо всем остальном: о том, как умер мой отец; о том, как нежданное прибытие золота спасло Лили от замужества с моим братом Джеффри; о том, как после этого мой братец покатился вниз по недоброй дорожке и скончался тридцати одного года от роду; и о смерти Лилиного отца, моего старого недруга сквайра Бозарда, умершего от удара во время внезапного приступа ярости. Уже после его смерти Лилин брат женился на Мэри, а сама Лили, расплатившись с долгами моего брата и выкупив у Мэри ее права, перебралась в наш старый дом. Здесь она и жила все эти годы, жила одиноко и грустно, находя утешение в благотворительности. Как она сама мне призналась, если бы не состояние и не обширные земли, оставшиеся на ее попечении, она ушла бы в монастырь и прожила бы там остаток дней, чтобы не влачить безрадостное существование «вдовой невесты». Я для нее был потерян, и она считала меня мертвым с тех пор, как до Дитчингема дошли вести о гибели караки, а выходить замуж за кого-нибудь другого она не собиралась, хотя многие достойные люди добивались ее руки.

Если не считать еще кое-каких новостей, вроде рождения или смерти детей, да описания сильной бури и наводнения, затопившего Банги и долину Уэйвни, это было все, что могли рассказать мои близкие, дожившие до зрелых лет в полном покое. Политические дела, такие, как смерть или коронация королей, падение власти папы римского или продолжавшееся разграбление монастырей, я оставляю в стороне, ибо им здесь не место.

Но вот пришла моя очередь, и я начал все с самого начала. Стоило поглядеть на лица моих слушателей! Всю ночь напролет, пока не смолкли соловьиные трели и на востоке не занялась заря, я сидел рядом с Лили, рассказывал свою историю, но так и не успел ее закончить. Мы улеглись спать в приготовленных для нас комнатах, а наутро я продолжил рассказ. В подтверждение моих слов я показал меч Берналя Диаса, большое изумрудное ожерелье, которое мне дал Куаутемок, и некоторые свои рубцы и шрамы. Никогда еще я не видел таких удивленных лиц! Когда я говорил о последней жертве женщин племени отоми, о том, как погиб де Гарсиа, сражаясь со своей тенью или, вернее, с видениями, порожденными его жестокой душой, мои слушатели вскрикивали от ужаса, а когда я рассказывал о

смерти Изабеллы де Сигуенса, Куаутемока и моих сыновей, они рыдали от жалости.

Но всего я не мог рассказать. О том, что у нас было с Отоми, я поведал только Лили, и с ней я был откровенен, как мужчина с мужчиной, потому что чувствовал: если я что-нибудь утаю от нее сейчас, между нами уже никогда не будет полного доверия. Я не стал от нее скрывать ни своих сомнений и колебаний, ни того, что я полюбил Отоми, чья красота и нежность поразили меня при первой встрече во дворце Монтесумы, ни того, что произошло между нами на жертвенном камне.

Когда я кончил, Лили поблагодарила меня за честность и сказала, что мужчины, как видно, отличаются в таких делах от женщин, ибо ей, например, не было нужды бороться с искушениями. Но раз уж мы такие от бога и природы, упрекать нас не за что и ей хвастаться нечем. Что касается Отоми, то эта дикарка, если простить ей грех идолопоклонства, была, по-видимому, великодушной женщиной, хотя и кокеткой, умеющей завлекать сердца мужчин, и что, например, она, Лили, никогда бы не осмелилась ради любви сделать то, что сделала Отоми. Но в конце концов, насколько Лили понимает, мне пришлось выбирать между женитьбой и смертью, так что я вынужден был принести великую клятву, а потом, когда опасность миновала, с моей стороны было бы просто непорядочно оставить свою жену. Поэтому она, Лили, предпочитает больше не говорить об этих делах и даже обещает не ревновать, если я когда-нибудь помяну покойницу добрым словом.

Все это Лили высказала мне очень нежно, глядя на меня своими чистыми и ясными, поистине ангельскими глазами. Слезы блистали в них, когда я поведал ей о тягчайшем горе, которое принесла мне смерть моего первенца и других сыновей. Лишь несколько лет спустя, когда Лили потеряла надежду иметь своих детей, она начала меня ревновать к моим мертвым сыновьям.

Весть о моем возвращении и о моих необычайных приключениях среди индейцев распространилась по всей округе. Люди приезжали даже из Нориджа и Ярмута, и все заставляли меня повторять мой рассказ, так что под конец мне это надоело.

В церкви Святой Марии в Дитчингеме я заказал благодарственный молебен за свое спасение на суше и на море, отслужив его уже не по римским канонам, ибо за время моего отсутствия католические святые пали точно так же, как боги Анауака. Англия сбросила ярмо Рима, и я в отли-

чие от некоторых был рад этому от души, потому что достаточно насмотрелся на жестокость попов.

По окончании службы, когда все разошлись, я вернулся в опустевшую церковь из дома Бозардов, где жил на правах гостя, пока мы с Лили не поженились. Был мирный июньский вечер. Я преклонил колени на плите, под которой покоился прах моего отца и матери, и душа моя устремилась к небесам, где они нашли вечное успокоение. Великая тишина снизошла на меня. Я понял, каким безумием была моя клятва отомстить де Гарсиа, ибо на этом древе, словно листья, выросли все мои злоключения. Но от этого моя ненависть к де Гарсиа не уменьшилась. Может быть, лучше было предоставить отмщение богу, но я не мог и до сих пор не могу простить убийцу моей матери.

У маленькой боковой двери я встретил Лили: она знала, что я в церкви.

— Лили,— заговорил я.— Я хочу тебя спросить, согласна ли ты выйти замуж за такого недостойного человека, как я?

— Я согласилась много лет назад, Томас,— ответила она очень тихо и зарделась, как роза, которую я в этот миг увидел за ее спиной на могиле.— С тех пор я не изменилась! Долгие годы я считала тебя своим мужем, только я думала, что ты умер.

— Это больше, чем я заслужил,— сказал я.— Но если ты согласна,— когда мы поженимся? Ведь мы уже немолоды и времени у нас осталось немного.

— Когда хочешь, Томас,— проговорила Лили, подавая мне руку.

Неделю спустя после этого вечера мы стали мужем и женой.

Итак, рассказ мой окончен. У меня была бурная и печальная юность, я рано возмужал, зато счастье согрело мои зрелые годы и старость. События, описанные мной, произошли много лет назад: за это время маленький граб, посаженный под окном в день нашей свадьбы, успел превратиться в большое тенистое дерево, радующее мой взор. Здесь, в благословенной долине Уэйвни, над моей седой головой пролетали годы, исполненные счастья, тишины и покоя, омрачаемого лишь горькими воспоминаниями да тоской по умершим, которую никакое время не в силах притупить. С каждым годом я все глубже постигал радости истинной любви, ибо редко кому достается такая жена, как моя. Казалось, что страдания и тоска юности только возвысили ее благородную душу, достойную ангела. Лишь од-

нажды, когда нас посетило тяжкое горе — смерть нашего младенца,— Лили, как я уже говорил, снова показала, что она всего только женщина. Но, видно, нам суждено было умереть бездетными. Мы смирились, и больше между нами не легло ни единой тени. Рука об руку спускались мы по склону жизни, пока моя жена не покинула меня. Вечером под рождество она легла спать рядом со мной и утром не проснулась.

Я горевал искренне, но это горе не могло уже сравниться с болью юношеских лет, ибо годы и опыт его притупляют. К тому же я знал, что мы расстаемся ненадолго. Скоро я отправлюсь вслед за Лили, и дальний путь меня не страшит. Как все старики, которые прожили свой век и очистились от грехов, я не боюсь теперь смерти. Охотно и радостно я перейду последнюю черту, ибо верю, что за ней нас поддержит та же самая десница, которая спасла меня от жертвенного камня и провела невредимым сквозь все опасности бурной жизни.

И ныне я, Томас Вингфилд, возношу хвалу господу богу, который хранит меня вместе со всеми, кого я любил и люблю. Да славится имя его и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

ГлаваI. Почему Томас Вингфилд рассказывает свою историю 5
Глава II. Семья Томаса Вингфилда 12
Глава III. Появление испанца 20
Глава IV. Томас признается в любви 28
Глава V. Томас дает клятву 36
Глава VI. Прощай, любимая! 46
Глава VII. Андрес де Фонсека 53
Глава VIII. Вторая встреча 62
Глава IX. Томас становится богачом 72
Глава X. Смерть Изабеллы де Сингуеса 80
Глава XI. Кораблекрушение 93
Глава XII. Томас на берегу 100
Глава XIII. Жертвенный камень 110
Глава XIV. Спасение Куаутемока 119
Глава XV. Двор Монтесумы 128
Глава XVI. Томас — бог 138
Глава XVII. Пророчество Папанцин 147
Глава XVIII. Выбор невест 156
Глава XIX. Четыре богини 165
Глава XX. Совет Отоми 174
Глава XXI. Поцелуй любви 183
Глава XXII. Гибель богов 191
Глава XXIII. Томас женат 198
Глава XXIV. «Ночь печали» 209
Глава XXV. Сокровища Монтесумы 216
Глава XXVI. Император Куаутемок 228
Глава XXVII. Падение Теночтитлана 235
Глава XXVIII. Томас обречен 244
Глава XXIX. Де Гарсиа высказывается начистоту 252
Глава XXX. Побег 261
Глава XXXI. Отоми говорит со своим народом 269
Глава XXXII. Гибель Куаутемока 278
Глава XXXIII. Изабелла де Сигуенса отомщена 285
Глава XXXIV. Осада Города Сосен 292
Глава XXXV. Последнее жертвоприношение женщин отоми 300
Глава XXXVI. На милость победителя 311
Глава XXXVII. Возмездие 318
Глава XXXVIII. Прощание с Отоми 327
Глава XXXIX. Томас воскресает из мертвых 335
Глава XL. Заключение 344

Текст печатается по изданию: Хаггард Г. Р. Дочь Монтесумы. — М., Мысль, 1964.

Литературно-художественное издание
Генри Райдер Хаггард
Дочь Монтесумы

Перевод с английского Ф. Л. Мендельсона
Зав. редакцией Л. В. Павлова
Художник В. С. Дружинин
Корректор Л. М. Клинникова

Н/К
Сдано в набор 22.11.91. Подписано к печати 22.01.92. Формат 84×108/32. Печать офсетная. Гарнитура таймс. Усл.-печ.л. 18,48. Уч.-изд. л. 20,9. Тираж 200 000 экз. Заказ. 47.

Издательство «Интербук».
330096, г. Запорожье, ул. Сакко и Ванцетти, 3

Фотоформы изготовлены в издательстве «Коммунар».
330015, г. Запорожье, пр. Ленина, 146.

Отпечатано с готовых фотоформ в областной книжной типографии,
320091, Днепропетровск, ул. Горького, 20.